ИНОСТРАННАЯ
ЛИТЕРАТУРА
№ 1975

ЛИДЖИЯ МАКОВЕЙ *(Румыния)*
Иллюстрация к стихотворению Михая Эминеску
«Послание третье»

# ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

## СОДЕРЖАНИЕ


УРБАНУ ТАВАРИШ РОДРИГИШ — Рассказы *(Перевод с португальского Лилиан Бреверн)* 4

МАРГАРИТА ПАС ПАРЕДЕС — Стихи *(Перевод с испанского Инны Чежеговой)* 22

АНРИ ТРУАЙЯ — Анна Предайль *(Роман. Перевод с французского Галины Ерофеевой)* 27

АНТОНИ ФЕЛПС — Минус бесконечность *(Роман. Окончание. Перевод с французского Мориса Ваксмахера)* 126

ДРАГАН М. ЕРЕМИЧ — Мысли и максимы. Из книги «С лица и с изнанки» *(Перевод с сербскохорватского Александра Романенко)* 182

**Литературное наследие**

ХУАН РАМОН ХИМЕНЕС — Стихи *(Перевод с испанского и вступление А. Гелескула)* 194

**Критика**

А. МУЛЯРЧИК — В поисках новых горизонтов (Заметки об американском романе начала 70-х годов) 202

**Литературные портреты**

РАДИЙ ФИШ — Хлеб и любовь Орхана Кемаля 212

**Культура и современность**

**Заметки на полях**

Л. Симонян — Раздумья Кристы Вольф. Ю. Каграманов — Конец американского будущего? 220

**Публицистика**

**Голоса протеста**

ДИЦА СИЛЬВЕР — Антивоенная тема в прогрессивной культуре Израиля. ФЕЛИЦИЯ ЛАНГЕР — Своими глазами *(Фраг-*

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

8

АВГУСТ
1 9 7 5

# СОДЕРЖАНИЕ

*менты из книги. Перевод с иврита И. Рябинова).* ЙОСЭФ АЛЬГАЗИ (ГАЛИЛИ) — Что ты делал, отец, когда разрушали дом Надера? *(Фрагменты из книги. Перевод с иврита Я. Шрайбера)* 226

**Наши гости**

Л. ЛИХАЧЕВА — Поэт и драматург (Георгий Джагаров — в «Иностранной литературе») 252

**Изобразительное искусство за рубежом**

НИХАЛ РАТНАЯКЕ — Декоративные панно Виды Кейнеман 254

**Среди книг**

**Издано в СССР**

Э. Василевская — «Я всегда свободнее дышал в диалогах...». С. Апт — Одержимость художника. Лев Озеров — Поэзии волшебный лес 256

**Издано за рубежом**

Татьяна Николеску — Начало нового пути. Л. Будагова — Лирическая летопись истории. Джон У. Олдридж — Человек, мечущийся в вакууме. Н. Демурова — Писатель из Мальгуди 262

**Из месяца в месяц** 271

**Авторы этого номера** 287

*На обложке: ВИДА КЕЙНЕМАН. «Девушка».*

*На цветной вкладке: работы художницы из Шри Ланки ВИДЫ КЕЙНЕМАН.*

© «Иностранная литература», 1975.

# УРБАНУ ТАВАРИШ РОДРИГИШ

## *Рассказы*

*Перевод с португальского Лилиан БРЕВЕРН*

### *Камнем в болото*

Молодежь его не интересовала — он просто не приглядывался к ней, какая она. Да и какой она могла быть, когда тлетворное влияние времени сказывалось на всем: коверкало душу и тело, безжалостно метило лица. У двадцатилетних девушек, как у их стареющих мамаш, рос второй подбородок и огромные причудливых форм бородавки — следствие беспорядочной, невоздержанной жизни или, как говорил доктор Фонсека, не будучи в этом вопросе оригинальным,— «d'adorables grains de beauté» [1]. Доктор Фонсека, всегда одетый по моде, любезный, неутомимый кавалер, и в этот вечер, с бантиком на шее, как холеный, неудачно кастрированный кот, выказывал, не в пример хозяину дома, скорее всего красуясь, свое пристрастие к молодому поколению.

Он же — нет. Даже в юности его не тянуло к сверстникам, он их ненавидел. И ненависть эта была вполне осознана и оправдана. Вызывала ее жестокость «свободных каменщиков», а подкреплялась она (в этом он хотя и смутно, но отдавал себе отчет, оставаясь наедине с самим собой) теми обидами, которые товарищи по лицею не считали за обиды и, удивляясь тому, что он обижается на всякие пустяки, рассматривали как проявление замкнутости, характерной для меланхоликов.

Вот и этих, которые по приглашению его детей собрались сегодня в его доме и теперь танцевали (он никогда не танцевал), веселились и пили вино, он считал если не врагами, то чуждыми себе людьми, хотя принимал их вежливо и гостеприимно. От его глаз не ускользало ничего: он ясно видел на лицах молодых людей, особенно тех, кто послабее физически и у кого жестокая действительность очень рано крадет твердость духа и живость ума,— печать растлевающего времени.

Несколько раз, давая себя увлечь бравшему его под руку Баррейре Нунесу — существу, к которому тайно питал отвращение,— он про-

[1] Восхитительные мушки *(франц.)*.

шелся по зале между танцующими парами. Баррейра Нунес, толстый добродушный судья, был человеком не его круга. Сообразительный в силу своей профессии, однако все еще неотесанный, этакий повеса, Нунес был крайне общителен с «крошками». Стараясь не подмочить свою репутацию молодого духом человека, он перенял у молодежи их крепкие выражения и даже ходкое восклицание «О-ля-ля!», которое ежеминутно кстати и некстати летело налево и направо с уст каждого. И вот его-то сеньор гражданский губернатор Алберту Гонсалвиш вынужден был терпеть. И прежде всего потому — просто так он ничего не делал,— что нуждался в его поддержке, в поддержке Баррейры Нунеса, в поддержке всех Баррейр Нунесов этого мира. Алберту Гонсалвиш узнал, и очень рано, куда ведут пути терпения, смирения, согласия и лицемерия. И презрения. Презрения, которое он испытывал к себе и другим каждый раз, принимая то или иное решение, возносся те или иные хвалы, и которым тайно ночью один на один упивался, отводя душу. Он понимал, что хитрость, притворная покорность, умение сыграть на чужом тщеславии ведут вверх, к власти, медленно, но верно. А поскольку он был прилежным учеником и преуспел в этой науке, судьба ему широко улыбнулась.

Вдруг кто-то развязно, с напускной, столь обычной для современной молодежи веселостью, которая всегда претила ему и выводила из равновесия — чрезмерное физическое здоровье и веселое расположение духа оскорбляло ипохондрика,— атаковал его сзади:

— Сеньор губернатор, просим на хоккей. В воскресенье. Игра будет классная. Мы не уступим. Прекрасным полем мы обязаны вам. К тому же первый матч. А первый матч на новом поле что-нибудь да значит! Да и национальный престиж...

Он благодушно улыбнулся и пообещал быть. Но субъект не отставал от него. Это был крепкий, представительный человек лет сорока, с крупным любопытным носом, в светлом пиджаке, увешанном всевозможными значками и пуговицами, со множеством карманов — из одного торчал аккуратно сложенный яркий носовой платок. Какая досада! Разговаривая с Баррейрой Нунесом, он мог думать о чем ему заблагорассудится, стоило только делать вид, что слушаешь, и все. А этот легко возбудимый поборник спортивной славы требовал от него полного внимания и учтивого ответа.

Он вынужден был превозносить хоккей, святейший хоккей, который на международных встречах прославлял его родину. Он отдавал должное «солдатам», «рыцарям» этого поля боя, крепким физически и свободным духовно. И в то же время в глубине души (кроме самого сеньора губернатора, этого никто не знал) люто, с детских лет ненавидел спорт — источник своих первых жгучих унижений. Он помнил, как еще в гимназии из страха упасть он отказался спрыгнуть с плинта и стал посмешищем в глазах однокашников. Тщедушный, со впалой грудью, вялыми мускулами и слабыми ногами, он не мог в ответственный момент на футбольном поле подать головой мяч. Сеньор губернатор понимал, да, понимал, как велико значение спорта для общества, осознавал его воспитательную и политическую роль в зависимости от того, чему отдавалось предпочтение — политике или физическому воспитанию. Сообразно с этим он даже выступал публично, произносил своим хриплым, но энергичным голосом речи во славу спорта, которые встречали одобрение. То был язык разума. А в сердце своем он затаил ненависть к атлетам, и эта ненависть, как гнойник, нет-нет да и прорывалась наружу. Разговаривая с детьми и близкими друзьями, которым он доверял, губернатор позволял себе не только исподтишка, но и прямо куснуть одержимых футболистов, яростных боксеров и неряшливых джазистов.

Одна из подруг Сан[1] наконец спасла его от назойливого спортсмена, использовав в качестве приманки безе и пирожки с foie gras[2]. Ее Алберту Гонсалвиш однажды уже видел в своем доме. Это была хрупкая молоденькая девушка с большими, как у библейской газели, глазами, тщательно подведенными чуть ли не до висков черным карандашом, что придавало им миндалевидную форму. В этот вечер на ней было слишком глубокое декольте и она как-то странно, отрешенно улыбалась. Как ее звали? Сюзетта? Нет! Лурдес? Французское имя, обычное, заурядное, как говорила Сан. Да, именно заурядное — Грасиетта. Она не была близка с Сан, хотя они учились на одном факультете. Сан ее считала интеллектуалкой, bas-bleu[3]. Теперь он припоминал, он даже слышал, как она спорила с Рикарду о проблемах психоанализа. Тогда Грасиетта произвела на него неприятное впечатление: так свободно, без тени смущения она говорила о самых непристойных вещах.

Баррейра Нунес похитил стакан виски с подноса, который несли в другой конец залы, и глаза его, озорно сверкнув, прилипли к обнаженным плечам бижузиньо[4]. Именно этим словом выражал обычно свой сладострастный отеческий интерес Баррейра Нунес, словом, которому нудный гражданский губернатор не позволил бы слететь с языка.

— И ей не холодно? — лукаво и галантно спросил судья у Реласан, сделав круглые глаза и стараясь своим изумленным видом прикрыть истинный смысл вопроса.

— Исключено,— ответила девушка, одарив его ничего не значащей улыбкой.

И она упорхнула с пирожками и сластями, которые предназначались ее друзьям.

«Исключено! — сказал про себя Алберту Гонсалвиш.— Какое глупое, варварское употребление слова». Это и подобные этому слова и выражения неизменно шокировали застенчивого бейранца[5]. Он, привыкший к велеречивому многословию и сладким до приторности оборотам речи министерской приемной, язык которой был сродни совершенному чистому языку Камилу[6], никак не мог выносить эти вульгаризмы. Фонсека же, которому были чужды стены министерства, как и стены любого другого учреждения — он жил спокойно, на казенный счет,— считал это проявлением «провинциального снобизма» или «фальшивым снобизмом». Сеньор гражданский губернатор не прощал Фонсеке этой оценки, не прощал его стремления возвыситься над окружающими и прослыть зоилом среди зоилов, хотя Фонсека всего лишь брал реванш за пустой карман. Но легкость его характера, умение не принимать близко к сердцу то, что других повергало в уныние, приспособляемость ко всему на свете покорили Алберту Гонсалвиша. Вот почему он давал ему взаймы деньги, покрывал, как мог, его неблаговидные поступки, всевозможные демагогические выпады и старался по мере сил не обращать внимания на непристойные салонные шуточки доктора. Кроме того, Фонсека приходился Сан крестным отцом. И хотя он был невероятно вспыльчив и распущен, никто не любил его так, как он, Алберту Гонсалвиш.

Где же Сан? Сеньор гражданский губернатор робко оглядел присутствующих и увидел ее в углу на диване между сыном генерального

---

[1] Сан — уменьшительное женское имя от полного Реласан.
[2] Гусиная печенка *(франц.)*.
[3] Синий чулок *(франц.)*.
[4] Прелестницы *(искаж. франц.)*.
[5] Бейранец — уроженец португальской провинции Бейран.
[6] Камилу Каштелу Бранку (1825—1890) — португальский романист и драматург.

директора и слушателем военного училища. Сан по-детски заразительно и звонко смеялась над только что услышанной историей, смеялась, как обычно, долго, чем особенно напоминала ему флегматичную, но всегда приветливую супругу, которую так рано отняла у него тяжелая лейкемия.

Какими разными были его дети! С Рикадру он никогда не мог найти общий язык. Совсем недавно порвалась последняя связывающая их нить; правда, оба они хорошо понимали, что отношения их были лишь подобием отношений. Нет, уж лучше споры, взаимная критика, абсурдные, неуместные обвинения — не раз он прощал ему глупое высокомерие,— лучше брань и грубости, которые он выслушивал, и театральный цинизм двадцатилетнего, всегда сытого молодого человека, чем это отдаление, отчуждение, уход беспомощного и честного Рикарду, хотя он рядом, в чуждый, неведомый Алберту Гонсалвишу мир. Он не мог с этим смириться, не смирялся и надеялся когда-нибудь понять сына.

В полночь Мане, большая заводила, предложила шестерым покинуть вечеринку. Это были Рикарду, Эмилия, Васку, Гонсалу, Грасиетта и она сама. Они пришли к заключению, что здесь им безнадежно скучно. В их распоряжении был автомобиль и два мотороллера. На них все шестеро и отправились на побережье в дом родителей Гонсалу. В это время года дом был пуст, никто в нем не жил, но напитки, пластинки, pick-up [1] были к их услугам. Здесь, вдали от благосклонных, хитрых и церемонных лысин, от этих домашних кроликов и чванливых католиков, надутых ветром достатка, не слишком щедро расточаемого из «человеколюбия», они могли потанцевать и повеселиться всласть.

Было холодно. Резкий, прорывавшийся сквозь молодой сосняк ветер обжигал их лица. На темной глади неба спокойно мерцали звезды. Треск мотороллеров разрывал тишину автострады, тишину, которую Рикарду считал фальшивой и подстрекающей. На склоне голых холмов спокойно вращались ветряные мельницы, бежали, замирая на поворотах, электрические столбы, а полированная гладь реки, которую стерегли стоящие на ней пароходы, переливалась в ночном безмолвии от их огней. Молчаливый, настороженный пейзаж, два мотороллера и автомобиль, заправленные дерзостью, мчались на все возрастающей, сумасшедшей скорости.

Красивый фасад виллы «Жасмин», украшенный чугунным литьем и изразцами XVII века, с неизменным старинным фонарем, не соответствовал интерьеру. Интерьер был задуман в стиле английского home [2], в котором сразу, как только кто-нибудь разводил огонь в камине living-room [3], становилось уютно, несмотря на романтический рев моря. Эту обязанность взяла на себя Эмилия. Она ничем особенно не выделялась, разве что при первом знакомстве вызывала почти у всех симпатию, несмотря на «просвещенный эгоизм», ставший ее духовным знаменем, который ее товарищи игнорировали.

Мане открыла танцы. Ее гибкое, послушное тело извивалось в ритме мамбо; в левой руке дымилась сигарета. Мане была возлюбленной Рикарду. Как-то раз на карнавале ему в волосы воткнули золоченые рожки из папье-маше, и с тех пор его сходство с фавном никто не отрицал. Более того, его сродство с Паном подчеркивали острое, смуглое, вечно кислое лицо и стройная, но все же физически не окрепшая фигура. Направляемая твердой и опытной рукой Рикарду — пре-

[1] Проигрыватель *(англ.)*.
[2] Дом *(англ.)*.
[3] Гостиная *(англ.)*.

красным партнером в танце, Мане (с long-play [1] звучал теперь рок-н-ролл) кружилась в вихре, который не доводил ее до изнеможения, а, казалось, ласкал перед тем, как новый «ритуальный» танец начнет сотрясать ее соблазнительный бюст, ноги заставит биться в истерической чечетке, а тело — в вакхических, продолжительных судорогах, очень похожих на религиозное исступление трясунов.

— Священный ритм нашего времени,— сказала Грасиетта, которая, даже смеясь, сохраняла меланхолическое выражение лица.

В этой компании она была впервые, но чувствовала себя как рыба в воде. Васку пригласил ее, и она пошла танцевать с этим лохматым, заросшим блондином. Он, как было известно, замышлял революцию в театре и в своих планах шел гораздо дальше, чем Сэмюел Беккет и Ионеско, но все никак не мог собраться писать из-за отсутствия времени. Однако ни одного балета, ни одного нового фильма не пропускал — хотел быть в курсе дела и знать, ради чего стоит и ради чего не стоит потеть. На ча-ча-ча он передал ее хозяину дома — тщательно причесанному Гонсалу (тот ей был неприятен). Молодой человек, отнюдь не интеллектуал, с блеском умел водить гоночные автомобили на автострадах и импровизированных дорожках, пить виски, как пьют англичане в тропиках — долго, смакуя, а из чувства патриотизма — густое вино, любимый напиток Алфамы [2], подражая тому, как пили в старину завсегдатаи кабаков. Препротивное зрелище.

Рикарду, по складу своего характера—сторонник серьезной, приносящей удовлетворение связи, такой, какая у него была с Мане, на этот раз решил изменить самому себе, своей солидной и уважаемой привычке и пошел навстречу Грасиетте. Ее лицо что-то напоминало ему. Возможно, рисунок, картинку в книге или какой-нибудь литературный образ... Суламифь. Только ниже ростом и болезненно-вялая. Суламифь после укола морфия? Пугливая газель работы индийских живописцев? Райская птичка? Он почти ничего не знал о ней. Родители ее, давно отдалившиеся друг от друга, не могли получить развод — церковь стоит на страже прочной семьи — и жили каждый своей жизнью, но соблюдая правила приличия, как принято в хорошем обществе. Ее старшую сестру он как-то раз видел издали на одном из garden-party [3]. Она так же, как и Грасиетта, слыла красавицей, и скандальная хроника, не прощавшая ей напускную развязность и глупую связь, не оставляла ее в покое (о ней шутя говорили, что она главная среди прочих).

Неожиданно ча-ча-ча сменил фрево [4]. Они отошли в сторону. Рикарду усадил даму в кресло, сам уселся на ручку, примостив между Грасиеттой и собой черно-желтую вычурную пепельницу, напоминающую по форме половые органы.

— Ну, что ты думаешь о нас?

— А ты что думаешь обо мне? — ответила она вопросом на вопрос. Вот так, с ходу, она не всегда была готова сказать, что думает.

Рикарду залпом допил остававшееся в стакане виски:

— Я даже не знаю, что думаю сам о себе.

— Это к лучшему,— вполголоса сказала Грасиетта, как будто стыдясь интимности и серьезности сказанного.— Стоит только задуматься о себе, как на душе начинают скрести кошки. Да и знаю ли я себя? Пожалуй, нет. Знаю только, что я ни во что не верю... во всяком случае, по-настоящему. Ни в бога, ни в политические идеалы, ни в любовь.— Ее голос зазвучал по-юношески горячо.— И знаю еще, что это неверие — начало дальнейших бед, лавины неудач, утраты каких-либо

---

[1] Долгоиграющая пластинка *(англ.)*.

[2] Алфама — старый район Лиссабона.

[3] Прием гостей в саду *(англ.)*.

[4] Массовый карнавальный танец на севере Бразилии.

надежд. Согласен? Ну чего мне ждать хорошего, если уже сейчас, не начав жить, я вот такая?.. И все же я «нечто»... Да, я «нечто» или, лучше сказать, жажду быть этим «нечто». Ну а ты, Рикарду?

— Я? Хм! Иногда мне хочется уничтожить все: эти порядки, которые мне навязывают, даже вот этот порядок, здесь, в этой зале. Перевернуть вверх дном мебель. Разве не чудовищна вот эта голландская гравюра? И зачем она здесь? Не знаю, почему все это я говорю именно тебе! Ни с кем, как правило, на эту тему я не разговариваю. Не понимаю необходимости всех этих вещей и вещичек. А больше всего меня бесят проповеди о порядке, видимом порядке. Вот мой отец — прости за откровенность — фальшив насквозь. А моя сестра... каждое воскресенье, как истая католичка, идет к мессе, а прислугу тиранит, по глупости, конечно,— верю, что она никогда не задумывается над тем, что делает. Отца боготворит — что верно, то верно,— унижает подруг (тебя нет, так как ты выше ее), но, унижая, она даже не отдает себе в этом отчета. Гонит прочь всех бедных, кроме тех, кого постоянно опекает. Исповедуется, влюбляется, готовит себе приданое и счастлива: зла и мерзости, среди которых она живет, не замечает. Со мной все обстоит совсем наоборот. Я — совесть всей этой окружающей нас грязи, всей этой мерзости или, еще вернее, просто посредственность. Я fils à papa,[1] как говорят французы. Тепличное растение! Стремлений почти никаких. Политика мне, как и тебе, внушает отвращение. Вернее, политиканство. Или всесильная политика, как коррида или мулета. Секс, конечно, выход, но он меня утомляет. Любовь — хорошее убежище, но я чувствую, что она не все для меня или не совсем то, ради чего я мог бы себя принести в жертву и как-то определиться в жизни. И вот я в клетке, в стеклянной клетке, которую страстно желаю разбить, разбить вдребезги.

Грасиетта позволила ему взять себя за руку. Это отрицание всего и вся сблизило их, родило взаимопонимание, легкую грусть, которая сродни нежности. Она, безусловно, предпочитала его всем этим «ученым обезьянам», которые выставляли напоказ свои жилеты-фантази в надежде получить похвалу. Да, ему, именно ему отдавала она предпочтение, этой его запредельной ярости, даже не до конца мотивированной; ему, так быстро пьянеющему, с лохматыми бровями, мефистофельским носом и этой детской улыбкой во весь рот.

Теперь Гонсалу танцевал с Мане. Она, возможно подстегиваемая ревностью — неожиданная и нескрываемая близость Рикарду и Грасиетты, флирт с этой выскочкой — или поддавшись чувствительной мелодии, размягчившей ей душу, стала играть пошловатую комедию любви, сплетая пальцы рук на вздувшейся шее партнера.

Васку, одетый в клетчатый пиджак, ироничный и невозмутимо невинный, как «Голубой мальчик» Гейнсборо, мимоходом нажал на блестящую кнопку маленькой, в виде гриба, настольной лампы шафранового цвета, стоявшей среди bibelots[3] камина. Вспыхнувший свет смягчил яркость верхней лампы. Он как мог старался угодить Мане, создать ей располагающий интим.

Рикарду не выпускал из поля зрения танцующую пару, он следил за быстрыми, легкими и проворными движениями ног Гонсалу и Мане. Они танцевали, плотно прижавшись друг к другу, как единое существо, и ноги их то замирали на месте, то двигались в такт ритму. Пожалуй, первый раз он без всякой снисходительности оценил ноги

[1] Папенькин сынок *(франц.)*.

[2] Имеется в виду картина английского живописца Томаса Гейнсборо (1727 — 1788) «Голубой мальчик», или портрет Джонатана Баттола.

[3] Безделушки *(франц.)*.

Мане. Они были красивы, но волосаты сверх всякой меры, как у животного, и эту аномалию Мане не только не старалась прикрыть, а, наоборот, выставляла напоказ. Зверская злоба вдруг охватила Рикарду.

«Нет, это не просто ревность»,— подумал он. Все, абсолютно все так бессмысленно. И эта ночь, и вчерашняя, и завтрашняя. Нудный курс наук на факультете права, сытый стол в доме отца, оплаченный дорогой ценой смирения и зависимости, нотариальная контора в будущем. Вот все, что мог дать ему этот мир,— и ничего больше. Важные господа в шляпах, перед которыми он будет пресмыкаться, и не один, не два, а двадцать раз, всем своим видом показывая, что принимает всерьез их явную глупость, лишь бы получить свой кусок, лишь бы не бедствовать. Для большинства людей жизнь — явление ординарное. Никогда у него не возникало желания разубедить их в этом. Уже сейчас он сознавал, что служба тяжелым грузом ляжет на его плечи. Правда, этот груз может стать легче, если он, Рикарду, будет «вести себя как надо». Но он не испытывал такого желания. Одно-единственное желание, которое его распирало,— разбить, уничтожить все, вплоть до собственных амулетов. Исковеркать, сломать эти грубые, вычурные стулья с агрессивными, причудливыми углами, разбить этот абстрактный голландский пейзаж в такой шикарной, абсолютно неподходящей раме. Надавать пощечин Гонсалу и Мане! Но он же интеллигентный человек?! И потом — под каким предлогом?

И все-таки когда Рикарду встретился глазами с Гонсалу, то понял: поединка не миновать. Они долго смотрели друг на друга, зло, угрожающе. Потом Гонсалу едва заметно пожал плечами, как будто стараясь избавиться от какой-то боли, стряхнуть сомнение и твердо, спокойно встретить превратности судьбы. Гонсалу был вспыльчив, невыдержан, беден воображением, одержим приобретательством: он покупал все, что ему приходилось по вкусу, и даже устал от этого.

Любитель показухи, соленых шуток, шумных пирушек, Гонсалу старался скрывать свое истинное лицо неврастеника и зануды. По его собственным словам, только алкоголь, скорость и восхитительные оргии скрашивали его свободное время, тем более что надежд на будущее он не возлагал, так как был болен. Неизлечимо болен. Еще в юности, не успев достигнуть половой зрелости, он получил в публичных домах Байру-Алту дурную болезнь и был стерилен, чем хвастался, как трофеем своего безрассудства и даже как passe-partout [1].

— Вы трое поедете в машине. На улице мерзко и холодно. Я не хочу быть виновником, если кто-нибудь простудится,— твердо сказал Рикарду, вернее грубо, недовольный собой.

— Но...— начала было Мане.

— Я уже сказал.

Она пожала плечами и оперлась на руку Гонсалу. Тот промолчал. Высоко вскинув голову и опустив уголки губ, он, крайне заинтригованный, выжидал, что за этим последует.

— А что, если за руль твоей машины,— все так же грубо и раздраженно продолжал Рикарду,— сядет Васку? Он будет развлекать дам анекдотами, вести машину медленно, а мы двое — любители быстрой езды (так ведь?) — сядем на мотороллеры. Очень уж мне хочется испытать свои и твои силы, потягаться с тобой, таким способным в этом виде спорта. Горю желанием доставить тебя... этакую рухлядь, на свалку.

---

[1] Отмычка, средство, дающее доступ ко всему *(франц.)*.

— О-ля-ля! Что ты говоришь! Какая глупость,— возмутилась Эмилия.— Рикарду, оставь! Хоть ради нас будь благоразумен. Захотелось повеселиться! Между прочим, гонки на этих штуках меня лично в восторг не приводят.

Упрямство того и другого — Гонсалу был согласен с Рикарду — победило. Вызов был принят очень спокойно, так, во всяком случае, казалось: Гонсалу криво, холодно-снисходительно улыбнулся и снова пожал плечами.

Рикарду пристально следил за ним, особенно пристально за каждым его движением, за выражением лица, на котором он надеялся увидеть унизительную гримасу превосходства. Между тем Гонсалу внезапно посерьезнел.

— Ну, двинули? — спросил он, когда они уже сидели на местах.

Молча положил Гонсалу руки на руль мотороллера, поудобнее сел на маленьком сиденье — ноги еще касались земли — и с силой нажал на педаль стартера. Раздался невероятный треск, шедший из нутра машины. Заработал мотор, резко увеличивая обороты, треск стал громче, заполнил все вокруг. Машина заревела яростно, исступленно, как живое существо. Гонсалу включил первую скорость и отпустил сцепление. Рикарду шел за ним следом на расстоянии метра.

Вначале Васку решил действовать: дал газ. Он знал автомобиль — обычная, бесхитростная «шкода», послушная, как тренированный конь, устойчивая, с хорошим весом, цепко держащаяся за гудрон дороги,— знал, что сможет выжать из него сто двадцать километров в час, почти не снижая на поворотах. Грасиетта, глядя в заднее стекло машины, ждала, что вот-вот увидит разъяренные, летящие наперегонки мотороллеры.

Горящие фары и поблескивающие ветровые стекла резали темноту Конша-душ-Эстейруш. Вихрь гонки превратил реальное в нереальное, и в какой-то миг волны, яростно разбивавшиеся о скалы, казались стаями белых чаек. Время от времени Васку сбавлял скорость, позволяя нагнать себя, но тут же снова давал газ, а трое девиц, махая платочками и посылая прощальные поцелуи, подзадоривали одержимых соперников. Автомобиль дразнил Гонсалу и Рикарду, возбужденных гонкой и насмешками.

Вдруг Васку понял грозившую им опасность, когда они, рассвирепевшие, точно выпущенные на волю дикие звери, оголтело понеслись впереди него: Гонсалу и Рикарду были без шлемов. Смелость тут же исчезла — он испугался. Впал в панику. Не кончилась бы эта сумасшедшая гонка — и он был виновником всего этого — катастрофой. На всякий случай он стал сигналить. Сбавил скорость до унизительной — сорок километров в час,— как будто это теперь могло иметь хоть какое-то значение.

Но Гонсалу и Рикарду были уже далеко. Там, на склоне, два маленьких призрачных огонька мелькали в бессмысленном гоночном вихре, едва ли теперь они окажутся сзади.

— Васку,— заволновалась Мане,— догони их, пусть они остановятся, заставь их остановиться.

И снова он, осознав, что необходимо действовать, предотвратить опасность, как сумасшедший, пошел на предельной скорости.

Предчувствие неминуемой катастрофы охватило всех четверых.

Непроглядно темную ночь буравили мерцающие огни фар; миражи поселков, возникавшие то справа, то слева, то за рощей, мчались, как обезумевшие, утратив всякую надежду остановиться. Ни Гонсалу, ни Рикарду не сбавили скорости и не собирались сбавлять. Рикарду не испытывал страха, нет, страха не было. Страх остался позади. Смерть,

возможная, своя, близкая и в то же время надменная, волновала его: холод ее заползал в позвоночник. Но он не сбавлял скорости. Мотороллер в любую минуту готов был угодить в рытвину на дороге, Рикарду мог себе отбить почки и печень, наконец, погибнуть. Совсем скоро уставшие руки выпустят руль. Затекшие от невероятного напряжения ноги ослабеют и благодарно соскользнут с подножки. И конец. Тем лучше! Это его не пугает. Плевать ему на Гонсалу и Мане, плевать на все и на вся, что было и не было причиной этого поединка, этого вызова. Вызов он бросил себе самому, этой непроглядной ночи, этому прошибавшему его поту, яростно бьющемуся сердцу, сумасшедший ритм которого утишить не в его власти.

Гонсалу в порыве безумия обогнал его. Зеленый платок, повязанный на его шее, теперь перевернулся, и кончики его трепетали на ветру за спиной.

Нет. Рикарду не хотел уступать. Он должен вырваться вперед. Быстрее, еще быстрее. Долетавшие до него неясные звуки ранили, как стрелы. Каменная луна на небе пугала. А Гонсалу уходил, увеличивая дистанцию. Рикарду дал газ. Смерть так смерть! Стремительно несшаяся навстречу дорога извивалась под мотороллером, как прижатая к земле кобра. Попадавшая под колеса галька летела вверх и, обгоняя его, падала впереди, выбивая искры. Теперь он не мог остановиться. Это было невозможно.

Жизнь казалась ненужной, далекой. Только он, ночь и это щемящее чувство удовлетворения от скорости летящего мотороллера навстречу дыханию смерти. Быстрее, еще быстрее.

Вдруг страшный грохот. Там, впереди, крохотный, но четкий кадр документального фильма: мотороллер, сойдя с дороги, кидается в сторону, врезается в дерево, вверх летит фетровая кукла, сброшенная с сиденья, летит и падает без движения на бесцветную листву в лужу света.

Рикарду стал тормозить. Когда мотороллер остановился, он даже шага не мог сделать: ноги не слушались, как будто все еще были зажаты тормозными колодками.

Взглянул и тут же отвернулся. Никакой надежды на прощение. Гонсалу падал головой вниз. Он был искалечен, шея свернута на сторону.

Рикарду поборол охвативший его ужас и склонился над мертвым телом. Перевернул его. На суровом, бледном лице Гонсалу крови не было. Он приложил ухо к груди — дыхания тоже не было. Не было и Гонсалу, а только жалкое его подобие: бесформенная, молчаливая, слепая, но еще теплая масса, которая очень скоро остынет и начнет гнить. Мистерия смерти.

Теперь тоненькая красная ниточка липкой жидкости потянулась из сведенных предсмертной судорогой уже фиолетовых губ, из этого рта, который еще час назад был надменным, мужественным, любезным и дружески ему улыбался.

Он сел около трупа и закурил сигарету. Слегка пригладил вспотевшие растрепанные волосы Гонсалу. Только они и этот все еще выступавший пот говорили о безумном перенапряжении сил в недавней гонке. Машинально Рикарду поправил на его посиневшей свернутой шее зеленый платок. Он не плакал — слез не было. Никогда уже больше Гонсалу не хлопнет его по плечу, хотя это его и раздражало, никогда не будет подтрунивать над его серьезным, сосредоточенным видом и весомыми словами, никогда не захохочет вызывающе громко, невыносимо, отчего Рикарду всегда становилось тошно.

Автомобиль с остальными был уже близко. Рикарду встал, снял дубленку и прикрыл тело — вернее, торс и ноги, не отдавая отчета в том, что делает. Закрыл ему глаза, поправил голову. Васку затормозил. Только тогда Рикарду поднялся и пошел прочь. Он видел, как они вышли из машины, вернее, выскочили. Что он мог им сказать? Что он должен был сказать? Ему не в чем было оправдываться. Да он и не хотел.

Полиция засыпала его вопросами. Всех — его, Мане, Васку, Эмилию и Грасиетту — доставили в участок. Грасиетта была сама не своя. Случившееся произвело на нее жуткое впечатление: лицо ее стало белее полотна, большие глаза остекленели, как после наркоза, язык заплетался, Рикарду машинально кусал губы. Всеобщее оцепенение, вызванное трагедией, подавленность, душераздирающие сомнения и искры непокидающей надежды, надежды, что все это сон, дурной сон, что обязательно, иначе и быть не может, появится Гонсалу, живой и невредимый, опровергая реальность, прогоняя кошмар,— длилось какое-то время. На всех точно столбняк нашел. Потом вдруг, не зная почему, они все разом заговорили, перебивая друг друга, не задумываясь о возможных последствиях, и первый он, Рикарду, стал, хотя в этом не было необходимости, изливать душу, говорить о поединке, вызове. За язык ведь никто не тянул. Но что он, да и все они могли с собой поделать? Ничего. Произвели плохое впечатление. Их отпустили, но адреса и фамилии записали. Без сомнения, вызовут, и не раз, в покое не оставят. Но это, в конце концов, ерунда! Хуже — совесть. Он это знал. Остаться с ней один на один, ночью, без свидетелей.

Да еще отец с вечными нравоучениями. Подходящее время для нравоучений!

С каждой минутой он чувствовал, как огромная, подавляемая им ярость, абсурдная, несоразмерная, все больше захлестывает его. Отчаянье, угрызения совести, терзавшие его после трагической гибели Гонсалу, протест против непоправимости смерти, против досадной тупости полицейских, против себя самого, своего преступного безрассудства могли в любой момент вырваться наружу, стоило отцу сказать обычное, давно утратившее свой смысл слово, каким он всегда приправлял свои наставительные речи. А они пришпоривали выношенную, сдерживаемую, все возраставшую, уже не контролируемую, кощунственную и застаревшую злость.

Почему бы отцу не помолчать немного? Почему он все время прерывает его? Не дал даже рассказать, как было дело... Объяснить. Ведь так трудно объяснить, как и почему... Нет, Рикарду не мог, не знал, как объяснить то, что произошло, почему произошло, по какой причине.

Отец? Да отец ли он?! Чаще враг, выжидающий удобного момента, судья, проповедник этики иезуитов. Рикарду видел, как с его нижней, толстой, мокрой от слюны, болезненно-красной губы, которая свисает над морщинистым подбородком, падает вязкое, безжалостное и непонятное осуждение.

И тут Рикарду взорвался. Он побагровел. На лбу вздулись вены. Голова пошла кругом. И перейдя на крик, он стал обвинять:

— Для чего я здесь? Для того чтобы давать объяснения отцу, который меня не понимает? Да и ушло то время, когда я хотел, чтобы ты меня понял.

Глотнув воздуха, он почти истерически продолжал:

— Не понимает, нет, и никогда не понимал. И не хочу я твоего понимания. Но знай: во всем случившемся виноват ты, только ты!

Он хотел сказать еще кое-что, сказать все, но досада и гнев заткнули ему рот. Послышались крик, вой, рыдания. И все-таки он хотел выложить ему, и сегодня, сейчас, что он никогда не считал его другом. Диктатор, чужой, уверенный в своей правоте человек. Он, только он, отец, был виноват в их отдалении. Рикарду хотел бросить ему в лицо свое презрение, уличить его, хотя бы один раз, в тех жалких комедиях, которые тот разыгрывал, занимая высокий государственный пост. Сеньор гражданский губернатор! Человек, который, по правде говоря, никогда не жил как человек, да и был ли он вообще живым человеком? Хотел ткнуть в нос, что он принадлежит к избранной группе жалких индивидуумов, тех, кто меньше всего заняты делом, которому служат, а лишь делают вид, что им заняты.

И все это сорвалось с его сведенных судорогой бешенства губ. Сбивчиво, исступленно, непочтительно, зло, напористо. И жестоко.

Только сейчас Алберту Гонсалвиш понял, что, возможно, это последний представившийся случай, когда они — и смерть их рассудит — либо поймут друг друга, либо нет. Но он не умел говорить так, как было необходимо. А необходимо было, скорее всего, признать свои ошибки, свою злопамятность, расписаться в прошлых неудачах, теперь непоправимых, взять только что сказанные слова обратно, унизиться перед сыном, признать его за равного именно сейчас, когда тот был так агрессивно настроен, предельно возбужден и выбит из колеи этой ужасающей смертью.

— Любопытно,— сказал он философски серьезно, не глядя на сына,— что виновные, как правило, винят в своих поступках не себя, а других и чаще тех, кому они больше всего обязаны. А лучше было бы признать свою вину.— Он говорил медленно, заходя издали.

Рикарду молчал, зло, внимательно наблюдая его растерянность, поняв, что поймал отца врасплох, по его беспрестанно моргавшим глазам, у которых безжалостное время украло ресницы и эластичность век, дав взамен холодную дряблую кожу, как у пресмыкающихся. Сказанное отцом было обычным, избитым, неоднократно слышанным, но так как это было обвинение, Рикарду не мог не реагировать. До какой-то степени оно даже было справедливо. И все-таки раздражало. Еще одно нравоучение.

— И почему ты кричишь на меня, на меня, которому ты всем обязан? — почти жалобно добавил Алберту Гонсалвиш. Никогда он не был так мягок, так терпим в разговоре с сыном.— Твоя реакция нелепа... она ребяческая. Ты возбужден. И с какой стати ты обвиняешь меня? Не я же убил твоего товарища!

— Нет, ты! Именно ты! — упрямо ответил Рикарду вполголоса. Ему было не по себе, но он уже не мог себя сдержать — желчь делала свое дело. Он получал удовольствие, причиняя боль, унижая.— Ты, ты, отец. Именно ты! Можешь не сомневаться. Меня тошнит от тех, кто нас, вернее тебя, окружает. От твоих людей...

Он умолк. Объяснить было нелегко. Нужно было говорить долго и много о своем копившемся изо дня в день великом отвращении к этим фальшивым, безликим, подобострастным, честолюбивым и бесхребетным людям, к этим подхалимам, к этим «служителям борделя» и блюстителям нравственности, к этим господам, докторам, святошам, трусливым и жестоким. Этот невыносимый круг людей, круг его отца, и сделал его, Рикарду, таким, каким он был. Именно они, интеллигентный сброд, толкнули его на бунт, на сумасбродство, на этот глупый поединок — без повода или почти без повода... А результат — угрызения совести, чувство непоправимого, желание смерти. И вот теперь, когда он исковеркал свою жизнь, он понял, что она могла быть хорошей, порядочной, чистой и мужественной.

— Да-а,— осуждающе качая головой, сказал Алберту Гонсалвиш.— Так обычно и бывает. Замок на дверь вешают после того, как дом обчистят воры! Да, нечего сказать, хороший спектакль — твое бешенство и, надо заметить, постыдный. Боишься ответственности! — И почти иронически добавил: — Отдыхай, все обойдется, я обещаю...

— Это не страх, клянусь, здесь страх ни при чем.— Рикарду схватил пресс-папье — стилизованного бронзового Пегаса, который украшал стол отца, и сжал в руке, как будто хотел сломать.— Нет, пусть меня накажут, мне не нужны твои услуги.

— Но это же будет принято как раскаяние. Дело твое, как хочешь. Позднее раскаяние перед неизбежным... Я понимаю, что тебе тяжело. Тебе тяжело, но мучишься ты из-за себя, а не из-за товарища. Слова мои тебя оскорбляют, и это я понимаю. Но твои-то оправдания — желание перебросить свою беду на чужие плечи. Очень похоже, что у тебя просто нет мужества. Какое же ты имеешь право обвинять? И потом, кто поручится, да и поручишься ли ты сам, что твое раскаяние не улетучится и что подобное или что-нибудь похуже не произойдет тут же, вскорости? Нет у меня в том уверенности, Рикарду, зло ведь в тебе, в тебе самом. Если уж говорить откровенно, то, в чем ты обвиняешь меня, никакого отношения к делу, ко всему происшедшему не имеет. Мои пороки,— он сделал ударение на этом слове,— и пороки моих друзей...

Рикарду вскочил как ужаленный, глубоко вздохнул и, сдержав раздражение, спокойно положил пресс-папье на секретер. Какое-то время он стоял молча, собираясь с силами, и вдруг, сжав зубы и не глядя на отца, снова бросился в бой. Он никогда не думал, что сможет так разговаривать с отцом. Но раз уж он начал, будь что будет: язык развязан и продолжать легче. Он вспомнил, как вначале выжимал из себя жалкое блеяние и визжал, точно баба.

— Мы никогда не поймем друг друга,— сказал он, сжимая кулаки так, что захрустели суставы пальцев.— И я не могу больше выслушивать проповеди. Считаю своим долгом сказать тебе, наконец: твой авторитет для меня ничто. Я не уважаю тебя и не преклоняюсь перед тобой. Ни о чем тебя не просил и не прошу.

— Замолчи, Рикарду, иначе я тоже потеряю голову.

— Ну и теряй! Дело твое. Все, что я тебе сказал,— правда. Сожалею лишь об одном, что в полиции пришлось назвать свою, вернее, твою фамилию. Лучше бы сразу арестовали, как любого другого. Сорвалось с языка. Ненавижу этот дом, ненавижу тебя и себя тоже!

— Знаешь, ты просто смешон! Все твои глупости я отношу за счет нервов. Но ты вынуждаешь меня занять по отношению к тебе другую позицию. Серьезную.

— Может, это и к лучшему. В своем доме я не боюсь быть смешным, грубым, плохо воспитанным, не боюсь оскорбить тебя, оскорбляю и буду оскорблять, пока ты меня не выгонишь из дому, как паршивую собаку. Я живой человек, а живой человек с чем-то и не соглашается. Не хочу тебе уподобиться.

Дверь слегка приоткрылась. Они заметили это лишь тогда, когда в дверях, воспользовавшись минутной паузой в их разговоре, появилось нежное личико Сан, возбужденное ночным весельем и, возможно, потому еще более красивое, чем обычно. Большие глаза ее смотрели испуганно, и прическа ее, не такая аккуратная, как всегда, казалась тоже встревоженной.

— Оставь нас, Сан,— нервно, но сдержанно сказал Алберту Гонсалвиш.— У нас дела.

Но тут же, заметив, что его тон обидел ее, добавил:

— Иди к себе. Не обижайся на меня. Я сегодня не в форме.

— Папочка,— сказала Сан очень участливо и нежно, стараясь ободрить отца.

И она исчезла за дверью так же незаметно, как и появилась, безразличная ко всему, ласковая, сдержанная, безликая.

После того как дверь за ней закрылась, к разговору они уже не вернулись. Эти несколько секунд, точно холодный душ, охладили их пыл.

Рикарду, хрустя пальцами, расхаживал по зале, которую украшали медная посуда и всевозможные резные безделушки из черного лака и слоновой кости. В бессознательной злобе носком ботинка он рвал персидский ковер, привезенный с Востока другом отца.

С трудом Алберту Гонсалвиш нарушил мучительное молчание, еще надеясь прийти к примирению:

— Будь благоразумным, послушай, что тебе скажет отец.

Рикарду с силой сжал губы. Слова отца, подобно хлысту, подстегнули его. Он, как бешеный жеребец, опять хотел встать на дыбы. Слишком хорошо были знакомы ему эти любимые отцовские выражения: «быть благоразумным», «вести себя как мужчина», «думать о будущем», «знать чувство меры». Он знал их истинное значение, знал, что за ними стоит: ложь, жалкая, грязная ложь, золотой ошейник. Все это — мудрость могущественных лакеев, подсказанная жизнью или ядовитой хитростью, как у отца, сдобренная желчью, презрением или просительной улыбкой в зависимости от случая. Нет. Он хотел жить по-другому. Не собирается он «быть благоразумным» и слушать благоразумные советы. Ему хотелось бежать, бежать из дому этой же ночью. Тотчас. Перекошенное фиолетовое лицо Гонсалу стояло перед его глазами и звало в ночь. Счет был открыт, и Гонсалу без жалости предлагал Рикарду сравнять его, звал его в дождливую, колючую и мертвенно-бледную ночь, клочья облаков которой, ореолы вокруг призрачных ламп и тронутые золотом ветви сливовых деревьев были видны из окон первого этажа.

Бежать!.. Но куда? Да, куда?

— Послушай, Рикарду, каста, которую ты обвиняешь,— моя и твоя каста, каста людей нашего круга. Наша «секта», как ты говоришь,— ведь так? Это класс, к которому принадлежу я, класс, к которому принадлежишь ты, класс... именно благодаря тому, что я принадлежу к этому классу, я сам кое-чего достиг в этой жизни и тебе обеспечил будущее. Ты же, глупый, не ценишь все это, а между прочим, кто может тебе помочь сейчас в твоей беде, как не она, эта «секта»? Кусаешь руку, которая тебя ласкает, плюешь на хлеб, который тебе дают, но смотри... Если бы не я, тебя бы так просто не отпустили и, очень возможно, осудили бы. Я не хочу сказать, что ты прямой виновник случившегося — в конце концов это не так,— но, уверяю тебя, ничто не помешало бы газетам трепать твое имя и даже дать твой портрет на первой полосе. Всю жизнь тебя преследовала бы эта смерть,— слышишь? — эта смерть и эта нелепая история. Вечно, вечно ты был бы у всех на подозрении. Еще есть время, есть время, Рикарду, одумайся. Может, как раз случившееся — нет худа без добра — и образумит тебя.

— По-твоему, смерть была просто необходима, чтобы твой сын образумился?

— Не я убил твоего товарища,— выйдя из себя, сказал Алберту Гонсалвиш. Яростное упрямство сына начинало злить его. Какого черта! Всегда он прав, всегда ни в чем не повинен, даже тогда, когда это очевидно. Бунтующий молодой человек не желал признавать свою вину, стремился переложить ее на чужие плечи и, испытывая терпе-

ние отца, переходил все границы. Но это был сын, его сын, его единственный сын. Алберту Гонсалвиш должен был убедить его, наставить на путь истинный, научить правильно смотреть на вещи. Но какое нужно иметь терпение! Черт побери!

Начинало светать. Рикарду почувствовал тошноту. Пол закачался, стал уходить из-под ног. Потом вдруг остановился. Рикарду показалось, что стены комнаты покосились. Но нет, все было на своих местах, как всегда. Это голова его шла кругом. Они так ни до чего и не договорились. Да и до чего они могли договориться?! Он даже не понял, как и почему возник этот разговор, и теперь уже не слушал медлительную, членораздельную речь отца, все в том же обычном нравоучительно-наставительном тоне, который сам по себе бесил его. Рикарду был в полуобморочном состоянии. Начинающийся день, заглядывая в серую от дыма, насквозь прокуренную залу, бросал свой слабый свет, который, проникая в помещение, смешивался с электрическим светом, приглушал его и сам гас, а с ним вместе гасли витавшие в воздухе злоба и боль и всякий проблеск надежды на взаимопонимание. Новый день гнал прочь вчерашний, и в сером, пепельном утре стыл, коченел, исчезал для Рикарду образ Гонсалу. Носовой платок со следами запекшейся крови — там, на дороге, Рикарду испачкал его — был уничтожен, и пришло облегчение, ушли, растворились и угрызения совести, и вчерашний поединок, и Гонсалу. Он больше не существовал для Рикарду. Конечно, когда он выспится и пройдет тошнота, образ Гонсалу вернется — Рикарду не сомневался,— но вернется как особый вид пытки. Занимающийся пасмурный день пробудил в нем мысли о судьбе, но очень скоро, хотя он испытывал отвращение и жалость, успокаивающее равнодушие овладело им. Рождаемая утром уверенность притупляла чувство ответственности, смиряла это чудовище, которое терзало его. Все, что ночью казалось таким невыносимо безысходным, утром рассеялось, улетело неведомо куда. Теперь ему было абсолютно безразлично, искупит или не искупит он свою вину перед погибшим, безразлично его глупое поведение и бессмысленная злоба, которая вызвала эту смерть. Все ему казалось нелепым и случайным. Надо лечь спать. Каждый день, ложась в постель, он сознавал, что это своего рода приятие всего: согласие с прошлым, которое ему было противно, и согласие с ничем не лучшим, заранее известным будущим. Ну и пусть! Постель хоть рядом: нужно выйти в коридор из одной двери и войти в другую. Сон одолевал его, и все смиряющая усталость в конце концов взяла верх над его агрессивностью. Он не хотел, не мог больше говорить. Не мог идти в наступление, не мог защищаться, не мог оправдываться. Ничего не мог. Спать, только спать. Забыть обо всем на свете. Забыть хоть на время, ведь это короткое забытье могло пощадить его, прогнать кошмар. Прогнать до завтра, до того момента, когда он проснется, вновь терзаемый угрызениями совести.

— Спокойной ночи, отец. Прости, если я причинил тебе боль... Пойду спать.

— Это лучшее, что ты можешь сделать. И полежи-ка ты завтра весь день в постели. Я все улажу. Достаточно с тебя, помучился и хватит.

Рикарду, выходя, притворил за собой дверь, но слабый замок не сработал, она, скрипнув, приоткрылась и так и осталась приоткрытой.

Алберту Гонсалвиш позвонил в две утренние газеты. Поговорил с одним своим приятелем, который был ему многим обязан — сеньор гражданский губернатор со всеми был в хороших отношениях,— сумел все уладить. Не дал поползти сплетням: имя сына не появится в

газетах. Потом он вынул из внутреннего кармана пиджака портсигар черненого серебра с китайскими иероглифами, осторожно взял одну сигарету — все они были полупустые,— постучал, как обычно, и без всякого удовольствия взял в рот. Он любил полные сигареты, любил чувствовать пальцами их приятную плотность. Щелкнул зажигалкой, она дала искру и погасла. Нет бензина.

Это разозлило его. Все не слава богу. Последние ночи он оставлял в ванной комнате на туалетном столике около умывальника коробку спичек. Он пошел за ней. Очень хотелось курить. Эту острую потребность, эту жажду ощущал он в горле, груди, легких. Курить! Как будто, куря сигарету, он, подобно ей, мог сгореть, исчезнуть, сгореть, как горит истертый, грязный, старый, изобличающий, но никому уже не нужный документ, сгореть со всеми пороками и печалями.

Теперь, когда он остался наедине с самим собой, одержав победу над сыном, если, конечно, это можно назвать победой, он обмяк. Обычно так и бывало в большей или меньшей степени. Собеседник всегда вселял в него уверенность, а оставаясь один, он терялся, чувствовал себя каким-то странным, аморфным существом, знакомство с этим существом его пугало. Случайно он взглянул в зеркало, оглядел себя бегло, потом внимательно, пристально и придирчиво стал разглядывать свое лицо, которое с юношеских лет вызывало у него раздражение. Он пришел в этот мир с лицом лакея. Из овального зеркала плохо освещенной туалетной комнаты смотрело на него прорезанное морщинами, одутловатое, болезненное, трусливое и жалкое лицо клоуна, уставшего ломать комедию. Уставшего от комедий вообще. Наклонив голову, он увидел остатки жидких волос; раздраженно взлохматил аккуратно прикрывавшие лысину пряди. Он ненавидел этого дряхлого рекрута. Редко так внимательно Алберту Гонсалвиш рассматривал себя.

Сеньор гражданский губернатор! Что за жалкий, выжатый как лимон, желтолицый, сухой человечек! Худой, малоподвижный, несмотря на худобу, с отвисшим животом — возрастное явление. Мужчина не должен быть таким. Он сжал свои слабые красные руки так сильно, что ногти впились в ладони. Стоя на цыпочках перед зеркалом и гримасничая, то надувая, то втягивая дряблые, старые щеки, он узнавал себя даже в самом уродливом и смешном отражении. Чем-то он был похож на ворона, такой же черный, с острым носом, незаметным ртом и мертвым глазом. Грустно...

А в общем-то, на лице его отразилась та суетная, безрадостная жизнь, которую он вел, жизнь в клетке, прутьями которой были слова, золоченые, но гнилые, гнилые правила жизни. И никогда он не сломает этих прутьев, никогда не откажется от этих слов.

Он жил пресмыкаясь, да, пресмыкаясь с самой юности. Заискивал перед сильными, предавал и в то же время побаивался того невежественного народа, из которого сам вышел, искреннего, грубого, крикливого, способного на все, даже на насилие; избегал как любви, так и ненависти, не сотворил себе кумира, держал себя в узде, выставляя напоказ свою набожность, не очень-то веря во всемогущего; аплодировал красноречивым ораторам, глупые речи которых его коробили, приобретал подобострастные манеры, способствовавшие легкому продвижению вверх по служебной лестнице и материальному благополучию, глотал обиду за обидой и пил, как принято, на заседаниях солоноватую минеральную воду.

А в узком кругу друзей издевался над всем этим, зло зубоскалил и отплевывался. Ему доставляла удовольствие эта ловкая и изощренная игра, это так называемое умение быть гибким. И неудивительно, что он, привыкший к речам, которые слушал и произносил, частенько

дома пускал в ход навязшие у него в зубах нравоучительные поучительные слова и сентенции, считая их своими собственными. Только они удерживали его на краю ужасной, мрачной пропасти, омута одиночества, в который он попадал, едва слова, их поддержка становились ненужными, так как он оставался наедине с самим собой. Он приходил в отчаяние, когда ему начинало казаться, что ось заржавела и колесо вот-вот остановится — колесом он считал себя,— а ведь оно так хорошо и равномерно вращалось по раз и навсегда заведенному обычаю, необходимости, обстоятельствам и обязанности.

Сын сказал ему: жизнь без любви, без риска, без правды, без какой-либо более или менее настоящей цели. «Да и будет ли настоящая цель, какое-нибудь определенное стремление,— думал он,— а не просто слепое повиновение, капитуляция как результат отчаяния, усталости или просто уступка? Будет ли настоящий идеал, а не сознательно-бессознательная мистификация, самовнушение? Мне уже скоро шестьдесят пять, шестьдесят пять лицемерно и грязно прожитых лет, бессодержательных и позорных, лишенных всякого смысла, а ведь все могло быть иначе, могло быть иначе».

Теперь сын — его враг, его судья, самый суровый из всех судей, не желающий ничего понимать, одержимый глупой злобой. Сын — на которого он возлагал большие надежды и втайне мечтал увидеть в нем продолжение самого себя, свое будущее,— единственная постоянная страсть жизни.

Конечно, у него еще есть дочь. Но она — совсем другое дело. Сан источник — он сам же и открыл его,— источник неиссякаемой нежности, которую она благодарно ему дарит. Но она — воск, из нее каждый может лепить, что захочет. Кроме того, он знал, что не за горами день, когда чужой мужчина уведет ее из родного дома и он, отец, лишится ее нежности, так как она будет дарить ее тому, кто станет ей ближе.

Он вынул зубы и, как обычно, положил их в стакан с водой. Прошелся по комнате. Удивительно старым и дряхлым он чувствовал себя, смешное, неуклюжее, болезненное животное, марионетка (вдруг неожиданно подсказало ему внутреннее чутье), и он посмотрел на себя под этим углом зрения. Осторожно, крадучись, чтобы не разбудить детей, он пошел по коридору. Зажег маленькую лампочку у изголовья и быстро разделся, как будто что-то неопределенное, неосязаемое, неясное, но липкое следовало за ним.

Надел желтую поплиновую пижаму, которую несколько дней назад ему купила дочь, лег в кровать и погасил свет. На какой-то миг отлегло от сердца — холодные простыни вызвали приятный озноб, и это отвлекло его.

Шестьдесят пять лет скрывать свое самолюбие, бороться тайно, исподтишка за место в жизни, за свое будущее, будущее своей семьи, а теперь вот это тошнотное состояние, вкус блевотины во рту, в груди, этот вакуум и рахитичное, жалкое, одиноко дрожащее в темноте тело (где же душа?) — вот результат всех компромиссов, на которые ему приходилось идти и которые безжалостно украли у него жизнь. Он лежал спокойно, боясь шевельнуться, боясь перевернуться на бок, всеми силами стараясь удержать ускользающий сон. Наконец тяжелая, как мигрень, дрема завладела им, сняла душевную боль.

Вдруг он вздрогнул. Вспомнил, что должен был сделать и не сделал, забыл за всеми неприятностями. Надо записать кое-что... В котором часу заседание? В одиннадцать? Да, в одиннадцать.

Ему очень не хотелось вставать, кое-как он сумел пододвинуть поближе к скрипящей кровати стул с высокой спинкой. На нем висел его пиджак; с трудом дотянувшись до внутреннего кармана, он выта-

щил записную книжку и ручку и четко, посередине уже исписанного стенографическими каракулями листа написал: «11 часов — заседание консультативной комиссии». Это было важно. Его настоятельно просили быть. Придется выступать, по всей вероятности. Как правило, на этих заседаниях толкли воду в ступе. Готовиться нужды не было. Он знал заранее, на что необходимо будет обратить внимание, что подчеркнуть, что одобрить, что отклонить и так далее. Он уже собирался отодвинуть стул, как вдруг стрельнула мысль. Он послюнил слишком жесткий карандаш и коротко записал: «Возбудить дело о погибшем».

# *Смерть аиста*

Это было давно, в то далекое время, когда шкафы глядели на нас своими большими глазами, а свисавшие с потолка лампы казались удивительными сказочными фруктами, когда мы верили в привидения и чудеса, когда нас пугали страшные сны и радовали сделанные нами открытия, когда на тлеющих углях камина расцветал голубой цветок, а в сотканной паутине паук обезглавливал мух, когда звон бубенчиков напоминал нам молитвы, а лунный свет рисовал на стенах, завороженных им, коленопреклоненных зверей. Это было в детстве, в рождественские дни. Дни, полные чудес. Дни фантазий.

Столько зим, столько лет прошло с тех пор, Мигел, столько выпало на мою долю обид, столько проглочено горьких слез и такой все сметающий ураган воспоминаний обрушивается на меня сейчас, что я, сжавшись в комок, маленький, истерзанный, униженный, хотел бы вернуть тот волновавший душу медленный танец тумана, опускавшегося на Ардилу, покой нашей гостиной, приятно согретой теплом камина. Как воскресить безоблачные утра, перламутр заморозков, журчание воды в овраге и пение дроздов, которых мы с тобой подстерегали с пращой или ружьем в руке?

Теперь меж нами безбрежное море горького и бесконечного молчания, и я пишу все это для тебя, мой брат, пишу с надеждой, что не слова, а волшебная сила воспоминаний воскресит в твоей памяти наше детство: часы охоты, долгие блуждания по тропам в зарослях ладанника, где мы с тобой выслеживали дроф.

Стоял прозрачно-голубой декабрь с ледяными слезинками в глазах. Мы бродили по оливковым рощам, обутые в сапоги, к которым липла грязь, и надеялись на удачу. В то время я уже пытался заигрывать с девчонками, пуская в ход выражения, которые, не понимая смысла, выучил летом во время жатвы, услыхав их из уст грубых надсмотрщиков.

Тебе, Мигел, светловолосому мальчишке, было всего десять лет, но в твоих больших золотистых с зелеными крапинками глазах уже тогда чувствовалась сила воли, твердость характера и подкупающая искренность — удивительный сплав совершенства и того редкого, драгоценного металла, называемого правдой. Именно она, эта искренность, всю жизнь, как магнит, притягивала к тебе друзей и товарищей, готовых следовать за тобой, как за путеводной звездой.

Ты, как никто другой, уверенно сидел на лошади, был меткий стрелок, первый среди сверстников по географии и истории и самый надежный товарищ, скрывавший доброту за насмешливой сдержанностью. Я же, голенастый и тощий, с гривой черных лохма-

тых волос, ниспадавших на усыпанный прыщами лоб—свидетельство переходного возраста,— не умел собой владеть. Страдая от излишней чувствительности, ненужной застенчивости и вспыльчивости, которые позже, в юности, сделали меня замкнутым, я надел маску агрессивности, опасаясь, что переполнявшие меня доверчивость и нежность вдруг обнаружат себя.

Возвращались мы со стороны Орта-до-Варзеи. По полю, где обычно рос ячмень, прямо на нас бежала собака. Мы бросились на нее с палкой, и она тут же, как будто ей подпалили хвост, исчезла в кустах. Да, мы были жестоки без всякой надобности, как жестоки могут быть дети, не отдающие себе в том отчета, но всегда были готовы поделиться с каждым всем, что имели. И это наше столь редкое теперь качество мы сохранили на всю жизнь.

У меня ягдташ был пуст, а у брата набит дроздами, жаворонками, куропатками. И надо же было мне в тот самый момент, когда я почувствовал отчаяние, что возвращаюсь с пустыми руками, увидеть аиста, белого, прекрасного, летящего к черному тополю, на котором он свил гнездо. Я не раздумывал: у меня в руках было ружье. Белая птица, нежный аист, в предсмертных муках, описав в небе параболу, упал в крапиву. И вот в одно мгновение символ счастья превратился в кучу безжизненных перьев и стынущую плоть.

Я почувствовал, как в горло мое вонзились острые клыки совести. Дыхание перехватило. Глаза брата в отчаянии осуждали меня. Я хотел подобрать аиста, но, пристально вглядевшись в свою жертву, отдернул руку, почувствовав, что совершаю кощунство.

В эту ночь, как никогда, была холодна моя постель. Я не мог заснуть, не мог согреть свои преступные руки, не мог открыть тайник (он был единственным предметом зависти Мигела), который я устроил в стене и где хранил свои детские сокровища: острие копья, куклу в мужском костюме, фиолетовое стекло, сквозь которое я видел призрачные миры.

Только на следующий день, после того как, вскочив с кровати и не притронувшись к парному молоку и свежему хлебу, я пробежался босиком по замерзшей реке, раня себе ноги и подставляя розовому солнцу голую грудь и всклокоченные волосы, мы с братом, обнявшись, молча пошли к тому месту, где была убита птица.

Аиста не было. Не было даже перьев. Даже запекшейся крови. Лишь красная застывшая капля висела на крапиве. Ветер дал мне пощечину. Гимном ответила река. Громко, протяжно крикнул пастух, и занялось утро, обычное алентежское утро, такое, как вчера, как позавчера, такое, как тысяча других ему подобных.

Мне так хотелось попросить прощенья у аиста. Надежда до сих пор не покинула меня, и я без устали ищу эту птицу счастья на мглистых берегах жизни, полной борьбы, любви и тревог.

# МАРГАРИТА ПАС ПАРЕДЕС

*Перевод с испанского ИННЫ ЧЕЖЕГОВОЙ*

## *Твое лицо в тумане*

Твое лицо в тумане, словно лик
моей мечты, отправленной в изгнанье
к вершинам скорби. Но ее скитанья
тебя к ней не приблизят ни на миг.

Любимый! Где любви твоей родник?
Как иссушило губы воздержанье!
Но все утратив, вся я — ожиданье:
дрожит во тьме безумья светлый блик...

Ловлю твой голос в океанском шквале
я раковиной моих горьких бед...
На веслах скорби по морю печали,

надежды оставляя слабый след,
мой челн к пустынным берегам причалит,
где твой в тумане тает силуэт.

## *Лампа*

Сгустилось молчанье
над миром моим, где тебя вдруг не стало...
Сумрак окутал мое пристанище,
и я испугалась, что ты потерялся.
Я лампу скорей засветила тогда:
и светом омылись мои ладони,
и пальцы мои десятью маяками
прорезали тьму океана ночи,
где ты, потерпев кораблекрушенье,
быть может, плывешь один-одинешенек..

## *Адам во тьме*

И в день седьмой
бог создал человека
по образу, подобью своему.
И, вдунув в грудь ему дыханье жизни,
зажег очаг любви во тьме вселенной.

Так ты, по образу моей мечты,
был нежностью моей когда-то создан:
дала я легкость волн твоим ладоням,
чтоб было где играть моим дельфинам,
и свет, что неотступно возникал
в моих глазах при мысли о тебе,
я весь перелила в твои глаза;
и твоего нетронутого лба
коснулся голос мой неслышным вздохом;
зарей любви я осветила ярко
моей души тайник неосвещенный,
что до тебя был мрачен и заброшен...
Теперь он весь дрожит, тобой встревожен,
как запахом цветов пчелиный рой.

Так ты, по образу моей мечты,
моею страстью для меня был создан.
Но всех моих усилий волшебство
разбилось о стекло, что защищало
тебя от жара сердца моего.

И снова ты, как в первый миг творенья,—
бесчувственный комок холодной глины.
Божественным дыханием любви
тебя, увы, я не одушевила.

Адам во тьме, ты не подвластен чуду...
Но без тебя
я, Ева, также буду
творить вокруг тебя
свой рай земной.

■ ■ ■

Тебя со мною нет, и смертным хладом
потока жизни скована струя.
Бесплодна и пуста душа моя,
зияющая беспросветным адом.

Как я хотела быть с тобою рядом,
чтоб чувствовал ты радость бытия,
когда в тебя переливаюсь я
вся целиком: улыбкой, жестом, взглядом...

Но от любви моей ты так далек,
я в пустоту протягиваю руки,
мой голос поглощает тишина.

Одна твержу я нежности урок —
увы, напрасно длю я сердца муки:
из нас двоих люблю лишь я одна.

## *Предрассветная бессонница*

Нет, это не обычная бессонница,
когда в мозгу бесформенные чудища
ворочаются или мысли судорожно
без цели мечутся
и пустота кругом...
Нет, это трудно объяснить —
все, что мне чудится и погружается
в душевный смут.

Днем все это поглотится, рассеется
разноголосьем дня и слов бесцельностью,
исчезнет тишина.
Но снова ночь нависнет душным пологом
в истоме издыхающего ворона,
и, оглушив меня,
обрушится мне в уши рев печальный
судов, неведомо куда отчаливших,
протяжные гудки
безумных поездов, упрямо мчащихся
на красный свет,
к той станции любви,
где встретит их крушеньем ожиданье.

И мною, как в бреду произносимое,
от нежности влажнеющее имя —
тоской затверженное заклинанье,
увы, оно — всего лишь чайка раненая,
ему не долететь до мачты сердца,
плывущего далеко сердца,
что с каждым мигом удаляется.

Ты — призрак, из тумана возникающий,
или, скорее, призрачная радуга,
пронзившая мой запоздалый ливень...
Но не дождусь, чтоб ты рассеял тьму
глазами светлыми своими,
и не дождусь, чтоб ты на легких крыльях
слетел в мою бессонную тоску,
и не дождусь, чтоб раковиной чуткой
надрывный крик мой уловил твой слух...

Вот что кипит в мозгу моем ночами.
Все мысли о тебе. Бессонница. Светает.
И ветер плечи обдает прохладой,
душа росой омыта, и тоска
трепещет на ветру,
как лепесток цветка.

Все мысли о тебе.
Бессонница.
Светает.

# К поэзии

Ты видишь, я бреду пустыней
снов, моей воле неподвластных,
твое я выкликаю имя,
оно — родник, оно — оазис,
и тень твоя — как пальмы тень...
Но все — мираж, все — сновиденье.

Пески, пески до самых губ,
грудь без тебя — гнездо пустое,
язык в призывах тщетных груб,
на лбу горит клеймом твой образ.

Поэзия! Я не могу забыть,
как ты росой незримой выпадала
на чуткий лепесток моей зари,
и бабочки волшебные твои
в мою дрожащую влетали радость...

Ты пахарем была моей души,
прекрасным лебедем в крови бурлящей,
на розе сердца сладостным шипом,
крылом парящим, колоколом счастья.

И было мне легко с тобою говорить,
и жить твоим сияньем озаренной,
и в воздухе ловить твой светлый след,
и взглядом провожать тебя влюбленно...

Теперь глухая ночь сомкнулась вкруг меня,
тебя я тщетно призываю,
и рвется голос мой в беспомощном рыданье —
я беззащитна, я совсем одна,
отставшая, забытая, чужая,
я, в зеркале твоем не постигая
твоей, Поэзия, неуловимой сути,
от жажды неизбывной умираю.

Иду по смертному пути, но смерть
не может взять меня: кипит прибоем
под пальцами твоими кровь моя,
и все внутри меня огнем пылает,
и в снах моих мятежных чаек стаи...

Мне не вернуть тебя, хоть ты наносишь
мне раны пламенеющим мечом
и ливнем светлым омываешь ночи,
и даришь лихорадкой ожиданья,
заблудшим криком, жаждой и рыданьем...

Зачем бреду к тебе тропинкой узкой
бесплодных вздохов?
И твой лик сияет
мне в глубине слезы моей прозрачной?

и силуэт твои мне являет ангел,
творящий сны?
Пусть смолкнет речь моя,
пусть снизойдет молчанье,
пусть стихнет бунт моих набрякших жил,
пусть оторвется слух от раковин морских,
пусть оторвется взор от светлых далей,
пусть навсегда спина лишится крыл,
пусть склонятся уста и поцелуют пыль,
и пусть на ложе матери-земли
я в первозданной наготе останусь —
тогда, Поэзия,
прошу, пролей
на раны от любви твоей обманной
бальзама каплю
и в груди моей
навеки расцвети горящим маком.

■

# АНРИ ТРУАЙЯ

# *Анна Предайль*

РОМАН

*Перевод с французского ГАЛИНЫ ЕРОФЕЕВОЙ*

Отворяя дверь бистро, Анна подумала, что ей ужасно хочется выпить сухого белого вина и увидеть того человека, ради которого она сюда пришла. Его еще не было. Ей налили вина. Почти каждый вечер, возвращаясь с работы, она заглядывала в бистро «Старина Жорж» утолить жажду. Обычно она пила у стойки. Но на этот раз взяла рюмку и села за столик в глубине зала. Попробовала душистое, свежее, прохладное «мюскаде». Выпила залпом. И усталость исчезла. Затем развернула газету, твердо решив: «Если он не появится через десять минут, я уйду». Однако через десять минут она подала знак официантке. Еще сухого вина. Две рюмки — ее обычная норма. С ним она выпьет третью, если у нее хватит терпения его дождаться.

Люди входили, выходили, беседовали с хозяином бистро в роднившей их атмосфере винных запахов. К счастью, это бистро устояло против моды — здесь не было холодного металла, бугристого стекла, неона. Ветхозаветное и пропыленное, с подковообразной стойкой, оно казалось гостеприимным островком в бешеном водовороте городской жизни. Пятнадцать минут седьмого. Наконец, вот и он. Она слегка растерялась, но заставила себя улыбнуться. Он изменился, а она — она тоже изменилась? Черты лица остались прежними, и цвет глаз, и форма подбородка, но все это точно поистерлось, одрябло, расплылось. А ведь ему только тридцать четыре года — нет, тридцать пять. На пять лет больше, чем ей. Как она могла забыть об этом? Они поцеловались. Затем он сел рядом, долго ее рассматривал и, наконец, произнес:

— У меня такое впечатление, будто мы с тобой расстались только вчера!

Она солгала:

— У меня тоже, Марк.

— Ты такая же — прелестная, далекая, таинственная.

Анна пожала плечами. Она не переносила этих избитых комплиментов. А Марк расточал их бездумно, точно бросал зерна птицам. Она прекрасно знала, что собой представляет: ни красавица, ни урод-

ка. Тонкая брюнетка с острыми чертами лица, как попало причесанная, без изыска одетая, с огромными черными глазами.

— Как поживает Пьер? — спросил он.

— Хорошо.

— А Эмильенна?

Анна допила вино, поставила рюмку и сказала глухим голосом:

— Мили умирает от рака.

— Что?!

— Да. В прошлом году ее оперировали. Все прошло благополучно, она быстро поправилась. Но вот три месяца назад...

Он нахмурился, и уголки его губ опустились.

— Ужасно! — сказал он.— И она знает об этом?

— К счастью, нет. Ей говорят, что у нее инфекционный гепатит.

— Сильно она страдает?

— Не очень — благодаря лекарствам, которыми ее пичкают с утра до вечера.

— Бедная Эмильенна! Просто не верится. Пьер, наверное, в отчаянии! Ты помнишь, в Риме...

— Я ничего не забыла,— сказала она.

И умолкла. В груди сдавило, свет расплывался перед глазами. Поборов волнение, она спросила с наигранной живостью:

— А ты — как дела у тебя?

— По горло занят промышленной электроникой. Сумасшедшая работа. Если бы вообще не спать — тогда, возможно, я бы еще справлялся!

— Ты надолго в Париж?

— Надеюсь, насовсем.

— А как же Канада?

— Трех лет в Монреале хватит по горло! Дирекция разрешила мне вернуться во Францию. Отсюда буду немного разъезжать. Я приехал на прошлой неделе. И тут же подумал о тебе.

Услышав сегодня по телефону знакомый голос, она на секунду вдруг словно перенеслась в прошлое.

— По-прежнему не женат? — спросила она весело.

— Нет, а ты?

— Что за вопрос! — ответила она.— Конечно, нет!

Они молча обменялись взглядами, довольные друг другом.

— До чего же приятно снова встретиться с тобой,— сказал Марк.— Ты знаешь, я часто думал о тебе там.

— Мог бы и написать!

— Но ты бы не стала читать моих писем!

Она не ответила. Еще рюмку сухого вина для нее и виски без содовой — для него. Сидя вот так бок о бок с Марком, она чувствовала, как ее греет эта дружба без задних мыслей. Он взял ее руку.

— Мне пора,— сказала она.— Меня ждет Мили.

— Мне бы хотелось проведать ее.

— Приходи к нам ужинать в следующий вторник.

— Ты считаешь это возможным?

Он вышел вместе с ней. Бледное октябрьское солнце скользило по фасадам домов. Погода стояла теплая, и большинство прохожих были без пальто. Ее дом находился минутах в десяти ходьбы от бистро. Они свернули на улицу Сены и пошли в сторону набережной. Анна шла широким мужским шагом — время от времени она даже спускалась с тротуара, чтобы идти быстрее. Марк не отставал от нее. На углу улицы Жака Калло она остановилась и произнесла:

— Так до вторника, Марк.

Он опять поцеловал ее в обе щеки. Она вновь ощутила — без вся-

кого волнения — знакомый легкий запах табака и туалетной воды. Они обменялись рукопожатием. Открыто, прямо посмотрели друг на друга, совсем как брат и сестра.

Не успев подняться по лестнице, она уже забыла о нем. Три этажа по ступенькам, покрытым красным ковром, протершимся до основы.

Луиза собиралась уходить.

— Я все выгладила, мадемуазель. Утюг почти не греется. Надо будет отнести его в ремонт. Я не нужна вам больше? Тогда до завтра...

Анна толкнула дверь гостиной. За письменным столиком в стиле Людовика XVI сидел ее отец с карандашом в руке и решал кроссворд. Из приемника, стоявшего на комоде, доносилась тихая музыка, транслируемая станцией Франс-Мюзик.

— Как Мили? — спросила Анна.

— Отлично,— рассеянно ответил он.— День прошел спокойно. Она почти все время спит. А что нового на службе?

— Ничего. Заболел Каролюс. Это несколько усложнит мою жизнь. Да еще звонил Марк. Он снова в Париже.

— В самом деле?

— Я только что виделась с ним...

Пьер просиял, точно по лицу его скользнул луч прожектора. У него всегда были самые дружеские отношения с зятем. Возможно, в душе он даже сожалел о разводе Анны. Он встал и выключил радио. Рассчитывал, что сейчас начнутся излияния? На его крупном гладком лице с голубыми, слегка навыкате глазами застыло выжидательное выражение. Но Анна не стала удовлетворять его любопытство и прошла в спальню. На полу валялись иллюстрированные журналы. Она подняла их. На двухспальной, слишком широкой кровати лежала она, ее мать,— совсем крошечная, одни кости да желтая, как воск, кожа, седые растрепанные волосы, черные лихорадочно блестящие глаза, в которых боль, мольба, нежность. Исхудавшая рука протянулась к ней.

— Ах, наконец-то ты пришла, Анна, милая. Все меня бросили — целый день лежу одна... Звала, звала... Никого...

— Но папа сказал мне...

— Твой отец говорит бог знает что! Он меня раздражает. А Луиза... Луиза, правда, тоже заходила, но она так много болтает... Даже в ушах звенит. Только ты одна меня понимаешь...

— Ты немножко почитала?

— Нет. Этот роман, который ты дала мне,— такая скучища. А журналы — я их уже выучила наизусть...

Анна знала, чего давно дожидалась мать. Она принесла тазик, кувшин воды, полотенце, губку. И стала потихоньку лить воду на руки больной. Эмильенна, закрыв глаза, улыбалась от удовольствия. Вдруг она приподнялась и отчетливо произнесла:

— Ты должна непременно сказать отцу, чтобы он больше не надевал своего серого костюма. Я его в этом костюме видеть не могу. Он... ну просто смешон!

— Да, конечно, мама.

Вода струилась с шуршанием дождя. Этот фонтан в Риме... Как смеялась мама... Она была такая веселая! Как она подтрунивала над их соседями по столику в ресторане. Марк сказал: «Эмильенна, с вами просто нельзя появляться на людях. Будьте осторожней. Ведь половина итальянцев понимает по-французски!» Он тоже, как и все, подчинялся причудам Эмильенны. До чего же они были счастливы, все четверо, во время их краткого пребывания в Италии! Это у Мили возникла тогда идея отправиться в путешествие, чтобы отметить два-

дцать шестую годовщину брака с Пьером... Две пары друзей. И никакой разницы в возрасте. Вместе бегали по музеям. А к вечеру молодые уставали больше, чем старики. Анну забавляла тогда эта образцовая пара, какую составляли ее родители. Никаких ссор. Никакого расхождения в мнениях, в оценках картин, блюд, людей. Они были неразлучны. Казалось, они не могли дышать друг без друга. На улицах шли под руку, бок о бок, нога в ногу. Дома, стоило Эмильенне хоть немного задержаться, Пьер, с блуждающим взглядом, неизменно предполагал самое худшее. Она имела на него такое влияние, что он ничего не предпринимал без ее совета. И оттого, что он спрашивал ее мнение по каждому поводу, у нее появилась непререкаемость суждений. Втайне он явно испытывал удовольствие, видя, как она командует им. И в самом деле властность Эмильенны составляла часть ее обаяния. Она всегда знала, чего хотела, но природный юмор и кокетство делали ее упорство менее заметным. Ей уступали не столько потому, что она была права, сколько потому, что невозможно было устоять перед ее решительным и вместе с тем мягким взглядом.

Сколько раз Анна слышала, как отец спрашивал: «Ну, какой же галстук мне надеть, Эмильенна?» Анна всегда смеялась над ним вместе с матерью. Теперь же при воспоминании об этом у нее сжималось сердце.

Она смотрела на исхудавшее лицо с глубоко запавшими глазами и думала о том, как время все меняет. Возможно ли, чтобы за какие-то несколько месяцев такой живой, такой жизнерадостный человек мог настолько измениться, стать таким озлобленным? Постаревшая, высохшая от болезни, Эмильенна забыла, что она была женщиной. Заметив Пьера в проеме дверей, она вся сжималась, точно не могла ему чего-то простить: может быть, хорошего здоровья, или гладкого лица, или его жестов, неизменных в течение тридцати пяти лет. Он снова включил радио. Звуки бравурной музыки проникли в спальню.

— Он мне так надоел! — простонала Эмильенна.— Вели ему прекратить...

— Ты же обычно любишь... Это Вивальди...

— Это — Вивальди? Не может быть, такая какофония...

Анна вынесла тазик, попросила отца убавить звук и, как обычно, в семь часов вечера приготовила шприц и иглу, чтобы сделать укол морфия. Эмильенна с нетерпением ожидала этой минуты. Теперь она могла быть уверена, что спокойно проведет ночь. Она сама откинула одеяло. Анна склонилась над плоским бедром, обтянутым бледной морщинистой кожей, отыскала нужное место, точным движением вонзила иглу. Эмильенна даже бровью не повела. Затем сказала тихо:

— Позвонила бы ты доктору Морэну, чтобы он зашел.

— Зачем? Ты ведь неплохо себя чувствуешь... А других лекарств он тебе все равно не пропишет...

— Ты так думаешь?

Мили произнесла это тоном покорной девочки.

— Пойду приготовлю тебе поесть,— сказала Анна.

— Мне не хочется...

Тем не менее Анна отправилась в кухню и открыла холодильник. Чтобы как-то вызвать аппетит у больной, она готовила для нее каждый вечер маленькие занятные сандвичи: срезала тонкую корочку с белого квадратного хлеба и располагала на каждом ломтике кусочек ветчины, кружочек помидора, листик зеленого салата, а сверху — капельку горчицы. Между делом она снова открыла холодильник, достала бутылку «мюскаде», налила в стаканчик и не спеша выпила.

— Что тебе рассказал Марк? — спросил Пьер, появляясь на пороге.

— Ему очень хотелось повидать тебя и маму. Я пригласила его поужинать у нас во вторник.

— Ты уже говорила об этом Мили?

— Пока еще нет.

— Как, ты думаешь, она это примет?

— Мне кажется, ей это будет приятно. Она ведь любила Марка.

— Да, но сейчас она никого не выносит... Кроме тебя и врача. Если бы ты только знала, что было сегодня днем!..

— Это все из-за болезни, папа.

— Да, конечно. Но нелегко это терпеть... Тебя-то днем дома нет, потому ты и представить себе не можешь... Мили стала настоящим тираном... Сегодня утром бедная Луиза из-за нее даже плакала... А нам так повезло, что она у нас есть!

Анна машинально налила и отцу стаканчик сухого вина. Он молча поднес его к губам. Они вместе выпили.

— Боже мой, боже мой! — тяжело вздохнул он.— До чего же все печально!

Она разложила сандвичи на тарелке и вымыла руки. Струя воды брызнула на юбку.

— Папа,— сказала она, вытирая руки полотенцем,— тебе надо сменить костюм.

— Почему?

— Ты же знаешь, что он не нравится Мили. И к тому же время года для него неподходящее.

— Это верно. Что же мне тогда надеть?

— Что угодно. Надень шерстяной коричневый жакет.

— Хорошо... сейчас...

На десерт для больной было приготовлено печеное яблоко с желе из красной смородины. Пьер снова появился на кухне — на этот раз в плотно облегавшем коричневом шерстяном жакете. Небольшой животик, широкие плечи, наивный и мягкий взгляд.

Анна отнесла матери подносик с едой, взбила ей подушки, помогла сесть. Пьер вошел следом и остановился в ожидании приговора. Эмильенна оглядела его с головы до ног, но ничего не сказала. Возможно, она даже и не заметила, что он переоделся! После укола ей стало легче, и лицо ее приняло умиротворенное выражение. Она поднесла сандвич ко рту и надкусила. Затем затрясла головой, чтобы оторвать надкушенный кусок. Щеки ее порозовели от усилий, и она принялась старательно, долго жевать.

— Тебе нравится? — спросила Анна.

— Да,— ответила Эмильенна.— Очень вкусно.

Пьер присел на край постели. И украдкой с любовью поглядывал на жену — она этого не замечала. Тогда он осторожно прилег с ней рядом, но так неуклюже, что ноги его висели в воздухе, а голова упиралась в подушку. Анна опять подумала, что он, видимо, не понимает, в каком состоянии находится ее мать. По временам ей даже казалось, что он не считает Эмильенну тяжелобольной — просто ей неможется,— и потому он иной раз вел себя с ней как мужчина с женщиной. Вот и сейчас — вдруг взял ее руку и, поднеся к губам, прильнул к ней долгим поцелуем. Совсем как раньше. Эмильенна нахмурилась, и он опустил ее руку на одеяло.

— Анна виделась сегодня с Марком,— сказал он.

На лице Эмильенны не отразилось ничего — точно речь шла о чем-то бесконечно далеком.

— А-а,— протянула она безразлично.— Он в Париже?

— Да,— ответила Анна.

— Ну и как он?

— Как всегда.

— Сколько же лет прошло?.. Три?... Четыре года?..

— Три года, мама. Я пригласила его к нам поужинать.

Эмильенна с любопытством устремила взгляд на Анну, точно внезапно обрела интерес к жизни своих близких.

— Ты правильно поступила,— сказала она.— Я встану, когда он придет...

И тут же взгляд ее угас. Она снова думала только о себе. Болезнь заменила ей семью. Она оттолкнула тарелку, на которой лежал еще один сандвич. Ее не соблазняло даже печеное яблоко.

— Вам надо поскорее поесть,— сказала она,— а то пропустите начало пьесы.

— Какой пьесы? — спросила Анна.

— Как какой? Я же тебе говорила сегодня утром, что по телевизору будут «Виндзорские проказницы»... Кажется, это великолепный спектакль...

Телевизор стоял на передвижном столике в углу. Его экран, похожий на огромный, матовый глаз циклопа, отражал свет ночника у постели.

— Не хочешь ли пока посмотреть последние известия? — спросил Пьер.

— Нет, не надо... Анна, милая, дай мне судно...

Пьер вышел из спальни. Через некоторое время Анна пришла к нему на кухню. Они ужинали там за столом, крытым пластмассой,— так было проще. Ветчина и салат. Пьер ел с большим аппетитом. Анна подумала, что корми его одним и тем же триста шестьдесят пять дней в году, он возражать не станет. Сидя перед ней между холодильником и мойкой, он наслаждался этой незамысловатой едой, как изысканнейшим паштетом из гусиной печенки. Да существует ли у него вообще вкус к еде, вкус к жизни? Не слишком ли он следует привычке? Он выпил большой стакан вина и спросил:

— Ты слышала, что сказала Мили? Она собирается встать, когда придет Марк. У нее такая воля! Вот увидишь — она встанет!

— Нет, папа.

— Но ведь она чувствует себя лучше...

— Это оттого, что с позавчерашнего дня я делаю ей на один укол больше.

Он опустил голову. Прямота дочери была ему явно ни к чему, разрушала его иллюзии. Он мирился с мыслью о болезни Эмильенны, считая, что она поправится. Анна собрала тарелки и сложила их в раковину. Пьер о чем-то думал, прислонившись спиной к холодильнику. Напротив него нараспашку стоял большой белый шкаф. Внутри строго по ранжиру висели кастрюли. Рядом — чайник со вмятиной на крышке. На рычаге батареи болтался забытый Луизой зонт. В квартире было тихо. Анна продолжала убирать со стола, когда из спальни донесся раздраженный голос матери:

— Идите же! Пора...

Отец и дочь тотчас поспешили на ее зов. По пути Анна прихватила в гостиной разноцветную шерсть и канву. Вот уже полгода, как она занималась ковровой вышивкой — сама придумала узор и выбрала тона. Ничто не успокаивало ее так, как эта работа, требующая большого внимания и точности. Она придвинула к постели матери стул. Пьер включил телевизор и устроился поудобнее в кресле подле жены. На осветившемся экране появились актеры в вычурных костюмах. Их лица были слишком вытянуты.

— Вечно одно и то же! — плаксивым тоном принялась жаловаться

Эмильенна.— Опять Луиза расстроила телевизор во время уборки! Она просто невыносима!

— Сейчас я поправлю,— сказал Пьер. И стал наугад крутить кнопки. Изображение расплылось, съежилось, запрыгало и исчезло.

— Ты совершенно не разбираешься в этом,— сказала Эмильенна.— Пусть настроит Анна.

Пьер с огорченным и виноватым видом вернулся на свое место. Теперь за дело взялась Анна — осторожными, точными, как у часовщика, движениями она принялась настраивать телевизор. Изображение вернулось, звук усилился. На сцене появился Фальстаф. Это был грубый хвастун, трусоватый и болтливый, с красной физиономией и изрядным брюхом. Эмильенна внимательно следила за происходившим на экране. Пьер держал ее за руку. Он просто не мог смотреть спектакль, если пальцы его не сжимали руку жены. Это вошло у них в привычку, стало ритуалом, который, подумала Анна, теперь был ни к чему. Неверный свет экрана освещал мебель, стоявшую полукругом,— она стояла так уже тридцать лет. Анна всю жизнь помнила этот комод в стиле Людовика XVI с поцарапанным мрамором, эти два больших обтрепанных кресла, кресло со спинкой в форме медальона, обтянутое бежевым бархатом, картину с изображением женщины, причесывающейся перед раскрытым окном.

— Тебе удобно, мама? — спросила она.

— Вполне,— ответила Эмильенна.— Но до чего же кричат эти актеры, из себя выходят...

Она устала и закрыла глаза. А минуту спустя, по обыкновению, уже спала. Казалось, чем больше удовольствия ей доставляла передача, тем сильнее ее клонило ко сну. Прядь волос упала ей на лоб. Дыхание стало ровным. Анна посмотрела на отца. Его, видимо, тоже одолевал сон — голова упала на грудь. Он то и дело вздергивал ее, словно пронзенный электрическим током, таращил глаза, распрямлял спину. Весь первый акт он боролся таким образом со сном, но во втором — во время монолога виндзорского горожанина Хью [1] — окончательно заснул, сомкнув веки, приоткрыв рот. А Фальстаф и его соотечественники продолжали кричать и жестикулировать на экране перед двумя спящими. Анна подумала, не убавить ли звук, но малейшее движение могло разбудить мать. И она так и осталась сидеть, время от времени продергивая иголку сквозь дырочки канвы. Крупный стилизованный узор, выдержанный в блеклых тонах. Когда работа будет закончена, она накинет вышивку на кресло Эмильенны. Но доживет ли до этого дня мать? Анна задала себе этот вопрос, и словно что-то надломилось у нее в груди. Отведя взгляд от экрана, она посмотрела на спавших друг возле друга родителей. Один профиль — бледный, изможденный, другой — плотный, цветущий, здоровый. Одна, по сути дела, уже почти не существовала в этом мире, а другой не отдавал себе отчета в том, какая его ждет пустота. И Анна со страхом подумала: «Что я буду с ним делать, когда ее не станет?»

■

Сидя в одежде на краю ванны, Пьер с неодобрением рассматривал свои ботинки — с них совсем сошел блеск. Конечно, он мог сказать Луизе, чтобы она их начистила. Но отдать распоряжение, даже самое пустячное, было свыше его сил. Ему, конечно, нравилось, когда за ним ухаживали, но он ненавидел отдавать распоряжения. Ему ка-

[1] Здесь Труайя ошибся: Хью — имя пастора Эванса; виндзорского же горожанина, произносящего монолог во II акте, зовут Фрэнк Форд. *(Прим. ред.)*

залось, что, навязывая свою волю другим, он превышает свои права и ущемляет более слабое существо, нанося удар по его человеческому достоинству. Во всяком случае, это служило предлогом, чтобы не брать на себя никаких обязательств по дому. Когда Эмильенна была еще здорова, она подшучивала над его неспособностью что-либо приказать. Пьер подобрал валявшийся грязный носок и стал до блеска начищать им ботинки. Так ведь оно проще! Затем он поглядел в зеркало над раковиной. Вид тщательно выбритых, розовых щек преисполнил его уверенности, что со здоровьем все в порядке.

Утро было отличное. И Пьера охватило желание выйти на свежий воздух, пройтись. Эмильенна задремала вскоре после того, как Анна ушла на работу. Газету он от начала до конца прочел за завтраком. Доктор придет только в полдень. Больную, правда, нельзя оставлять одну — в таком случае пусть Луиза посидит с ней, а он отправится за покупками...

В восторге от собственного решения он вышел на кухню: Луиза начищала серебряный кувшинчик, которым никто никогда не пользовался. «Лучше бы она почистила мои ботинки»,— подумал Пьер с раздражением. Ему даже захотелось так ей и сказать. Но вместо этого он лишь сообщил, что пойдет вместо нее в магазин.

— Как угодно, мосье. Вот вам список,— сказала она, вручая ему клочок бумаги, на котором Анна нацарапала несколько слов.— Надо купить филе соли для мадам и дораду [1]. Но дораду — побольше, чтобы и на ужин осталось...

— Я разберусь. Мадам сейчас спит. Заглядывайте время от времени к ней в комнату.

— Ну конечно, мосье.

Она протянула ему черную пластмассовую сумку для продуктов. Он нехотя взял ее и незаметно оставил в прихожей на деревянной консоли с потрескавшейся золотой краской.

Оживление, царившее на улице Сены, отвлекало его от собственных мыслей. Любитель истории улиц, он знал прошлое большей части домов в этом районе. Там, где другие просто сталкивались с неизвестными современниками, он приветствовал знаменитых французов прошлого: королеву Марго в ее садах, Арманду Бежар, неверную вдову Мольера, мертвенно-бледного Бодлера, иссохшего, с безумным взглядом — призрак чарующий и зачарованный, Жорж Санд в мужском костюме, широкобедрую, с глазами египетской танцовщицы... По обыкновению, он заглянул в книжный магазин Коломбье, где — призрак среди призраков — царила бледная до прозрачности мадам Жироде, женщина без возраста. Белая кожа, белые волосы, жабо и даже глаза — она производила впечатление человека, занимающегося не столько продажей книг, сколько просвещением читателей. Прекрасно знающая старый Париж, она пренебрегала сумятицей современного литературного мира и всецело посвятила себя изучению отголосков прошлых времен. Пьер осведомился, сумела ли она достать книгу одного англичанина о Париже времен падения Империи под названием «Paris, during the Interesting Month of July, 1815» [2].

— Нет еще, мосье Предайль. Но я не теряю надежды. Один из моих корреспондентов в Бордо сообщает, что напал на ее след. А как чувствует себя ваша супруга?

— Не лучше, но и не хуже. Если вы найдете другие любопытные работы о Париже времен Империи, написанные иностранцами...

---

[1] Соль и дорада — морские рыбы широко употребляемые французами в пищу.

[2] «Париж во время любопытного месяца июля 1815 г.» *(англ.)*

— Я ищу, ищу... Вас не интересует записная книжка времен Революции?

Он полистал записную книжку, поколебался, порылся в других книгах и в конце концов ушел от мадам Жироде с пустыми руками.

По мере того как он приближался к бульвару Сен-Жермен, торговцы картин и антиквариата уступали место продуктовым магазинам. На углу улицы Бюси перед лотками толкались домохозяйки. Казалось, в мире вдруг не осталось никого, кроме женщин, озабоченных тем, как накормить свою семью. Сосредоточенные лица, зажатые в руках сумки. На перекрестке грузовики образовали пробку. Пьер медленно брел по тротуару среди шумной толпы. Из большого молочного магазина пахнуло ароматами всех тридцати шести сортов сыра, которыми здесь торговали. В нем пробудился голод. Он принялся припоминать деликатесы, словно за его плечом в ожидании заказа стоял, склонившись, метрдотель. Как давно они с женой не были в ресторане! Первая остановка — булочная. Он купил длинный батон свежего хлеба. Если бы с ним была Эмильенна, она уж непременно отщипнула кончик и сгрызла хрустящую корочку. Она любила вот так пожевать чего-нибудь до обеда, точно еда становилась вкуснее, если она ела не в установленные часы. За столом она отказывалась от вина, а через минуту брала у него бокал и выпивала. Сколько раз по воскресеньям они обходили вместе магазины на этой улице! И всякий раз под конец заглядывали к цветочнице. Эмильенна покупала большие охапки полевых цветов. «Куда так много! — говорил он.— Что ты будешь с ними делать?» Дома она молча, проворно расставляла всю эту уйму цветов по вазам. И в квартире внезапно зацветали радостные краски весны, лета, осени. А эта ее страсть к бриджу! Они часто собирались по воскресеньям то у себя дома, то у Клардье. Расставляли два, а иной раз и три стола. И с обеда до вечера сидели за картами. Случалось, играли даже до поздней ночи, проглотив холодный ужин между двумя партиями. Эмильенна не любила проигрывать, хотя никогда не считала денег. Человек она по натуре была безалаберный, но раз в месяц принималась наводить в доме порядок. И после этого ничего не могла найти.

В рыбном магазине оказалась уйма народу. Пьер стал в очередь. Взгляд его скользил по множеству рыб, разложенных рядами,— бледное брюхо, круглый глаз, разинутый рот. Горластые продавцы с красными руками орудовали среди них. Дама, стоявшая перед Пьером, купила уже приготовленные для духовки раковины Сен-Жак. Он незаметно рассматривал ее. Высокая, стройная, элегантная дама, с пепельно-седыми волосами, в брюках и бежевой куртке. У нее был удивительно тонкий профиль. Из магазина она не вышла, а словно выскользнула.

— Ваша очередь, мосье, что угодно?

Пьер вздрогнул и поспешно заглянул в бумажку.

— Филе соли и дораду.

Затем он купил кофе, салату, бутылку минеральной воды и бутылку вина. Но не мог все это забрать. И пожалел, что не взял сумку. Хлеб у него разломился пополам. Торговец вином, посочувствовав, дал ему картонку. Выйдя на улицу, Пьер наткнулся на женщину в бежевом брючном костюме, купившую раковины. Незнакомка проплыла перед ним, величественная и ко всему безразличная.

Он вернулся домой, нагруженный покупками, с мокрым, вспотевшим лбом. На площадке третьего этажа он вдруг подумал, что мог бы купить немного цветов для Эмильенны, но в уличной суматохе эта мысль не пришла ему в голову. А сейчас вот ключ не достать в кармане. Весь изогнувшись — одно плечо выше другого,— он тщетно ша-

рил и шарил. В конце концов пришлось положить пакеты на пол — иначе не открыть дверь.

— А у нас доктор,— сказала Луиза.

— Как! — воскликнул Пьер.— Он же собирался зайти не раньше двенадцати!

Он постучал в дверь спальни — по обыкновению слегка, еле слышно. Ему ответил голос Эмильенны, на удивление ясный и бодрый:

— Входи!

Она всегда оживлялась во время визитов врача. Доктор Морэн, сидя за маленьким столиком, выписывал рецепт. Это был человек еще молодой, но в очках, с утомленным лицом, обрамленным белокурыми бакенбардами, и с намечающейся лысиной. Эмильенна находила — бог знает почему,— что он «потрясающе породист» и обладает «огромным обаянием».

— Зачем ты выходил? — спросила она, пока он пожимал доктору руку.

— Купить продукты для обеда.

— Что за странная идея!

Она сидела в постели, накинув на плечи белую шерстяную шаль, и смотрела на него таким пронзительным взглядом, что он почувствовал, как краснеет. Вот уже тридцать пять лет она читает все его мысли. Но она улыбнулась, и у него сразу отлегло от сердца.

— Доктор,— сказала она,— мы пригласили на обед друзей во вторник. Смогу я, по-вашему, встать?

— Да, конечно, мадам,— сказал врач.— Почему бы и нет?..

— Но только не отменяйте, пожалуйста, уколов. Они мне так облегчают жизнь!

— Не беспокойтесь.

— Когда вы снова зайдете?

Она говорила мелодичным, слегка приглушенным голосом. Ее исхудавшее больное лицо освещала жалкая кокетливая улыбка. Провожая доктора Морэна, Пьер спросил в прихожей:

— Вы действительно думаете, что она сможет встать во вторник?

— Откровенно говоря, нет,— ответил врач.— Но если ей захочется, ни в коем случае не мешайте. Пусть встанет хотя бы на пять минут.

Пьер был совершенно сражен, хотя и не ожидал иного ответа.

— Он просто прелесть! — сказала Эмильенна, когда Пьер вернулся к ней в спальню.— Подумай, сам сделал мне укол!

Тут появилась Анна, и Пьер сразу почувствовал облегчение. Он мог только восхищаться мужеством дочери, которая так умела скрывать свои чувства. В ее присутствии легче было поддерживать повседневную ложь. Можно было не думать — просто следовать установленным правилам игры. Эмильенна с блестящими глазами повторила то, что ей сказал врач. Анна сделала вид, что обрадовалась:

— Вот видишь, Мили, дело у тебя идет на лад. Да так оно и должно быть. Просто ты ослабла от того, что так долго лежишь в постели.

Она очень спешила, так как назначила встречу в половине третьего у себя на работе. Луиза принесла больной еду на подносе. Отварное филе мерлана.

— Филе соли не оказалось,— оправдываясь, пояснил Пьер.— Поэтому я купил мерлана...

Ни одна из женщин слова не сказала. Как всегда, он только зря волновался. Что за глупая привычка из мухи делать слона! Пока Эмильенна ела рыбу, Пьер и Анна прошли в гостиную. Обычно они обедали там за круглым столом у окна, а примыкавшей к этой комна-

те столовой со времени болезни Эмильенны не пользовались. Шесть стульев с высокими спинками, обитых рыжеватой кожей, стояли вдоль стены, напоминая о счастливых, безвозвратно прошедших временах.

Луиза на этот раз превзошла себя: запеченная в духовке дорада таяла во рту. Пьер выпил большой бокал сухого вина, подложил себе еще рыбы и сказал:

— Знаешь, Анна, я думаю, мне не стоит идти туда в пять часов. Я позвоню и скажусь больным.

— Ну нет! Кладье так старался устроить тебе это свидание в СЕПе. Ты не имеешь права, хотя бы из уважения к нему, отказываться в последнюю минуту. Тем более что тебе могут предложить что-нибудь весьма интересное.

— Ну, в этом-то я сомневаюсь.

— Разве можно знать заранее?

Пьер грустно улыбнулся. Вот уже полгода он тщетно искал работу. Никто не хотел брать человека его возраста. Последнее время он служил на половине оклада в Обществе организации и статистики, но оно закрылось. К счастью, у Эмильенны было немного денег, полученных в наследство от матери. На проценты с этого капитала, часть которого была вложена в акции, а другая — в доходный дом, они и жили. Да еще Анна в начале года получила прибавку.

— Знаешь, отец,— возобновила она разговор,— я считаю, что в последнее время ты совсем раскис. Нельзя же сидеть без всякого дела!

— Но понимаешь, моя милая,— сказал он мягко,— я человек уже конченый.

— Ты? Да ты в великолепной форме!

— Внешне, возможно... Но внутри... Я чувствую себя таким старым, усталым, изношенным... С тех пор, как заболела Эмильенна, мне уже ничего не хочется...

Ему доставляло странное удовольствие жаловаться дочери на свою жизнь. Он как бы раздевался перед ней, обнажал свои скрытые раны. Но у Анны это вызвало лишь раздражение.

— Прошу тебя, отец, не старайся быть несчастнее, чем ты есть! Я тоже беспокоюсь и тоже глубоко несчастна, но я стараюсь держать себя в руках...

— Ты молода.

— Тебе непременно надо пойти на это свидание.

— Ну хорошо, хорошо, я пойду...

Он подумал и нерешительно добавил:

— А как, ты думаешь, мне следует одеться?

— Вот так, как сейчас,— вполне хорошо. Да, кстати, я не буду сегодня ужинать дома.

Он посмотрел на нее с удивлением:

— Ты куда-то идешь?

— На концерт с друзьями.

— А кто же сделает укол Мили?

— Я буду дома, как всегда, в половине седьмого.— Она взглянула на свои часы и добавила: — Ну, я побежала.

— Ты не будешь есть фрукты? — спросил отец.

— Некогда!

Она вскочила — живая, стройная, как спущенная стальная пружина. Сколько энергии в этом хрупком теле!

— Анна, милая! — раздался из-за двери голос Эмильенны.— Поправь мне подушки!

■ ■ ■

— Именно этого я и боялся. Смехотворное предложение! Жалкие комиссионные! Если бы я еще имел какой-то опыт оптовой торговли бумагой! А то ведь все надо начинать сначала! Что бы они ни говорили, а это все равно что ходить по домам! Благодарю покорно, я отказался...

— И был прав,— сказала Эмильенна.

Анна, только что сделавшая укол матери, не одобрила его, но и не осудила. Конечно, он бы оказался в затруднительном положении, если бы ему предложили что-то приличное. Ничего он так не боялся, как перемен. Пусть лучше плохое статус-кво, чем соблазнительная авантюра. Его призвание — окружать заботами Мили. И как Анна не может этого понять? Но Анна поняла его. Она улыбнулась ему. Победа! Он подошел к дочери и поцеловал ее.

— Ты должен позвонить Клардье,— сказала она, убирая в коробку шприц.

— Ты считаешь, что это нужно?

— Необходимо. Ведь это он рекомендовал тебя в СЕП. Надо, по крайней мере, сообщить ему о результатах твоего визита.

— Ты права,— сказал он.— Я сделаю это завтра.

— А почему не сегодня вечером?

— Да вряд ли он будет дома.

— А ты попробуй.

Он повиновался. На другом конце провода контральто с испанским акцентом ответило, что ни мосье, ни мадам нет и что они не будут ужинать a la casa [1]. Пьер обрадовался этой отсрочке: разговор с Клардье предстоял щекотливый. Клардье принадлежал к той категории людей, которые стремятся оказывать услуги, даже когда их об этом не просят. Он будет упрекать Пьера, что тот не смог отстоять своих интересов, и пообещает поговорить на этот счет с генеральным директором СЕПа в течение ближайших двух дней или же предложит устроить ему свидание с тем или иным высокопоставленным лицом, у которого наверняка для него, Пьера, окажется место. Для Пьера это выльется в новые визиты, переговоры, ненужные увертки. А так — он вроде бы сделал все, что от него требовалось. И с сознанием собственной безупречности он спокойно вернулся к Эмильенне, которой Анна принесла на подносе ужин.

Накормив мать — все те же маленькие сандвичи из белого хлеба с ветчиной,— Анна пошла переодеваться. Когда она вернулась — причесанная, подкрашенная, в шерстяном сливового цвета платье, отделанном тонким шелковым шнуром того же цвета, на лице Эмильенны заиграла улыбка: ей было явно приятно, что дочь так выглядит.

— Ах, как я тебе завидую! — вздохнула она.— Если бы я могла пойти с тобой!..

Пьер быстро поужинал на кухне и, вернувшись, сел подле жены в кресло перед телевизором. Оба вскоре задремали — где-то в середине передачи о Рубенсе. Проснувшись первым, Пьер на цыпочках вышел, мигом умылся и надел чистую пижаму в синюю и белую полоску. Он только собрался нырнуть в постель, как Эмильенна открыла глаза, улыбнулась и пробормотала:

— Опять эта пижама!.. Надо будет сказать Луизе, чтобы она разрезала ее на тряпки — чистить металлическую посуду!..

— Чем тебе не нравится моя пижама?

— У тебя в ней вид каторжника из кинофильмов!

---

[1] Дома *(исп.)*.

— Тебе не нравится мой серый костюм, тебе не нравится моя полосатая пижама... Что же тебе нравится?

— Даже не знаю. Пожалуй, твоя кремовая пижама.

— Я берегу ее для особых случаев.

Она приподняла брови и спросила хрипловато-насмешливым тоном:

— Для каких особых случаев, Пьер?

— Если, например, мы с тобой отправимся путешествовать.

Он сказал это не подумав. И почувствовал, как у него сжало горло.

— Ты хочешь, чтобы я сменил пижаму? — поспешно спросил он.

— Да.

Он выполнил ее просьбу. У кремовой пижамы были слишком длинные рукава.

— Ты выглядишь бесподобно! — сказала она.

Он выключил телевизор и лег под одеяло. Сегодня Эмильенна казалась менее раздражительной, чем обычно. Может быть, потому, что они были вдвоем? Ничего не поймешь с этой болезнью — одни сплошные неожиданности!.. Пьер придвинулся к жене.

— Позволь мне обнять тебя,— прошептал он.— Вот так... Тихонько... Подержать хоть несколько минут... Так хорошо, когда мы вместе!..

Она прильнула к нему. До чего же она стала худенькая! Казалось, прижми ее чуть покрепче — и косточки хрустнут. Он обнял ее за плечи. Теплота ее тела волновала его. Ей было двадцать пять лет. И от волос ее все так же пахло чем-то пряным.

— Если бы ты знала, как я тебя люблю! — прошептал он.

И вдруг безмерная радость охватила его: она выздоровеет! Конечно, выздоровеет, уж он-то знает это лучше, чем кто-либо. Вопреки всем доводам разума.

Она слегка шевельнулась, высвобождаясь из его объятий. И прошептала:

— Пьер, я хотела тебе сказать... Ты ворочаешься ночью, храпишь... Это неудивительно, когда у человека крупный нос... А мне так нужен отдых!.. Нам лучше бы спать отдельно...

Он не ожидал такого поворота и на минуту оторопел. Потом почувствовал обиду: за что же так его наказывать!

— Спать без тебя...— сбивчиво проговорил он.— Но... но это же невозможно!

— Только пока я больна.

— Понимаешь ли ты, чего ты от меня требуешь?

— Да, Пьер. Но надо быть благоразумным.

— Ну ладно, тогда я устроюсь подле тебя в кресле или в шезлонге...

— Нет, все равно я буду слышать твой храп.

— Так куда же ты хочешь, чтобы я ушел?

— В маленькую комнату. Там тебе будет удобно, и ты сможешь читать сколько захочешь.

Эта каморка в глубине квартиры уже давно служила кладовой. Туда складывали чемоданы, картонки, набитые бумагами, ненужные книги, старые журналы.

— Но это же нелепо! — возразил он.— Я буду так далеко от тебя! Лучше я буду спать на диване в гостиной.

— Как хочешь,— сказала она.

Он стиснул зубы. Его изгоняли, высылали. Такая немилость после стольких лет любви! Ему стало жаль себя до сл[illegible] Вся жизнь сразу показалась сплошною цепью неудач. Вот бы умереть ему сейчас, здесь, вместо жены. Никто о нем не заботится, никого не интересует

ни его здоровье, ни настроение. И вдруг не она, а он уходит из жизни. Он вздохнул и сказал:

— Ты хочешь, чтобы я перешел туда сейчас же?

— Нет,— сказала она,— завтра.

Он подумал, что завтра она еще может переменить решение. Эта мысль успокоила его. Вот если бы ему удалось не храпеть ночью... Говорят, для этого надо спать на боку. И он осторожно повернулся на левый бок. Неудобно! Но чего бы он не вынес ради Эмильенны!

— Спокойной ночи, дорогая,— сказал он.

Вскоре он заснул, уверенный, что достаточно захотеть — и ты превратишься в бестелесное, молчаливое существо.

■

Анну задержали на работе, и когда она, как ураган, ворвалась домой, было уже семь часов и Луиза собиралась уходить. К счастью, все было готово: жареная телятина с морковью томилась на маленьком огне, яблочный пирог, посыпанный сахарной пудрой, лежал на круглом блюде, стол был накрыт в столовой на троих — как условились: о том, чтобы Эмильенна встала, не могло быть и речи. Она плохо чувствовала себя ночью и с утра жаловалась на тупые боли в правом боку. Доктор Морэн, приходивший в полдень, предписал еще один укол. Может, следовало бы отменить приглашение на ужин? Нет, уже поздно. Анна прошла к матери. Ввалившиеся щеки, заостренный нос... Казалось, больная спала. Но услышав шаги дочери, она тотчас открыла глаза и прошептала:

— Я не хочу видеть Марка.

— Ты и не увидишь его, Мили, обещаю тебе,— сказала Анна.— Мы быстро поужинаем, и он уйдет.

— Скажи ему, что я повидаюсь с ним на будущей неделе.

— Ну, конечно, конечно... К чему спешить — времени у нас сколько угодно! Я принесу тебе сандвичи.

— Нет... Даже думать о еде не могу — тошнит... Этот гепатит — такая гадость!.. Наверно, я вчера съела что-то и печень взбунтовалась... И эти кухонные запахи! Хоть бы ты проветривала почаще... А где твой отец?

— Должно быть, пошел в книжный магазин Коломбье.

— Странно! Он почему-то взял себе за правило уходить, не предупредив меня!

Не успела она это произнести, как Пьер вернулся с двумя бутылками «божоле».

— У нас дома оказалось только простое столовое вино,— объяснил он.

Эмильенна сразу успокоилась и снова закрыла глаза. В дверь позвонили. Анна пошла открыть — на площадке стояла привратница.

— Я по поводу вашей комнаты для прислуги. Вы, кажется, сдали ее какому-то студенту. Так вот теперь их там десять человек. Только и шныряют мимо! Будто общежитие устроили! Кто-то даже спит в коридоре на полу. Соседи жалуются. Мне не хочется говорить об этом управляющему домом...

— Спасибо, что предупредили,— сказала Анна.

Пьер, вышедший в прихожую во время этого разговора, пробормотал:

— Этого еще не хватало! Он же выглядел вполне прилично, этот студент. Что мы теперь будем делать?

— Я сейчас же поднимусь и поговорю с ним!

— А Марк?
— Он придет не раньше восьми.
— Но этот разговор можно отложить и до завтра...
— Нет, папа.

На черной лестнице стоял ледяной холод. На седьмом этаже, как всегда, когда Анна туда поднималась, ее неприятно поразили обшарпанные стены коридора, в который выходили комнаты прислуги. Из благопристойного, комфортабельного мира вы без всякого перехода вдруг попадали в зону удручающей нищеты. Анна остановилась у комнаты под номером 11. За дверью гудели голоса. Она постучала. Дверь открыла высокая девушка — белокурые ее волосы прямыми прядями свисали вдоль щек. Розовый махровый халатик обтягивал большой живот. Беременная — должно быть, месяцев восемь. Позади нее на стуле сидел согнувшись чернявый парень. Длинноволосый, с квадратным лицом. Анна, никогда ранее не видевшая ни парня, ни девушки, спросила сухо:

— А где мосье Жан Ломбар?
— Он вам зачем? — спросил парень, медленно поднимаясь со стула.
— Я владелица этой комнаты, мосье.
— Ах, вот что. Жан уехал.
— Когда же?
— Да уже порядочно.
— А когда он вернется?
— Не знаю.
— А кто вы такой?
— Лоран Версье. А это — Ингрид. Она шведка. Ни слова не говорит по-французски.

Девушка улыбнулась и закивала головой с несколько тяжеловатой грацией. Она стояла, свесив руки вдоль живота.

— А что вы здесь делаете, мосье? — спросила Анна.
— Мы друзья Жана,— ответил Лоран Версье.
— Но эту комнату я сдала ему, а не вам.
— Я знаю. Но Жан уехал внезапно. И сказал, что мы можем обосноваться тут вместо него. Ну, конечно, мне следовало предупредить вас. Я все ждал, когда у меня будет немного денег... Ну да, чтобы уплатить вам. Теперь это уже вопрос нескольких дней...

Он говорил мягко, не сводя с Анны взгляда. Адамово яблоко поднималось и опускалось на плохо выбритой шее.

— Мне сказали, что вы укладываете своих приятелей спать в коридоре,— заметила она.
— Ну, это было всего один раз!
— Но соседи пожаловались. А сколько вас в этой комнате?
— Трое. Ингрид, ее муж и я.

Она недоуменно уставилась на него.

— Но... как же... как же вы устраиваетесь?
— Прекрасно... как в кэмпинге.

Она окинула комнату беглым взглядом. Три метра на два. Железная койка, умывальник в углу, электрический рефлектор, одноконфорочная газовая плитка. С потолка свешивалась голая электрическая лампочка. Анне стало не по себе.

— Нет, с этим надо кончать! — сказала она, преодолевая душевное смятение.— Вы поселились здесь, ни у кого не спросясь. Мои родители и я — мы не имеем права держать у себя людей, о которых ровным счетом ничего не знаем.

Она излагала довод за доводом, словно желая убедить самое себя в обоснованности столь жесткой позиции. Шведка с большим живо-

том смотрела на нее пустым взглядом. Красивая и вялая, как нетельная корова.

Лоран Версье молча вытащил из заднего кармана брюк документы и протянул их Анне. Помятый кусочек картона с фотографией в углу. Анна машинально прочитала фамилию и дату рождения. Ему было двадцать три года. И вдруг она почувствовала себя в положении шпика. Облава. Допрос. На что существуете? От стыда у нее даже загудело в ушах. Она вернула документы парню, и тот снова положил их в карман.

— Хорошо,— сказал он.— Вы правы. Мы переберемся отсюда.

— Куда?

— Не знаю.

— Она в положении,— заметила уже гораздо мягче Анна.— Я не могу вышвырнуть ее на улицу. Оставайтесь, пока не найдете комнаты.

— Спасибо, мадам. Так или иначе Ингрид и ее муж все равно скоро вернутся в Швецию. Она хочет родить там. Что до меня, то если вы возьмете меня постояльцем вместо Жана...

Она не успела ответить. Рядом возник белокурый бородатый гигант, широкоплечий, с узкими бедрами. В руке он держал батон хлеба.

— А вот и Гуннар! — воскликнул Лоран Версье.

Анна вышла из комнаты и рядом с дверью, в коридоре, увидела картонную коробку, из которой вываливался мусор.

— Во всяком случае, прошу вас немедленно убрать это! Завалили весь проход отбросами! Возмутительно!..

Спускаясь по лестнице, она и сама не знала, хвалить себя или злиться.

Марк пришел, пока ее не было. Она рассеянно поцеловала его. Они с Пьером потягивали сухое вино в гостиной. Бокал для Анны стоял на маленьком столике. Она поспешно поднесла его к губам.

— Оказывается, Мили неважно себя сегодня чувствует,— заметил Марк.

— Нет,— возразила Анна,— вовсе нет.

— Она переутомилась вчера,— печальным тоном проговорил Пьер.— И теперь спит. Я не решаюсь ее будить...

— Как жаль,— сказал Марк.— Мне так хотелось бы ее увидеть.

— Кстати, Анна, как там обошлось наверху? — осведомился Пьер.

— Отлично,— сказала она.— Привратница все раздула. Наш постоялец один только раз пригласил к себе гостей!

Они сели за стол. Анну поразила необычная возбужденность отца. Любая фраза Марка вызывала у него восторженный отклик. Казалось, он готов был без конца слушать своего бывшего зятя, словно хотел, чтобы дочь увидела его в наиболее выгодном свете.

— Ну, как Канада?.. Нет? Не может быть!.. Ты слышишь, Анна? А как твоя работа?..

Ей неприятна была его назойливость. Неужели он забыл, чем для нее был Марк? Несколько раз ей хотелось мягко одернуть отца. Но потом она подумала: «Я так критиковала маму, а ведь сама становлюсь похожей на нее!» Она отнесла грязные тарелки на кухню и вернулась с пирогом. Марк рассказывал Пьеру, что по его предложению фирма, где он работает, намерена попытаться завоевать рынки Востока для своей продукции — статических конверторов и блоков управления. Подавленный множеством технических деталей, Пьер машинально кивал головой и бормотал:

— Да, да... Надо же!..

Анна тоже делала вид, будто интересуется делами Марка, но мысли ее упорно возвращались на верхний этаж. Она думала о бере-

менной шведке, ее муже и приятеле. Какая холодина у них в комнате! И к тому же они наверняка голодают. А может быть, даже принимают наркотики? «Это меня не касается»,— неожиданно решила она.

— Какой изумительный сладкий пирог! — сказал Марк.— Это ты испекла?

— Нет, Луиза.

— Как? Она до сих пор у вас? Невероятно!

Пьер разливал вино. Щеки у него порозовели, глаза сверкали. Анна спрашивала себя, зачем ей понадобилось звать Марка. Когда она была замужем, они по традиции всегда ужинали в субботу у ее родителей. Те же стулья, те же тарелки с голубым узором на стенах, тот же пирог. Она все помнила и ни о чем не жалела. Нет, жалела, что за столом нет Мили с ее лучистым взглядом — Мили, которая так любила принимать гостей...

— Знаете вы что-нибудь о Клардье? — спросил Марк.

— Да,— ответил Пьер,— но с тех пор, как заболела Мили, мы с ними больше не встречаемся. И все же Шарль оказался отличным малым: рекомендовал меня на работу в СЕП. Но из этого ничего не получилось.

— Почему?

— Неинтересно — ни в денежном, ни в ином отношении! Ах, как же это непросто! Вот уже полгода я ищу место... Никто не хочет брать человека моего возраста!..

Анна, поджав губы, встала и прошла в комнату матери. Эмильенна лежала на спине, вытянув вдоль тела руки. Дышала она прерывисто, с трудом, Анна дотронулась до ее плеча. Больная приоткрыла глаза и прошептала:

— Он еще здесь?

— Да, Мили. Тебе ничего не нужно?

— Нет. Иди, иди, моя милая...

Анна вернулась в столовую и подала кофе мужчинам, которых теперь занимал вопрос о плюсах и минусах снижения пенсионного возраста.

■ ■ ■

Пьер лежал на диване в гостиной; просмотрев все крупные заголовки в газете, он сложил ее и задумался: интересно, почему Анна порвала с Марком? Такой веселый, живой и умный малый! Может быть, она к нему еще вернется? Ведь не зря же она пригласила его сегодня! Но что у нее там в голове — ничочем не узнаешь. Диван этот, конечно, жестковат. Но одиночество имеет и свою положительную сторону. Полная свобода движений! Он мог вставать, ходить, читать в свое удовольствие. Лампа под большим абажуром из пергамента освещала его любимую старую мебель. Он вдруг почувствовал себя холостяком. И по его телу пробежал холодок. «Мили! Мили!» — тяжело вздохнул он. И снова принялся за газету.

■

— Когда он опять придет? — спросила Эмильенна.

— Не знаю,— ответила Анна.— Мы об этом не говорили.

— Мне так хотелось посидеть вчера с вами за столом! Но я была не причесана, выглядела ужасно, он просто сбежал бы!

Она явно забыла, что Марк приходил на ужин неделю назад. Она все больше и больше путала даты.

— В следующий раз, когда он придет...— сказала она усталым голосом. И, не закончив фразы, погрузилась в сон.

Она редко засыпала вот так — утром, вскоре после первого укола. А ведь она хорошо позавтракала и ни на что не жаловалась, когда ее приводили в порядок. Пьер ушел в гостиную читать газету. Анна укрыла мать и, поскольку на сердце у нее было неспокойно, присела возле кровати. Ничего не поделаешь: придется опоздать немного на работу. Теперь, при ее положении, никто уже и не требует, чтобы она приходила вовремя. Она отбросила прядь волос со лба больной.

— Как приятно чувствовать твою руку на лбу! — прошептала Эмильенна, не открывая глаз.— А Марку понравился галстук, который ты ему подарила?

«Какой галстук?» — подумала Анна. Должно быть, Эмильенна, потеряв ощущение времени, вспомнила какой-то из дней рождения в далеком прошлом.

— Да, Мили,— сказала Анна.— А теперь спи...

— Какой красивый галстук! Мы ведь его вместе выбирали, правда?

— Да.

Почему мать так упорно говорит с ней о Марке? «Мили уже ничего не соображает... Неужели мой брак оставил в ней более глубокий след, чем во мне?.. Вообще-то она очень любила Марка... Все любили Марка... И я тоже». Анна улыбнулась и вздохнула. Этот брак — какое жалкое недоразумение! С самого начала, вопреки очевидному, Марк видел в ней лишь капризное, хрупкое создание. А она совершенно другая. Его попытки обращаться с женой как со слабым, пленительным существом вызывали у нее ожесточенное сопротивление. Она чувствовала, как день ото дня между нею и мужем углубляется непонимание — не помогали сгладить его и ночные ласки, ибо интимная жизнь складывалась у них не очень удачно. Марк обожал путешествия, а для нее всякая перемена мест была пыткой; он расцветал в обществе, тогда как она больше всего любила одиночество; он стремился добиться повышения по службе, чтобы избавить ее от необходимости работать, а она все больше привязывалась к своей профессии. Но могло ли все это оправдать разрыв? Однажды утром она проснулась, твердо убежденная, что с этим недоразумением пора кончать и надо как можно скорее расставаться с Марком. Никто тогда не мог понять ее решения: ни Марк, ни их друзья, ни ее родители. Разве что мать. Когда Анна сообщила ей о своем намерении, Эмильенна сказала лишь: «Я ожидала этого, дорогая. Уже давно вы с Марком шагаете не в ногу». Анна вспомнила эту фразу слово в слово и сопровождавший ее грустный и умный взгляд. После развода она могла бы обосноваться в однокомнатной квартирке и вести независимую жизнь. Но такая мысль даже не пришла ей в голову. Как приятно было вновь обрести милые семейные привычки! Настоящая семья ее была не той, которую она временно создала с Марком,— с самого раннего возраста ее семьей была мать. Она чувствовала большую нежность и тягу к Мили. О, эти их сбивчивые, бесконечные разговоры, горячие споры, умение с полуслова понять друг друга! У них были свои словечки, тайный код улыбок и взглядов, которых не знал даже Пьер, несмотря на все его старания. Порой обмен репликами между матерью и дочерью ставил его в тупик, и, чувствуя, что его намеренно оставляют в стороне, Пьер замыкался в себя, настораживался. Мили царила в доме с неоспоримостью суверена, всем управляла и все решала сама. И Анна, сама себе не признаваясь, с удовольствием подчинялась ей. Собственно, подчинение это не столько шло от ума, сколько объяснялось поразительным обаянием матери. Анна и Марка-то покинула в основном

потому, что хотела вернуться под крылышко Мили. Теперь она потеряла и мужа и мать: Марк стал ей совсем чужим, а мать — с каждым биением сердца все больше удалялась от них. Нет, нет, это невозможно. Мили не может сдаться... Анна встала.

— Ты уходишь? — пролепетала Мили.

— Уже десять минут десятого!

— Марк ждет тебя в машине?

— Да нет же, Мили,— с внезапным раздражением проговорила Анна,— ты прекрасно знаешь, что у нас с Марком все кончено!

— Ах, верно... Но ты не очень несчастлива?

— Отчего я должна быть несчастлива?

— Не знаю... Одинокая женщина... Где твой отец?

— Читает газету.

— А Луиза занимается уборкой?

— Да.

— Ну хорошо. Тогда я могу спать...

— Да, конечно, Мили, спи.

Эмильенна вздохнула:

— Какая тоска!.. На будущей неделе непременно схожу в парикмахерскую...

Раздался звонок. Спустя минуту из-за двери донесся голос Луизы:

— Мадемуазель! Мадемуазель! Вас хочет видеть какой-то мосье. Кажется, что-то срочное.

Анна в который раз подумала: почему Луиза так упорно продолжает называть ее «мадемуазель». Бросив последний взгляд на задремавшую мать, она на цыпочках вышла из спальни и прошла к Луизе на кухню. В дверях черной лестницы стоял Лоран Версье.

— Вы не могли бы подняться взглянуть на Ингрид? — спросил он.— Что-то с ней неладно! Мы с Гуннаром не знаем, что делать. У нее сильные боли в животе, и она плачет! А привратницы нет!

Анна сразу решила, что у шведки, наверно, начались роды. И она вслед за Лораном поднялась по лестнице.

Ингрид лежала на спине и, обеими руками сжимая живот, стонала. В расширенных зрачках застыл животный страх. Гуннар, стоя рядом, машинально поглаживал ей лоб. Анна попросила мужчин выйти и, как только дверь за ними закрылась, отбросила одеяло. Большое пятно крови расплылось по простыне.

— У нее кровотечение,— сказала Анна, выйдя из комнаты.— Это может плохо кончиться. У вас нет врача?

— Нет,— сказал Лоран.

— Тогда пойдемте со мной!

Она побежала вниз, Лоран — за ней. Звук их шагов гулко отдавался на лестнице. Лоран стоял подле нее, когда она из гостиной звонила по телефону. К счастью, доктор Морэн оказался на месте. Он попросил объяснить, в чем дело, и сказал, что молодую женщину надо немедленно отправить в ближайший родильный дом на бульваре Пор-Руайяль.

— Я приеду и осмотрю ее там,— сказал он.— А вы пока вызовите «скорую помощь».

Едва она повесила трубку, как подошел отец — узнать, в чем дело. Анна, с трудом сдерживая раздражение, представила ему Лорана и в нескольких словах рассказала о случившемся. Пьер совсем растерялся и взглядом вопрошал дочь, как же быть.

— Вот беда-то! — бормотал он.— Но вы можете вполне положиться на доктора Морэна.

Тем временем Анна набрала номер «скорой помощи». Естествен-

но, Лоран и Гуннар ничего в этом не смыслят и не способны помочь женщине в таком положении. Поэтому сопровождать шведку в больницу придется ей. А мужчины подъедут потом. Она сказала об этом Лорану, и он согласился.

— А как же твоя работа? — робко вмешался Пьер.— Может быть, мне позвонить и предупредить, что ты задержишься?

— Не нужно,— сказала она лаконично.— У меня на утро ничего не назначено.

— Но ты вернешься к обеду?

— Конечно!

«Скорая помощь» уже подъехала. Два санитара спустили Ингрид на носилках с седьмого этажа. Анна села с ней в машину. Улица оказалась забитой. Машина с трудом продвигалась вперед. Шофер без конца сигналил. Сидя возле шведки, Анна время от времени улыбалась, чтобы подбодрить молодую женщину. У нее было такое ощущение, что ее жизнь покинула привычное русло и теперь течет где-то параллельным курсом по незнакомой местности. Какая игра случая заставила ее покинуть изголовье матери и очутиться у изголовья этой незнакомки? Или ее удел — вечно ухаживать за больными? За матовыми стеклами машины гудел город. Ингрид пошевелила ногами под шерстяным коричневым одеялом. Лицо ее исказилось от боли. Зубы стучали. Анна взяла ее за руку. Она видела, как страдает эта крупная белокурая женщина, но жалости к ней не испытывала. Машина переехала через канал, замедлила ход, остановилась; дверцы отворились, и волна холодного воздуха обдала Анну.

Люди в белых халатах унесли шведку. Анна внезапно осталась одна. Направляясь к воротам, она увидела Лорана и Гуннара, спешивших ей навстречу. Как быстро они добрались! Она, правда, потратила некоторое время на выполнение формальностей.

— Ну, как дела? — спросил Лоран.

— Ею уже занялись,— ответила Анна.

— А, ну хорошо. Не знаю, что бы мы без вас делали. Мы с ним останемся здесь, чтобы быть в курсе.

Гуннар в знак подтверждения мотнул бородой. Анна оставила их посреди двора, жалких и растерянных.

Как только она появилась на работе, к ней кинулись оба художника — Брюно и Каролюс. Господин Куртуа пожелал взглянуть на макеты обложек для Гойи. Они ему не понравились, и он потребовал срочно представить новые варианты. Брюно и Каролюс набросали кое-что и ждали прихода Анны. Она посмотрела и нашла новые макеты безобразными. Придется «переосмыслить задачу», следуя любимому выражению господина Куртуа. Она оставила художников работать и закрылась в своем застекленном кабинетике, чтобы, в свою очередь, поискать решение. Ее карандаш летал по бумаге. Она пробовала вариант за вариантом — по-разному располагала буквы, меняла их величину, передвигала портрет Гойи. За это время раз двадцать звонил телефон, прерывая ее работу. Наступил полдень, а она так и не нашла ничего оригинального.

Домой она отправилась, как всегда, пешком и застала мать еще более обессиленной и взвинченной, чем утром. Укол. Затем обед на скорую руку. И снова — светлый кабинетик, где она исчерчивала листок за листком, в то время как художники ходили туда-сюда за стеклянной стенкой. Наконец она придумала нечто приемлемое. Отдала эскиз Брюно и стояла за его спиной, пока он делал макет обложки в натуральную величину. Господин Куртуа, так ничего и не дождавшись, явился сам в мастерскую и тоже склонился над чертежной доской. На этот раз его приговор был положительным. Стали обсуждать краски.

Тут снова победила точка зрения Анны: в издательстве с ее мнением явно все больше и больше считались. Она удивилась, почувствовав, что эта маленькая профессиональная удача радует ее. Как будто она услышала приятную новость, изменившую ей настроение на целый день.

Выйдя с работы, она заглянула к «Старине Жоржу» и выпила бокал «мюскаде» у стойки. Дома Мили дремала, Пьер у ее изголовья листал «Исторический справочник улиц Парижа», а Луиза собиралась уходить.

— Не появлялся наш новый жилец в мое отсутствие? — спросила Анна.

— Нет,— ответил Пьер.— А что?

— Мне интересно было бы знать, как там эта молодая женщина.

Она поднялась на седьмой этаж и постучала в дверь под номером 11. Открыл Лоран.

— Ну как? — спросила Анна.

— Да неважно,— сказал он.— Пришлось сделать кесарево сечение. Ребенок родился мертвым.

Анна посмотрела на Гуннара, который с унылым видом стоял в глубине. Он беспомощно развел руками.

— Ужасно! — сказала она.

— Ну, в их положении, может, так оно и лучше,— буркнул Лоран.

— А она... она-то как?

— Ничего. Как только она поправится, они уедут домой.

Кровать была застелена. Анна резким движением откинула одеяло — под ним оказалась запачканная кровью простыня.

— Это надо снять,— сказала она.

— Мы как раз собирались.

Анна содрала с постели обе простыни, свернула их в комок и положила в угол на пол.

— Тут недалеко автоматическая прачечная,— сказала она.

— Да, да, я знаю...

— Есть у вас простыни на смену?

— Нет... но это не обязательно.

— Я одолжу вам пару простынь. Пойдемте.

Лоран пошел с ней. Она оставила его на кухне, а сама отправилась искать простыни в бельевом шкафу. Когда она вернулась, он стоял, прислонившись к стене, скрестив на груди руки. Анна достала бутылку сухого вина и два бокала: вдруг ужасно захотелось пить!

— Нет, спасибо,— сказал он.— Я не пью вина.

Она посмотрела на него с любопытством.

— Вы что же — аскет?

— Да нет. Но у каждого свои вкусы. Я бы лучше выпил воды.

— Можете вообще ничего не пить, если не хотите.

— Но я люблю воду,— возразил он.

Анна открыла холодильник и достала бутылку минеральной воды. Она всегда держала несколько бутылок про запас для матери.

— Ах, нет, только не эту мертвечину! — воскликнул он.

Он взял у нее бокал, наполнил под краном и поставил рядом с бокалом сухого вина. Анна толкнула дверцу холодильника, и он захлопнулся мягко и плотно, причмокнув резиной. Они выпили одновременно, она — вино, он — воду. Она хотела было спросить, как они теперь собираются питаться там, наверху: ведь обычно готовила, наверно, Ингрид. Но удержалась, не спросила. Собственно, почему он стоит здесь — между холодильником и кухонным столом? Надо было пригласить его в гостиную. Но теперь уже поздно.

— Вы живете с отцом? — внезапно спросил он.

— Да, и с матерью.— И, помолчав немного, она добавила:— Моя мать тяжело больна.

Напрасно она это сказала. Теперь он сочтет необходимым расспрашивать ее. Но он молчал. Быть может, не расслышал, что она сказала? Она налила себе второй бокал. А он продолжал стоять, переминаясь с ноги на ногу. Невысокий, с острыми чертами лица, худобу которого лишь подчеркивал яркий свет, падавший с потолка.

— Вы работаете? — спросил он наконец.

— Да,— ответила она.— А вы?

— Я? Я перепробовал три дюжины профессий. А сейчас устроил себе передышку... Подыскиваю что-нибудь... Не спеша... Я из тех, кого называют неудачниками...

— Вы не учились после школы?

— Учился. Год в Школе декоративного искусства...

— Так вы рисуете?

— Как курица лапой.

Она улыбнулась.

— А почему бы вам не попробовать рисовать для рекламы?

— Надо будет подумать. А что делаете вы?

— Я работаю в одном издательстве, в отделе оформления книг.

— В каком издательстве?

— «Гастель».

— А, вот как... А ваш отец?

— Он, можно сказать, отошел от дел...

— Мечта моей жизни! — воскликнул он, широко разведя руками. И тотчас посерьезнев, добавил: — Через несколько дней я, наверно, вернусь в тот гараж, где я работал мойщиком машин... Там у меня еще остался один приятель...

В кухню вошел Пьер с книгой под мышкой.

— А, ты здесь, Анна,— сказал он.— Я не слышал, как ты вернулась.

С Лораном он поздоровался наклоном головы. Тот не спеша выпрямился. Рука Пьера потянулась к бутылке. Наливая вино в бокал, он осведомился, как чувствует себя «эта молодая женщина, которую увезли на «скорой помощи». Узнав, что́ произошло, он вздохнул и покачал головой. Потом сказал:

— А вы знаете, что родильный дом, куда вы ездили сегодня утром, не что иное, как бывшее аббатство Пор-Руайяль, где настоятельницей была мать Анжелика Арно?.. Во время революции там сидели в заточении Малерб, мадемуазель де Сомрёй, Флориан...

Он умолк и маленькими глотками принялся пить вино. Лоран взял простыни и направился к двери. Анна вышла с ним на площадку и постояла, глядя ему вслед, а он стремительно побежал вверх, перепрыгивая через ступеньки. Затем она поспешила к Мили, которой уже явно надоело лежать одной.

— Уже поздно... Куда вы все запропастились? Я хочу апельсинового сока...

■

Анна закрыла дверь квартиры и пошла вниз по лестнице, держась за перила, низко свесив голову. Заботы неотступно следовали за ней ступенька за ступенькой. Со вчерашнего дня добавили еще один укол. Теперь уже пять в день. Оглушенная морфием, мать большую часть дня дремала. Ее раздражительность, частая смена настроения уступили место полному безразличию. И по мере того, как морфий убивал в ней

личность, в доме наступала тишина. В спальне была уже не истерзанная болью, измученная, требовательная женщина, а безвольный манекен, который можно было поворачивать, мыть, колоть в строго установленные часы. Сознавала ли Мили, что это — предвестие скорого конца? Вот если бы она могла как-нибудь вечером мирно заснуть и больше не проснуться! Эта мысль на минуту вывела Анну из состояния равновесия, точно она оступилась. А ведь пора было бы признать неизбежное. На этой стадии болезни надеяться уже не на что — надо лишь желать матери спокойной смерти. Хорошо бы все время быть подле нее. Или, по крайней мере, забегать несколько раз в день... Сколько времени еще будет длиться эта страшная борьба за жизнь?

Когда Анна проходила мимо помещения привратницы, та вдруг возникла на пороге и громогласно объявила:

— А, мадам Предайль! Ваш жилец выехал сегодня утром. И попросил меня передать вам это!

Анна взяла из рук привратницы сверток, письмо и ключ. Кончиком ногтя она проткнула сверток — показался кусочек белой ткани: простыни. Она сунула ключ и письмо в сумку.

— Можно оставить у вас сверток? — сказала она.— Я заберу его, когда вернусь с работы. А как его друзья? Они тоже съехали?

— Шведы? — переспросила привратница.— Да они уже больше недели как убрались! Подумать только, несчастная женщина!..

Анна не стала слушать ее причитания и выскочила на улицу. На работе повседневные дела так закрутили ее, что не оставалось ни минуты подумать о чем-либо постороннем. В одиннадцать часов ее вызвал господин Куртуа и сообщил о решении выпустить полное собрание сочинений Оскара Уайльда. Ему хотелось, чтобы это было сенсационное издание. Анна записала все его пожелания.

Марк пригласил ее пообедать. Она зашла домой, чтобы обиходить мать, и затем встретилась с ним в маленьком ресторанчике на улице Сен-Бенуа. Около сорока человек сидело в темном зальце, пропитанном запахом жарящегося на углях мяса. Марк был в ударе. Он рассказывал о своей работе, своих проектах... На этот раз Анна слушала его с интересом. Тогда, у них дома, за ужином, он раздражал ее, а теперь, на нейтральной почве, она получала удовольствие от его общества. Внезапно она услышала:

— Не знаю, что со мной происходит, Анна, но каждая минута моей жизни связана с тобой. Сто раз в течение дня мне хочется спросить твое мнение, рассказать тебе о моих заботах. В Канаде, когда ты была далеко, мне казалось, что между нами все порвано, кончено... Но здесь... Ах, Анна, если бы ты могла понять...

— Я понимаю, Марк,— сказала она.— Мне тоже приятно с тобой. Но это вызвано дружбой, доверием к тебе. Нельзя приказать прошлому вернуться...

Он грустно улыбнулся.

— Ты права... И все же, Анна, Анна...

— Расскажи мне лучше о своей работе,— сказала она.

Эти легкие вспышки нежности, подумала она, делают их встречи еще приятнее. Ей было хорошо в этом тесном ресторане с человеком, который стал для нее теперь просто другом, его неусыпное внимание льстило ей. Он отвез ее на работу в своей машине. На столе у нее лежала гора писем. И она вдруг вспомнила о письме Лорана, которое с утра носила в сумке. Дел было столько, что она не успела его прочесть. Анна распечатала конверт. Лист обычной бумаги был исписан нервным почерком, сползавшим в конце строк книзу:

«Меня глубоко тронуло то, что Вы сделали для моих друзей и меня. И мне хотелось рассчитаться с Вами за квартиру до отъезда,

но не могу. Сделаю это позднее. Если Вы не против, чтобы я жил у Вас наверху,— напишите мне об этом. Мы с Вами мало общались, но я почувствовал в Вас такой ум, такую чуткость, что не перестаю думать о Вас...»

В углу был нацарапан адрес: *Экс-ан-Прованс, бульвар Республики.*

Анна сложила листок и убрала его в сумку. Почему он вдруг уехал? Почему написал письмо? Почему оставил свой адрес? Зазвонил телефон: господин Куртуа выражал удивление, почему ее нет на совещании по рекламе.

Вечером, возвратившись домой, она вдруг решила посмотреть, совсем ли Лоран съехал. Ей зачем-то непременно понадобилось убедиться в этом самой. Она поднялась на седьмой этаж. Комната была в полном порядке. Матрас на железной койке свернут, в шкафу — пусто, пол подметен. На стене висел план метро, прикрепленный кнопками. Анна не заметила его в прошлый раз. Стекло в мансардном окне было черное от копоти и пыли. Из-за стены доносился чей-то голос. Было холодно и сыро. Голая лампочка, свисавшая на проводе с потолка, освещала все ровным белым светом. Анна стояла опустив руки, забыв обо всем. Ее завораживала эта пустота. Она могла бы сейчас сказать, какого цвета были брюки на Лоране, когда она увидела его в первый раз. Из грубого синего полинявшего полотна, с заплатами на коленях. Длинные блестящие волосы теплого каштанового цвета обрамляли его мужественное лицо с тяжелой челюстью и мясистыми губами. В глазах поблескивали золотистые искорки.

■

Всякий раз, когда Пьер принимал какое-либо решение, не посоветовавшись с женой или с дочерью, у него бывал виноватый вид.

— Тебя не было дома,— оправдывался он,— а Мили спала... Я был застигнут врасплох... К тому же он вел себя очень корректно... Хотя я ничего у него не просил, он заплатил мне за предыдущего жильца... И попросил ключ от комнаты... Я дал ему... Я думаю, я правильно поступил, да?

— Ну, конечно,— сказала Анна.— Раз он уплатил долг...

За три недели, прошедшие после отъезда Лорана, она привыкла к мысли, что он уже не вернется. Она даже подумывала сдать комнату студенту, которого рекомендовала привратница.

— Надеюсь, что он один,— добавила она.

— Вот ведь глупость, я и не спросил его об этом!

— Неважно, папа.

Она выпила, как всегда, стакан сухого вина на кухне. В доме вдруг снова стал существовать седьмой этаж. Там находилось нечто дружелюбное, теплое и таинственное. Обиходив Мили и поужинав сама, Анна присела с отцом у телевизора. Пьер, держа руку жены, постепенно погружался в дремоту, убаюкиваемый мельканием лошадей в ковбойском фильме. Мили спала, хрипло дыша, втягивала запавшие щеки. Анна пыталась решить в уме одну служебную проблему. Ей надо было завтра представить господину Куртуа эффектный эскиз рекламы собрания сочинений Оскара Уайльда. Эскиз Каролюса был неплох, но... Она взялась за вышивание. Иголка скользила взад и вперед, создавая стежок за стежком блеклые контуры цветка.

■ ■ ■

Большинство помещений были уже пусты, когда Анна вышла из своего кабинетика с Каролюсом и Брюно. Мимо по коридору прошла уборщица, волоча мусорную корзину, до краев набитую бумагами. Ули-

цу Сервандони окутывал туман. Уличные фонари отражались в блестящих капотах стоявших вдоль тротуара машин. На противоположной стороне улицы среди снующих теней прохожих виднелся неподвижный силуэт. Анна узнала Лорана. Он медленно пересек проезжую часть улицы. Она быстро распрощалась со своими сотрудниками и повернулась к нему.

— Добрый вечер,— пробасил он.— Поздненько вы задерживаетесь... Значит, вот вы где работаете... Ничего себе махина!..

— Да, довольно большое издательство,— сказала она.

— И что же вы издаете? Романы?

— Нет. Больше — книги о путешествиях, труды по истории, классику... Выпускаем также много книг для детей...

Они шли к площади Сен-Сюльпис. Лоран шагал молча, глядя себе под ноги. Вдруг он спросил:

— Вы не сердитесь, что я снова занял вашу комнату?

— Нет, почему же!

— Это могло вас не устраивать...

— Я тогда бы так и сказала.

— Я надеялся, что вы ответите на мое письмо.

Она солгала:

— Я не думала, что нужен ответ.

Они прошли еще немного, не пытаясь даже поддерживать разговор. Потом Лоран предложил Анне зайти в кафе. Они сели за столик, и перед ней, не успела она опомниться, появился бокал сухого вина. Он заказал себе томатный сок, но не пил его. Сидел напротив, скрестив на груди руки, и глядел на нее. Молча. Не выдержав, она прервала молчание.

— Почему вы так внезапно уехали? — спросила она.

— У меня все деньги кончились.

— А почему в Экс-ан-Прованс?

— Потому что там живут мои родители... Пойдете со мной сегодня в кино?

Анна с удивлением посмотрела на него. В глазах молодого человека была властная мольба, была нетерпеливая нежность. Она намеренно тянула с ответом. Потом сказала небрежно:

— А почему бы и нет?..

Лоран так просиял, что она поняла: он этого от нее не ждал.

— Нет, правда?! — воскликнул он.— Вы согласны?

— Смотря на какой фильм! — сказала она.

— Вот уж мне абсолютно наплевать на какой! Главное — провести с вами вечер!

Снова долгое молчание. Лоран с решительным видом насыпал в сок перцу. Его взгляд уже не выражал особых эмоций. Какие мысли бродили в его голове? Он выпил сок и спросил:

— Как чувствует себя ваша мать?

Анна улыбнулась. Странная манера перескакивать с предмета на предмет! Точно в мыслях его нет логической связи.

— Да все так же,— сказала она.

— Вы очень ее любите?

Она утвердительно наклонила голову.

— А вы на нее похожи? — снова спросил он.

— Думаю... кое в чем да... Но мне пора. Мама ждет меня. Я и так уже задержалась...

Впервые, находясь в кафе с мужчиной, она почувствовала желание заплатить за него и за себя. Они встали. Лоран порылся в левом кармане, потом в правом, извлек оттуда несколько смятых бумажек и монет, бросил все это на стол, посмотрел на чек, положил на блюдечко

нужную сумму, добавил три франка, собрал со стола остальные деньги, подумал и взял обратно два франка из чаевых.

— Так как же насчет кино? Хотите, я буду ждать вас перед домом без четверти восемь?

— Хорошо. Только я, возможно, немного опоздаю.

— Не имеет значения!

Они вместе вошли в ворота, а во дворе каждый повернул в свою сторону: Анна поднялась по парадной лестнице, Лоран — по черной.

— Знаешь, Мили,— сказала Анна,— мне хотелось бы пойти с друзьями сегодня в кино. Через два часа я вернусь. Надеюсь, ты не против. А то я могу ведь и отказаться.

— Нет, нет! — возразила Эмильенна.— Пожалуйста, иди... Мне будет приятно, если ты хоть немного развлечешься!.. Сколько сейчас времени?.. Мне совсем не хочется есть...

Анна нежно пожурила ее, и больная согласилась проглотить немного холодного бульона и половинку сандвича с сыром. Но вот родители устроились перед телевизором, и Анна, словно получив разрешение, почувствовала, что может о них забыть. Она взглянула на себя в зеркало, провела расческой по волосам и умчалась.

Лоран ждал ее на улице, прислонившись к стене дома и засунув руки в карманы.

— Что, если мы посмотрим «Архипелаг» в «Бонапарте»? — предложила она.— В прессе прекрасные отзывы! Да и идет рядом.

Он сказал, что это отличная мысль. Когда они подошли к кинотеатру, сеанс уже начался, и зрителей впускали в зал, лишь когда кто-то выходил. Тем не менее они решили попытать счастья. Очередь двигалась то медленно, то вдруг убыстряя свое движение, то совсем останавливаясь. Билеты взял Лоран. Билетерша с карманным фонариком провела их в темноте к двум пустым креслам в четвертом ряду сбоку. Анна не любила сидеть так близко: нелегко, запрокинув голову, смотреть на мелькающие перед тобой искаженные изображения. Фильм начался двадцать минут тому назад, и теперь трудно было установить взаимосвязь между персонажами. Во всяком случае, действие разворачивалось в Лондоне во времена королевы Виктории. Актеры говорили на прекрасном английском языке, и Анна понимала почти все — без помощи надписей. На ее руку неожиданно легла рука. Она тихонько высвободилась. Но Лоран вновь завладел ее рукой и прижался к ней губами. Затем перевернул ее и долгим поцелуем прильнул к ладони. Губы его подрагивали, касаясь ее кожи. Острое чувство радости наполнило Анну — ей казалось, будто молодой конь ест у нее с ладони. Она забыла про фильм, про зрителей,— была ночь, и она находилась в поле, под звездным небом. Она медленно повернулась к нему. Он распрямился. И она увидела его лицо, плоское в лунном свете экрана. Он выглядел так дико — лохматый, с крупными чертами лица! Грубый — и одновременно нежный, с блестящими, как у кошки, глазами. Ей захотелось дотронуться до его подбородка с ямкой посредине, словно оставшейся от нажима пальца. Но она тут же спохватилась — в своем ли она уме? Впрочем, разве не ради этого она с ним пошла? Голоса актеров с экрана гремели раскатами над ее головой. Громкая музыка сотрясала стены зала. Викторианская драма приближалась к развязке. Когда в зале вспыхнул свет, Анна и Лоран встали и последовали за толпой к выходу. Ни у него, ни у нее не было желания остаться и досмотреть начало фильма. Толпа вынесла их в холл, где за стеклянной дверью на улице стеной лил дождь. Часть публики, боясь вымокнуть, стояла в проходе и загораживала выход.

— Пойдем? — спросил Лоран.

Они вышли под дождь. Лоран шел медленно — время от времени

он запрокидывал голову, подставляя дождю лицо, открывал рот и с наслаждением облизывался.

— Идемте быстрее, Лоран! — сказала она.— Мы промокнем!

— Вы не любите дождь?

— Нет.

Он взял ее под руку. До самого дома они шли быстро, крупным шагом, прижавшись друг к другу. У нее устали ноги, она с трудом переводила дух. Он подтолкнул ее в подворотню. Не дожидаясь, когда она отдышится, сжал в объятиях, нашел ее губы. В смятении она почувствовала, с какою силой впились в нее его пухлые, мягкие губы. И поспешила отстраниться. В его больших золотистых зрачках отразилось недоумение.

— Я люблю тебя, Анна,— сказал он.— Пойдем ко мне наверх, прошу тебя!

Ее поразил этот молящий тон, но его слабость грозила стать для нее ловушкой, и, испугавшись, она отказалась.

— Нет, Лоран, это невозможно,— сказала она, глядя прямо ему в глаза.

Он сдвинул брови. Будет он настаивать? Ей почти хотелось этого. Но он опустил голову и пробормотал:

— Я так и знал.

Как легко он принял отказ! Может быть, она повела себя слишком жестко с этим человеком, который и так во всем сомневается? Но он уже резко повернулся и крупными шагами направился в глубь двора, куда выходила черная лестница.

Она позвала его:

— Лоран, Лоран, послушайте!..

Но он шел, не оборачиваясь, глухой к ее призывам, и исчез за дверью с двумя мусорными бачками по бокам.

Оставшись одна в подворотне, Анна постояла с минуту, затем поднялась к себе в полной растерянности: ведь она же сама сказала «нет», а у нее было такое ощущение, будто ее отвергли. В квартире царила полнейшая тишина. Она приоткрыла дверь в гостиную. Луч света упал в нее, разрезав комнату на две части. Отец спал на диване. Возле него на ковре валялась книга. Неслышно ступая, Анна проскользнула в спальню матери, где круглые сутки горел ночник. Больная, как всегда, лежала на спине, вытянув вдоль тела руки. И это хрупкое, почти бестелесное существо сотрясал храп. А вокруг все было спокойно, обыденно и неподвижно. Охваченная внезапным ощущением раздвоенности, Анна подумала, что не удивилась бы, если бы, открыв дверь своей комнаты, увидела самое себя спящей в постели. Она ходила по чужому дому. Как во сне, прошла она на кухню. Ее ослепила яркая белизна стен. Она открыла дверь на черную лестницу, нажала кнопку выключателя и стала взбираться по узким и крутым ступенькам, что вели в комнаты прислуги.

■ ■ ■

Сколько времени просидела она на этом стуле, у этой кровати? Стоявший на полу рефлектор не мог согреть комнату, но его раскаленные спирали светились, озаряя красным отсветом костра лицо Лорана. Он лежал на боку, ровно дыша, и неотрывно смотрел на Анну. Она отобрала у него куртку и, чтобы лучше согреться, накинула прямо на голое тело. Ей приятно было ощущать на себе эту жесткую мужскую одежду. Лоран улыбнулся ей — такой счастливый и сильный. А она не могла глаз оторвать от этой огненной маски с темными впадинами и словно отполированными выпуклостями, поблескивавшими в резком

свете рефлектора. Другого освещения в комнате не было. Мансардное окно было наполовину затянуто полотенцем. Из крана в раковину капала вода. Дверь закрывалась неплотно, и в щели проникал ледяной ветер. Всякий раз, как в коридоре зажигали электричество, вокруг двери возникала рамка желтого света. До часу ночи Анна слышала шаги жильцов, возвращавшихся домой, приглушенные голоса, взрывы смеха. Несколько раз ей казалось, что кто-то вот-вот ворвется к ним в комнату. Она легонько подтрунивала над собой — надо же оказаться в такой нелепой ситуации. То, что произошло, так не вязалось ни с ее характером, ни с образом жизни,— у нее даже зародилось сомнение, действительно ли это все было. Ее переполняло счастье — огромное, дикое, такое нелепое, примитивное и смешное. Наслаждение, которое она познала, слившись с этим мускулистым горячим телом, не было похоже ни на что уже пережитое. Она поднялась с железной койки, преисполненная благодарности. Мозг ее спал, словно затуманенный наркотиком. Родители перестали для нее существовать. А у нее самой — у той, что сидела на стуле, накинув на плечи мужскую куртку, не было ни профессии, ни возраста, ни имени. Она знала, конечно, что подобная эйфория не может длиться вечно, что ей придется вновь идти тем же путем, каким она шагала вчера, вновь ощутить под рукой крепко спаянные перила дней. А пока можно, даже нужно сполна насладиться этой возможностью вырваться из-под собственного панциря. Эти несколько часов, проведенные в объятьях Лорана, были как бы маленьким островком тайной жизни, образовавшимся в потоке ее жизни повседневной. Возможно, после этой ночи, которая никогда не повторится, Лоран останется для нее тем, о ком она будет вспоминать с улыбкой, снисхождением и тоской! Возможно, она до самой смерти не узнает ничего более прекрасного, более совершенного. Как бы то ни было, она никогда больше не придет в эту комнату. Не станет больше встречаться с Лораном. Их встреча может остаться единственной в своем роде лишь при условии, что больше не повторится. Она вздрогнула. Маленький рефлектор согревал ей щиколотки и бедра, но верхняя часть тела заледенела от сквозняка, проникавшего в дверные щели. Как может Лоран жить в такой нищенской обстановке? Все вспыхнуло между ними так быстро, что они даже не успели поговорить, а сразу кинулись в объятия друг друга. И вот она вылезла из постели совсем незнакомого человека. Она — такая гордая, разумная, здравомыслящая... А о чем думал он, разглядывая ее так жадно, так пристально? Он пошевелил ногами под рваным клетчатым одеялом. Затем поднял руки и заложил их за голову. Затаив дыхание, Анна рассматривала в красном полумраке его крепкие мышцы, волосатую впадину под мышкой. Внезапно он сел. Горящие глаза. Лохматые волосы. А ниже — торс словно из терракоты.

— Как ты далеко от меня, Анна! — сказал он.— Иди сюда, ко мне.

— Мне пора.

— Почему?

— Уже два часа ночи.

— Знаю, но ты же можешь побыть со мной еще немного, разве нет?

Она легонько поцеловала его в губы.

— Нет, Лоран, все. Пора...

Но он протянул к ней руки. В его взгляде был властный призыв, нежность, каприз. И она поняла, что переоценила свои силы, что все ее решения тщетны, что она увидит его снова — и завтра, и послезавтра, и так часто, как он того захочет и как она сможет. Он схватил ее за руки, заставил сесть на постель, обнял, опрокинул, склонился над

ней. Из крана над раковиной капала вода. Кто-то откашливался за перегородкой. Анна повторила еще раз:

— Не надо, Лоран.

А затем мир исчез для нее в вихре пламени.

Была половина четвертого, когда она спустилась к себе в квартиру. Безумие! А что если Мили звала ее!.. За дверью раздался слабый кашель. Анна вошла в спальню.

— Что с тобой, Мили? Ты не спишь?

— Нет, я только что проснулась.

— Подать тебе судно?

— Не знаю... Пожалуй, дай...

Анна подождала, пока мать снова заснет, и на цыпочках вышла из комнаты. Ей было страшно холодно. Она легла в постель, но спать не могла.

■

Измученная рвотой, Эмильенна откинулась на подушки — рот ее дергался от икоты, глаза были полны слез. Анна вытерла ей лицо мокрой салфеткой и поставила тазик на пол. С болью и тревогой посмотрела на мать. Затем проверила пульс: он был слабым и неровным. Но вот лицо больной разгладилось — значит, приступ прошел. По крайней мере в ближайшее время не повторится.

— Теперь ты сможешь заснуть,— сказала Анна.

— Да,— прошептала Эмильенна,— но здесь столько гусениц ползает по комоду... Надо их прогнать... А то они заползут ко мне в постель...

Последние две недели у нее часто бывали галлюцинации. И возникал такой страх, что она металась по подушке, стиснув зубы, жалобно стеная. Она уже почти ничего не ела. Только немного пила. В ответ на упорные расспросы Анны доктор Морэн, наконец, признался, что он опасается близкой развязки. По его совету она увеличила дозу камфары. Но лекарства уже не действовали на истощенный организм больной. Ноги ее настолько отекли, что уколы приходилось делать в руки.

— Ты обещаешь мне, что прогонишь гусениц? — тоном капризного ребенка снова проговорила Эмильенна.

— Да, Мили.

— Прогони сейчас же!

Анна сделала вид, будто сметает что-то с комода.

— Вот,— сказала она.— Больше ничего нет. Спи. Я побуду возле тебя на случай, если они вернутся.

— Да, да, побудь со мной...

Эмильенна закрыла глаза. Анна села в кресло возле кровати, накинула на ноги плед. Вот уже третью ночь она проводила у постели матери. Отец не мог ее заменить. Он, конечно, вначале предлагал свои услуги, но она сумела внушить ему, что ей не нужна ничья помощь, и он смирился с ролью плаксивого очевидца. Конечно, он по-прежнему был в отчаянии из-за состояния своей жены, но это не мешало ему спать сном праведника на диване в гостиной. Анна могла приходить, уходить, зажечь все лампы, греметь кастрюлями на кухне — он не просыпался. Железное здоровье и беспечен, как избалованный ребенок! Таким образом, Анна одна встречала надвигавшуюся смерть. Впрочем, ей этого даже хотелось — из любви к Мили, из присущего ей чувства самопожертвования, из упрямства. Ничто больше не существовало в ее жизни — только страшное приближение конца. В этом мраке даже

Лоран отошел на задний план. Правда, время от времени она все же поднималась к нему наверх. Он ждал ее там, в своей берлоге, ничем не занятый, изголодавшийся по ней. Казалось, вся его жизнь свелась к ожиданию, когда шаги Анны раздадутся в коридоре. Едва она открывала дверь, как он набрасывался на нее. Несколько наспех сказанных слов, быстрые ласки — и она исчезала на лестнице. Мили была слишком плоха — ее нельзя было оставить даже на час. Анна позвонила на работу и взяла отпуск. Время в доме остановилось. Они были вдвоем с матерью — и никого между ними. Она одна будет бороться со смертью. Мили лежала, раскрыв рот, сомкнув веки,— она тяжело дышала, из груди ее вырывался хриплый свист. Ее длинные, тощие, прозрачные руки лежали по обеим сторонам тела, плоского, как пустой конверт. Под простыней от плеч и ниже не просматривалось никаких выпуклостей. Разве только в самом низу — пальцы ног. А жизнь все еще трепетала в этом почти разрушенном теле. Да разве это жизнь— бесконечное страдание. Ради чего? Чтобы обратиться в ничто. И надо было присутствовать, сидеть сложа руки при этой каждодневной пытке. Ждать, когда природа доделает свое дело, тогда как любовь, милосердие и разум приказывали прекратить ужасную агонию. Как бог мог допустить, чтобы Мили пожирала эта медленная, неумолимая болезнь? А если он допустил эту чудовищную, слепую несправедливость, не следует ли пойти наперекор ему? Да, да, бывают случаи, когда человек обязан восстать, когда его священный долг — пойти наперекор судьбе. Навязать ей свою волю. Ради дорогого существа. Достаточно увеличить дозу морфия — и Мили заснет навсегда. Спокойно. С благодарностью. Анна думала об этом сотни раз. Но никогда еще так упорно, с такой трагической настойчивостью, как сейчас. Ей даже показалось, что она сказала об этом вслух. Но нет, просто в мыслях у нее был такой сумбур, что шум стоял в ушах. И каждый вдох матери отдавался в сердце. Зловещая неподвижность вещей завораживала ее и пугала; расширенными зрачками смотрела она на зажженный ночник, прикрытый розовым шелковым платком, на комод, заваленный иллюстрированными журналами, на матовый экран телевизора, на стол, где лежали Милины лекарства и рецепты, сколотые вместе, уже ненужные... Эта домашняя обстановка, которая должна была бы ее успокаивать, как ни странно, лишь порождала в ней страх. Она жила в кошмаре, где тени значили больше, чем предметы, а молчание — больше, чем голоса. Все это создавало у нее гнетущее впечатление. Мозг заволакивал туман. Она сжала зубы, вся напряглась, но не смогла сдержать потока слез. И уткнулась лицом в ладони. Чем больше она старалась не сдаваться, тем больше сгибалась под напором горя. В зловещей ночной тишине раздался еле слышный робкий звонок. Потом еще один. Звонили на черной лестнице. Анна бросила взгляд на мать, встала, вытерла глаза и вышла на кухню. Она уже знала, кого увидит за дверью. Какая нелепость! Она впустила в свою жизнь зверя, не властного над собой и неукротимого! Надо отослать его наверх. В его нору.

Она открыла дверь, и колени у нее подкосились от радости. Конечно, это был он, ласковый зверь.

— Что случилось, Анна? — спросил он.— Ты плакала?

Она отступила на шаг и проговорила, прислонясь к стене:

— Ничего. Но ты не должен приходить сюда!

Он обнял ее и прикрыл за собой кухонную дверь.

— Я там с ума схожу! Это ужасно, что́ ты здесь переживаешь! Нельзя так себя изводить! На тебе же лица нет! Надо взять ночную сиделку!

— Ну, нет! — вскричала она.— Никто кроме меня не будет ухаживать за Мили!

— Но почему, Анна?

— Я не хочу, чтобы до нее дотрагивались посторонние. Она—моя. Ее последние часы... понимаешь... я должна пережить их вместе с ней... Она и я... Это... это всего важнее... Тебе нельзя оставаться, Лоран... Уходи, уходи скорей! А вдруг отец войдет...

— При чем тут отец, когда умирает твоя мать, а мы любим друг друга?

Она подумала, что он прав, что все эти условности смешны, что в мире существуют только две священные истины: любовь и смерть. Он поцеловал ее в лоб.

— Анна,— сказал он,— моя маленькая Анна, мне так хотелось бы помочь тебе, быть рядом с тобой, все делить пополам...

Ее растрогал его взгляд умного пса. Он принадлежит ей. Душой и телом.

— Нет, Лоран,— отрезала она.— Я хочу быть одна.

Она вытолкала его за порог. Но он не уходил, продолжая стоять в дверном проеме. Тогда она с силой закрыла дверь, вычеркнула его из своей жизни. И вернулась к матери.

Эмильенна с огромным трудом приподнялась на подушке. Она делала руками в воздухе какие-то слабые, судорожные движения, словно пыталась откинуть простыню. Левая нога ее свешивалась с постели. Анна осторожно положила ногу на постель, прикрыла ее. Гримаса исказила лицо больной, обнажив зубы. Из-под морщинистых век потекли слезы.

— Мне больно, Анна... Я больше не могу...

Эта жалобная мольба поразила Анну в самое сердце. Она не хотела больше этого слышать. Никогда!

— Где у тебя болит, мама?

Эмильенна не ответила и со стоном уронила голову на подушку. Казалось, в ней сидел дикий зверь и пожирал внутренности. Хватит! Хватит!.. Анна решительно подошла к столику с лекарствами. Руки у нее дрожали. «Надо действовать — и не медля. Если я буду тянуть, то потом уже не смогу. Она так страдает... Но что я дам ей взамен? Что знаю я о той бесконечной ночи, куда я отправлю ее? Боже, помоги мне!.. Нет, бог тут ни при чем... Я сама... Скорей!» Она схватила ампулу морфия и отпилила кончик. Пальцы ее не слушались, и ампула упала. Часть содержимого растеклась по полу. Анна стала вбирать в шприц оставшееся. Шприц наполнялся жидкостью. Чистой, прозрачной, смертоносной. Еще одну ампулу. Конец отломан. И вот игла шприца снова втягивает яд. Поршень медленно движется вверх. Рука Анны судорожно сжимает шприц. Только бы не уронить. Еще одну ампулу. Еще одну... Доктор Морэн говорил, что нельзя превышать дозу. Теперь шприц полон, поршень вытянут почти целиком. Ни капельки воздуха. Все готово. Не надо ни ваты, ни спирта. «Прости меня, мама!» Эта фраза прозвучала в голове Анны, и ей показалось, что она сейчас упадет. Скорее вылить содержимое шприца в раковину, все забыть. Нет. Усилием воли она заставила себя склониться над постелью. «Ну давай же... Сейчас, сейчас...» — бормотала она. Взяв руку Эмильенны, она осторожно подняла ее. Рука скелета. Сухонькая, легкая. Анна неотрывно смотрела на желтоватую кожу, нежную и сморщенную, каждый сантиметр которой был ей дороже собственного естества. Она вонзила иглу. Больная даже не вздрогнула. Укол почувствовала сама Анна. До глубины сердца. Она закусила губу, чтобы не разрыдаться. Поршень медленно — до чего же медленно! — выталкивал жидкость. Казалось, этому конца не будет. Она

с ума сойдет... Еще несколько капель. Анна вытащила иглу. Ноги у нее подкашивались. Анна поправила голову Мили на подушке, чтобы она лежала посредине.

— Спасибо за укол,— прошептала Эмильенна, не открывая глаз.— Спасибо, дорогая.

Овладев собой, Анна сказала еле слышно:

— Теперь, Мили, все будет хорошо. Надо спать.

— Ладно... Вот, значит, что... Ты хочешь, чтобы я заснула... Дай мне руку... Сожми покрепче...

Совершенно разбитая, Анна присела в кресло у изголовья и взяла в ладони узкую безвольную руку матери. Ей вдруг показалось, что на лице Мили заиграла лукавая улыбка. Точно она все поняла, точно все одобрила. Потом эта счастливая гримаска исчезла с ее губ. И началось бесконечное ожидание в тишине и неподвижности, единственными свидетелями которого были вещи. Устремив взгляд на лицо Мили, Анна чувствовала, как медленно немеет ее собственное тело. Мозг ее наливался свинцом. Она забыла про отца, про Лорана. Существовала только она сама и совершенное ею. Эта ночь, видно, никогда не кончится. «Она выглядит сейчас такой спокойной! Достаточно ли я влила морфия? Почему же не наступает смерть? До чего же это долго тянется, до чего невероятно долго!»

А Мили уже была без сознания и храпела, приоткрыв рот. Казалось в этом тщедушном теле работала машина — но работала с перебоями, прежде чем остановиться навсегда. Внезапно в горле Эмильенны что-то забулькало, и она издала глубокий вздох. Веки ее приподнялись, глаза выкатились. Рот разверзся. Все кончено. Черты лица застыли. Ни рот, ни глаза уже не закрылись.

— Мама!

Анна упала поперек неподвижного тела. Она рыдала, прижимая к себе эту еще теплую голову, покрывала поцелуями лоб и щеки, которые уже не чувствовали ничего. Немного погодя, овладев собой, она закрыла глаза и рот покойной. Подвязала подбородок салфеткой. Мили обрела, наконец, вид спящей. Избавленной от боли, умиротворенной, исцеленной. Анна снова села в кресло. Прижавшись к спинке, она с недоумением и любовью рассматривала эту безразличную ко всему женщину, которая лежала на постели и для которой, казалось, началась новая эра.

■

Проснувшись словно от толчка, Анна приподнялась на подушках. Вот уже две недели, как она каждую ночь просыпалась в один и тот же час от одного и того же неотвязного видения. В сотый раз делала она укол в руку Мили. Иголка вонзалась в кожу. Жидкость медленно покидала шприц. Когда кого-нибудь любишь, сделаешь невозможное, чтобы избавить его от страданий. Даже если потом придется нести бремя страшной ответственности. И теперь, когда страдания Мили окончились, начались ее страдания, Анны. Не физические, а моральные. И не было такого наркотика, который помог бы ей избавиться от них! Если бы она хоть во что-то верила, то, наверное, не совершила бы этого. Хорошо верующим — они в своей трусости могут в любых обстоятельствах сослаться на церковную догму, позволяющую не принимать решения и избавиться от угрызений совести. Интересно, где она сейчас, своенравная, красивая, прелестная Эмильенна? На кладбище под слоем свежевырытой земли? Или же в некоем

пространстве, населенном ангелами, купается в лучах господней благодати, о которой она никогда не молила? Или же осталась здесь, где жила, в сердцах тех, кто ее любил? Да, да, ее присутствие в доме чувствовалось повсюду: ее прикосновение осталось на вещах, ее дыханием был согрет воздух, мысли о ней не выходили из головы. Вся эта страшная комедия с катафалком, заупокойной службой и похоронами не смогла ее убить. Отделенная от них черными драпри с серебряной каймой, она не утратила связи с их повседневной жизнью. А вот отец, подумала Анна, не может это понять. Для него все оборвалось вместе с последним вздохом жены. Его отчаяние при виде покойницы было таким чрезмерным, таким театральным, что Анна даже вспылила, чтобы заставить его опомниться. А он вопил, бросался на труп Эмильенны, целовал ее холодные губы, дрожащими руками пытался приподнять ей веки. Потом не давал гробовщикам закрыть гроб. В церкви во время службы он едва не потерял сознание — сидел на стуле как мешок, тупо глядя в пространство, разинув рот. А весь этот ужас на кладбище, когда он рвался к вырытой могиле с криком: «Пустите меня... Я хочу вместе с ней!..» Анна даже теперь со стыдом вспоминала об этом.

Вернувшись домой с кладбища, он заперся в ванной. Там в аптечном шкафчике хранились все лекарства. А он ни за что не желал открывать дверь. Луиза, в глубоком трауре, с опухшими от слез глазами, дрожащим голосом умоляла Анну вмешаться как можно скорее: «В таком состоянии мосье может совершить что-то страшное! Прошу вас, мадемуазель, сделайте что-нибудь!..» Анна и сама в какой-то момент заволновалась, опасаясь худшего, но потом холодно рассудила: нужно бояться горя втихомолку, а не такого, которое выставляется напоказ. И в самом деле, минут через двадцать Пьер вышел из ванной уже в гораздо более спокойном состоянии: он умылся и причесал волосы. Он тихо плакал, а она жалела его, но не без отвращения. В последующие дни он жил как под гипнозом: часами сидел в кресле, устремив взгляд в одну точку, положив руки на колени; за столом едва притрагивался к еде, почти не разговаривал, не раскрывал ни газеты, ни книги. Анна предвидела, что он может впасть в отупение. И все же это волновало ее. Что она станет делать, если отец будет все больше погружаться в прострацию? Легко ей критиковать его. Ее-то спасала работа. На другой же день после похорон она вернулась в издательство. И боролась с горем, работая вдвое больше обычного. А он? Возможно, и он сумел бы преодолеть свое отчаяние, если бы у него было хоть какое-то занятие. Только молодые могут ничего не делать с утра до вечера. Вот, например, Лоран... Любой ход мыслей приводил ее к нему. Она даже улыбнулась, подумав, как легко он приходит ей на память. Он был на похоронах. Но с тех пор пропал. Ни разу не заходил, не написал ни слова. Что это было — деликатность или невнимание? Или же она вдруг надоела ему — она и ее семейные дела? Ей почти хотелось этого, настолько их связь казалась ей теперь нелепой и опасной. Она могла бы вновь распалить Лорана, поднявшись к нему в комнату. Но ее все меньше и меньше тянуло к нему. Горе убило в ней мечты и желания. Ей неприятно было даже думать о наслаждении, которое она познала при свете рефлектора. Она чувствовала себя вдруг постаревшей на тридцать лет, достигшей возраста Мили — возраста самоотречения, мудрости и душевного холода. Сейчас она снова заснет, как только избавится от всех этих мыслей. Голова ее вновь погрузилась в подушку, тело бессильно распласталось в потоке простынь, и спокойное течение понесло ее к морю.

■ ■ ■

Встала она позже обычного. Было воскресенье. На что потратить долгий день? С улицы тянуло свежестью и покоем. Пьер еще спал. Быстро одевшись, Анна вдруг почувствовала невыносимую тяжесть остановившегося времени. И ей показалось, что если она сейчас же не наладит заведенный в доме порядок, шестеренки механизма сцепятся навсегда. Каждое воскресенье, встав раньше всех, Мили отправлялась за горячими рогаликами в булочную. Когда Анна с Пьером — в халатах — выходили в гостиную, где на карточном столике их ожидал завтрак, в глаза им бросались шесть маленьких золотистых полумесяцев из слоеного теста, лежавших горкой на тарелке. Пьер неизменно восклицал: «О, рогалики!» А Мили неизменно отвечала: «Но ведь сегодня воскресенье!» Иногда, с наступлением хорошей погоды, она вытаскивала мужа и дочь завтракать на террасу кафе «Две обезьяны». Сидя на солнце лицом к колокольне Сен-Жермен-де-Пре, она запрокидывала голову и прикрывала веки, словно стремилась всеми порами впитать в себя солнечный свет.

Анна вышла из квартиры и осторожно закрыла за собой дверь. Улица Сены, обычно оживленная, была почти пуста — работало лишь несколько продуктовых магазинов. Прохожие не спешили. Один направлялся за газетой, другой выгуливал собаку. Анна шла по этому маленькому воскресному мирку со странным чувством — у нее было такое ощущение, будто кто-то со стороны направляет ее действия. Все, что она задумала, все, что решила, было задумано и решено за нее. Однако это не воспринималось ею как подчинение кому-то, а скорее как слияние с любимым существом.

Она вошла в булочную и купила четыре рогалика, которые выбрала со знанием дела. Теплые и мягкие, они согревали ей руку сквозь тонкую бумагу. Возвратясь домой, она поспешила накрыть карточный столик в гостиной. Пьер был в ванной. Он вышел оттуда уже одетый, как раз когда она вносила кофейник.

— Что это? — спросил он, вздрогнув.

— Рогалики.

На лице его появилось страдальческое выражение:

— Я не хочу.

Это раздосадовало ее, но она не стала переубеждать отца — только смотрела, как он пьет кофе со стоическим, мрачным и оскорбленным видом. При свете дня особенно бросался в глаза беспорядок на диване, превращенном в постель,— измятые простыни, продавленная головой подушка.

— Знаешь, папа,— сказала она,— надо тебе вернуться в спальню.

— Зачем?

— Как зачем? Нельзя же устраивать ночлежку в гостиной! Это неудобно и глупо!

— Но мне здесь так хорошо!

— Там тебе будет еще лучше!

— Нет.

Он упирался в ужасе, точно стоял на краю пропасти. Интересно, подумала она, он предпочитает спать в гостиной, потому что привык или потому что боится лечь в постель, где умерла его жена?

— Если ты не хочешь возвращаться в свою спальню, тогда я переберусь туда,— сказала она.

— Ну, нет! — запротестовал он.—Я сам туда переберу. Лучше уж...

Анна убрала со стола и занялась наведением порядка. Сначала — придать дивану надлежащий вид. Она сняла простыни, одеяло, подушку, подобрала валявшиеся на полу книги и перенесла все в спаль-

ню. Отец следовал за ней по пятам и, сокрушенно качая головой, наблюдал за ее действиями. Вскоре кровать Эмильенны снова стала ложем для живого человека, а не смертным одром. На ночных столиках по обе стороны кровати появились книги, газеты, лупа, коробка с лакричными таблетками. На глазах у Пьера комната стала приобретать мужской характер. Анна ходила по ней, довольная своими преобразованиями. Удалив из спальни телевизор, она вернула его на прежнее место в гостиной. Затем отворила окно. Холодный воздух и шум нарушили покой воспоминаний. Пьер сморщился, словно присутствовал при святотатстве. Он, конечно, считал, что она действует уж слишком решительно, даже жестоко. А ее переполняла нежность.

На обед она быстро зажарила небольшой ростбиф с подрумяненной картошкой (вечером его можно будет доесть в холодном виде). Отец взял даже второй кусок. Но ели они молча — едва ли обменялись двумя словами. Выйдя из-за стола, Пьер уселся в кресло. Анна ушла мыть посуду. Когда она вернулась, он спал, опустив голову на грудь. Отчего ему доставляет такое удовольствие изображать из себя старика? Можно подумать, что ему не терпится стать восьмидесятилетним: в шестьдесят лет он уже приобрел привычки, свойственные глубоким старикам. К тому же она не была убеждена, что он действительно спит. Возможно, он просто делает вид, что спит, чтобы показать, сколь мало интересует его окружающая жизнь. Он знал, что его быстрая утомляемость и угнетенное состояние беспокоят Анну, и подыгрывал, чтобы усилить ее тревогу. Она нарочно толкнула стул. Он сразу открыл глаза и глубоко вздохнул, словно удивляясь тому, что все еще находится в мире, где ему не место.

— Пойдешь со мной, папа? — спросила она.— Я хочу прогуляться. Такая чудесная погода!

Голос ее звучал решительно. Он скорчил гримасу, но отправился за пальто.

Небо, пасмурное утром, было теперь ярко-голубое. В прозрачном воздухе голые ветки деревьев, словно на литографии, образовали причудливый узор. Тюильрийский сад был полон разгоряченных детей и закоченевших родителей. Анна шагала в ногу с отцом по направлению к Лувру. По дороге они остановились перед одной из статуй Майоля.

— Эти статуи...— пробормотал Пьер.— Твоя мать... твоя мать так их любила!

В дрожащем голосе его звучали слезы. Анна еще раньше заметила, что он не говорит больше «Эмильенна» или «Мили», а выражается высокопарно: «Твоя мать». К чему эта вечная потребность возносить покойную вместо того, чтобы вспоминать о ней просто как о человеке!

— Последний раз, когда мы приходили сюда с ней,— продолжал он,— боже мой, это было через несколько месяцев после операции... Как она себя хорошо тогда чувствовала! Кто бы мог предположить, что так быстро...— Он не закончил фразы. Слезы текли по его носу. На голову статуи уселся воробей. Пьер громко высморкался.— А что если сходить на кладбище? — предложил он вдруг.

— Зачем? Тебе не кажется, что присутствие Мили ощущается скорее здесь, куда ты так часто приходил с ней, чем там, где вы никогда не были вместе?

— Но, Анна, она-то все-таки там!

— Нет, папа.

Он покачал головой.

— А ты ведь даже и траура по ней не носишь!

— Мили бы не потерпела этого.

— И ты ни разу не была на ее могиле после похорон!

— Ну и что же? Да, я не чувствую в этом потребности. Более того, я уверена, что если бы я бегала на кладбище через два дня на третий, как это делаешь ты, я убила бы в себе память о ней. Среди всех этих крестов она сама в конце концов превратилась бы для меня в крест с именем и двумя датами. Ты хочешь именно этого? Я пойду туда, не волнуйся, только позже. Значительно позже. Может быть, в будущем году, в День поминовения усопших. И принесу горшок с хризантемами — как все...

Продолжая говорить, Анна шла по аллее. Она сознавала, что груба с отцом. Но не сомневалась, что это пойдет ему на пользу. А он уже не возражал, словно отупел под градом ударов. Тогда она смягчилась и спросила, не устал ли он. Он заверил ее, что не устал, и, чтобы развлечь его, она завела с ним разговор о старом Париже. Ей с трудом удалось вытянуть из него (хотя она слышала этот рассказ уже раз сто на протяжении своего детства!), что во времена Людовика XV на квадратном луврском дворе стоял с десяток жалких домишек, которые были снесены лишь после того, как их обитателей, по настоянию главного интенданта королевских сооружений, брата мадам Помпадур, удалось выселить. Произнеся это, он замкнулся в молчании. Он явно сожалел о том, что позволил себе даже этот маленький экскурс в историю.

Солнце скрылось, и сразу стало очень холодно. Они вернулись домой. Анна выпила на кухне стакан сухого вина. Пьер высокомерно отказался последовать ее примеру. Она взяла вышивку и уселась в гостиной, а он стал раскладывать пасьянс на зеленом сукне карточного стола. Обед прошел в мрачной обстановке, как у старых супругов, которым нечего друг другу сказать. По мере того как шло время, лицо Пьера становилось все более озабоченным. Очевидно, он думал о возвращении в супружескую спальню. Когда Анна пожелала ему доброй ночи, он посмотрел на нее с отчаянием. Точно умолял ее в последний раз избавить его от этого испытания. Она проводила его до порога спальни и закрыла за ним дверь.

■ ■ ■

На другой день утром, войдя в гостиную, она застала отца на диване — он лежал, поджав ноги, натянув на себя одеяло, голова покоилась на подушке, он мерно дышал, но не спал.

— Прости меня! — сказал он, с виноватым видом поворачиваясь к Анне.— Я не смог!.. Слишком тяжело!.. Но это пройдет... пройдет...

■

Господин Ферроне так гордился фотографиями, которые он сделал во время поездки по долине Амазонки, что отказывался снять хотя бы одну из них. Напрасно Анна пыталась доказать неуступчивому автору, что нельзя поместить более шестнадцати иллюстраций в книге, не повысив значительно ее цену.

— Ну, уменьшите формат клише,— сказал он,— и тогда сможете поместить их все!

— Нельзя делать иллюстрации слишком мелкими,— возразила Анна,— они не будут смотреться. Получится что-то вроде коллекции почтовых марок. Уверяю вас, в большинстве случаев ваш текст настолько красноречив...

Продолжая разговаривать, она подняла глаза от стола и увидела

что дверь в ее кабинетик приоткрылась. В проеме показалась голова Лорана. Анна смутилась. Точно ветер заколебал ветвь, на которой она сидела.

— Извините,— сказала она господину Ферроне.— Я на минутку.

Она вышла в коридор, отодвинув в сторону Лорана.

— Как ты похудела! — сказал он.— До чего же у тебя утомленный вид!

— Где ты пропадал все это время? — спросила она.

— После похорон я почувствовал себя лишним. Тебя надо было оставить наедине с отцом и твоим горем, поэтому я на неделю перебрался к товарищам...

— Мог бы оставить мне записку!

— Я думал, что ты и так поймешь...

Зазвонил телефон. За перегородкой раздавался треск пишущих машинок. Мадемуазель Моиз, секретарша господина Куртуа, появилась в коридоре, улыбнулась Анне и исчезла в дверях соседнего кабинета. Одна из машинисток вышла из туалета, оправляя юбку. Безразличный ко всему окружающему, Лоран смотрел на Анну с жадной нежностью.

— Я не могу сейчас говорить с тобой,— сказала она.— Можешь подождать меня в «Старине Жорже»? Я буду там через четверть часа.

— Хорошо, Анна.

Она хотела уйти, но он удержал ее за руку.

— Ты действительно хочешь меня видеть? — спросил он.

— Ну конечно же!

— Тогда можешь не спешить. Я буду ждать тебя, если понадобится, хоть целый день!

Она убежала к себе, где ее ждал господин Ферроне среди своих фотографий. Унесясь далеко мыслью, она с трудом вспомнила, о чем шла речь. Думала лишь о том, как бы скорее закончить разговор, и теперь уже готова была уступить по всем пунктам. Она не сразу находила нужные слова, невпопад улыбалась, то и дело поглядывала на часы. Наконец, скрепя сердце господин Ферроне согласился отказаться от дюжины фотографий-дубликатов. Едва он вышел из кабинета, как она крикнула Каролюсу: «Я исчезну на четверть часа!» И умчалась.

Лоран сидел перед маленькой бутылочкой газированной минеральной воды — длинные волосы, квадратная челюсть, грустный взгляд. Прижавшись к нему, она позволила его мягкой теплой ладони прочно завладеть ее рукой. Он сжимал ей пальцы и говорил тихо, приблизив свое лицо к самому ее лицу. Он столько думал о ней все это время! Как она перенесла возвращение после похорон в опустевший дом? Как отец?

— Он показался мне таким несчастным в церкви! — сказал он.

Она была до того взволнована, что не могла даже ответить ему. Какой внешне грубый, а в действительности — какой чуткий! Каждая его фраза подтверждала необычайную широту души.

— А сегодня ночью ты придешь ко мне? — наконец спросил он.

Она была настолько захвачена нежностью, что этот внезапный откровенный вопрос, ставивший точки над «i», подействовал на нее как ушат холодной воды. Ей-то хотелось лишь одного: говорить с ним, отогреваться в его присутствии.

— Послушай, Лоран...— неуверенно начала она.

Он прервал ее:

— Как? Ты не хочешь?

— Нет, хочу,— ответила она.

И внезапно лицо Лорана расплылось перед нею, как отражение

в воде. Она поднесла руку к губам, раздосадованная этими нелепыми слезами, глубоко вздохнула и добавила:

— А теперь мне пора назад, на работу!

■ ■ ■

Сидя в гостиной перед телевизором, Анна вышивала и слушала концерт. Исполняли скерцо из октета Шуберта. Мрачный, как всегда в последнее время, Пьер отказался составить ей компанию. Он читал у себя в спальне. Однако музыка, наверно, мешала ему. Скоро ли он ляжет спать? Пока он не заснет, Анна не может уйти из квартиры. А там, наверху, Лоран уже ждет ее. До чего же он был мил в бистро! Это лицо, исполненное нетерпения, прерывистое дыхание, манера подносить стакан к губам... На экране крупным планом показали скрипача со скрипкой, вдавленной в щеку. Мелодия текла с прозрачной веселостью каскада. Пьер вошел в гостиную, постоял, насупившись, прослушал несколько тактов скерцо и вышел, не произнеся ни слова. Через десять минут он вернулся, якобы за газетой, и задержался до конца пьесы. Когда оркестр начал играть один из шести дивертисментов Моцарта, он сел на диван. Анна спиной чувствовала его присутствие — оно тяготило и раздражало ее. Затем стали передавать последние известия, и Пьер остался слушать. Впервые после смерти жены он смотрел телевизионную передачу. Анна взглянула на него. Он был в халате с кашмирским узором, надетом поверх полосатой пижамы. Напряженное лицо отражало тяжелую внутреннюю борьбу. Когда передача закончилась, он поцеловал Анну и спросил, скоро ли она собирается ложиться.

— Я еще немного посижу,— сказала она.

— Хороший был концерт!

— Очень.

— Наверно, мне не следовало слушать его...

— Да что ты, папа!

Наконец, он ушел к себе. Он уже не жаловался, что его осаждают там воспоминания. Анна вздохнула. Какой внезапный перелом произошел в ее жизни! При мысли о том, что она может теперь свободно распоряжаться своим временем, у нее даже появлялось нечто вроде головокружения. Не надо больше делать уколов, подавать судно, готовить сандвичи, говорить душеспасительную ложь в присутствии дорогого существа, уже находящегося в полузабытьи... Она может и должна заниматься теперь собой. А собой — это значило Лораном. Лораном, который нетерпеливо ждал ее, который надеялся получить от нее больше, чем она могла дать. Сидя в кресле перед выключенным телевизором, с вышиванием на коленях, она вдруг почувствовала, что у нее нет сил. Она уже почти жалела, что согласилась на это свидание, где ей придется притворяться. Так она просидела еще с полчаса. Затем, убедившись, что отец спит, накинула пальто, тихонько вышла и стремглав помчалась вверх по лестнице.

Дверь в его комнату была приоткрыта. Лоран сидел на кровати и чинил рефлектор, детали которого валялись вокруг него на полу.

— Вот уже час, как я вожусь с этой гадостью! — сказал он.— Должно быть, перегорело сопротивление. Он прекрасно работал и вдруг — на тебе!..

Не выпуская из рук перочинного ножика с отломанным концом, служившего ему отверткой, он потянулся к Анне и легонько поцеловал ее в щеку. Она опустилась на стул напротив него. Анну забавляло то, что он так ее встретил. Вот уж этого она никак не ожидала!.. А Лоран, прикусив губу, продолжал работать. Поглядывая из-под

свесившейся на глаза пряди волос, он собирал рефлектор винтик за винтиком.

— Дай мне маленькую гайку, вот эту... Спасибо... А проволока-то еле дышит!.. Ну и материал!

В комнате стоял ледяной холод. Анна почувствовала озноб и поплотнее запахнула полы пальто.

— Тебе холодно? — проговорил он.— Черт знает что! Комната столько времени не обогревается!..

На столе Анна заметила жирную бумагу с остатками ветчины и яичной скорлупой. Это он ужинал. Лоран был в толстом шерстяном свитере темно-зеленого цвета. Изо рта его шел пар.

— На этот раз заработает! — объявил он.

Он опустился на корточки и включил аппарат. Никакого эффекта. Он встал. Свесил руки и с комическим отчаянием посмотрел на Анну.

— Что теперь будем делать? — пробурчал он.

— Здесь оставаться нельзя,— сказала она.— Слишком холодно. Пошли!

Она столь внезапно приняла это решение, что даже сама удивилась. И потянула Лорана на лестницу. Он постоял в кухне, пока она на цыпочках пробиралась в глубь квартиры. Мирный храп отца за дверью успокоил ее. Тогда она вернулась, взяла Лорана за руку и повела по темному коридору к себе в комнату. Поворот ключа — и она уже была в его объятьях.

— Я люблю тебя! — сказал он.— Я просто болен тобой! Скорее!

И он прильнул к ее рту. По всему ее телу побежали магнетические волны. Это длилось лишь миг, потом он оторвался от нее и стал раздеваться. Она развязала шарф и набросила его на лампу у изголовья, чтобы приглушить свет. И тогда начала раздеваться. Она делала это медленно. Не спуская с него глаз. Он с какой-то яростью срывал с себя в полумраке одежду, как если бы свитер, брюки, обувь, носки были для него лишь обузой, данью условностям, и он спешил поскорее от них отделаться, чтобы появиться, наконец, в своем первозданном виде. Трусы пролетели по комнате белой птицей и упали на комод. Перед Анной, широко расставив ноги, раскрыв ей навстречу руки, стоял во всем своем бесстыдном великолепии обнаженный мужчина — самец. И она, словно зачарованная, смотрела, как он шагнул к ней, этот нежный убийца. Как не вяжутся его по-девичьи длинные волосы с напружинившимся, мускулистым телом! Чего бояться этой встречи, когда все ее естество алчет ласки? Еще секунда — и тела их слились. Счастье пронзило ее с такой силой, словно током ударило,— она еле удержалась от крика. Он отнес ее на постель. Она прикрыла глаза, а его влажные мясистые губы покрывали поцелуями ее плечи, грудь, живот, бедра. Все тело ее трепетало от наслаждения. Она взяла в ладони голову Лорана, притянула ее к губам, покрыла поцелуями это скуластое лицо, зарылась носом в густую шевелюру. В этой игре, от которой порой у нее перехватывало дыхание, она чувствовала себя одновременно и побежденной и победительницей. Жизнь кипела в ней как никогда — с привкусом пота и крови. Словно то, что она столько времени жила рядом со смертью, до предела обострило в ней вкус к наслаждению. Лоран уже придавил ей ноги — еще секунда, и он овладеет ею. В этот момент она услышала шаги в коридоре. Отец!.. С каких пор у нее появился отец? Должно быть, он направлялся на кухню выпить стакан воды. Над ней — глаза Лорана. Обеспокоенный, вопрошающий взгляд. Длинные волосы, ниспадающие вдоль лица. Лоран затаил дыхание. Она улыбнулась ему. Пусть отец входит в комнату — она не сдвинется с места. Не выпустит Лорана из объятий. Хлопнула дверца холодильника. Шаги удалились.

В воцарившейся тишине Лоран улыбнулся ей. Лицо его исказила жестокая гримаса желания. И всей своей тяжестью, всей своей силой он обрушился на нее. Но бешеную сарабанду их тел повела она и, следуя велению плоти, то замедляла, то ускоряла темп, пока все не исчезло в вихре взрыва.

■ ■ ■

— Лоран, Лоран! Проснись! Уже семь часов. Скоро придет Луиза.

— Что за Луиза? — спросил охрипший голос.

— Прислуга.

Он отбросил одеяло. Лампа у изголовья осветила голое, набрякшее от сна тело. Анна окинула его взглядом собственницы. В одной руке она держала чашку, до краев наполненную кофе с молоком, в другой — тарелку с двумя большими ломтями хлеба, намазанными медом.

— А ты,— спросил он,— ты не будешь завтракать?

— Буду, позже,— сказала она.— Вместе с отцом.

Он обеими руками взял чашку и прильнул к ней. Поверх широкой чашки видны были лишь его золотистые, блестевшие от удовольствия глаза. Затем он накинулся на хлеб с медом. Он откусывал большие куски, забавно вздергивая при этом губу. Мед стекал по пальцам. Он их облизывал. Алчность, с какою он ел, пробудила в Анне желание. Раздеться и снова лечь в постель. Прижаться к нему, забыть о времени. Она тряхнула головой, словно пытаясь высвободиться из паутины:

— Лоран, скорее!..

Доев последний кусок, он молнией выскочил из-под одеяла и бросился к одежде. Мгновенье — и он уже был одет. Ему захотелось ее поцеловать, но она стала отбиваться, борясь и с ним и с собой.

— До вечера,— проговорил он.— Ты придешь за мной?

— Да, да, уходи же скорее!

Она вытолкала его в кухню и открыла дверь на черную лестницу. Снизу несся грохот передвигаемых мусорных бачков. Дом просыпался. Вскоре раздастся звук ключа, вставляемого Луизой в скважину...

Анна закрыла дверь и прислонилась к ней, тяжело дыша. Когда к ней вернулось спокойствие, она тихонько пробралась к себе в спальню и нырнула в постель, надеясь найти там тепло и запах Лорана.

■

— Ты не можешь немного задержаться? — заискивающе спросил Пьер, отодвигая чашку.

— Исключено,— ответила Анна,— у меня сегодня с утра назначено несколько встреч на работе.

Он вздохнул:

— Тебе везет! А мне вот совсем нечем заполнить дни!..

— Ну, а эта книга — ты не сходишь за ней?

— Да, возможно...

Она поцеловала его и исчезла. Оставшись один, он налил себе еще чашку кофе, машинально вытащил из кармана письмо госпожи Жироде и перечитал его: «Я с большим опозданием узнала о постигшей Вас страшной потере... Поверьте, что в этих трагических обстоятельствах... Часто думаю о Вас... Не знаю, могу ли сообщить Вам, что книга, которую Вы мне заказали, ждет Вас... Если Вам представится случай зайти на этих днях в наш магазин...» Да, он зайдет. Не потому,

что ему так уж хочется. Просто приличия ради. Сама книга, которую он так жаждал получить, теперь его почти не интересовала! Со смертью Эмильенны мир вокруг него поблек, потерял краски. Уйдя от него, она унесла с собой свет, освещавший даже самые незначительные предметы. Он выпил глоток кофе, нашел его горьким, но сахар добавлять не стал. К чему? Луиза вошла, чтобы убрать со стола, и с удивлением спросила:

— Как? Мадемуазель уже ушла?

— Да,— со вздохом произнес он.— Она спешила!

Он потупился, давая мутной волне отчаяния подняться из недр души, почувствовал острую боль, потребность в утешении и сказал тихим голосом:

— Я так одинок, добрая моя Луиза! Да это и понятно. Моя дочь слишком молода, чтобы разделить горе человека, погребенного заживо!

— Не думайте так, мосье! — воскликнула Луиза.— Мадемуазель переживает очень сильно, по-своему. На днях, когда мы перебирали вещи бедной мадам, у нее были красные глаза...

Все вещи Эмильенны были сложены в картонки. Пьер подумал, что ему следовало бы воспротивиться столь поспешной их уборке. Когда Анна объявила о своем намерении, он только заплакал. Она была такая с ним грубая, такая резкая! И такая холодная! Зачем она все убрала? Боялась воспоминаний? Он предпочел бы сохранить платья, пальто, обувь, белье на прежнем месте в шкафу, чтобы, разглядывая их, вдыхая их запах, острее чувствовать свое горе.

— А... а куда же моя дочь положила все эти вещи?

— Отдала их на благотворительные цели,— ответила Луиза.

— Что?!

— На свете столько нуждающихся! А мадемуазель такая добрая! Я тоже кое-что получила от нее: черное пальто с меховым воротником нашей бедной мадам, ее коричневый костюм и блузку, которая ей так шла...

— Какую блузку?

— Голубую. Но будьте спокойны, мосье, я никогда не надену ее при вас. Я не хочу причинять вам боль...

Сраженный услышанным, Пьер опустил голову. Значит, вся одежда жены роздана кому попало, посторонние люди носят вещи, освященные прикосновением к телу Эмильенны! В храм вторглись и осквернили святыню. А вечером, когда придет Анна, у него не хватит даже смелости осудить сделанное. А впрочем, может, так оно и лучше. Он потерял всякое представление о чем бы то ни было — так ему было плохо... Он попытался вспомнить, когда Эмильенна купила голубую блузку, доставшуюся Луизе. Ах, да, это было года три или четыре назад, перед рождеством. Эмильенна еще была тогда здоровая, красивая, изящная, веселая... И вдруг образ ее застыл. Он не мог вспомнить ничего, кроме фотографии. Напрасно он пытался изгнать из памяти этот квадрат глянцевой бумаги. Луиза унесла тарелки, сняла со стола скатерть. И все-таки Анна могла бы посоветоваться с ним, прежде чем принять такое решение! Как она изменилась после смерти матери! Прежде она всегда держалась в тени Эмильенны. Она всегда держалась в стороне, внимательно следила за всем, со всеми соглашалась, но никогда не вмешивалась в хозяйственные дела. А теперь, когда матери не стало, она решительно заняла опустевшее место. Не было ни междуцарствия, ни безвластия. Из рук жены Пьер перешел в руки дочери. Не сопротивляясь, не удивляясь, скорее даже с благодарностью. Он почувствовал, что сейчас разрыдается.

— Луиза, я выйду! — сказал он.

На улице он почувствовал себя лучше. Свежий воздух и движение разорвали тягостную пелену его мыслей. Однако у книжного магазина его ожидало разочарование. Дверь оказалась запертой. Вероятно, госпожа Жироде придет только к трем часам. Вернуться домой? На это у него не хватало духа. Чтобы скоротать время, он зашел в бистро и заказал кофе. Через десять минут он был уже снова на улице. На этот раз магазин был открыт. Но госпожи Жироде не оказалось на месте. Белокурая женщина невысокого роста, с приятными манерами и лучистыми голубыми глазами спросила, что ему угодно.

— Я зашел за книгой, которую мадам Жироде выписала для меня,— сказал он.— «Paris, during the Interesting Month of July, 1815».

— Я не в курсе дела,— сказала женщина.— Но я попробую найти книгу. В любом случае мадам Жироде должна скоро подойти.

Она стала рыться среди книг, лежавших кипами на длинном столе. Пьер взял одну из них наугад и начал листать. Это была подборка сводок Великой армии. «Мы овладели Штеттином. О русских пока ничего не слышно. Пусть явятся — хоть сто тысяч. Однако слухи об их выступлении — пустая болтовня. Они не осмелятся выйти нам навстречу...» Тут явилась госпожа Жироде, худенькая, бледненькая, сильно напудренная, и рассыпалась в извинениях и соболезнованиях. Не было ли с ее стороны нескромным послать ему письмо? Пьер уверил ее, что, наоборот, он был этим очень тронут. Она представила его своей новой продавщице Элен Редан.

— Я просто физически не в состоянии больше управляться одна в магазине. Вот я и попросила мою племянницу мадам Редан помочь мне.

— Мне придется столькому учиться! — улыбнувшись, заметила госпожа Редан.— Я не имею никакого представления об исторических публикациях...

— Ты быстро войдешь в курс дела, моя дорогая,— успокоила ее госпожа Жироде.— Покупатели здесь люди не случайные. Это скорее друзья — верно, мосье Предайль? Сейчас пойду поищу вашу книгу.

А через минуту она уже вручала ему тоненький томик в красном сафьяновом переплете с широким золотым тиснением. Пьер осторожно взял книгу в руки, открыл ее и с наслаждением прочел титульный лист. Под фамилией автора «У. Д. Феллоу, эсквайр» — черно-белая гравюра, портрет Наполеона I. На полосе слева — в цвете — профили герцога Беррийского, герцога и герцогини Ангулемских, графа Артуа и Людовика XVIII. Книга была написана в виде писем на английском языке, на первом из которых стояла дата — 8 июля 1815 года. Полистав страницы, Пьер убедился, что автор, как он того и ожидал, описывал жизнь Парижа во время оккупации города союзниками — простым, доступным для понимания языком. Он подумал о том, какое удовольствие доставит ему чтение этой книги, и тотчас удивился, что у него могла появиться такая мысль.

— Это та самая книга, которую вы разыскивали? — спросила госпожа Жироде.

— Совершенно верно,— ответил он.— И притом — в прекрасном состоянии!

— Я ее просмотрела. Мне показалось, что в ней масса забавных наблюдений! Теперь, когда у вас собрана такая документация, вы сможете воссоздать Париж, каким его видели иностранцы, и я уверена, с немалым количеством пикантных деталей!

— Да, да, конечно,— сказал он.— Если бы к тому же у меня был писательский дар...

— Мосье Предайль поистине ходячая энциклопедия,— заметила

госпожа Жироде, обращаясь к племяннице.— Он знает наш квартал, как никто другой. Это он, например, рассказал мне, что Тальма [1] жил в бывшем особняке Ларошфуко, где теперь проходит улица Изящных Искусств...

— В самом деле? — воскликнула госпожа Редан.

— Там жил также Давид [2],— продолжал Пьер,— и Себастьен Мерсье [3]... Немного дальше, в доме номер двадцать шесть, находилось кабаре «Маленький мавр». Туда принесли поэта Сент-Амана в тысяча шестьсот шестьдесят первом году, когда его избили на Новом мосту сторонники принца Кондэ, которого он высмеял в песенке. Там он и скончался от полученных побоев. Когда-то двор этого дома служил местом дуэлей...

— А правда, что здесь где-то неподалеку жил Расин? — спросила госпожа Редан.

— Да, только не на улице Сены, а на улице Висконти. Он поселился там к концу жизни с женой и всеми своими детьми. Там и умер от дизентерии, а также от абсцесса печени. А может быть, от горя, что потерял расположение Людовика Четырнадцатого!

Пьер мог немало порассказать о последних годах жизни Расина. Но он как-то не решался продолжать. Однако обе женщины, пораженные его познаниями, были явно готовы внимать ему и дальше. Он выпятил грудь. Дома с ним не считались. А здесь его слушали, уважали. И он охотно стал описывать квартиру Расина, о которой читал в нескольких специальных трудах: его рабочий кабинет, сарай, где стояла его карета и кресло на колесиках, конюшню, где держали пару лошадей...

— Как интересно! — промолвила госпожа Редан.

Он скромно улыбнулся.

— А знаете,— сказал он,— я хотел бы работать у кого-нибудь вроде Рошегюда или Ленотра [4], носиться по улицам, опрашивать владельцев домов или привратниц, толкаться у нотариусов, перебирать старые документы, письма, восстанавливать историю каждого дома...

И он уже видел себя в роли страстного исследователя, роющегося в архивах, ничем не связанного с реальным миром и окруженного уважением знатоков. Он упустил свое призвание. Не слишком ли поздно в шестьдесят лет все еще мечтать об этом? В магазин вошел покупатель, и госпожа Редан направилась к нему, а госпожа Жироде украдкой стала наблюдать, как она его обслуживает.

Пьер охотно побыл бы еще немного с госпожой Жироде, но боясь надоесть ей, решил уйти. Заплатив за свою покупку (триста пятьдесят франков — безумие!), он вышел на улицу с книгой под мышкой. Он был до того упоен своим приобретением, что не чувствовал под собой ног. Вернувшись домой, он с гордостью обозрел застекленный шкаф в гостиной, где хранились его книги о старом Париже. Все самое интересное, что он знал, стояло там на полках. Целые исторические эпохи, вереницы персонажей — глухой отголосок дней, давно канувших в вечность. Как мог он столько времени не интересоваться всем этим? Только прошлое может служить утешением в настоящем. Томик, который он сейчас приобрел,— бесспорно один из самых любопытных в его коллекции. Он повертел его в руках, вдохнул его запах и погрузился в чтение. Время от времени

---

[1] Тальма, Франсуа-Жозеф (1763—1826) — французский трагик, любимец Наполеона.

[2] Давид, Жак-Луи (1748—1825) — известный французский художник.

[3] Мерсье, Себастьен (1740—1814) — французский писатель, театровед.

[4] Ленотр, Теодор (1857—1935) — французский историк.

он обращался к помощи англо-французского словаря. Описание парада союзных войск на Елисейских полях вызвало у него улыбку. Он решил, что непременно перескажет все госпоже Жироде при следующем посещении магазина. Внезапно раздавшийся телефонный звонок оторвал его от толпы зевак, глазевших на маршировавшую шотландскую гвардию. Он снял трубку, уверенный, что это звонит Анна — хочет предупредить, что не вернется к ужину. Она теперь часто вечером уходила куда-то с друзьями. Что это были за друзья? Он не решался спросить. Она бросала его и уезжала. Что ж, вполне понятно! Он ведь такой скучный! Во всяком случае, ей скучно с ним... Но на другом конце провода раздался мужской голос. Звонил Шарль Клардье. Он не подавал о себе вестей со времени похорон. После обычных дружеских приветствий он пригласил Пьера на бридж в следующее воскресенье. И Пьер, к собственному удивлению, ответил:

— В воскресенье? Хорошо, старина... В какое время?

■

Анна со всей суровостью посмотрела на него.

— Послушай, папа,— сказала она,— но ведь это же просто нелепо! Ты то и дело меняешь решения! Клардье рассчитывают на тебя сегодня. Нельзя же отказываться в последнюю минуту! Ты им сорвешь игру!

— Я так жалею, что принял приглашение! — сказал он со вздохом.— Они застали меня врасплох. Тебя ведь не было дома. А Клардье так настаивал, что я не сумел отказать ему. Ты действительно думаешь, что если я позвоню им и откажусь...

Она покачала головой:

— Нет, отец, нельзя.

Он откусил кусочек рогалика, прожевал его.

— Ты же знаешь, что они исключительно из жалости пригласили меня. Раньше они приглашали нас из-за твоей матери. А я ходил с ней. Играл я редко. Я никогда не считался у них хорошим игроком в бридж. К тому же и бридж и остальное без нее — ничто, ничто, ничто!..

— Ну что за глупости ты говоришь! — оборвала его Анна, нахмурив брови.— Клардье тебя очень любят. Может быть, даже больше, чем маму. И ты это прекрасно знаешь. Но у тебя просто мания жаловаться и принижать себя...

Кофе с молоком остыл. Он допил его до дна. Во рту остался вкус сахара. На тарелке у Анны лежал несъеденный второй рогалик.

— Ты не хочешь больше? — спросил он.

— Нет.

Он взял рогалик, намазал маслом, задумчиво, без удовольствия сжевал его и пробормотал:

— Я так часто ходил туда играть с твоей матерью. Сидеть у них в гостиной без нее, с картами в руках, видеть сочувствующие лица Клардье — ах, как это будет трудно!

— Вначале, возможно,— сказала Анна.— А потом, я уверена, что ты будешь рад возобновить эту привычку. Поверь мне, Мили слишком любила жизнь, и будет неправильно, если ты станешь от всего отказываться!

Слова дочери глубоко взволновали его. Анна сразу стала ему намного ближе.

— И все же я предпочел бы провести вечер с тобой,— сказал он.— Пошли бы погулять...

— Но ведь льет дождь!

— В таком случае мы посидели бы дома, поболтали. Ведь нам так хорошо вместе, правда?

Он взял ее за руку. Она поднялась из-за стола и нежно обняла его.

— Правда, папа.

— Я тебе не надоел?

— Почему ты должен мне надоесть?

— Не знаю... У меня всегда такое впечатление, что я мешаю, как старая рухлядь...

Она улыбнулась:

— Опять ты за свое!

Он посмотрел на нее снизу вверх и нашел необыкновенно хорошенькой. Глаза светились, на щеках румянец.

— А тебе не хочется пойти со мной к Клардье? — спросил он.

Она снова стала серьезной.

— Нет, у меня здесь много дел.

— Каких же?

— Надо навести порядок в доме. Луиза совершенно не умеет этого делать. В шкафах все свалено как попало! Ты видел, в каком состоянии маленькая комната? Туда просто не войти, до того она завалена! Ну и к тому же, тебе надо привыкнуть обходиться без меня.

— Но я этого вовсе не хочу!

Она стояла перед ним и теперь положила обе руки ему на плечи.

— А я хочу. Для твоего же блага, для блага нас обоих.

— Ох, Анна, не говори так! Если ты меня покинешь, то я... я, наверно, покончу с собой! Я не смогу теперь жить без тебя!

Она рассмеялась:

— С чего ты взял, что я тебя покину?

— Ну, кто знает, что может случиться...

— Я-то знаю,— сказала она.

Он почувствовал гордость от того, что у него такая дочь.

— Я выйду купить чего-нибудь к обеду,— заявила она.

— Не покупай ничего для меня: я совсем есть не хочу.

— Как всегда! — сказала она.— А сядешь за стол, будешь есть за четверых!

Она погладила его по волосам. И он прижался головой к ее бедру.

■ ■ ■

— Ты знаешь, который сейчас час? — шепотом спросила она.

— Нет,— ответил он и даже не шевельнулся.

— Пять часов.

— Ну и что же? Разве твоему отцу уже пора возвращаться с бриджа?

— Нет еще!

Она выскользнула из постели, почувствовала сразу холод и поспешно натянула халат.

— Ты куда? — спросил он.

— В гостиную. Ты придешь?

Через некоторое время он вошел в гостиную уже одетый. Печальным взглядом осмотрел все вокруг.

— Прекрасная мебель, прекрасные книги, прекрасный ковер! Тебя не тошнит от этой банальной добропорядочности?

— Без тебя — да! — ответила она.

— Я не мог бы жить здесь. Даже есть телевизор. Ты смотришь телевизор по вечерам?

— Когда бывают хорошие передачи.

— Невероятно!

Он расхаживал по комнате, трогал безделушки, похлопывал по спинкам кресел. И вдруг схватил вышивку Анны, валявшуюся на комоде.

— Ты этим занимаешься?

— Да.

— Совсем как моя мать! До чего же она мне осатаневала этой своей канвой и цветной шерстью!

— Но, Лоран, ты от всего осатаневаешь! — возразила Анна.— И ничего не признаешь! Ты не выносишь даже, когда я тебя о чем-то спрашиваю!

— А что именно тебе хотелось бы знать?

— Расскажи мне немного о себе, о твоей семье...

— Опять! Но это же неинтересно!

— Мне — интересно.

— В моей семье я чувствую себя точно среди чужих, я там задыхаюсь! Добропорядочные люди с узким кругозором, провинциальные буржуа, опутанные нелепейшими предрассудками...

— А твои брат и сестра?

— Такие же, как родители, только моложе!

— Чем они занимаются?

— Брат помогает отцу в аптеке.

— Аптекарь — какая хорошая профессия!

— Бакалейщик — тоже! Кстати, моя сестра тоже встанет за родительский прилавок, как только закончит учение. А пока она умудрилась обручиться с этаким длинным болваном, который готовится стать доктором права. Наверно, подождет, пока он получит диплом, а уж тогда будет спать с ним. Во всяком случае, раньше ни за что не выйдет за него замуж! Этакая мещанская ограниченность!

— Ограниченность — это у тебя, хоть ты и отвергаешь все условности! — сказала она.— Но рано или поздно и тебе придется чем-то заняться в жизни!

— Я об этом подумаю, когда мне надоест ничего не делать!

Она рассмеялась.

— Я люблю, когда ты смеешься,— сказал он, приблизив к ней лицо так, что она почувствовала его дыхание.

В это время зазвонил телефон. Анна сняла трубку — голос Марка.

— Я тебе так давно не звонил,— сказал он.— Ты, наверно, уже не понимала, в чем дело!

— Да,— сказала она неопределенно.

— Я был в Румынии. Ну, как же ты поживаешь?

— Хорошо.

— А твой отец?

— Он тоже,— ответила она.— Во всяком случае, насколько это возможно...

Разговаривая, она наблюдала за Лораном — тот враскачку пересек комнату и взял отводную трубку. Она улыбнулась и слегка ударила его по пальцам. Но он не выпустил трубки, а лишь поудобнее прислонился к стене.

— Ты не свободна сегодня вечером — чтобы поужинать со мной? — спросил Марк.

— Нет, сегодня я не могу...

— А когда же? Может быть, завтра вечером?

— Тоже не могу.

Лоран смотрел на нее саркастическим взглядом. Этот контроль вызвал у Анны чувство досады и раздражения. Внезапно он протянул руку, взял ножницы из рабочей корзинки, где лежало вышивание, и сделал вид, будто намерен перерезать телефонный шнур. Анна пожала плечами.

— Если хочешь, мы можем пообедать завтра,— сказала она.

— Мне хотелось бы провести с тобой вечер,— возразил Марк.— Ну хорошо, давай пообедаем. Как всегда, в нашем ресторанчике на улице Сен-Бенуа?

— Да.

Лоран, продолжая держать трубку возле уха, пощелкал лезвиями ножниц.

— Мне столько нужно тебе рассказать,— продолжал Марк.

— Отлично,— ответила Анна.

— Так до завтра, Анна. Целую тебя.

— Я тоже.

Она повесила трубку. Лоран уже не улыбался. Лицо его стало каменным.

— Кто это был?

— Марк.

— Твой бывший муж?

— Да.

— Почему ты с ним встречаешься?

— А почему бы мне с ним не встречаться?

— О чем вы будете завтра разговаривать?

— Как всегда — о его работе, о моей, о наших общих знакомых, о его поездке: он только что вернулся из Румынии. Мы ведь остались друзьями.

— Я запрещаю тебе встречаться с ним! — со страдальческим видом в исступлении воскликнул он.

— Ты ничего не можешь мне запретить, Лоран,— сказала она.

У нее было такое впечатление, что она говорит с плохо воспитанным ребенком. Никогда еще она так остро не чувствовала разницы в их возрасте. Семь лет. Ужас! Он изо всей силы хватил кулаком по столику.

— Тебе нравилось спать с ним? — спросил он глухо.

Она не ответила. Он грубо схватил ее за плечи.

— Нравилось? — повторил он.— С ним было лучше, чем со мной?

Он спрашивал, впившись в нее взглядом, чуть не касаясь губами ее рта. Она всем телом чувствовала, как он напрягся и дрожит, сгорая от нетерпения. Руки не слушались его — он неуклюже распахнул полы ее халата. И уткнулся головой ей в плечо, затем в проем между грудей, в низ живота. Опустившись на колени, он вдыхал запах ее кожи, покусывал ее, впивал ртом. Она теряла голову от наслаждения. Он опрокинул ее на диван и ринулся на нее. Лучше бы он разделся. Но ему не терпелось овладеть ею. Она сказала: «Не надо». Но так или иначе было уже поздно. Он отвалился на бок, измотанный, без сил. Она лежала, слегка раздосадованная, прислушиваясь к не утихавшему в ней волнению. Зазвонил телефон.

— Опять! — вскричал Лоран.

Он вскочил и, опередив Анну, схватил трубку. Еще на расстоянии она услышала журчание женского голоса. Лоран молча протянул ей трубку.

— Алло, Анна? Здравствуйте, дорогая. Это Ивонна Клардье... Да... Мы оставляем вашего отца у нас на ужин. Может быть, и вы к нам присоединитесь?

Инстинктивно она прикрыла халатом обнаженную грудь.

— Нет, это невозможно,— сказала она.— Но я очень рада за отца.

— Ну что ж, тогда в другой раз, Анна.

Лоран, умиротворенный, сел на диван. Она присоединилась к нему. Он обнял ее за плечи.

— Побудь со мной,— сказал он.— Я так несчастен! Мне бы хотелось запереть тебя в шкатулку и всюду носить с собой. Ты завтра идешь на работу?

— Ну, конечно!

— И ты будешь работать с этими двумя парнями, которых я видел тогда с тобой на улице?

— Да,— сказала она,— с Брюно и Каролюсом. Отличные ребята. Талантливые, с выдумкой... Я бы так хотела, чтобы ты был на их месте!

— А они, ты думаешь, не хотели бы быть на моем? — спросил он, чмокнув ее за ухом.

— Что ты придумываешь? Они меня даже не замечают!

— Но ты-то их замечаешь. Ты только что сказала, что в восторге от них!

— Послушай, Лоран, ты меня злишь...

— Но пойми меня, Анна...

Она закрыла ему рот поцелуем. Он выбрал пластинку в альбоме, лежавшем в изножье дивана, и поставил ее на проигрыватель. Это была «Баркаролла» Шопена.

Они сидели рядом и слушали музыку. Комната медленно погружалась в темноту. Лицо Лорана превратилось в большое бледное пятно. Рука его конвульсивно сжимала руку Анны.

■

Столик стоял в стороне, у окна с мелким переплетом, застекленного как бы толстыми бутылочными донышками. Молчаливый официант налил ароматное вино в бокалы и удалился. Зажаренное на углях, благоухающее мясо обнажало под ножом нежно-розовое нутро.

— Мясо здесь просто великолепное! — промолвил Марк.

Анна весело кивнула в знак согласия: рот у нее был полон. Тайна, которую она носила в себе, несомненно, обостряла ее восприятие радостей жизни.

— Ну, какие у тебя впечатления от Румынии? — спросила она.

— Весьма сложные,— ответил Марк.— Это, конечно, социалистическая страна, но со своими особенностями. Отель, в котором я жил, был буквально забит европейскими и американскими бизнесменами. Трудно даже представить, как стараются Соединенные Штаты там закрепиться... Идет бешеная конкуренция... А возможности — огромные...

Внезапно Анна перестала его слышать. Похолодев, с замирающим сердцем, смотрела она на Лорана, медленно приближавшегося к ней. Он, наверно, обследовал все рестораны на улице Сен-Бенуа, прежде чем попасть сюда. Искаженное лицо его было смертельно бледно, глаза — как у помешанного. На плечах — черная куртка. Он встал перед столиком, широко расставив ноги, заложив за пояс большие пальцы рук. Воцарилось напряженное молчание. Во взгляде Анны был протест, осуждение, приказ уйти.

— Здравствуй, Анна,— произнес наконец он.— Можно присесть?

— Нет,— отрезала она голосом, дрожавшим от гнева.

— Почему? — с удивлением спросил он.— Я тебе мешаю?

— Да, очень.

Брови Лорана дрогнули. Снедаемый гневом, отчаянием, презрением, он тяжело дышал, раздувая ноздри. Глаза его сверкали.

— Ты могла бы, по крайней мере, меня представить, как того требуют правила хорошего тона! — сказал он.— Не хочешь? Прекрасно, я сделаю это сам.

И, повернувшись к Марку, добавил:

— Меня зовут Лоран. А вы — Марк, бывший муж Анны, верно? Вы вряд ли что-либо слышали обо мне. А я о вас много слышал. Я знаю от Анны, что вы остались с ней в отличных отношениях. Друг, почти брат! Трогательно.

Анна исподтишка бросила взгляд на Марка. Он спокойно улыбался, поглаживая кончиками пальцев бокал.

— Кстати, я именно таким вас и представлял,— продолжал Лоран, повышая голос.— Человек с положением, преуспевающий, солидный. На такого можно опереться. А тебе повезло, Анна! Конечно, когда ты сравниваешь меня с этим мосье...

Задыхаясь от стыда и бессильной ярости, Анна еле слышно пробормотала:

— К чему ты клонишь, Лоран?

— Ты не догадываешься, нет? — пробормотал он.

В его горящих глазах была мольба. К ней взывал нищий, жалкий, безответный. Он молча призывал ее воскресить в памяти воспоминания о проведенных вместе ночах. Но она, нимало не смущаясь, отклонила его мольбу. Тогда злобная гримаса вдруг исказила лицо Лорана. И, упершись обеими руками в стол, он едко произнес:

— Мы вчера забыли условиться. Я хотел бы знать, ты придешь ко мне сегодня ночью или мне прийти к тебе?

— Хватит, Лоран,— сказала она.— Убирайся!

— И ты думаешь, я послушаюсь тебя? Точно покорная собака! А где награда?

Он явно издевался. Марк дотронулся до руки Анны.

— Позволь мне выпроводить этого любезного молодого человека за дверь! — сказал он.

— Нет,— сказала Анна, вставая.— Он будет только рад устроить спектакль. Лучше я уйду. И, пожалуйста, не провожай меня, Марк. Я позвоню тебе вечером.

Говоря это, она надевала пальто. Официант поспешно подскочил и отодвинул столик. Она вышла с пылающими щеками, чувствуя позади себя, за спиной, присутствие Лорана. Он явно следовал за ней. Она шагала по улицам, не глядя, куда идет, лишь стремясь унять бушевавшие в душе страсти,— от них перехватывало дух и бешено билось сердце. На бульваре Сен-Жермен она попала в водоворот разгулявшихся парней и девчонок. И тут, обогнав ее, Лоран неожиданно преградил ей дорогу. Он стоял перед ней в распахнутой куртке, сверля ее взглядом.

— Ты что, в самом деле думала, что я позволю тебе обедать с этим типом и крутить шуры-муры? Плохо же ты меня знаешь, Анна!

— Я тебя уже достаточно хорошо знаю,— сквозь зубы сказала она.— Знаю, какой ты бесхарактерный, грубый, эгоистичный и самовлюбленный дурак! Жалкий мальчишка — вот и спи с девчонками своего возраста! Никакой деликатности, ни глубины чувства, ни стыда! Ничтожество... мразь!

Он схватил ее за руку. Она высвободилась.

— Не трогай меня!

И ударила его по щеке. С такой силой, что почувствовала боль в плече. Зачем она это сделала? Лоран был ошеломлен и подавлен. Анна поднесла руку ко рту. Глаза ее застлала пелена слез. Он бросился от нее прочь.

— Лоран, послушай!..— крикнула она.

Но он уже бежал по мостовой, петляя между машинами. Прямо на него мчался мотоцикл. Зажмурившись, Анна увидела его на земле, в луже крови. Но нет — вот он уже на противоположном тротуаре, мчится — куртка нараспашку, длинные, как у индейца, волосы развеваются на ветру. Секунда — и он затерялся в толпе. Прохожие, которые присутствовали при разыгравшейся сцене, глазели на Анну с насмешливым любопытством. Силы вдруг оставили ее — она заплакала и пошла. Кто-то дотронулся до ее руки. Она обернулась — Марк.

— Пойдем со мной,— сказал он.

Он привел ее в бистро. Там почти никого не было. Они сидели за столиком в глубине зала — перед каждым чашка с черным кофе — и молчали. В телефонной будке за матовым стеклом кто-то без конца говорил. Мужчина или женщина? Лишь какая-то тень, время от времени шевелившая плечами.

— Прости меня,— сказала Анна.— Все было так безобразно!

— Ты живешь с ним? — мягко спросил Марк.

— Да.

— И любишь его?

Анна молчала. Он взял ее за руку. Она так нуждалась в поддержке, что это прикосновение растрогало ее до слез.

— Ну, конечно, любишь,— продолжал Марк.— Но мне кажется, не очень это удачная затея. Он же сумасшедший!

Она согласно кивнула.

— И что же ты собираешься делать? — спросил он.

— То, что произошло сегодня, должно было произойти. Теперь между нами все кончено. Я не хочу больше слышать о нем. Поставлю крест на этой печальной истории. А сейчас мне пора. Надо возвращаться на работу.

— Хочешь, я тебя провожу?

— Да, Марк.

— А что, если мы поужинаем сегодня вместе?

— Нет, мне надо побыть одной. Но позже... Я тебе обещаю...

— Я буду звонить тебе каждый день,— сказал он.

Анна улыбнулась ему. Она чувствовала, что избавилась от тяжкого бремени — ей было одновременно легко и грустно,— словно промчался смерч, перевернул все вокруг нее, и она не знала, как шагать в этой непривычной обстановке. Однако на улице все было по-старому — и люди и дома. Марк вел ее под руку. Она прижалась к его плечу.

■

— Очень сожалею, мосье,— сказала госпожа Редан.— но моя тетушка больше не бывает по утрам в магазине. Она плохо себя чувствует. Может быть, я могу быть вам полезной?..

Без старой хозяйки магазин Коломбье потерял половину своей прелести. Пьер колебался. Прошелся взглядом по большому столу, заваленному книгами.

— Нет, нет, не обращайте на меня внимания,— сказал он.— Я сам порою в книгах.

Она вернулась к покупателю, раздумывавшему, какую из книг с северном пригороде Парижа лучше взять — ту, что подороже, или

ту, что подешевле? Просматривая книги, которые лежали на большом столе — почти все они были ему известны,— Пьер с интересом слушал разъяснения продавщицы. У нее был приятный мелодичный голос, говорила она легко и непринужденно. Она вовсе не стремилась заставить покупателя приобрести дорогую книгу — наоборот, пыталась убедить его в том, что менее дорогое издание содержит, пожалуй, более интересный материал.

— Конечно, в этом томе нет цветных иллюстраций, которые есть в другом, да и внешне он менее презентабелен, но как справочный материал для работы...

Кончилось дело тем, что покупатель приобрел оба тома. Когда он вышел, Пьер поздравил госпожу Редан: она поистине обладает даром убеждения.

— Не издевайтесь, пожалуйста, надо мной! — улыбнулась госпожа Редан.— Я с трудом скрываю свое невежество!

— Не станете же вы уверять меня, что вы новичок в этом деле!

— И да, и нет. Я, конечно, давно работаю в книжной торговле. Но до сих пор занималась только новинками. А это — совсем другое!

— И вы сожалеете о том, что теперь вам приходится заниматься другим?

— Вовсе нет!.. Просто я не чувствую себя на высоте положения... Не знаю, вытяну ли я... Мадам Жироде такая удивительная женщина! Разве я сумею ее заменить?.. Хотя, конечно, сейчас ей просто необходимо, чтобы подле нее был человек, которому она доверяет...

— Мне кажется, я знаю ее вечно. Она очень пожилая, не так ли?

— Семьдесят восемь лет! А какая память, какой организаторский дар, какая поразительная ясность мысли! Взгляните хотя бы на это!

Она достала из-под кассы большую регистрационную книгу в черном коленкоровом переплете и раскрыла ее перед Пьером. Там в алфавитном порядке значились все основные покупатели. Под фамилией госпожа Жироде отмечала, какие исторические темы интересуют каждого клиента, а также какие книги и когда она ему продала.

— Поразительно! — воскликнул Пьер.

— Только не говорите тете, что я вам ее показала!

— Вы позволите?..

Пьер листал книгу; он проникал в библиотеки неизвестных ему людей и открыл, что один из любителей старины собирает труды о пытках в разные века и в разных странах, другой — историю военных хитростей, третий — памфлеты против Мазарини. Сам он числился под буквой «П» как «страстный любитель и знаток старого Парижа, особенно первой половины XIX века». А после этой лаконичной характеристики значились все его приобретения. Он передал алфавитную книгу госпоже Редан и спросил:

— Вы много читаете?

— Очень! — ответила она.— Это моя страсть. Но не романы, а главным образом биографии.

— В таком случае я спокоен! Вы не только не уйдете из этого магазина, но все больше и больше привяжетесь к нему! И потом, ваша тетя не доверила бы вам этой работы, если бы не подозревала о ваших способностях!

— Моя тетушка еще и мой лучший друг. Кроме того, она крестная мать моего сына!

— А у вас есть сын? Наверно, совсем еще мальчик! — добавил Пьер.

Она подняла глаза к потолку.

— Ему двадцать пять лет. Он инженер-агроном. Сумел устроиться на работу в Чили и там женился на прелестной местной девушке.

С прошлого года я стала бабушкой, но знаю свою внучку только по фотографиям!

Пьер в уме вычислил, что госпоже Редан, должно быть, лет сорок пять. А по виду он дал бы ей тридцать пять. Эти пепельно-светлые волосы, этот живой взгляд голубых глаз...

— А чем занимается ваш муж? — осведомился он.

— Я уже давно с ним в разводе.

Он подумал, что, вероятно, совершил оплошность, задав ей этот вопрос. Но госпожа Редан непринужденно улыбалась, приводя в порядок книги на столе.

— А у вас, кажется, есть дочь? — спросила она.

— Да, к счастью. Мы живем вместе. И она помогает мне переносить горе. Но совсем не понимает меня. Она хочет, чтобы я встряхнулся, снова активно включился в жизнь...

Госпожа Редан отошла обслужить очередного покупателя. На этот раз она быстро с ним расправилась и, возвратясь к Пьеру, наградила его веселым, искрящимся взглядом. Должно быть, у нее ровный характер и цветущее здоровье, подумал он. Теперь уйти, ничего не купив, было бы неприлично. И поразмыслив немного, он выбрал любопытный «Свод обычаев Иль-де-Франса», целиком написанный от руки неким господином Шарра, бывшим версальским актуариусом. Томик стоил пятьдесят семь франков. Совсем даром. Госпожа Редан завернула книгу в голубую бумагу. У нее были изящные руки с ухоженными ногтями. Пробило двенадцать, и она объявила, что закрывает магазин на обед. Пьер вышел вместе с ней и постоял, наблюдая, как она опускает предохранительную решетку и поворачивает ключ в замке. На ней был непромокаемый плащ, подбитый коричневым мехом.

— А когда вы откроете снова? — спросил он.

— В три часа.

— В таком случае, может быть, у вас есть время зайти чего-нибудь выпить?

Она посмотрела на него с удивлением, улыбнулась и проговорила:

— С удовольствием.

Он не ожидал, что госпожа Редан согласится, и тут же упрекнул себя за то, что пригласил ее. В кафе он почувствовал себя еще более неловко. Точно приглашение исходило не от него и ему пришлось подчиниться. Она заказала себе пастис — напиток, который, по его мнению, вовсе не подходил для благовоспитанной и скромной дамы. Он взял сухого вина и тут же подумал о дочери. Что, если бы Анна увидела его в бистро с этой незнакомой женщиной, увидела, как он смотрит на нее и принужденно, из любезности поддерживает беседу!.. Какой бес толкнул его на это? И как теперь выпутываться из этой истории? Пока он находился с госпожой Редан в книжном магазине, все шло нормально. Но теперь, когда вокруг не было книг, он не знал, о чем с ней говорить. Он почувствовал себя виноватым, и ему сразу стало с ней скучно.

— Вы живете где-то здесь, неподалеку? — спросил он.

— На авеню Ла Мотт-Пике. От «Одеона» туда идет прямая линия метро. А вы?

— Совсем рядом, на улице Сены.

— Трудно представить себе лучшее место для человека, влюбленного в старый Париж! Вы, наверно, настолько погружены в увлекательные истории прошлого, что и не видите событий сегодняшнего дня, того, что происходит в окружающей вас жизни!

— Что вы! Я вовсе не пустой мечтатель. Я с интересом слежу за происходящим, как и все мои соотечественники...

— А что вы любите, помимо чтения?

Он медлил с ответом, потом сказал:

— Люблю музыку, прогулки, хожу в музеи, играю в... бридж.

— Я тоже иногда играю у друзей в бридж. Но у меня нет к этому призвания...

— Да и я не из сильных игроков...

По мере того как текли минуты, он со все возрастающим беспокойством думал об Анне, которая, конечно, уже вернулась с работы и ждет его обедать. Она, конечно, не понимает, куда он мог запропаститься. Как объяснить ей свое опоздание? Еще немного, и он обвинил бы госпожу Редан в том, что по ее милости он попал в столь сложное положение. Он уже не находил ее ни привлекательной, ни умной. А она маленькими глоточками пила пастис. Не мог же он оборвать разговор и подняться. Но неужели у нее нет никаких обязательств в жизни? Интересно, в какое время она обедает? Уж не думает ли она, что он пригласит ее в ресторан? Ведь он же ясно сказал: «Не хотите ли чего-нибудь выпить?» Он начал нервничать. Руки у него покрылись испариной. А госпожа Редан рассказывала об экскурсии, с которой она в прошлое воскресенье ездила в замок Фонтенбло:

— Было довольно интересно, только вот гид словно отвечал заученный урок. Когда я сравниваю его бесстрастное повествование с тем, как вы горячо и живо рассказывали прошлый раз о старых домах вашего района!..

Ему это было очень приятно, и в то же время он почувствовал приближение опасности. Сейчас его поймают на крючок. Он весь сжался.

— Я уверена, что вы иногда гуляете с дочерью по самым старым улицам Парижа, проводя ее через века, рассказываете ей историю людей и зданий,— продолжала госпожа Редан.

— Да, случается,— пробормотал он.

— Как я ей завидую! — вздохнула госпожа Редан.

— Как-нибудь, если вы пожелаете, я с удовольствием составил бы вам компанию...— начал он.

По его представлениям, этого требовала обычная вежливость. Не мог он не предложить ей такой прогулки после того, что она сказала. Но он ужасно расстроился, когда она ответила согласием.

— Вы очень любезны,— сказала она.— Мне не хотелось бы показаться назойливой. Но если вам придет мысль пройтись в воскресенье или понедельник... Да, магазин в понедельник закрыт...

— Отлично... Отлично...— пробормотал он.

Она допила рюмку. С нижней губы у нее сошла помада, и она подвела ее снова. Лицо сразу помолодело, засветилось. Пьер так спешил домой, что даже не предложил госпоже Редан проводить ее до метро. Они расстались у выхода из кафе. Пьер тотчас вздохнул с облегчением. Никогда больше ноги его не будет в этом магазине. Пять минут второго. Он чуть не вприпрыжку бежал по улице. Лицо Анны маячило перед его мысленным взором — огромное и мрачное, как грозовая туча. Войдя в гостиную, где она сидела, он пробормотал, глядя куда-то в сторону:

— Извини, пожалуйста... Ты давно меня ждешь?

— Нет,— сказала она.— Я только что пришла. А ты откуда?

— Почему ты меня об этом спрашиваешь, Анна?

— Просто так, интересуюсь, папа...

— Я выходил кое-что купить...

Он опасался, что она начнет выспрашивать, но расспросов не последовало. И он с облегчением сел напротив нее за стол. Поскольку

дома все обошлось благополучно, он уже с удовольствием вспомнил госпожу Редан. У нее действительно были очень красивые руки и синие, прозрачные, как витражи, глаза. Он правильно поступил, купив книгу,— библиографическая редкость и так недорого. От сухого вина, которое он выпил в кафе, у него разыгрался аппетит. И он с веселой жадностью набросился на еду. Анна же, наоборот, лишь ковыряла в своей тарелке.

— Ты не хочешь есть? — спросил он.

— Нет.

Лицо у нее осунулось, щеки были бледные, поэтому особенно бросался в глаза высокий выпуклый лоб.

— Ты что-то неважно последнее время выглядишь,— заметил он.— Уж не заболела ли?

— Ничуть. Просто у меня неприятности на работе.

— Какие?

— Да все одни и те же.

— Ты мне ничего не рассказываешь!

— Ох, оставь, пожалуйста, папа! — сказала она резко.

— Ты рассердилась, потому что я опоздал к обеду?

— Да нет же!

Вошла Луиза, неся сыр. Анна решительно отказалась. А Пьер, хоть и очень любил кантальский сыр, взял лишь небольшой кусочек, точно боялся, что вызовет недовольство дочери, если возьмет больше.

— Чем мне заняться после обеда, мадемуазель? — спросила Луиза.

— Вам давно пора знать это самой! — недовольно пробурчала Анна.— Вечно за вас надо думать!

— Но, мадемуазель, вы же сами вчера сказали, чтоб я спросила вас... И постирать нужно, и погладить...

— Делайте что хотите. Кстати, на будущее — будьте любезны не перекладывать мои вещи. Сегодня утром я обнаружила свою сумку в шкафу для обуви, а лосьон для лица — в аптечном шкафчике. Если так будет продолжаться, я не смогу вас держать!

Луиза огорчилась, лицо у нее сморщилось, большие выкаченные глаза наполнились слезами.

— О, мадемуазель, прошу вас... Что я стану делать, если вы меня прогоните?.. В моем-то возрасте разве кто-нибудь меня возьмет?..

Плотно сжав губы, Анна поглядела на нее испепеляющим взглядом, и Луиза ретировалась на кухню.

— Я нахожу, что ты слишком строга с ней,— сказал Пьер.— Ведь она делает все, что может.

— Ты хочешь сказать, что она все больше поступает так, как ей вздумается!

— А что мы станем без нее делать?.. Боюсь, ты не найдешь никого лучше...

— Ты всегда всего боишься, папа. Незаменимых людей нет.

Он замолчал, чтобы не раздражать ее еще больше. У Эмильенны тоже бывали такие приступы холодного гнева, и тогда она стрсжила прислугу. По всей вероятности, у всех женщин, даже вполне уравновешенных с виду, возникает иногда потребность разрядить нервное напряжение таким вот взрывом. Даже госпожа Редан и та, наверно, не лишена этого недостатка. Хотя она такая спокойная, приветливая, улыбчивая, что трудно представить ее себе иной...

Анна ушла на работу еще до того, как он успел выпить вторую чашечку кофе. Она сказала, что опаздывает на деловое свидание.

На самом же деле ее никто не ждал. Она села за свой рабочий стол и при виде громоздившихся на нем бумаг пришла в полное уны-

ние. Если после смерти матери она подавляла свое горе, уходя с головой в повседневные дела, то со времени ссоры с Лораном она не могла ни продиктовать письмо, ни составить проект рекламы,— словом, не могла выразить на бумаге простейшую мысль. Вот уже две недели, как он съехал. Куда? Привратница понятия не имеет. Наверно, вернулся к себе в Экс-ан-Прованс. Во всяком случае, он ничего не оставил — ни носка, ни носового платка. Теперь она была убеждена, что это — полный разрыв. Но разве она этого не хотела? В сотый раз она видела перед собой сцену в ресторане. Почему она так плохо его встретила? Для чего надо было раздражаться, можно было просто предложить ему присесть. Марк бы это прекрасно понял. Они пообедали бы втроем. Короче говоря, она пожертвовала Лораном, который был для нее всем, ради Марка, который уже ничего для нее не значил. Из приличия, по глупости! А эта пощечина посреди улицы!.. Она отхлестала Лорана как дерзкого мальчишку. Но на самом-то деле прав был он. Хотя бы потому, что жил на свете ради самого главного. Он так любит свободу, так ненавидит законы, что его не впрячь ни в какую упряжку. Как он, наверно, презирает ее после этой ссоры, когда она показала всю свою мещанскую ограниченность. Его отношения с ней были лишь небольшой авантюрой, экскурсом в неведомый ему мир тридцатилетних женщин. А кем он был для нее? Партнером по нелепой связи или удивительным открытием? А может, тем и другим? Всеми силами она хотела его забыть. Но чем больше пыталась отогнать от себя его образ, тем прочнее он утверждался в ее сознании — всем своим весом, теплом, упорством. Шли дни — она растрачивала последние силы в неравной борьбе. Она стала раздражительной. Нетерпимо относилась к причудам отца. Луиза выводила ее из себя. Как-то раз она подумала: а Мили сумела бы ее понять? Мысль о матери вызвала у нее прилив нежности. Тщетно пыталась она завязать диалог с образом, отступавшим в глубь времен, несмотря на ее попытки удержать его. Мили интересовала ее не как мать, а как женщина. Ее взгляды на любовь. Что бы она подумала о Лоране, если бы увидела его? Почувствовала бы таинственную силу его животного обаяния? Да, конечно, вне всяких сомнений!.. Анна снова и снова повторяла это, чтобы оправдать свою слабость. Сердце ее бешено колотилось. Хотелось плакать. А надо было разговаривать с Каролюсом и Брюно, просматривать их эскизы, отвечать на телефонные звонки, спускаться к господину Куртуа, который смотрел на нее так подозрительно, точно видел Лорана за ее спиной. Наконец, дом, ужин, телевизор. Сидя в гостиной подле отца, Анна вышивала, а он смотрел телевизор, где мелькали, сменяя друг друга, сцены из спектакля варьете. Так оно и будет, и ничего больше. Отец и она. Вдвоем. Молчание с одной стороны, молчание — с другой. Узники собственных привычек. Она вспомнила, как Лоран ходил взад и вперед по комнате, трогал одно, другое, потом схватил ее вышивание: «Ты этим занимаешься?» Воспоминание полоснуло ее как ножом. Все внутри ее кричало: «Дура, это твоя вина! Зачем ты его отпустила? У него-то своя логика жизни! А ты... ты...» Все прыгало у нее перед глазами. Какой-то глупый певец корчился на фоне кубов, шаров и лестниц. Отец клевал носом, потом вздергивал голову. Он все больше и больше устает. И как быстро стареет! А что, если он будет так тянуть до девяноста лет? Надоела ей старость, болезни, траур! Ей нужны простор, ветер, солнце!

— Спокойной ночи, папа,— сказала она.— Я устала.

— Ты не хочешь досмотреть до конца?

— Нет.

В постели было еще хуже. Пришлось проглотить таблетку, чтобы уснуть.

■

Когда Анна убирала на кухне посуду после ужина, раздался телефонный звонок. Пьер вышел из-за стола, снял трубку и тут же крикнул:

— Это тебя, Анна!

Она вытерла руки и взяла трубку. Незнакомый мужской голос спросил:

— Это говорит Анна?

— Да.

— Я друг Лорана.

Она перевела дух и спросила:

— Где он?

— У меня. Приезжайте как можно скорее. С ним плохо. Он болен. Запишите адрес. Это в Сент-Уане...

Она нацарапала адрес в блокноте, лежавшем у телефона, оторвала листок и снова спросила:

— Но что же все-таки с ним?

Вместо ответа на другом конце прохрипело:

— Вы приедете немедленно, да или нет?

— Да... Алло, алло! А кого мне спросить? На каком это этаже?

— Это маленький домик. Я буду ждать вас на крыльце.

Он повесил трубку. Она надела пальто. Нервы ее были напряжены до предела. Мучительный страх сжимал все нутро.

— Куда ты? — спросил Пьер.

— У меня важная встреча. Не жди меня.

Он произнес еще что-то, но она не расслышала. Хлопнула дверью, избавляясь от всех расспросов. В ночной темноте она бегом бежала к перекрестку Одеона. По счастью, на стоянке оказались такси. Она села в первую машину и дала адрес. Шофер не знал этой улицы и долго искал ее в справочнике. Анна нервничала. Наконец машина тронулась. Они пересекли Сену. Авеню Оперы вспыхнуло тысячами огней. Все казалось возможным в этом черно-золотом водовороте, когда на другом конце города ее ждал Лоран. Но что с Лораном? Почему этот человек не захотел ничего сказать по телефону? Уличные фонари пошли реже, ночная темнота стала гуще. За стеклом Анна узнала улицу, ведущую к воротам Сент-Уан. В памяти возник Блошиный рынок. Она так часто ездила туда с Мили! Такси углубилось в лабиринт темных улочек, неуверенно выбирая дорогу, замедлило ход и, наконец, остановилось.

— Это здесь,— произнес шофер.

Она вышла около двухэтажного домика с потрескавшимися стенами. На крыльце — сутулый силуэт. руки засунуты в карманы. Она толкнула калитку, поднялась на три ступеньки. Свет, падавший из окна первого этажа, осветил молодое лицо с висячими усами и узенькой полоской бакенбардов.

— Это Лоран просил вас позвонить мне? — спросила она.

— Он в таком состоянии, что не может ничего просить! — сказал парень.— Но он часто говорил мне о вас. И я нашел ваш номер в телефонном справочнике.

— Что с ним?

— Вот уже две недели, как он ничего не ест. На прошлой неделе он хотел покончить с собой. Проглотил какую-то гадость — несколько порошков. К счастью, его вырвало. Боюсь, как бы он не повторил этого снова. Я просто не знаю, что с ним делать...

Анне было больно, хотя слова молодого парня не удивили ее, точно она давно этого ждала. Главное, что Лоран — здесь!

Они вошли в дом. Сразу за входной дверью находилась большая комната с голыми стенами. Анна обнаружила там с десяток парней и девчонок, длинноволосых и оборванных. Одни курили, сидя на стульях или по-восточному прямо на полу. Другие вяло играли в карты. Бледный юноша с отсутствующим взглядом меланхолично дул в камышовую дудочку, и из нее время от времени вылетали обрывки примитивной мелодии. На матраце, прижавшись друг к другу животами, спала пара. Никто не обращал на Анну внимания. Лавируя между группами, встретивший Анну парень вывел ее к лестнице в глубине комнаты. И она вслед за ним стала подниматься по ступенькам.

На втором этаже одна из дверей была открыта. Голая лампочка на шнуре освещала убогую комнату, где со стен свисали клочья желтых обоев в полоску. На полу валялись окурки, обрывки бечевки, пробки от бутылок. Грязное полотенце висело на спинке стула. Возле складной кровати Анна увидела графин с водой, тюбики с лекарствами, грязные ботинки — ботинки Лорана. Он лежал прямо на матраце, одетый, повернувшись к стене лицом.

— Эй! К тебе пришли! — сказал парень, дотрагиваясь до его плеча.

Лоран молчал и не двигался.

— Лоран! Лоран! — окликнула его Анна.

Тогда он медленно повернулся к свету. И она увидела его лицо — осунувшееся, смертельно бледное, заросшее бородой. Глаза лихорадочно блестели из-под красных век. Он вдруг хрипло закашлялся, сотрясаясь всем телом. Потрескавшиеся губы дрожали. Он поморгал и, словно то была галлюцинация, внезапно выкрикнул:

— Что ты здесь делаешь, Анна?

— Лоран! — пробормотала она.— Что с тобой? Ты болен?

Парень, который привел ее, вышел и закрыл за собой дверь. Она присела на край кровати.

— Нисколько я не болен,— сказал Лоран.— Наоборот, мне очень хорошо. Я хочу лишь одного — чтобы ты отсюда выкатилась!

— Нет, я не уйду. Я должна знать... Что там за лекарства на полу?

— Одни — чтоб спать, другие — чтоб просыпаться. Теперь, когда они у меня есть, все в порядке!

Она хотела взять его за руку, но он резко высвободился.

— Послушай, Лоран,— сказала она.— Ты не можешь оставаться здесь, в этой нищете, в этой грязи!

— Представь себе, что мне хорошо в этой нищете и в этой грязи! — воскликнул он.— Все, что тебя раздражает, мне нравится! Тебе противно, а мне приятно! Славные, простые ребята, жизнь без обязательств, без притворства; живот хоть и подвело, зато голова свободная; хоть ноги и грязные, зато чистая душа! Ничего не поделаешь, Анна, мы с тобой принадлежим к разным расам! Я не то, что ты,— не исповедую благопристойность! Пойми же, наконец, я больше всего на свете ненавижу то, что ты олицетворяешь: респектабельность, здравомыслие, пунктуальность, расчет... Черт побери! Жизнь слишком коротка!..

Новый приступ кашля заставил Лорана умолкнуть. Глаза его налились кровью. Он сел в постели, хватая ртом воздух.

— Хорошо,— сказала Анна.— Чего же ты хочешь?

— Ничего! Я не задаюсь такими вопросами. Живу сегодняшним днем!

— А как же будет с нами, Лоран, с нами обоими?

— С нами обоими? Ты хочешь сказать, с нами тремя, включая твоего бывшего супруга?

Она хотела было закрыть лицо руками и тут же в отчаянии уронила их на колени. Опять. Его было так же трудно сдвинуть с места, как гору.

— Но, Лоран, повторяю тебе: Марк для меня просто товарищ. Ты должен понять.

— Я уже давно все понял!

— Не думай больше об этой глупой истории. Я готова даже признать, что была неправа тогда в ресторане. Ты должен вернуться домой.

— Зачем? У меня здесь есть все, что мне нужно! Когда мне нужна женщина, всегда находится какая-нибудь из девчонок.

Она в ужасе смотрела на него, точно он плюнул ей в лицо. А он, вздернув подбородок, продолжал бахвалиться с сумасшедшинкой в глазах.

— Ты что думаешь? — продолжал он.— Что я жил здесь как монах эти пятнадцать дней? Думаешь, я так влюблен в тебя, что ни о чем больше и не помышляю? Ты видела девочек внизу? Красивые, правда? А до чего покладистые — ты и представить себе не можешь! И притом — молоденькие!.. Да, да, молоденькие,— ты меня слышишь?

Злость поднималась в груди Анны, как закипающее молоко. Она резко встала.

— Замолчи! — властно прикрикнула она.

— Опять приказы! — фыркнул он.— До чего же ты любишь командовать, Анна! Ты сухая, как теорема! И старомодна, как старая занавеска!

Анна подняла руку. Надо заставить умолкнуть этот злобный голос, одним ударом прекратить кошмар. На этот раз она не станет жалеть, что ударила его. Мысль эта промелькнула в ее мозгу, когда ее рука с треском опустилась на щеку Лорана. Он оторопел, а она повернулась и направилась к двери. Но он, прыгнув как обезьяна, опередил ее, преградил ей дорогу, схватил за обе руки и заорал:

— Это что же, у тебя такая мания?! Как увидишь меня, сразу — пощечина!

— Оставь меня,— сказала она.— Ты мне противен!

Но он не слушал ее, а рывками тянул в глубину комнаты. Его небритое лицо искажал тик. Он икал, кашлял, что-то бормотал. Анна, вся в слезах, слабо отбивалась — силы изменяли ей. Лоран швырнул ее на кровать, лег сверху. Распластанная, придавленная, она чувствовала на своих губах его лихорадочное дыхание. Колючая борода царапала ей щеки. Острый запах его тела кружил голову.

И вдруг он застонал:

— Анна, Анна! Любовь моя! Прости! Я люблю тебя! Я подыхаю от любви к тебе! Зачем ты это сделала?

— Что, Лоран?

— Да этот человек в твоей жизни... Этот Марк... Я не хочу больше... Ты — моя... Только моя... Поклянись мне...

— Клянусь...

— Это было ужасно — думать, что я потерял тебя... Без тебя я не знал, за что ухватиться... Не хотел больше жить...

Никогда еще она не видела его таким беспомощным. Ведь у него нет никого, кроме нее, нет во всем мире. Охваченная жгучей жалостью, она жаждала теперь лишь дать ему прибежище, забвение, исцеление. Он впился поцелуем в ее рот; руки его лихорадочно расстегивали ее пальто, блузку, обнажая плечи. Она гладила его по голове, а он покрывал ее поцелуями. «Я люблю его,— думала она.— Я нашла его. И он нуждается во мне. Все так просто. Я сделаю его счастливым...» А он уже выдохся. Мускулы его ослабли, щеки ввалились,

дыхание стало хриплым. В глазах промелькнуло отчаяние. Она поняла, что ничего не выйдет. Он упал, уткнувшись головой ей в плечо, и прошептал:

— Что это со мной?

— Ничего,— ответила она.— Успокойся. У тебя температура.

Он стучал зубами и плакал. Она обняла его, прижала к себе, слабого, теплого, беспомощного, покорного, точно ребенок. Она наслаждалась своей любовью, баюкала свою добычу. Спустя некоторое время она прошептала:

— Вставай, Лоран. Поедем домой.

— Да,— сказал он.— Забери меня отсюда!

■

Дождь струился по стеклам витрины. На улице Сены, забитой машинами, нетерпеливо гудели моторы. За витриной скользили силуэты ссутулившихся прохожих. Никто не останавливался взглянуть на выставленные книги. Пока Пьер был в магазине, туда не зашел ни один покупатель. Элен исчезла в глубине лавки, чтобы вскипятить на плитке чай. Госпожа Жироде была все еще больна, и ее племянница уже более месяца одна занималась магазином. У Пьера вошло теперь в привычку под вечер заходить проведать ее. Он, конечно, ничего не говорил об этом Анне. Но она безусловно поняла бы, какое удовольствие доставляют ему эти долгие задушевные беседы в книжном магазине. Недаром однажды вечером, вспомнив, как госпожа Редан приносила Пьеру книги во время его болезни, Анна заметила: «А она недурна собой, эта женщина». Эта фраза подтверждала, что он прав. Он всецело доверял мнению дочери! Сгущались сумерки. Листая книгу, он уже с трудом разбирал текст.

— Вы ведь ничего не видите! — сказала Элен, войдя в помещение.

Она протянула руку к выключателю, и все лампы разом зажглись. На подносе стояли две чашки и чайник. В металлической коробке — печенье. Элен пригласила Пьера сесть рядом с ней за прилавком. Он сделал глоток и похвалил чай.

— Пьер, когда вы придете ко мне поужинать? — вдруг спросила она.

Она уже не первый раз задавала ему этот вопрос. До сих пор он трусливо уклонялся от ответа. Но нельзя же вечно увиливать.

— Мне это не так просто, Элен,— сказал он.— Из-за дочери...

— Я уверена, что она поймет!

— Я не столь уверен в этом, как вы. Она так тяжело перенесла смерть матери. Ей будет невыносимо, если она увидит, что я пытаюсь отвлечься и хотя бы на минуту забыть о том, что было для меня огромным счастьем! Вы знаете, мне ведь с ней очень нелегко... Она такая нетерпимая, такая требовательная... Это уже вошло у нее в привычку... Признаю, я, конечно, в этом виноват...

— Не хотите же вы сказать, что боитесь ее!

— Нет. Но мне неприятно причинять ей боль. Пока... пока еще так свежа память о нашей утрате.

Он сделал большой глоток чая, обжег язык, откусил кусок сухого печенья и добавил:

— Если я скажу дочери, что провожу время с дамой...

Элен сидела перед ним, иронически улыбаясь.

— Вы проводите время не с дамой,— сказала она,— а с другом.

— Тем более! Она рассердится, если узнает, что я... что я питаю вам дружеские чувства... Она вообразит...

— Вы говорите какие-то очень странные вещи,— заметила Элен, прерывая его.— Она произвела на меня впечатление весьма уравновешенной женщины!

— Да она такая и есть. Но она не желает видеть определенных сторон жизни. Она такая холодная, замкнутая, властная. У нее на современный взгляд на вещи...

— А почему она не вышла замуж?

— Что вы, она была замужем! Потом развелась. Отчего — я так и не понял. Мой зять был обаятельным человеком. Умный, симпатичный, с хорошим положением. Кстати, у нас с ним сохранились прекрасные отношения. Уверяю вас, она очень странная...

— А вы, дорогой Пьер, слишком ранимы! — сказала Элен.

Он машинально протянул ей пустую чашку. Она наклонила чайник. Заварка была темная, ароматная. Ничего больше ему от нее не надо. В этом магазине, заполненном книгами, он испытывал двойное удовольствие от того, что встретил родственную душу и безо всякого ущерба для кого-либо проводил с ней втайне часок-другой. Однако за витриной на улице машин стало больше, число прохожих увеличилось: в конторах закончили работу. Пьер уже всерьез подумывал, что надо возвращаться домой. Но эта мысль не была ему неприятна. Правда, прерывать столь милый разговор очень не хотелось, но, с другой стороны, лучше не подпадать под обаяние Элен. Любая привязанность, думалось ему, в конце концов превращается в ловушку.

Он взял зонтик и ушел, унося с собой в дождливую и холодную тьму образ улыбающейся Элен, которая стояла в дверях магазина.

Дома Луиза уже собиралась уходить. Не дожидаясь Анны, Пьер налил себе сухого вина. Он выпьет с ней еще, когда она придет. Зазвонил телефон.

— Алло, папа! Извини, пожалуйста, но я сегодня не буду ужинать дома. Я иду в ресторан с друзьями. Луиза, я полагаю, все приготовила...

— Да, да, не беспокойся,— сказал он.— Веселись как следует...

И повесил трубку. Он был расстроен, хотя, конечно, ничего не ждал от этого вечера в компании дочери. Вялый разговор, прерываемый долгими паузами,— одно и то же изо дня в день... Но оставив его неожиданно одного, Анна словно запустила его в космическую пустоту, где ум его не находил точки опоры. Он направился на кухню, обозрел салатницу с зеленым салатом, начатую бутылку вина, нарезанный хлеб, и этот натюрморт показался ему трагичным в своей банальности. Ему больше не хотелось есть. Телевизор тоже смотреть не хотелось. Лениво и бесцельно слонялся он из комнаты в комнату. Не создан он для одинокой жизни! С какими же это друзьями ужинала сегодня Анна? Не пошла ли она куда-нибудь с Лораном? Этот юноша был ей явно не безразличен. Но представить себе что он... Во всяком случае, рядом с Марком он выглядел жалко! Анна, такая разумная, должна бы это сознавать. Он налил себе второй стакан, снял телефонную трубку и набрал номер Элен. Ему просто нужно было услышать дружеский голос. Но она, вероятно, еще не вернулась домой. Нет, вернулась!

— Это снова я! — сказал он.— Что вы делаете сегодня вечером, Элен?

— Ничего особенного.

Он обождал немного. Какой кавардак у него в голове! И, наконец, решился:

— Мы могли бы поужинать вместе в каком-нибудь ресторане неподалеку.

Она помедлила и сказала:

— Я бы предпочла, чтобы вы пришли ко мне.
— Это не затруднит вас?
— Нет, нисколько... Что вы!.. Наоборот... Приходите скорее! Я вас жду!

Он обрадовался, хотя к радости примешивался страх. Как он осмелился? На что он шел? А все из-за Анны. Если бы она с ним ужинала сегодня... Но не надо ли переодеться? Серый костюм ему идет, однако, пожалуй, не по сезону легок. Темно-синий костюм, что сейчас на нем, обтерся на локтях и на коленях. Может быть, коричневый... Не у кого спросить совета! Как правило, это решали Эмильенна или Анна. Из-за них он постепенно потерял привычку принимать решения. Ну что ж, он останется в том, в чем есть. По крайней мере создастся впечатление, что он зашел случайно. К тому же еще будет случай показаться Элен в сером костюме. Что до галстука, тут все было ясно — черный. Никогда больше он не будет носить другого цвета. Он причесался перед зеркалом в ванной. По счастью, волосы у него не выпадают. И зубы тоже в порядке. Он мог еще нравиться, он нравился... От этой мысли он почувствовал прилив энергии и поспешил вон из дома.

■

Все прошло прекрасно. Правда, иного он от Элен и не ожидал. Как только она открыла дверь, он понял, что входит в дом женщины вполне достойной. В ее маленькой бежево-розовой квартирке все было просто, изысканно, неброско и элегантно. Холодный ужин, с отличным «шато-латуром», был сервирован на маленьком столике. Два полена тлели в крохотном камине, отделанном резным деревом. Удобное глубокое кресло — Пьер устроился в нем после еды с рюмкой коньяка в руке. А она села напротив, пониже, на пуфе, и, глядя на него вопрошающим взглядом, поощряла его рассказывать о себе. За два с половиной часа, проведенных с нею, он много ей рассказал. Возможно, даже слишком. Но нет. Говорил ли он о себе или о недавно прочитанных книгах по истории, лицо ее неизменно выражало интерес, понимание, признательность. На какое-то мгновение он испугался, как бы она не воспользовалась их свиданьем в этой уютной обстановке, чтобы толкнуть его на бо́льшую смелость. Но она ни разу не вышла за рамки сдержанности, делавшей ее столь привлекательной. Не пытаясь его провоцировать, она привязывала его к себе куда надежнее, чем если бы вздумала выказать бурную страсть. И хотя они ни разу не прикоснулись друг к другу и не было ни признаний, ни заверений, он ушел от нее в таком смятении чувств, словно она отдалась ему в конце ужина. Правда, уже уходя, в дверях он с жаром поцеловал ей обе руки. В такси, по дороге домой, он закрыл глаза, чтобы лучше сохранить воспоминание о запахе ее кожи. Он был так счастлив, что впервые не боялся вернуться домой позже Анны, и сидя в машине, был преисполнен боевого духа. Пусть дочь отважится сказать хотя бы слово против Элен, уж он поставит ее на место! Ни она, ни никто другой не имеют права судить его или ее.

В квартире было пусто. На кухне Пьер обнаружил ужин, приготовленный Луизой. Он совсем об этом забыл! Ведь если Анна по возвращении увидит нетронутый прибор, она поймет, что он ужинал не дома. Он поспешно капнул на тарелку горчицы, налил в бокал на палец вина, раскрошил в хлебнице хлеб, выбросил половину салата в мусорное ведро, спрятал холодное мясо в холодильник. Закончив эту инсценировку, он лег спать. Анна, подумал он, должна вернуться с минуты на минуту. Однако он заснул до ее возвращения.

Придя утром к себе в издательство, Анна узнала от телефонистки, что ей звонил Марк. Она позвонила ему на работу. Секретарша сообщила, что он болен и на работе сегодня не будет. Обеспокоившись, Анна позвонила ему домой. Ей ответил низкий женский голос:

— Одну минутку, сейчас я его позову.

Этот же голос более высоким тембром позвал:

— Это тебя, Марк!

Он подошел к телефону.

— Извини меня, милая Анна. Я не смогу быть завтра у «Старины Жоржа» в половине седьмого...

Она не сразу смогла его понять. В голове замелькали страницы записной книжки. Она совсем забыла об их свидании!

— Ничего,— сказала она наконец.— Но что с тобой? Мне сказали у тебя на работе, что ты болен!

— Да. Такой идиотизм — у меня прострел! Не могу разогнуться!

— Но ты хоть лечишься?

— Не беспокойся! Меня смотрел доктор. По его словам, это продлится еще несколько дней. Как только мне будет лучше, я тебе позвоню...

Она повесила трубку и задумалась. Кто эта женщина, чей голос показался ей таким знакомым? Может быть, Марк живет не один, несмотря на все его заверения? Эта мысль показалась ей забавной, заинтриговала ее и немного огорчила, но только потому, что Марк ничего не сказал ей об этом... А может быть, это какая-то недавняя связь без будущего? Однако стоило ей приняться за работу, как она забыла и Марка, и его личную жизнь. Самым важным стало отобрать несколько гравюр для иллюстрации нового издания «Путешествия на острова Америки» его преосвященства отца Лаба. Эстампы XVIII века оказались очень разными по качеству. Не более 16 иллюстраций, сказал господин Куртуа. Анна колебалась. К тому же надо было решить вопрос с обложкой для той же книги. Набросок, который она сделала накануне, не очень ей нравился. Она взяла его и начала подправлять. Скоро она встретится с Лораном в столовой для работников издательства. Они обедали там вместе каждый день с тех пор, как она устроила его на работу в издательство «Гастель». Он, кажется, довольно быстро привык к новой жизни. В разное время она спускалась в подвал, где находился склад, чтобы повидаться с ним. Свет неоновых трубок придавал помещению сходство с моргом. Толстые трубы отопления, выкрашенные серебряной краской, извивались под низким потолком. Жара стояла удушающая. Лоран работал с десятью другими рабочими, комплектовавшими заказы, среди металлических полок, забитых книгами. Старший по группе говорил, что у Лорана отличная память и что после всего двух недель ученичества он уже прилично разбирается в тысяче названий, значащихся в каталоге. Заказы на подъемнике поднимали на первый этаж, где контролеры переправляли их в отдел продажи. Время от времени заказы громко передавались через рупор. Такое было впечатление, что находишься в трюме корабля. Но главное, думала Анна, было запрячь Лорана в повседневную работу. Затем постепенно она вытащит его из подвала на верхние этажи. В полдень Каролюс и Брюно покинули мастерскую. Она бросила взгляд на макеты, лежавшие как попало на чертежных досках, и спустилась вниз.

В столовой — огромном застекленном помещении во дворе соседнего дома — было полно народа, стоял оглушительный шум. Из кухни проникал резкий запах соуса. Люди группировались по совместной работе или общим интересам. Лоран сидел с двумя рабочими, ком-

плектовавшими, как и он, заказы. Анна села подле него в конце стола. Как только она появилась, товарищи Лорана уткнулись в тарелки. Для них она была представительницей другого мира, именуемого «дирекцией». Они не реагировали на ее присутствие, словно были глухи или слепы.

— Как дела? — тихо спросила она, повернувшись к Лорану.

— Отлично!

Из-за спешки по утрам он решил не бриться и отпустить себе бороду. Теперь его рот, обрамленный этой шелковистой темной порослью, казался еще более мясистым, ярким, чувственным, глаза так и сверкали, оттененные черной щетиной на щеках. Глаза ввалились, окруженные синевой. Он был похож на цыгана-неудачника. К ним подошла разносчица. Сегодня на выбор было рагу из зайца или отварной судак с пюре. Анна выбрала рагу. Лоран с отвращением отказался от того и от другого:

— Не хочу ни зайца, ни судака.

— Ты еще не проголодался? — спросила она.

— Нет, я выпью только кофе.

Вокруг них стоял гул голосов: говорили о работе, сплетничали о сослуживцах. Пока Анна ела, Лоран жевал хлеб, намазывая его горчицей.

— Послушай,— сказала она,— это никуда не годится!

— Что я могу поделать,— сказал он.— Ничто не лезет в горло... Все опротивело.

— Ты устал?

— Нет. Сама работа у меня не такая уж и тяжелая, но в подвале не хватает воздуха. И потом — это ощущение, что за тобой все время наблюдают, требуют большей и большей отдачи, соблюдения графика...

Он зашептал, склонившись над чашкой, движением головы указывая на седеющего человека, который сидел за другим столом:

— Видишь того типа? Это Марсель. Так вот: он работает на складе уже двадцать пять лет. Двадцать пять лет вытаскивает книги с полок, комплектует заказы! И ты думаешь, он страдает от этого? Ничуть! Даже гордится! Гордится, что его довели до отупения. В конце концов он, может быть, и прав. Может быть, оно и правильно — не отрывать носа от своей работы, не смотреть вокруг... Ничего, и мы овладеем этой премудростью!..

Лоран скорчил саркастическую мину и попросил еще чашку кофе. Потом — еще одну. Она вмешалась:

— Ты пьешь слишком много кофе.

— А тебе-то что до этого? — буркнул он сквозь зубы.— Главное, чтоб продержаться. А кофе — это допинг! Даже такая бурда!

Анна не стала спорить — только с нежностью посмотрела на него. Они вместе вернулись на работу. Она поднялась к себе по главной лестнице, а он спустился в подвал.

■ ■ ■

Пьер поспешно проглотил кофе и направился в ванную. То, что Анна с некоторых пор не приходила обедать, вполне устраивало его по ряду причин. По крайней мере, никаких вопросов! Следуя настоятельной просьбе Элен, он согласился составить каталог редких, любопытных для библиофила изданий, имевшихся в магазине, чтобы разослать его затем постоянным покупателям. Госпожа Жироде надеялась таким образом оживить торговлю. И хотела непременно заплатить ему. Правда, более чем скромно. Не говоря ни слова Анне, Пьер

ходил теперь каждый день в книжный магазин и занимался инвентаризацией книг. Хотя работа была довольно грязная, одевался он тщательно. Серый костюм и белая рубашка. Сегодня утром Луиза отгладила ему брюки. Перед обедом он сходил в парикмахерскую. Сразу появилось чувство свежести и легкости. Помолодевший и уверенный в себе, он с нетерпением ждал, когда надо будет идти в магазин.

Пришел он туда одновременно с Элен. Она поставила для него в задней комнате большой стол. На нем горами лежали книги. Пьер брал их одну за другой, рассматривал, перелистывал и записывал на карточках основные данные: «Словарь аристократических семейств» г-на де Ла Шенэ-Дебуа. Париж. 1774 г. 12 томов, ин. № 4. Заново не переплетался...» Эта кропотливая работа приводила его в восторг главным образом потому, что он чувствовал за своей спиной присутствие Элен. Она ходила вокруг, легкая и изящная, иногда перебрасывалась с ним двумя-тремя словами, иногда журила, если он вдруг прерывал работу, чтобы поболтать с ней.

В половине пятого они сели пить чай, примостившись на краю стола. Сквозь приоткрытую дверь Элен наблюдала за магазином. Вошел покупатель, и она выскользнула, чтобы обслужить его. А потом вернулась с таким радостным видом, точно ей удалось выпроводить нежеланного гостя. Пьер вдруг понял, что все, не имеющее отношения к нему, раздражает ее. Эта мысль была настолько неожиданной, что у него от нежности и сладостного предчувствия защемило сердце. Неужели для кого-то он еще может что-то значить в этом мире? В его-то возрасте, с его прошлым, несмотря на то, что у него нет положения? Он отхлебнул чаю, и глаза его наполнились слезами.

— Пьер,— спросила Элен,— что с вами?

Он встал, чтобы скрыть волнение. Элен, в свою очередь, поднялась и встала перед ним. Она тоже казалась взволнованной. Он пристально, с отчаянием посмотрел на нее и прошептал:

— Я так несчастен!

— Почему?

— Вы мне очень нравитесь, Элен!

— Но и вы мне тоже, Пьер,— сказала она и положила руки ему на плечи.

Она чуть приблизила к нему лицо. Глаза ее сияли. Она молчала — вся ожидание и готовность. Как тут быть? С ужасом сознавая, что сходит с праведного пути, Пьер склонился над ней. Сухой, сдержанный, неумелый поцелуй. Пьер невольно вспомнил Эмильенну — насколько лучше она целовалась. У Эмильенны рот жил, двигался, нежный и трепетный, а эти губы были до обидного неподвижны. Но как он мог? Такое святотатство! Теперь его будут вечно мучить угрызения совести. Перепугавшись, он отстранился.

— Нет, Элен,— пробормотал он,— это невозможно! Слишком это серьезное дело! Я не имею права!

Она смотрела на него, удивленная и растерянная:

— Но, Пьер... В чем дело?

— Нам не следует больше встречаться! — выкрикнул он.— Никогда! Никогда!..

Он схватил со стула пальто, неловко натянул его и устремился к двери. Элен поспешно преградила ему путь.

— Вы не можете так меня оставить, Пьер. То, что возникло между нами, настолько важно!.. А вся эта работа, которую еще надо доделать, все эти карточки!... Я никогда в жизни с этим не справлюсь!..

— Извините! — вырвалось у него со стоном.— Извините меня, Элен.

И он выскочил из магазина.

■ ■ ■

Анна окинула взглядом темную улицу, ища Лорана. Его нигде не было видно. А обычно он поджидал ее у выхода. Ее задержал господин Куртуа. И по важному делу: мадемуазель Бурьез, заведующая отделом рекламы, 31 марта уходит на пенсию. Анна уже давно работала в тесном контакте с ней. И вот господин Куртуа решил объединить два отдела — художественного оформления и рекламы — в один, под руководством Анны. Жалованье ей, конечно, будет прибавлено. Естественно, перспектива повышения взволновала ее. Анна быстро шла по улице, испытывая острую потребность немедленно поделиться с кем-то своей радостью. Но с кем? Уж во всяком случае не с Лораном! Он был последним человеком, способным понять, какое моральное удовлетворение приносит успех. Не успеет она рот раскрыть, как он изничтожит ее сарказмом. Как всегда, она была одна. И в радости, и в горе... Ну да ладно! Главное — что внутри у нее все поет от сознания одержанной победы. Чувство уважения к себе заменит ей все остальное.

Придя домой, она поднялась прямо на седьмой этаж. Лоран был у себя. Он лежал одетый на постели, лицом к стене, и рыдал.

— Что случилось, Лоран? — шепотом спросила Анна.

Он повернулся к ней, матрац под ним скрипнул. Лицо его было залито слезами. Он задыхался и не мог произнести ни слова. Тело его сотрясала икота. Она испугалась.

— Лоран, Лоран, объясни же, что с тобой? — снова спросила она.

— Что со мной, Анна?..— наконец пробормотал он.— Я чувствую такую тяжесть — здесь, в груди... Я не могу больше... Я так люблю тебя... И мне так плохо!.. И все так сложно!..

Спазма перехватила ему горло. Он согнул руку в локте и уткнулся в нее головой. Плечи его вздрагивали.

— Успокойся,— сказала она.— С тех пор как ты начал работать, ты почти ничего не ешь. Целый день только пьешь кофе. Это же немыслимо! Почему ты не дождался меня после работы?

Он приподнял голову.

— Но с тех пор как мы познакомились, Анна, я только и делаю, что жду тебя!

— Я тоже жду тебя, Лоран. И больше, чем ты думаешь. Хотя у каждого из нас своя работа, но живем-то мы вместе...

— И ты называешь это — жить вместе?

Она долго смотрела на него молча, с невыразимым участием, затем решительно объявила:

— Послушай, Лоран, если ты меня действительно любишь, ты сделаешь то, что я тебе скажу. Это же глупо так жить — ты здесь, а я там, Встречаться урывками, расставаться, лгать, играть в прятки. И все из-за моего отца! Я, как и ты, не могу так больше! Ты перейдешь жить ко мне в квартиру.

— Нет, Анна,— пробормотал он.

— Лоран, я умоляю тебя!

Склонившись над ним, она покрывала легкими поцелуями его мокрые веки, колючие щеки, дрожащие губы. Он жалобно спросил:

— Так, значит, ты меня все-таки любишь, Анна? Правда? Ох, если бы ты знала!.. Как только ты уходишь, мной овладевает невероятный страх — он гложет меня, терзает... Мне кажется, что я потерял тебя, что ты больше не придешь...

— Вставай же!

— Пропащий я человек.

Лоран поднялся с постели, растерянный и покорный. Анна запи-

хала его вещи в мешок. Они вышли из комнаты. Она спускалась лестнице впереди него. И время от времени оборачивалась. Он ш за ней, опустив голову, побежденный. На кухне никого не было. О повела его мимо гостиной. Из глубины комнаты голос отца спроси

— Это ты, Анна?

— Да,— сказала она,— сейчас приду...

Она провела Лорана в дальнюю комнатку. Он во всю длину уп на постель. И остался так лежать, устремив глаза в потолок. Нижня губа у него дрожала. Он снова заплакал. Она присела подле него н край матраца.

— Тебе здесь будет лучше,— сказала она.

— Да, да,— проговорил он, всхлипывая.

Но не посмотрел на нее. Словно был охвачен предчувствием бед Она размышляла. Вызвать врача? Нет, лекарствами ему не поможеш Только она способна что-то тут сделать. Разве не она заставила е поступить в издательство «Гастель»? Конечно, комплектовать заказы— это не профессия. Лоран прав. Он гибнет физически и морально от того, что ему приходится выполнять столь жалкие обязанности. Но ни чего: она заставит его посещать вечерние курсы в Школе декоратив ного искусства. Он выдержит экзамены, станет художником-макети стом. И будет работать с ней — как Каролюс или Брюно. Да, да, он смо жет! Но только ни в коем случае не спешить! Медленно, незаметно подвести его к тому, о чем она для него мечтает... Ей снова вспомни лись слова господина Куртуа. Расширение функций, новые обязанно сти. Разве это не позволит ей взять Лорана к себе в отдел? Радост вспыхнула, заглушая беспокойство. Она нежно гладила волосы Ло рана. Он понемногу успокаивался: дыхание стало ровным, лицо раз гладилось. Она сходила на кухню и вернулась с сандвичем и стаканом молока. Лоран не стал ничего есть. Она положила сандвич и поставила молоко на ночной столик. Словно питание пленному зверьку. Он поест и попьет, когда она уйдет и не будет его видеть.

— Лоран, Лоран! — окликнула она его.— Может быть, ляжеш как следует?

— Я не хочу спать,— ответил он.

Но веки его смыкались. И он вдруг впал в беспамятство, запрокинув голову, выгнув шею. Заснул? Нет. Глаза открыты, взгляд — безжизнен. Она долго смотрела на его распластанное тело со свисавшей с постели ногой. Задравшийся темно-зеленый свитер обнажал живот с тонкой натянутой кожей. Впадина пупка ритмично вздымалась в такт дыханию. У Анны отлегло от сердца. Она вышла на цыпочках из комнаты и направилась к отцу в гостиную.

Он опустил газету, которую читал, и устремил на Анну вопросительный взгляд.

— Я решила поместить Лорана в маленькую комнату,— сказала она.— Наверху уж очень плохо. Там ведь нет отопления. И раковина засорилась ..

Она говорила, а сама думала: собственно, почему она должна оправдываться перед отцом — ведь она же самостоятельный человек и ни перед кем не обязана отчитываться.

— Да, да, очень хорошо,— уклончиво пробормотал он.

Он снова взялся за газету.

— Что — очень хорошо? — спросила она.

В ее голосе был вызов. Пьер посмотрел на нее взглядом виноватого старого ребенка.

— ...то, что Лоран будет жить у нас,— сказал он.

— А... Ты так считаешь? И ты не притворяешься?

— Нет, почему же?

— Ты никогда не задавался вопросом по поводу меня и Лорана?

Он смешался, глаза стали круглыми, словно его приперли к стенке.

— Каким именно?

Анна глубоко перевела дух. Она испытывала горделивое удовлетворение от того, что вот сейчас перестанет лгать. После долгих месяцев хождения в потемках яркий свет истины действовал на нее опьяняюще. Она посмотрела отцу прямо в глаза и сказала:

— Ты, значит, совсем ничего не знаешь, папа! Ты даже не понял, что я люблю Лорана и что он любит меня!

Он вздрогнул, приподнял брови и пробормотал:

— Но ты же не можешь строить жизнь с этим юношей!

— Строить жизнь! Перестраивать жизнь! Жизнь ни с кем не строят!

— Но ведь я построил жизнь с твоей матерью! — сказал он театральным тоном.

— Вы с Мили встретились тридцать, тридцать пять лет тому назад! А в наше время...

Он быстро кивнул в знак согласия:

— Да, да, конечно... Ты права... Все изменилось...

Тень сомнения скользнула по его лицу, и он добавил:

— Но все-таки... при Луизе...

— А какое отношение имеет к моей жизни Луиза? — возмутилась Анна.— Если ей у нас не нравится, уволим ее и возьмем кого-нибудь другого!

— О нет! Не увольняй ее! Мы к ней привыкли!

— Вот именно — привыкли! Надо уметь менять свои привычки!

Пьера поразила справедливость ее слов. Он пристально смотрел на дочь, со страхом и восхищением. Словно она с легкостью отодвинула с его пути тяжелый камень. Он встал, отбросил газету. И вдруг заговорил с непонятным вдохновением. Глаза его сверкали, слова лились потоком.

— Это верно... Иногда нужно менять образ жизни... Все перевернуть... Прошлое не должно довлеть над настоящим... Нельзя одновременно идти вперед и оглядываться назад...

Она с удивлением взирала на возбужденного старика. Опять он понял все не так и ударился в патетику. Устав от этого непонимания, она грустно промолвила:

— Да, да, папа, конечно...

Наконец он умолк, сел, снова взялся за газету. Она сходила за бутылкой сухого вина, принесла два бокала, налила отцу и себе.

— Как жалко, папа, что у тебя нет работы! — сказала она.— Хоть какой-нибудь! Чтоб ты был занят пусть несколько часов в день! А то болтаешься по дому с утра до вечера. Ты же не настолько стар! Надо хотя бы просматривать объявления!..

— Но ты же знаешь, что я больше года регулярно просматриваю их! — возразил он.— Мы уже столько раз об этом говорили!

Он покачал головой, отпил глоток вина и добавил:

— Правда, тут появилась возможность поработать несколько месяцев... В книжном магазине Коломбье... Госпожа Жироде ищет человека, который помог бы ей составить каталог имеющихся книг... Я, пожалуй, готов попробовать — это помогло бы мне обрести прежнюю форму... Бедняжка, у нее такой суставной ревматизм, что она уже не в состоянии заниматься магазином!.. К несчастью, я много не заработаю!..

— В любом случае это лучше, чем ничего! Неужели ты отказался?

— Я не сказал ни да, ни нет.

— Почему ты не посоветовался со мной? Надеюсь, что еще не поздно! Это было бы для тебя так хорошо!

С бокалом в руке, он смотрел на нее просветленным взором и расцветал на глазах.

— Да, да,— сказал он,— эта работа как раз по мне!

— Не говоря уже о том, что впоследствии ты, может, сумеешь найти нечто подобное в другом книжном магазине!

— Вот именно. Ну что ж, схожу поговорю с госпожой Жироде!

— Завтра же иди.

— Непременно, завтра же...

Он допил бокал и поставил его на стол. Анна предложила налить еще. Он не стал отказываться.

Она только было собралась пойти посмотреть, как там Лоран, когда отец мягко произнес:

— Анна, милая, но то, что ты мне сказала,— это дело серьезное!

— Что именно?

— Да насчет тебя и Лорана... Он так молод!... И без всякого положения!

— Поэтому-то, папа, он и нуждается в нас,— сказала она. Потом помолчала и добавила: — Ты знаешь, господин Куртуа объявил мне сегодня, что с апреля, помимо своего отдела, я буду еще возглавлять отдел рекламы.

■

Элен убеждала нерешительного покупателя. В задней комнате магазина стыл чай. Пьер пригубил из чашки. По его расчетам, он через месяц закончит здесь работу. Может быть, чуть попозже, если потянуть. Он не жалел, что вернулся в магазин после того, что произошло на прошлой неделе. С Элен все так просто! Она встретила его без единого слова упрека. И он тотчас нашел с ней прежний дружеский тон. Она даже попросила его рассказать об Эмильенне. Вчера он показал ей три фотографии, которые всегда держал в бумажнике. Склонившись над ними, она рассматривала вместе с ним старые снимки и с интересом внимала Пьеру: вот Эмильенна в Салланше в 1938 году, вот — в Париже во время оккупации, худенькая-худенькая, вот — с ним в Довилле в 1950 году, в купальных трусиках и лифчике и он в купальных трусах на фоне моря. «Она была красавица,— задумчиво промолвила Элен.— Да и вы отлично здесь выглядите! Настоящий атлет! Но мне вы больше нравитесь такой, как сейчас!» Пьеру казалось, что этот невольно вырвавшийся комплимент он не забудет всю жизнь. Она, естественно, понятия не имела, как действовало на него каждое произнесенное ею слово. Наконец покупатель ушел, и она вернулась в заднюю комнату, а вместе с нею словно ворвался поток света. Она села подле Пьера и весело объявила:

— Он так ничего и не купил!.. На чем же мы остановились?

Они возобновили работу. На стуле лежала стопка книг, ожидая, когда они за нее возьмутся. Элен наугад брала книгу, читала название, передавала томик Пьеру. А он старательно заносил данные на карточку. Подчеркивал пером имя автора. Иногда добавлял несколько слов для характеристики: «Сорок восемь красочных иллюстраций — военные в форме демонстрируют обращение с оружием». Старинный переплет, от которого сохранился только корешок. Однако все листы тщательно обрезаны в соответствии с форматом». Он надел очки. Перо его плавно скользило по глянцевой бумаге. Он

чувствовал возле уха дыхание Элен, слышал позвякивание ее браслетов.

— А вот романтическая книжица, которую я обожаю,— заметила она.— «Королевы Франции». Уйма прелестных гравюр... Взгляните!

Зазвонил телефон. Элен побежала в магазин снять трубку. Пьер услышал, как она воскликнула:

— Боже мой!.. Но как она себя чувствует?.. Да, да, сейчас...

Она вернулась расстроенная.

— У тети только что был обморок!

— У мадам Жироде?

— Да. Звонила одна из ее приятельниц, мадам Фавр. Доктор должен прийти с минуты на минуту. Мне надо быть там.

— Я очень вам сочувствую,— сказал Пьер.— В таком случае я тоже пойду.

— Да нет же, оставайтесь.

— А если вы не вернетесь...

— Я должна вернуться, чтобы закрыть магазин!

— Значит, мне продолжать без вас?

— Ну конечно! Не сердитесь на меня, что я вас бросаю...

Пьер смотрел, как она с лихорадочной быстротой надела пальто, схватила сумку. И он остался один среди книг. Его охватило смятение. Он не мог работать без Элен. Он чувствовал себя без нее не на месте в этом магазине. Точно взломщик. Он листал книгу рукой вора. С большим трудом удалось ему заполнить несколько карточек. У дверей звякнул колокольчик. Покупатель. Этого Пьер боялся больше всего. Он медлил, не зная, показываться или нет. Покупатель кашлянул. Пьер вышел из своего закутка. Перед ним стоял мужчина лет сорока с зонтиком в руке.

— Нет ли у вас чего-нибудь о замке Конфлан?

Пьер задумался. Просьба клиента заинтриговала его самого. Он приставил лестницу к полкам, взобрался и начал рыться. Он не ошибся.

— Вы найдете указания о нем во втором выпуске «Пригородов Парижа» Жоржа Кэна,— сказал он.— Дать вам эту книгу?

Покупатель был, кажется, доволен. Он спросил еще, что можно было бы прочесть о замке Рамбуйе, и Пьер порекомендовал ему труд Ленотра. Цены были помечены на внутренней стороне обложек. Покупатель заплатил, поблагодарил и ушел. Пьер положил деньги в ящик кассы и возвратился к своим карточкам. Он был горд собой. Ему уже больше не страшно было оставаться одному в магазине. В шесть часов его оторвал от работы телефонный звонок.

— Случилось ужасное, Пьер! — сдавленным голосом проговорила Элен.— Она умерла.

Эта весть оглушила его; он с трудом пробормотал:

— Элен, милая Элен... Как же это случилось?

— Отказало сердце.

— Но она была еще такая бодрая для своего возраста!

— Да... Такое несчастье!.. Как подумаю, что позавчера я видела ее!.. И она чувствовала себя гораздо лучше!..

— Чем я мог бы помочь вам, Элен?

Он услышал вздох. Она была так близко, совсем рядом.

— Спасибо, Пьер, пока ничего не надо... Алло, алло! Да, вот что... Я не смогу сегодня вернуться в магазин. Так вот, нельзя ли попросить вас запереть его...

Он взволновался:

— Я не сумею...

— Это очень просто. Ключи находятся в левом ящике кассы. Дверь черного хода закроете маленьким ключом и двумя засовами, основной вход — большим ключом, а решетку — после того, как опустите ее до конца,— средним. Ошибиться невозможно...

— Хорошо, а куда мне потом деть ключи?

— Держите их у себя.

— Я отдам их вам завтра.

— Завтра я не смогу увидеться с вами. Мне придется здесь всем заниматься!

— Одной?

— Нет. Мне поможет мадам Фавр.

— Позвонить вам завтра?

— Да, Пьер. Позвоните утром домой, часов около девяти.

С нарастающим волнением он прошептал:

— Я буду много думать о вас, Элен.

Волнение улеглось, но когда Пьер вешал трубку, глаза его были влажны. Машинально он стал раскладывать карточки в алфавитном порядке. Ему уже не хотелось уходить из магазина. В этих стенах он был ближе к Элен, чем где-либо еще. Наконец, около семи часов он решил закрыть магазин. Ключи лежали в указанном месте. Он точно выполнил данные ему инструкции. Решетка выдвигалась с трудом и скрипела. Он тянул ее за металлические переплетения. Прохожие, наверно, принимали его за владельца магазина, для которого это уже давно стало привычным делом.

В доме он сразу почувствовал присутствие Анны и Лорана. Дверь в ванную комнату была раскрыта. Он шагнул через порог и остановился в изумлении. Лоран стоял голый в ванне и яростно намыливался.

— Извините...— пробормотал Пьер.

Он закрыл дверь и пошел на кухню вымыть руки. Анна регулировала термостат духовки. В кухне стоял приятный запах печеного теста.

— Как вкусно пахнет,— сказал Пьер.— Что ты готовишь?

— Я купила в итальянской лавке пиццу.

Они выпили, как всегда, сухого вина. Вскоре к ним присоединился Лоран, босой, с мокрыми волосами. Он натянул на себя лишь брюки и свитер. Выпив залпом стакан воды, он прошел в гостиную. И тотчас оттуда донеслись звуки легкой, бравурной музыки. Это он поставил пластинку. Пьер узнал мелодию Брамса, но не мог сказать, что это.

— Ну как, папа, твоя работа, движется? — спросила Анна.

— Да,— ответил он.— Это оказалось очень интересно.— И помолчав с минуту, добавил:— К сожалению, вот уже несколько дней, как мадам Жироде не приходит в магазин. Она очень больна.

— Что с ней?

— Что-то с сердцем... Знаешь, ведь в ее возрасте...

Он не отважился сказать ей, что госпожа Жироде умерла. Прежде чем сообщить об этом Анне, надо, решил он, посоветоваться с Элен. Что станет с магазином после смерти владелицы? Будет ли Элен по-прежнему заниматься им? И что будет с ним? Неужели конец их столь приятному сотрудничеству? Эти мирные часы работы вдвоем, это понимание друг друга с полуслова, удивительный язык взглядов и, наконец, эта сдержанность поведения, которая стоит всех любовных утех... У него перехватило горло. Музыка Брамса по контрасту лишь усугубляла его грустное настроение.

— Раз мадам Жироде больна, значит, магазином теперь зай-

дается мадам Редан? — спросила Анна, взяв тряпку, чтобы открыть дверцу духовки.

— Фактически, да,— ответил он уклончиво.

— И ты работаешь с ней?

— Нет, я работаю в задней комнате магазина, у меня свои дела...

Он боялся, как бы она не стала расспрашивать дальше. Но она вскрикнула:

— Черт, я обожглась!

И тут же вытащила противень с пиццей: госпожа Редан была забыта. Пьер почувствовал облегчение. Сели за стол. Конечно же, думая прежде всего о Лоране, Анна зашла в итальянскую лавку. Пока она разрезала пиццу, Лоран вытащил из кармана пачку стофранковых билетов и положил их перед тарелкой Анны.

— Что это? — спросила она.

— Мое жалованье,— ответил Лоран.

— Что я буду с ним делать?

— А я?

Она пожала плечами.

— Это твои деньги, Лоран.

— Мне они не нужны.

— Ты же работаешь. Неужели тебе неприятно получать за свой труд положенное вознаграждение?

— Нет.

— Я тебя никогда не пойму,— сказала она.

Лоран бросил на нее сердитый и в то же время влюбленный взгляд.

— Я знаю, Анна,— проговорил он,— ты мне повторяла это уже сто раз!

Они по очереди положили себе на тарелки еду. Пицца подгорела. Пьер откусил один раз, другой и почувствовал, что больше есть не может. От волнения у него пропал аппетит. Лоран тоже жевал едва-едва. Анна с расстроенным видом смотрела на него. Перед ней лежали мятые банковские билеты.

— Лоран,— сказала она,— не веди себя как ребенок! Забери это!

— У меня нет бумажника. Я их потеряю!

Он оттолкнул щелчком деньги к тарелке Анны. Она яростно собрала их, свернула и сунула в карман блузки. Они продолжали есть молча. Пьер думал о том, какие чувства могут связывать его дочь с этим странным парнем. То, что Лоран привязался к ней,— это естественно. Благодаря ей он обрел уверенность в завтрашнем дне, нежность, комфорт. Ему приятно было, что его балуют, что он может капризничать. Но она — что нашла в нем она? Она не сумела быть женой Марку и теперь стала Лорану матерью. Собственно, ей, видимо, скорее нужен ребенок, чем мужчина. Пьер выпил большой бокал вина. Как только закончился ужин, Анна сказала:

— Спокойной ночи, папа.

Он с удивлением поднял на нее глаза.

— Мы не будем сегодня смотреть телевизор?

— Пожалуйста, смотри. Но я устала.

Она поцеловала его и вышла, даже не взглянув на Лорана. Тот продолжал сидеть, откинувшись на спинку стула, барабаня пальцами по столу. Наконец, он тоже встал.

— Спокойной ночи, Пьер.

— Что же это вы так спешите? Неужели не можете посидеть хоть пять минут? — спросил тот.

— Нет, я тоже устал.

— Тогда спокойной ночи, Лоран.

По коридору прозвучали удалявшиеся шаги Лорана. Дверь открылась и закрылась. Дверь, ведущая в комнату Анны. Он попытался представить себе их в постели — ничего не получалось. Непостижимо! К голове прилила кровь. Он рассеянно включил телевизор. Появилось изображение без звука. Повернувшись к мерцавшему экрану, Пьер подумал: «Надо бы позвонить Элен». Но он боялся, что может услышать Анна. Тогда придется давать объяснения, лгать, снова лгать... Связанный по рукам и ногам, он с отчаянием подумал о том, какое расстояние отделяет его от этой милой, легко ранимой женщины, на которую свалилось такое горе. Встреча со смертью — тяжелое испытание для столь чуткого человека. Вдруг оказаться лицом к лицу с небытием... Все эти мрачные формальности. И всюду одна — без чьей-либо поддержки. Он повернул регулятор звука. В комнату ворвались голоса. Два политических деятеля, один от правительственного большинства, другой от оппозиции, сражались друг с другом по вопросу о налогах.

■ ■ ■

Отдаленное бормотанье телевизора проникало сквозь дверь комнаты. Анна полулежа просматривала рукопись книги по истории охоты. Предполагалось издать роскошный том с большим количеством иллюстраций. Ей надо было завтра, на заседании руководства, дать свое мнение. Но чем больше она читала, тем меньше ее мысли были заняты книгой. Лоран не давал ей всецело отдаться работе. Он сидел сейчас в кресле у окна, откинувшись на спинку, заложив руки за голову.

— Что с тобой, Анна? — спросил вдруг он.

— Ничего, я работаю.

— Нет, что-то у нас с тобой не ладится — я это чувствую.

— На то есть основания, не так ли? — резко сказала она.

— Из-за того, что я не хочу заниматься на вечерних курсах в Школе декоративного искусства?

— Из-за этого и из-за всего другого, Лоран. Не будем возобновлять дискуссию. Ты ненавидишь свою работу! Ничто в жизни тебя не интересует! Даже деньги, которые ты зарабатываешь! Ну так вот а меня все меньше и меньше интересуешь ты! Вот и все!

— Что ты хочешь этим сказать? — воскликнул он, вставая.

Она не ответила, сделав вид, будто погружена в чтение. Он шагнул к постели. Тень его упала на машинописную страницу.

— Ну знаешь, Анна, ты никогда не бываешь довольна. Ты хотела, чтобы я жил с тобой,— и вот я в твоей спальне! Теперь ты еще требуешь, чтобы я занимался на вечерних курсах. Я и так возвращаюсь едва живой с работы, а мне еще надо будет тащиться туда и до одиннадцати вечера учиться орудовать циркулем и рейсфедером! Целых три, а то и четыре года! И все для того, чтобы стать частью этого прогнившего общества, где господствуют деньги! Мы же погубим себя — и ты и я, раз ты вбила себе в голову, что счастливым можно стать, только если будешь зарабатывать все больше и больше. Ты ведь и сама чувствуешь, что с тех пор, как я работаю, все у нас поехало вкривь и вкось! Ты уже больше не та, да и я превращаюсь в кретина!

— Ну хватит, Лоран! — сказала она.— Моя требовательность! Твоя любовь! Твои теории! Мой комфорт! Деньги!. Общество!.. Ты просто лентяй и фразер!

— Анна!

Он хотел было взять ее за руку, но она оттолкнула его:

— Нет!

Она нервно схватила карандаш и пометила абзац. Но поверх рукописи она по-прежнему видела Лорана. Он молчал, смертельно обиженный. Потом повернулся к ней спиной и с мальчишеской поспешностью стал раздеваться. Одежда полетела во все стороны. Раздевшись догола, он бросился плашмя на кровать и уткнулся лицом в согнутый локоть. Анна не шевельнулась. Он лежал почти не дыша. Его тело, матово светясь, волновало ее. Работать она больше не могла. Что делать? Забыть? Уснуть? У нее было такое ощущение, словно она без конца крутит ворот колодца, вытаскивая оттуда Лорана. Но стоило ей остановиться, как веревка разматывалась, и он снова проваливался вниз. Она положила рукопись на ночной столик, погасила лампу и опустила голову на подушку. В темноте голос Лорана нежно и жалобно произнес:

— Ты меня не любишь больше, Анна? Да?

Подле нее стонал раненый. Всем своим существом она ощущала тело этого мужского тела. Она прошептала:

— Прошу тебя, замолчи! Ты не можешь рта раскрыть, чтобы не сказать глупость!

Через некоторое время она почувствовала — хотя и не видела в темноте,— что он повернул к ней голову. Она молча сняла ночную рубашку и прильнула к спине Лорана. Он вздрогнул. Она взяла в руки его волосы, стала гладить затылок, поцеловала впадинку за ухом, затем принялась целовать щеки. И ощутила губами соленую влагу слез. Он плакал. Ей стало жаль его. Жалость путала ее мысли, разжигала. Она уже сама не знала, чего хочет, что делает. Она смотрела в темноту широко раскрытыми глазами, и ей казалось, что она различает свечение других, ищущих ее глаз.

Сдаваясь, она пробормотала:

— До чего же ты меня раздражаешь! С ума можно сойти! Никак не пойму, что с тобой делать. Чем больше я стараюсь, тем больше терплю крах!.. Не могу я так...

Он лег на спину. Руки их переплелись. Анна осторожно высвободилась и легла на него. Она чувствовала всем телом тепло его кожи — оно было ей нужно, необходимо. Она развела его руки — он лежал распятый, а она уткнула лицо под мышку этого распластанного перед ней мужчины. Прижавшись губами к затылку Анны, он шептал:

— Анна, любовь моя, жизнь моя, если хочешь, я буду ходить на эти вечерние курсы. Но умоляю тебя, не будь так строга со мной...

Она чуть приподнялась над ним, словно хотела охладить себе грудь и живот, потом снова медленно, с наслаждением прильнула к этому ждавшему, требовавшему ее телу, сильному и слепому в ночи.

■

С самого начала их беседы Анне не терпелось задать Марку один вопрос. Разве она согласилась встретиться с ним в половине седьмого у «Старины Жоржа» не потому, что подозревала какую-то тайну? Полностью выздоровевший, с хорошим цветом лица, он непринужденно рассказывал ей о своей болезни.

— При моем-то, в общем, живом характере я вдруг почувствовал, что перехожу в разряд стариков. Не могу разогнуться — и все! Смещение позвонков. И говорят, это может повториться! Мне посо-

ветовали делать гимнастику. Можешь себе представить, чтобы я по утрам дрыгал ногами перед зеркалом?

Она отпила сухого вина и сказала:

— Вполне! Ты всегда очень следил за собой!

— Это упрек?

— Скорее комплимент! Кстати, ты забыл мне сообщить, что жи вешь не один!

Он и виду не показал, но она почувствовала, что он смутился.

— Я не думал, что моя личная жизнь настолько тебя интересу ет,— пробормотал он.

— Я же говорю тебе все, Марк, все, что имеет ко мне хоть ка кое-то отношение!

— Но это не одно и то же.

— Нет, абсолютно то же. Разве мы с тобой не друзья?

— Я никогда не был твоим другом и не буду,— решительно заявил он.

Он наклонился, чтобы лучше видеть ее. А она думала о Лоране. Он вспылил, когда она сказала ему об этом свидании с Марком: «Опять?! Зачем? Где? В какое время?..»

— Хорошо, хорошо,— сказала она.— Я не буду больше задавать тебе вопросов. Эта женщина навсегда останется для меня интри гующей загадкой!

В бистро нарастал шум. Два парня спорили с хозяином, который отказывался принять зажигалку в уплату за выпитое. Марк сосре доточенно размышлял о чем-то. Он явно колебался, не зная, отсту пать или сделать шаг вперед. Наконец, он сказал:

— Анна, я собираюсь жениться.

Она почувствовала, как внутри у нее что-то дрогнуло. Не от ра дости и не от огорчения. Скорее — от неожиданности и от тоски.

— Это меня не удивляет,— сказала она.— Ты создан для брака. Во всяком случае, куда больше, чем я!

— Я тоже так думаю, Анна! Ты считаешь меня глупым, старо модным!

— Вовсе нет!

— Ты знаешь, я долго колебался... Затем на прошлой неделе решил... То есть мы решили — Коринна и я... Да, ты ее знаешь, это — Коринна Беранже...

Перед мысленным взором Анны возник образ высокой блондин ки с пышным бюстом и победоносной улыбкой. Дама светская, экс пансивная, чемпионка по гольфу или чему-то еще...

— Но... она же замужем,— заметила Анна.

— Коринна развелась с мужем в прошлом году.

— И правильно поступила,— одобрила Анна.— Это была такая неподходящая пара! К тому же она всегда питала к тебе слабость. Вспомни, еще до нашего развода она безумно кокетничала с тобой. Как мы тогда смеялись по этому поводу!

А про себя она подумала, что эта до крайности поверхностная Коринна способна дать Марку куда больше счастья, чем она сама. Он же глуповато улыбался — точно школьник, надевший новый ко стюм.

— Ты очень влюблен в нее? — спросила Анна.

— Это могло бы случиться, если бы мне удалось забыть тебя,— со вздохом сказал он.

Ей стало противно. Она увидела в его словах лишь нарочитую лесть, попытку оправдаться перед ней. Жаль, что так получилось! Еще вчера Марк принадлежал ей, играл подле нее определенную роль: он был ее другом, как Пьер — ее отцом, а Лоран — ее любов

ником. Теперь же он для нее — никто. Он удалялся от нее, таял, обесцвечивался. Он мог жениться или не жениться, уехать за границу или остаться в Париже, процветать или скончаться от инфаркта — его судьба отныне ей безразлична. Не чувствуя пропасти, которая разверзалась между ними, Марк проговорил:

— Коринна очень хотела бы встретиться с тобой.

Анна знала, что это неправда, но в свою очередь соврала:

— Мне тоже хотелось бы ее увидеть. Надо будет созвониться в один из ближайших дней...

Она улыбалась, хотя внутри у нее все сковало холодом. Точно под кожей образовался металлический каркас, а в голове — стальной шар.

— На будущей неделе я снова уезжаю в Японию,— сказал он.— Тогда уж по возвращении.

— Прекрасно.

Он попытался взять ее за локоть, но она уклонилась. Ах, как она вдруг ощутила отсутствие Лорана! Увидеть его, скорее, броситься к нему на грудь... Вот это человек живой, нервный, капризный, полный восторгов, возмущений! Смуглый и крепкий, как каштан. И он ревнует ее к Марку! Можно помереть со смеху. Она заставила себя поговорить еще немного о том о сем, хотя ей казалось, что она тонет в тумане. Наконец, она распрощалась с Марком. Он хотел проводить ее до дома. Она отказалась. Они расстались на перекрестке Одеона. На другой стороне площади, на углу улицы Старой Комедии, Лоран ждал Анну, пригнув голову, засунув руки в карманы.

— Ну как,— спросил он,— ты хорошо провела время?

— Отлично! — ответила Анна, смеясь.— Я его больше никогда не увижу.

■

Такси медленно двигалось сквозь моросящий мелкий дождь. За запотевшими стеклами город казался мрачным нагромождением серых скал, блестящих тротуаров, расплывающихся деревьев и мокрых, точно переводные картинки, афиш. Когда кончилась заупокойная служба, мглистое, низко нависшее небо внезапно разразилось дождем. В церкви было мало народа, еще меньше на кладбище. Пьер никогда бы не подумал, что у госпожи Жироде так мало родственников и друзей. Он сказал об этом Элен. Сидя рядом с ним, она со вздохом промолвила:

— Фактически вся ее семья — это я. Она была очень нелюдима. Лучшими ее друзьями, мне кажется, были любимые персонажи из книг.

Элен говорила тихо. Тонкое лицо ее отражало усталость и горе. Пьер с бесконечным сочувствием украдкой посматривал на нее. Во время похорон он все думал о другой церемонии — похоронах Эмильенны. Все было то же — церковная служба, цветы, черные драпри, тяжелый блестящий гроб, красные лица могильщиков, яма в глинистой почве, доски, веревки. Но не было чувства отчаяния. Он похоронил жену и с нею вернулся домой. Эта мысль заставила его похолодеть. Он отвернулся от Элен и посмотрел в окно машины. Мир живых был не более реален, чем мир мертвых. Прошлое переплеталось с настоящим, траур — с надеждой.

Они подъехали к дому Элен. Было половина двенадцатого утра. Она пригласила его зайти. Он не без удовольствия вновь очутился в

маленькой гостиной цвета розоватой раковины. Элен в черном платье, словно сирота, забилась в глубокое кресло. Она все говорила о госпоже Жироде, вспоминала ее доброту, ее глубокие познания. Пьер поддакивал, но ему больно было видеть ее такой подавленной. Вредно так горевать, думал он. Как было бы хорошо, если бы он мог пробыть с ней до конца дня! Он попросил у нее разрешения позвонить по телефону. Она провела его к аппарату. Ответила Луиза. Он спросил:

— Моя дочь не говорила, придет она сегодня домой обедать?

— Она сказала, мосье, что будет обедать где-то с мосье Лораном.

— Тогда не готовьте ничего для меня, Луиза. Я тоже пообедаю в другом месте!

И он радостно объявил Элен:

— Я никуда не ухожу. Мы пообедаем вместе в ресторане. Согласны?

Она поблагодарила его взглядом, полным глубочайшей признательности, и проговорила:

— С удовольствием, Пьер. Только мне не хочется никуда идти. У меня дома все есть.

Он помог ей накрыть на стол. Она поставила в центре букет анемонов. И они скромно поели, сидя друг против друга в полумраке дождливого дня.

— Как мило, что вы остались! — сказала Элен.— Ваше присутствие для меня такая поддержка!

Он через стол поцеловал ей руку:

— Мне хотелось бы сделать для вас гораздо больше, Элен. Просто не могу смотреть, когда вы грустите. Что будет с вами теперь? Что станет с магазином?

Элен приложила салфетку к губам.

— В том-то и дело, что меня это очень тревожит,— сказала она.— Незадолго до смерти тетушка составила завещание, по которому я наследую все ее имущество...

— Но это же очень хорошо! — воскликнул он.— Вы сможете сохранить магазин!

— Я не в силах заниматься им одна!

— Я помогу вам.

— Я знаю, Пьер. Но в голове у меня полный сумбур. Все произошло так внезапно. Сначала мне надо встретиться с нотариусом...

— Да, да, непременно,— сказал он.

— Мне бы хотелось, чтобы вы поехали к нему со мной.

Он пробормотал смущенно:

— А это не будет неудобно, Элен?

— Наоборот. Вы мне поможете разобраться, посоветуете... Если я поеду одна, я не пойму и половины того, что он мне скажет!

Как приятно, когда кто-то признается тебе в своей слабости, в своем неведении. Он почувствовал прилив гордости. И воспарил, словно за плечами у него выросли крылья: он был необходим ей.

— Милая Элен,—воскликнул он,—можете рассчитывать на меня.

■ ■ ■

— Завещание мадам Жироде в полном порядке,— сказал мэтр Витри,— но я должен предупредить вас, что налог на наследство, когда имущество переходит от тетки к племяннице, очень большой.

— А сколько все-таки, мэтр? — спросила Элен.

— Пятьдесят пять процентов.

— Боже мой! Так много! — прошептала она.

И бросила на Пьера полный отчаяния взгляд. Он с озабоченным, понимающим видом пожал плечами. Она представила его нотариусу как друга семьи и своего советчика. Сидя рядом с ней в большом кресле, обитом темно-зеленой кожей, он постепенно проникся серьезностью своей роли.

— Вы всегда можете что-то реализовать, чтобы заплатить за право наследования,— сказал мэтр Витри.— У мадам Жироде, помимо книжного магазина, была квартира в Отёйе, загородный дом в Иль-Адаме и пакет биржевых акций.

— Мне кажется, нужно во что бы то ни стало сохранить магазин,— сказал Пьер.

— Совершенно верно,— поддакнул нотариус.— Это основная часть наследства.

— Тогда что же — продать дом в Иль-Адаме или квартиру? — спросила со вздохом Элен.

Пьеру хотелось взять ее руку. Нотариус пожал плечами, показывая, что бессилен дать совет. У него было печальное лицо и заостренная, как у облысевшего коршуна, голова. За его спиной висел большой гобелен, выдержанный в зеленоватых тонах,— большие болотные птицы шагали на нем среди цветущих деревьев.

— В любом случае у вас есть время обдумать это,— сказал он.— Закон предоставляет вам срок в шесть месяцев с момента смерти до подписания подробной описи имущества и уплаты налога в казну.

— Прежде всего следует оценить пакет акций,— сказал Пьер.— Может быть, он как раз и составит пятьдесят пять процентов?

— Сомневаюсь,— сказал нотариус.

Они продолжали, как и положено мужчинам, обсуждать деловые вопросы. Элен больше не вмешивалась в разговор. А Пьер, по мере того как шло время, обретал все большую уверенность в себе. Из конторы нотариуса он вышел с ощущением, что внес свой вклад в справедливое дело. На улице Элен взяла его под руку.

— Благодаря вам теперь мне все стало ясно! — сказала она.

— Он очень знающий, этот мэтр Витри,— снисходительно сказал Пьер.

— А теперь куда мы пойдем? — весело спросила она.

Решение принял он:

— В книжный магазин.

■ ■ ■

Когда Анна, уже одетая, снова вошла в спальню, Лоран все еще валялся в постели.

— Поторапливайся,— сказала она.— Ты же опоздаешь. А у меня сегодня рано утром назначена встреча.

— Иди без меня,— буркнул он, не шевелясь.

— Если я уйду без тебя, ты снова заснешь.

— Хорошо, хорошо, встаю...

Она присоединилась к отцу, который уже сидел за столом и завтракал. Обменявшись с дочерью традиционным утренним поцелуем, он как бы между прочим спросил, намерена ли она вернуться к обеду домой.

— Нет,— ответила она, наливая себе кофе.— Я сегодня очень занята. Мы поедим в столовой.

Он ничего не сказал, хотя, насколько она понимала, не очень любил обедать один. Она налила большую чашку кофе с молоком, намазала маслом два куска хлеба и понесла все это Лорану. В ко-

ридоре она наткнулась на Луизу, неистово орудовавшую пылесосом.

— Нет, это просто невозможно, Луиза! — воскликнула она.— Я сто раз говорила вам, чтобы вы не пылесосили до тех пор, пока мы не уйдем.

— Да, верно, мадемуазель,— пробормотала Луиза.— В таком случае могу я прибрать в ванной?

— Нет, мосье Лоран еще не мылся.

Анна перешагнула через пылесос и вошла к себе в комнату. Лоран опять спал. Она потрясла его за плечо:

— Лоран, вставай скорей!

Весь еще опухший от сна, он выпил кофе и съел хлеб.

— Тебе надо бриться,— снова сказала она.— Надеюсь, ты не станешь снова отпускать себе бороду!

— А почему бы и нет?

— Потому что это тебе не идет! Ну, совсем не идет!

Он нехотя спустил с постели сначала одну, потом вторую ногу, потянулся, надел брюки, перекинул через плечо полотенце, открыл дверь и прошел мимо застывшей Луизы. Через минуту из ванной донесся шум струящейся воды. Анна торопливо бегала по квартире. Наконец в облаке пара появился Лоран. Выбритый.

На улице она пошла быстрым шагом. Лоран подсмеивался над ней. Со стороны казалось, что опаздывать нельзя ей, а он, благодаря своему высокому положению, может и не спешить к положенному часу. Они расстались в вестибюле издательства «Гастель», где уже толпились курьеры из книжных магазинов.

Утро у нее оказалось заполненным до предела. Каролюс снова заболел, не доделав макета книги по истории охоты. Брюно, взявшийся за эту работу, запутался и никак не мог разместить иллюстрации. Анне пришлось стать рядом с ним за чертежной доской и пункт за пунктом объяснять то, что на прошлой неделе она уже разъясняла Каролюсу. В полдень Лоран зашел за ней, чтоб идти обедать. Но ему не хотелось есть в столовой.

— Почему? — спросила она.

— Я тебе объясню.

— Хорошо. Подожди меня пять минут. Мне надо тут доделать кое-какие мелочи...

— Нет. Я иду во «Вкусные соуса». И буду там тебя ждать.

Он показался ей напряженным и мрачным. Он ушел, заложив руки в карманы. Вскоре ушел и Брюно. Оставшись одна, она привела в порядок бумаги. На лестнице она столкнулась с господином Лассо, поднимавшимся в дирекцию. Он остановил ее:

— Послушайте, не знаю, что творится последнее время с вашим протеже — молодым Версье, но с ним все труднее и труднее приходится.

— А в чем дело?

— Все ему не так. То слишком душно. То жарко. То холодно. Сегодня он опять явился с опозданием. Это уже четвертый раз за две недели. Если так будет продолжаться, мне придется доложить заведующему кадрами. И к тому же он не выносит ни малейших замечаний. Марсель, упаковщик, сказал ему, что так не работают. Версье взбеленился. Схватил его за горло. Пришлось их разнимать. А ведь Марселю уже сорок пять лет, и он отлично знает свое дело. Версье же обозвал его старой перечницей. Просто возмутительно!

— Я поговорю с ним,— сказала Анна.— Он очень вспыльчивый. Я уверена, что он уже жалеет о своем поведении!

— Извините, что я ввязываю вас в это дело...

— Нет, нет, это вполне естественно.

— Я просто решил предупредить вас, понимаете, а то он может потерять свое место!

Она поблагодарила. По правде говоря, она нисколько не была удивлена.

Во «Вкусных соусах» на улице Мабийон частенько собирались те, кому надоело обедать в столовой. Цены здесь были умеренные, а кормили хорошо. Войдя в зал, Анна заметила Брюно, который сидел один в уголке, а немного дальше у стены сидел Лоран за стаканом молока. Анна опустилась на стул напротив него. Они заказали стандартный обед. Она ожидала, что он расскажет ей о происшествии с Марселем, но он, казалось, забыл об этом. Он тупо смотрел в одну точку и молча ел салат из помидоров. Официантка подала два бифштекса.

— Ты, должно быть, изрядно опоздал сегодня утром,— заметила Анна.

— На десять минут.

— Тебе ничего не сказали?

— Сказали, как обычно.

— Дело кончится тем, что ты потеряешь работу!

Он долго жевал мясо, потом скорчил гримасу и отодвинул тарелку. Анна поняла, что больше он ничего не скажет — во всяком случае, по этому поводу. Она повела на него атаку с другой стороны:

— Почему ты не захотел идти в столовую?

— Чтобы не встречаться там с этим типом.

— Каким типом?

— С упаковщиком Марселем!

— А что он сделал, этот Марсель?

— Да он старая перечница! Круглый идиот! Он не переносит меня, потому что я молодой. И вечно норовит сделать мне замечание! Вот я и поставил его на место! А этот Лассо, интересно, что он делает по субботам и воскресеньям, когда ему некого подгонять и заставлять потеть до потери сознания! Настоящий тюремщик! Черт знает что! Гнуть спину перед такими типами!..

— А ты навел справки насчет вечерних занятий в Школе декоративного искусства? — спросила она.

— Нет еще! Но чего ты так спешишь? Тебе же не нужен художник! Да, конечно, Каролюс болен. Но Брюно вполне заменяет его. Он потрясающий работник, твой Брюно. Каждый раз, как я захожу к тебе, либо ты висишь над ним, либо он — над гобой. Как видишь, он без тебя минуту пробыть не может: услышал, что я тебя пригласил обедать во «Вкусные соуса» и пожалуйте: уже тут. Несчастный, сидит в одиночестве. Мне так жаль его!.. А тебе?

Еще не закончив фразы, он встал и на глазах у Анны направился к столику Брюно.

— Идите к нам пить кофе,— предложил он.— Так всем будет приятнее.

Брюно принял приглашение и сел за их столик. Но не успела официантка принести им кофе, как Лоран залпом выпил свою чашку и вскочил со стула.

— Извините, пожалуйста! Мне надо бежать. Вы же понимаете, я не могу опаздывать на работу!

И побежал к выходу. У Анны не нашлось даже сил отреагировать на его выходку. В голове было пусто. Оставшись вдвоем с Брюно, она заказала вторую чашку кофе. И они заговорили о книге по охоте.

■ ■ ■

Ей показалось, что Лоран задремал рядом с ней, и она протянула руку, чтобы выключить лампу. Он пробормотал, не открывая глаз:

— Нет, оставь...

— Ты не спишь? — спросила она.

— Не хочется.

— А мне, Лоран, хочется спать!

Он открыл глаза и посмотрел на нее со злостью:

— Это меня не удивляет! Ты столько работаешь в этом издательстве! А скоро, видимо, будешь работать еще больше! Патрон, говорят, расщедрился и приготовил тебе новый пост!

— Кто тебе сказал? — спросила она.

— Эту новость шепотом передают друг другу во всех коридорах. Разве это не правда?

— Правда.

— Тогда почему же ты не сказала мне об этом?

— Потому что такие новости тебя не интересуют.

— А ты пришла от этого в восторг?

— Мне приятно, что мою работу ценят.

— Кто?

Она не ответила. Отбросив одеяло, он приподнялся на локте. И навис над нею, обнаженный и требовательный.

— Ты не посмела сказать мне об этом,— продолжал он,— потому что у тебя совесть не спокойна! Ты прекрасно знаешь, что предаешь меня, когда вступаешь в сделку с этими господами — Куртуа, Лассо и прочей шайкой! С каждым шагом в их сторону ты все больше удаляешься от меня! Чем ближе ты к ним, тем дальше от меня! Вот и сейчас у меня в объятиях была не женщина, а ответственная сотрудница издательства «Гастель», заведующая отделом, важная персона! И я предавался любви с важной персоной!

Он буквально выплевывал слова в лицо Анны. Она бровью не шевельнула, исполненная молчаливого презрения. Глаза Лорана сверкали бессмысленным гневом. Наконец он заорал:

— Ты почему улыбаешься?

— Потому что ты смешон,— сказала она.

Он вскочил с постели.

— Ах так! Ах так!

Он озирался, точно искал оружия. И вдруг, увидев на стуле ночную рубашку Анны, схватил ее и обеими руками стал раздирать. Тонкий батист затрещал. Чем исступленнее рвал Лоран прозрачную ткань, тем спокойнее становилась Анна. Она задумчиво смотрела на него словно издалека и наконец сказала:

— Что ты хочешь этим доказать? Свою силу? Свою глупость? Оставь рубашку немедленно! И отправляйся к себе в комнату!

— Не смей мне приказывать! — закричал он, швыряя в угол разодранную рубашку.— Если я захочу, я могу все здесь разломать! Все! Все!

Ударом ноги он отбросил стул. Анна вздрогнула от стука и инстинктивно натянула простыню на голые плечи. Он разбудит отца. Ну и пусть! В наступившей тишине Лоран сделал два шага вперед. Он тяжело дышал, кулаки его были сжаты. И вдруг упал на колени перед кроватью. Склонив голову, он произнес еле слышно:

— Анна, я не хочу, чтобы ты работала. Никогда больше! Я не хочу, чтобы ты с кем-нибудь виделась кроме меня! Я не хочу, чтобы ты покидала эту комнату! Никогда!

— А я не хочу, чтобы ты так со мной разговаривал. Никогда!— отрезала она.— Ты слышал, что я тебе сказала? Уходи!

Он медленно поднялся. Взял свою одежду со стула. Пошел к двери. Она увидела его голую стройную спину, выпуклые ягодицы. На пороге он обернулся: у него был вид нищего, выходящего из кабины общественного душа с пожитками под мышкой. Она подумала о том, какую поистине сверхъестественную власть она имеет над ним. Ведь она все для него — и хлеб и вино. Она может спасти его, может убить.

— Вернись,— сказала она чуть сдавленным голосом.

Он повиновался.

■

Анна шла быстрым шагом в такт колотившемуся от злости сердцу. Ну и пусть Лоран опоздает сегодня на работу, ну и пусть его выгонят. Она трижды трясла его за плечо, но он отказался встать. И она ушла, не дождавшись его. Терпение ее лопнуло. Он утверждал, что у него болит голова. Но она ему не верила. Притворщик, тряпка, бездельник! Как только он открывал рот, ей уже хотелось ему возражать. Даже взгляд его порой раздражал ее. И все же мысль о нем преследовала ее неотступно даже на работе. Его руки, его губы, его кожа, его запах... Они были напрочь спаяны. Враги по духу, сообщники по плоти. Ее засасывала трясина. Она презирала себя и... думала о предстоящей ночи. Звуки ее собственных шагов отдавались у нее в голове. Серое небо нависало над крышами. Лица прохожих подпрыгивали, как пробки на мелких волнах.

В начале улицы Сервандони она наткнулась на полицейскую заставу. Две пожарные машины стояли около тротуара. Большие лужи воды на мостовой. Анна подняла взгляд на фасад издательства и чуть не вскрикнула от неожиданности. Стены частично обуглились. Из всех окон вылетели стекла. Пожар, видимо, уже потушили, но дым все еще струился из дверей и зияющих дыр. На тротуаре громоздились обгорелые бревна, остатки мебели, пачка почерневшей бумаги. В воздухе летала черная сажа и стоял запах горелого тряпья. Анна проскользнула между двумя добродушными полицейскими и присоединилась к группе служащих издательства, наблюдавших за происходящим. О том, чтобы войти в здание, не могло быть и речи: там все еще работали пожарные. Анна спросила:

— Что произошло?

Ей ответили сразу десять голосов. По первым предположениям, огонь вспыхнул после окончания работы, в подвальном складском помещении, где были завалы старых бумаг, и быстро распространился вверх по этажам. Проснувшийся посреди ночи привратник вызвал пожарных, которые прибыли тут же, но пожар сумели погасить только к рассвету. По счастью, жертв не оказалось. Зато материальный ущерб был существенный. Все, что пощадил огонь, пожарные залили водой. Господин Лассо называл это «неописуемой катастрофой». Брюно причитал по поводу своих погибших макетов. Упаковщик Марсель ворчал:

— Это явно сделал кто-то из своих!

— Что за чушь вы говорите! — вскричала мадемуазель Моиз, которая считала себя вправе высказываться безапелляционно из-за близких отношений с руководством издательства.— Кому это нужно?.. Очевидно, произошло короткое замыкание! Вспомните, в прошлом году...

— У этих замыканий есть ноги! — бросил ей в ответ Марсель.— Я же говорю вам...

Господин Куртуа, бледный, но спокойный, обсуждал что-то с пожарным начальником. Анна искала глазами в толпе Лорана. Почему его до сих пор нет? Наверно, снова уснул.

Спустя некоторое время господин Куртуа предложил служащим собраться в уцелевшей от пожара столовой. Анна последовала за всеми. В течение нескольких минут зал заполнился. Люди, тесно сбившись, стояли среди столов. В воздухе пахло паленым. Заведующий кадрами и директор по литературной части стояли рядом с господином Куртуа, который, надо сказать, отлично владел собой. Он произнес несколько слов, чтобы успокоить своих сотрудников: большая часть книг находится на складе в Пантене, поэтому работа издательства будет приостановлена лишь ненадолго. Он распорядится оборудовать временные рабочие помещения в больших пакгаузах, которыми издательство располагает в пригороде. Отделы незамедлительно будут перемещены туда. Так или иначе, сотрудники в этот период переустройства не пострадают и будут по-прежнему получать положенное жалованье. Всем сотрудникам будет разослано извещение о принятых мерах. По мере того как он говорил, с лиц присутствующих сбегала напряженность. Когда он кончил свою речь, Анна спросила, имеет ли он представление о причинах пожара.

— Я знаю об этом не больше, чем вы,— сказал он.— На место происшествия уже прибыл эксперт из страховой компании...

И он ушел: квартальный комиссар полиции хотел его видеть. Служащие разбрелись. Из обычных людей они превратились в участников происшествия. Анна отправилась домой.

В гостиной вся мебель была сдвинута, и Луиза с тряпкой в руке наводила чистоту.

— Ах, мадемуазель! — воскликнула она.— Вы же сказали, что не придете к обеду! Ваш батюшка тоже позвонил, что не придет, вот я и занялась уборкой!

— А мосье Лоран?

— Он, должно быть, на работе; он ушел вскоре после вас. Если вы будете обедать дома, мне надо пойти купить чего-нибудь...

— Нет, не стоит,— проговорила Анна.

У нее, видимо, был расстроенный вид, так как Луиза спросила:

— Уж не больны ли вы?

— Нет, нет...

— Но вы же никогда не возвращаетесь в это время с работы, мадемуазель.

Анна нехотя рассказала ей о пожаре. Глаза у Луизы округлились от страха. Анна оставила ее причитать и отправилась на кухню выпить немного вина. Где же Лоран? И почему отец не обедает дома? В такой момент хотелось, чтобы кто-то был рядом. Все у нее идет вкривь и вкось. Она спустилась снова на улицу и направилась прямо в книжный магазин.

Перешагнув через порог, она остановилась в изумлении. Ее отец стоял на верхней ступеньке лестницы, а госпожа Редан в синем платье с короткими рукавами передавала ему книги. Анна, конечно, знала, что он работает в магазине, но как-то не задумывалась над тем, что он работает рядом с этой женщиной. И сейчас эта картина — он наверху, она внизу — неприятно поразила ее. Ей казалось, что госпожа Редан — более светлая и тоненькая. И значительно моложе. А на деле все оказалось иначе... Она поискала глазами госпожу Жироде. Пьер стоял на своей ступеньке разинув рот, словно его застигли на месте преступления. Он неловко спустился по сту-

деньгам. Тем временем госпожа Редан с приветливой улыбкой уже подошла к Анне.

— Здравствуйте, мадам,— сказала она.— Вы застали нас в разгар работы. Такое счастье, что ваш батюшка помогает мне. Шутка ли — перестроить все дело...

— А мадам Жироде все еще больна? — спросила Анна.

Госпожа Редан не сразу посмотрела Анне в лицо.

— Вы ничего не знаете?—грустно спросила она.—Тетушка скончалась две недели тому назад.

Анна быстро справилась с собой, поборов удивление.

— Ах, извините, пожалуйста! Совершенно верно! Как же я могла забыть?

Она перевела взгляд на отца. Лицо у него стало совсем жалкое. Они все трое стояли молча. Пауза затягивалась, и Анна чувствовала, как в ней нарастает негодование.

— Ты звонил Луизе, что не придешь обедать? — тихо спросила она наконец.

Пьер кивнул и бросил на госпожу Редан испуганный взгляд.

— У нас так много работы, что я предложила вашему батюшке пообедать со мной в магазине,— сказала госпожа Редан.

— Надеюсь, папа, ты сразу после этого освободишься,— сказала Анна.— Мне хотелось бы поговорить с тобой.

— Но... а в чем дело? — пробормотал он.

— Мне нужно сообщить тебе что-то важное.

— Что ж... В таком случае...

Анна вышла из магазина, даже не простившись с госпожой Редан. Минут через пять после того, как она вернулась домой, примчался запыхавшийся отец.

— Что случилось, Анна? — проговорил он с трудом.

— Издательство «Гастель» сегодня целиком сгорело,— сказала она.

— Как? Но это... ужасно! Целиком?

— Целиком.

— А как же с твоей работой?

— Думаю, что у меня ничего не изменится.

— Почему ты мне не сказала об этом в магазине?

— Ты был так занят!

Он опустился на диван и покачал головой:

— Боже мой! Боже мой!.. Как же это произошло?

Вместо того, чтобы ответить ему, она внезапно спросила:

— Папа, я хотела бы, чтобы ты объяснил мне, почему на протяжении стольких недель ты мне врешь.

Он продолжал сидеть, не поднимая головы. Она стояла рядом и видела лишь его макушку, на которой между зачесанными назад седыми прядями просвечивала бледная кожа.

— Я? — произнес он наконец.— Но, Анна...

— Мадам Жироде умерла, и, однако...

Он прервал ее:

— Ах, вот оно что... Мне казалось, я говорил тебе...

— Ничего тебе не казалось...

— Да нет же! Уверяю тебя!..

Она видела, как он старается выкрутиться, и испытывала одновременно жалость и отвращение к нему.

— Что же будет с магазином теперь, после смерти мадам Жироде? — спросила она.

— Его унаследовала мадам Редан.

— И ты служишь у этой женщины?

— В общем, да...
— За какую же плату?
— Мы пока не обсуждали этого вопроса.
— Почему?
— Это... неловко, Анна.
— Так ты работаешь за ее прекрасные глаза?

Больше она не могла держать себя в руках. Все в ней восстало против пошлости и двуличия отца. А он сидел сгорбившись, судорожно сжав руки, и не отваживался поднять на дочь глаза. Точно большой запуганный заяц. Нелепый и такой жалкий. Она вдруг ударила кулаком по овальному столику, на котором стояли шкатулки.

— Ты сейчас же скажешь мне правду,— крикнула она.— Эта женщина — твоя любовница? Да?

Подбородок у Пьера как-то отяжелел, отвис. Он пролепетал:

— Да, Анна.

Она настолько не ожидала подобного ответа, что признание отца привело ее в замешательство.

— С каких пор? — спросила она.
— Со вчерашнего дня.

Анна почувствовала себя обманутой, униженной; она опустилась в кресло и закрыла лицо руками. Плакала не она — плакала Мили.

— Анна, милая Анна! — залепетал Пьер.

Он опустился перед ней на колени, пытаясь оторвать ее руки от лица. Сквозь слезы она видела его растерянное умоляющее лицо — оно шевелилось где-то внизу, у ее ног, уродливое, лживое.

— Как ты мог? — всхлипывая, проговорила она.— Не прошло и полугода после смерти мамы! Как вспомню, в каком ты был горе, что ты говорил мне тогда!.. А теперь... С первой же встречной... До чего мерзко!.. Мерзко! Это в твоем-то возрасте!..

Она захлебнулась словами.

— Ты права,— сказал он.— Но я был так потерян, так одинок! У тебя, Анна, своя жизнь... Я встретил мадам Редан... Она такая милая, так хорошо меня понимает...

— Не смей мне говорить об этой глупой бабенке!

— Но это не имеет никакого отношения к Мили, ты же понимаешь... Мили остается для меня... Я никогда никого не любил, не люблю и не буду любить, кроме нее...

— Ты опять врешь! — прошипела Анна.

— Клянусь тебе, что нет!

Он целовал ей руки, но она оттолкнула его: ей были неприятны его поцелуи.

— Ты мне противен! — сказала она.— Уходи! У тебя теперь есть постель в другом месте, вот и отправляйся спать туда.

— Что? Что ты сказала? — воскликнул он пронзительным, визгливым, чуть ли не бабьим голосом.— Но это невозможно, Анна! Я не хочу расставаться с тобой! Ты моя дочь! Самое дорогое, что есть у меня на свете! Как я буду жить без тебя? Я сделаю все, что ты захочешь, Анна, только не это, не это!..

Он с трудом поднялся — ноги дрожали и не слушались его — и присел на край дивана. Слезы струились по его обмякшему лицу. Он всхлипнул. Анна вышла из гостиной, хлопнув дверью.

В коридоре ее остановила Луиза:

— Так как насчет обеда, мадемуазель?..
— Обедайте сами, а о нас не беспокойтесь,— ответила она.

Она вошла к себе в комнату и упала на стул — в висках у нее

шумело. Спустя некоторое время кто-то постучал в дверь. Это был Пьер — ссутулившийся, приниженный; он боязливо смотрел на нее.

— Послушай,— сказал он,— я все обдумал. Я напишу ей письмо и скажу, что мы не должны больше встречаться. Я покажу тебе это письмо...

— Делай что хочешь, мне все равно,— сказала она.— А сейчас оставь меня одну.

— Да, да, Анна, я ухожу.

Пьер вышел и закрыл за собой дверь. Однако Анна никак не могла успокоиться. У нее было такое ощущение, точно на ней грязное белье.

■ ■ ■

Пьер разорвал исписанный лист и бросил клочки бумаги в корзину. Он принимался писать уже в седьмой раз. Никак не удавалось подыскать слова, которые передали бы всю меру его отчаяния. Как объяснить Элен, что он испытывает к ней огромную нежность, огромное уважение, но не может идти против воли дочери? Как оправдать перед ней этот отказ от будущего во имя верности прошлому? В конце концов он бросил блокнот и принялся ходить по комнате. По комнате или по камере? Он ходил от одной стены к другой и никак не мог найти выхода. В голове его, словно мячи, сталкивались «за» и «против». Он не мог больше думать об ужасе этого выбора: потерять Элен или вызвать гнев Анны. Весь день он страдал, сознавая свою обреченность. И вечером, сидя за столом между Лораном и Анной, он еле сдерживал слезы. Лоран ничего не знал о назревавшей в доме драме. Анна при нем делала вид, будто ее волнует лишь пожар в издательстве. Странный парень! Побродив ради любопытства по улице Сервандони, он вернулся с безразличным видом. «Главное,— заявил он,— что обошлось без жертв!» Анну, очевидно, раздражало столь философское отношение к тому, что для нее было настоящим бедствием. Они заспорили, и это дало Пьеру возможность не участвовать в разговоре. Сразу же после ужина он ушел к себе. Нет, легче умереть, чем сделать выбор. Хоть бы бог поразил его — он рухнул бы на пол со словами: «Спасибо тебе». Но смерть не приходит, когда она нужна. Каким страшным взглядом впилась в него Анна! Эта черная молния испепеляла его, растворяла, превращала в ничто, он словно стоял перед трибуналом, где судьей была женщина. Вернее — не судьей, а обвинителем. Она была сама уверенность в себе, сама правота, неоспоримая истина, железная палка, колода на шее, нож гильотины... Навечно осужденный, он боялся ее — и не мог без нее жить. Одобрение Анны было его главной опорой в жизни. Раньше он вот так же подчинялся Мили. Но Мили — это была еще и любовь, кокетство, легкость, смех, духи, обнаженное тело в постели, новое платье, путешествия... Подчиняться такой чужой воле было только приятно. Он вдруг увидел ее рядом, живую — и сердце отчаянно заколотилось. Нет, никто не может ее заменить. Но кто говорит о замене? Жизнь с Элен была бы чем-то совсем иным. Мирным союзом двух друзей. Разумным объединением на склоне лет. Вот чего не поняла Анна. Может быть, он не сумел ей это объяснить? Может быть, если возобновить с ней разговор на свежую голову, она окажется более терпимой? Три шага туда, три шага обратно, комната завертелась перед его глазами... За окном спустилась ночь. Неслись под дождем машины. А Элен даже ничего и не подозревает — Элен, которой он должен нанести такой удар! Он не имеет на это права. Ах, до чего же он одинок, слаб, сбит с толку...

Он вышел в коридор и в нерешительности остановился перед комнатой дочери. За закрытой дверью — тишина, тишина отказа. Он посмотрел на часы. Двадцать минут первого. Она, наверно, спит в объятиях Лорана. Безнадежно махнув рукой, он вернулся к себе, снова сел за стол и принялся писать.

■

Луиза поставила дымящийся кофейник и молочник на стол. Анна торопливо налила себе кофе. Она всю ночь не спала. Голова была тяжелой и болела. Встав раньше мужчин, она рассчитывала, что кофе придаст ей сил. Она сделала несколько глотков, но тяжесть в голове не проходила. Вся ее жизнь казалась ей сейчас бесконечным переплетением усталости, отвращения, изнурительной работы ума. Ей надоело все время думать об одном и том же. Мысли кружились в голове, словно ослик, вращающий каменное колесо жернова. Открылась дверь, и появился отец в халате, небритый, с отчаянием в глазах. Это должно означать, что он страдает. В точности так же он выглядел после смерти Эмильенны. Какая комедия! Он уныло пробормотал что-то в знак приветствия. Анна даже не повернулась в его сторону. Не осмеливаясь поцеловать ее, он нахохлился и сел за стол с видом наказанного школьника. Луиза принесла ему газету, которую купила по дороге. Он положил ее рядом с тарелкой, даже не развернув. Анна налила ему кофе, и он порывисто поблагодарил ее:

— Спасибо, Анна, моя милая.

Взглядом он умолял ее о прощении. Но у нее это вызывало лишь тошноту. Она не могла простить ему того, что он убил в ней нежность. Это он сделал ее жестокой, бесчувственной, навсегда очерствевшей. Теперь между ними уже не будет ничего — одно лишь бесконечное молчание. Он пил и ел, а она не понимала, как он может даже думать об еде. Когда он допил кофе, она с холодной злобой налила ему еще. Неужели Лоран все еще спит! До чего же он безответственный! Пойти разбудить его? А стоит ли? Через какое-то время он все же появился на пороге, привлеченный, наверно, запахом горячего кофе. Длинные волосы висели у него вдоль щек. Он тоже был небрит.

— Доброе утро, Анна. Доброе утро, Пьер.

Он сел, не дожидаясь, пока она нальет ему кофе. За столом снова воцарилась тишина, тяжелая, душная. Лоран протянул руку за газетой.

— Есть что-нибудь о пожаре? — спросил он.

— Не знаю,— едва слышно ответил Пьер.

Лоран развернул газету, сверху вниз пробежал глазами по странице и воскликнул:

— А, вот! «Пожар в издательстве «Гастель». Вчера, около часу ночи, в здании издательства внезапно вспыхнул пожар...»

И продолжал монотонно читать дальше. Избитые фразы следовали одна за другой: «Благодаря быстрому вмешательству пожарных... Причину пожара до сих пор установить не удалось... По некоторым утверждениям, речь может идти о коротком замыкании... Однако возможность злого умысла отнюдь не исключается...»

Анна вспомнила слова Марселя:

«Это явно сделал кто-то из своих!» Она смотрела на этих двух тунеядцев, сидевших с нею за одним столом, и раздражение ее с

каждой минутой возрастало. Она встала и вышла на кухню — пусть посидят одни.

— Я иду за покупками,— сказала Луиза.

— Нет,— сказала Анна,— я схожу сама.

Она взяла сумку и с явным облегчением вышла на улицу.

Когда она вернулась, отец и Лоран все еще обсуждали что-то в гостиной. По-прежнему небритые. Сосредоточенные. Атмосфера безделья, как в воскресенье.

— Дайте же, наконец, Луизе убрать гостиную,— сказала она.

Мужчины встали. Но так, словно подошвы у них налиты свинцом. Зазвонил телефон. Анна сняла трубку. Звонила мадемуазель Моиз. По поручению мосье Куртуа. Он просил приехать в половине четвертого в Пантен, чтобы посмотреть на месте, как там расположиться.

— Я приеду,— сказала Анна.

Она прошла к себе в комнату. Лоран пришел за ней следом.

— Что это с твоим отцом? У него такой мрачный вид!

Она помедлила.

— Он потерял свое место,— тихо проговорила она наконец.

— Что? В книжном магазине?

— Да.

Он поморщился.

— Жаль! Боюсь, что в его возрасте он больше ничего не найдет.

Нет, это совсем уж невыносимо: жалеть человека, потому что так принято.

— Не желаю я больше слушать избитые фразы,— резко сказала она.— Ты жалеешь моего отца, потому что он остался без работы! А сам разве не радуешься, что потерял свою? Теперь ты можешь поздно вставать и лодырничать весь день! Это же твоя мечта! Тебе этот пожар только на руку!

Он пожал плечами.

— Ну что ты говоришь? Я опять впрягусь, как и все, чуть только дело наладится!

— Ну, конечно, тебя бы больше устроило, если бы сгорел и склад в Пантене,— сказала она, сверкнув глазами.

Он рассмеялся.

— Не будем говорить о чудесах! Во всяком случае, таскаться туда каждое утро не так-то весело! Не меньше сорока пяти минут на метро. Придется вставать на рассвете!

— Никто не заставляет тебя это делать!

— Нет, Анна, ты заставляешь.

— Ах, значит, я!.. Ты свободен! Бросай свою работу! И начинай прежнюю жизнь!

— Нет. Ведь я люблю тебя, Анна. Я поеду с тобой в Пантен или на край света, ты это прекрасно знаешь!

Он хотел обнять ее, но она резко высвободилась и вышла из комнаты. Затем прошла в гостиную и села за вышиванье. К ней подошел отец, держа в руке какую-то бумагу. Он был уже одет и выбрит.

— Посмотри,— сказал он,— вот что я ей написал.

— Кому?

— Мадам Редан... Письмо... Я не хочу его отправлять, пока ты не прочтешь...

— Ну, это уже слишком, отец! Ты понимаешь, о чем ты меня просишь? Ты взрослый человек и сам прекрасно знаешь, что нужно ей сказать!

— Да, да,— пробормотал он расстроенно.

А она снова взялась за вышивание. Через минуту Пьер тихо произнес:

— Значит, послать его так, как есть?

Она не ответила.

— Сейчас и отправить? — спросил он еще.

Опять молчание. Пьер вышел, с трудом передвигая ноги. Словно поднимался на эшафот. Анна старательно работала иглой с желтой шерстяной ниткой и думала о пожаре. Вошел Лоран и положил руки ей на плечи. Дыхание его ласкало щеку Анны. Она еле удержалась, чтоб не отмахнуться от него, как от назойливой мухи.

— Не сходить ли нам после обеда в кино? — предложил Лоран.

— Нет,— ответила она.— Дирекция просила меня приехать в Пантен.

— А мне тоже надо ехать?

— Вовсе нет.

— Когда же ты вернешься?

— Понятия не имею.

Лоран убрал руки с плеч Анны. И с явным разочарованием отойдя от нее, сел в кресло. Он взял зеленую шерстяную нитку в рабочей корзинке и стал машинально накручивать ее на палец. Глаза у него были печальные.

— Что случилось, Анна? — спросил он наконец.

Она вздрогнула, точно до нее дотронулись раскаленным железом. Сколько раз слышала она эту фразу? Сколько раз ей придется слышать ее еще?!

— Что-то есть странное в этом пожаре,— сказала она.— Что-то такое, чего я не могу понять...

— Что ты хочешь сказать?

— Так, ничего...

— Да нет же! Говори!

Она отложила вышиванье и пристально посмотрела в глаза Лорану. У нее появилось желание задеть его, уязвить. Она ничего не могла с собой поделать. И, не задумываясь, она отчетливо, звонко произнесла:

— По-моему, тут явно злой умысел, как писали в газетах.

— Но кто мог это сделать? — спросил Лоран.

— У тебя нет ни малейшего представления об этом?

На лице Лорана появилось выражение, какого она еще никогда не видела. Что-то вроде ужаса. Но не перед тем преступлением, в котором она его обвиняла, а перед ней самой. Он смотрел на нее, точно она была чудовищем, которое море выбросило к его ногам на берег. Глаза его выкатились. Губы дрожали. Но он не издал ни звука. Только вдруг двинулся к Анне, клешнями вытянув руки, словно хотел задушить ее. Она видела, как его пальцы протянулись к ее шее, но не двинулась с места. Ей было страшно и радостно. Она не могла ни крикнуть, ни защищаться. С чем он играл? А она сама? Прошло несколько секунд. Руки Лорана медленно опустились. Он медленно повернулся на каблуках и вышел, с такою силой хлопнув дверью, что стена затряслась.

Оставшись одна, она попыталась понять, зачем ей вдруг понадобилось бросить ему в лицо это нелепое обвинение. Она же ни слову не верила из того, что сказала. Всякий раз, когда она злилась, у нее словно включался говорильный аппарат, и готовые штампы слетали с языка, подгоняя друг друга,— неслись широким, непреодолимым потоком. Пьянея от собственных слов, она утрачивала чувство меры и топтала того, кого хотела всего лишь одернуть. Словно с размаху давала пощечины посреди улицы. Этакое безрассудство!

Она улыбнулась. Прилив злобы прошел. На смену ей пришла апатия. В конце концов, ну что тут особенного: еще одна ссора. Вечером ни она, ни он об этом даже не вспомнят.

Когда наступило время обеда, Лоран отказался выйти к столу. Он лежал на постели в комнате Анны, задумчивый и обиженный. Она немного чего-то пожевала, сидя напротив отца. Тот ел с отсутствующим видом, уставясь остекленелым взглядом в тарелку, и лишь машинально открывал и закрывал рот, словно челюсти у него были на пружине.

Во время обеда зазвонил телефон. Анна сняла трубку. Ошиблись номером. Она снова села. Она устала и чувствовала себя бесконечно одинокой. Внезапно ей вспомнился Марк. Далеко ли у них с Коринной зашло дело? Женился он на ней или нет? Ну, какое это имеет значение! Марк для нее больше не существует. Впрочем, он и вообще никогда не существовал. Она встала из-за стола. Отец последовал ее примеру. Он стал похож на тень. Словно вторично овдовел. Она полоснула его взглядом и поспешила уйти.

В половине четвертого она была на складе в Пантене. Две трети огромного помещения, холодного и неуютного, были заняты экспедицией, рассылавшей книги в провинцию. Но в оставшейся трети нетрудно было сделать кабинеты для дирекции, отделив их друг от друга фанерными перегородками. Господин Куртуа поинтересовался, как его основные сотрудники хотели бы распределить помещение. Анна выбрала для себя самый светлый угол. Архитектор делал наброски на больших листах бумаги, подхватывая на лету предложения сотрудников. Он полагал, что все можно будет переоборудовать за три недели. Господин Куртуа считал, что это было бы слишком долго. Архитектор обещал предельно сократить срок. А пока предстояло заняться заменой сгоревшего кабинетного оборудования. После пожара не уцелело ни одной пишущей машинки.

Было уже шесть часов вечера, когда Анна села в метро, чтобы ехать домой. В переполненном вагоне ее сдавила густая жаркая толпа, от душного, смрадного воздуха ее подташнивало. Лоран прав: нелегко будет ездить каждое утро на работу в Пантен после того, как она многие годы добиралась до улицы Сервандони пешком за десять минут. И как не согласиться с ним, что каждодневный труд превращает человека в животное! На всех этих мужских и женских лицах, освещенных ярким электрическим светом, лежал отпечаток одинаковой усталости и скуки. Дряблое тело, потухший взгляд, а в голове — нескончаемые мысли о здоровье, семейных передрягах да о том, как дотянуть до конца месяца. Вагон стремительно мчался от станции к станции со своим грузом живого мяса. Двери открывались — одни выходили, другие входили. Неизвестные, незаметные, сменяющие друг друга люди. И она была частицей этой живой массы. Она, считавшая себя и свои проблемы чем-то уникальным, неповторимым. На «Северном вокзале» надо было делать пересадку. Огромные рекламные щиты господствовали над кишащей внизу массой, всецело подчиненной им. Анна заспешила туда, где висела надпись: «Пересадка». Переходы, платформа, снова вагон и — те же лица. Уф, наконец-то дома!

Анна была измотана, в голове стоял гул от грохота метро. После городской суматохи — какая тишина в квартире! Пьер сидел в гостиной и, казалось, спал с открытыми глазами и вытянутой шеей. Словно чучело, набитое соломой! Анна прошла к себе и застала Лорана в той же позе, что и пять часов тому назад: он лежал на постели одетый, согнув колени, устремив взгляд в потолок.

— Почему ты снова лег? — спросила она.— Ты болен?

— Нет,— проворчал он.— Я жду тебя.

— Вот так — ничего не делая?

— А что мне делать?

— Ну не знаю! Мог хотя бы почитать!

— Я предпочитаю думать.

— От этих снотворных таблеток ты совсем отупел!

— Ничего подобного! Они хорошо на меня действуют. Принял — и никаких проблем! Как только мне становится тоскливо, проглочу таблетку и погружаюсь во тьму — тишина, отдых...

На комоде — пустая тарелка и стакан, на полу хлебные крошки. Должно быть, он все-таки вставал и брал еду из холодильника. А сейчас за столом откажется есть.

— Поднимайся! — сказала она.

— Зачем? Уже поздно?

— Скоро восемь.

— Вот никогда бы не подумал. До чего же быстро летит время! А что было в Пантене?

— Думаю, что там всех удастся разместить.

— И тех, кто комплектует заказы, тоже?

Он язвительно расспрашивал ее, приподнявшись на локтях. И она подумала, что это еще хуже, чем если он злится, как было утром, когда он хотел ее задушить.

— Как только появится возможность, мосье Лассо вызовет тебя на работу вместе с остальными.

— А он не боится, что я подожгу и этот барак?

— Идиот!

— Не волнуйся, я даже на это не способен!.. Что поделаешь, я бываю бешеным только на словах. А как только надо действовать — сдаюсь! Законченный неудачник!

— Ладно, пошли ужинать!

— Что-то не хочется.

Анна вышла из комнаты. Ей тоже не хотелось садиться за стол. Но надо было — из-за отца. Чтобы жизнь в доме шла своим чередом, по раз навсегда установленным законам.

■

Пьер, сгорбившись, посапывал над чашкой с остывающим кофе. Лоран сонно жевал хлеб с вареньем. Анна поспешно проглотила завтрак и заявила, что уезжает в Пантен на целый день. Ни тот, ни другой на это не отреагировал, словно погруженные в летаргический сон. Пьер вскоре ушел к себе, шаркая домашними туфлями. Лоран забрался в ванную комнату, оставив, по своему обыкновению, дверь открытой. Он намыливался, стоя в ванне, а Луиза сновала по коридору, избегая смотреть в его сторону. Когда Анна надевала пальто, зазвонил телефон. Она сняла трубку. Женский голос спросил:

— Алло! Это мадам Анна Предайль?

— Да.

— Говорит Элен Редан. Можно попросить к телефону вашего батюшку?

Ни слова не ответив, Анна положила трубку возле аппарата и пошла за Пьером в его комнату.

— Мадам Редан просит тебя к телефону.

Он вздрогнул, словно его обнаружили в укрытии и схватили, чтобы оттуда вытащить.

— Ни в коем случае...— забормотал он.— Я не хочу разговаривать с ней...

— Ну что ж, скажи ей об этом сам раз и навсегда!

— Нет, скажи ей ты, Анна, прошу тебя! — с трудом выговорил он.

Глаза у него округлились. Углы рта были опущены. Анна вернулась в гостиную и взяла трубку.

— Отец не хочет подходить к телефону,— сказала она.

— Но отчего же?

— Вы не догадываетесь? Но вы же наверняка получили от него письмо.

— Вот именно!.. Это какое-то безумие!.. Мне необходимо увидеть его, поговорить...

— Он сказал вам все, что хотел сказать, мадам. Не пытайтесь что-либо предпринимать.

Она резко положила трубку, точно прихлопнула назойливую муху. Повернувшись, она увидела отца, стоявшего в дверях. Он тихонько подошел, чтобы услышать свой приговор. Теперь все было кончено, и он молча, с потерянным видом смотрел на дочь. Опять он разыгрывает перед ней великое страдание. И зачем все они так любят выставлять напоказ свои чувства, устраивать спектакли? Даже у Лорана она замечала этакий трагический надрыв. Ведь как только она уйдет, отец, лишившись публики, сразу успокоится. Она поцеловала его в лоб и вышла. А лишь только очутилась на улице, сразу забыла о нем.

В Пантене уже начались работы по переоборудованию. И Анна обнаружила возле господина Куртуа всех заведующих отделами.

Сотрудники собрались в импровизированном кабинете. Представители отдела реализации сообщили о том, как раскупается продукция издательства. Жизнь начиналась заново. Анна пообедала в бистро с Брюно и Каролюсом. В четыре часа ее вызвал господин Куртуа и сообщил, что собирается взять ее с собой в Болонью на Международную ярмарку книг для молодежи. По правде говоря, она ожидала такого предложения: оно вытекало из ее новых обязанностей. Вылетают они в ближайший понедельник. Всего на четыре-пять дней. До отъезда надо изучить предложения нескольких иностранных издателей, с которыми господин Куртуа собирался установить более тесные контакты. В любом случае он считал, что после пожара ему совершенно необходимо быть в Болонье, чтобы продемонстрировать жизнеспособность издательства. С ними поедет также заведующий отделом реализации. Анна обрадовалась этой поездке, которая не только свидетельствовала о расширении ее функций, но и позволяла вырваться из привычной обстановки. Теперь, когда Лоран и Пьер оказались без работы и не знали, куда себя деть, обстановка в доме стала просто невыносимой. В шесть часов Каролюс отвез ее домой на своей дребезжащей малолитражке.

Пьер был у себя. Лоран, развалившись на диване в гостиной, читал детектив. Он что-то буркнул в знак приветствия и снова углубился в чтение. Анна прошла в ванную вымыть руки. В эту минуту у дверей позвонили. Луиза пошла открыть и вернулась смущенная.

— Там какая-то дама спрашивает вашего батюшку. Я постучалась к нему. Но он не отвечает. Наверное, спит...

— Что вы сказали этой особе?

— Я предложила ей пройти в гостиную.

Анна вытерла руки и решительно двинулась на бой с незваной гостьей. Элен Редан в строгом твидовом пальто с поднятым воротником стояла между окном и застекленными книжными шкафами.

Руки она держала в глубоких накладных карманах. На лице читалась мучительная, с трудом достигнутая решимость.

— Оставь нас, пожалуйста, Лоран! — сказала Анна.

Он вышел, похлопывая книгой по ноге. Анна закрыла за ним дверь и, повернувшись к Элен Редан, сухо произнесла:

— Я, кажется, уже сказала вам по телефону, что мой отец не хочет больше с вами встречаться!

— Этого не может быть! — воскликнула Элен Редан.— Ему в голову не пришло бы написать такое письмо! Я слишком хорошо его знаю!..

— Мне известно, что вы хорошо его знаете, мадам. Я в курсе ваших похождений!

Щеки Элен Редан побагровели. Глаза сверкнули оскорбленной гордостью.

— Никаких похождений тут нет,— сказала она.— Мы с вашим батюшкой собираемся пожениться.

Анна тупо уставилась на эту блондинку в сером, с глазами, полными отчаянного вызова, которая вдруг ворвалась на ее территорию. «Он пошел на такое... Он посмел... у меня за спиной... После того, как тридцать пять лет ворковал на плече у Мили...» Она задыхалась. Мысли путались в голове. Наконец она прочистила горло и сказала:

— Отец ничего не говорил мне о ваших планах. Мы обсудим их втроем, если позволите.

Она сделала четыре шага и резко открыла дверь спальни. Отец сидел в глубине комнаты у камина и смотрел на нее, как затравленный зверь. Он весь взмок, и взгляд его казался безумным от напряжения и беспокойства.

— Папа,— сказала Анна со спокойной жестокостью,— мадам Редан настаивает на встрече с тобой.

Он жестом показал, что не хочет никуда идти. Она сказала еще громче, чтобы ее было слышно в соседней комнате:

— Да ну же, папа, смелее! Сделай над собой усилие!

Пьер поднялся. На нем была старая коричневая куртка с перламутровыми пуговицами и домашние брюки, вытянувшиеся на коленях, на ногах — домашние туфли. Дрожащей рукой он поправил перед каминным зеркалом узел галстука.

— Ничего, сойдет! — жестко сказала Анна.— Ты и так хорош.

Он вышел следом за ней в гостиную. Увидев Элен Редан, он невольно вобрал голову в плечи и пробормотал:

— Здравствуйте, мадам.

Элен Редан резко выпрямилась.

— Как, Пьер! — воскликнула она.— Вы называете меня «мадам»?

Анна почувствовала странное удовлетворение и в то же время отвращение, приятно щекотавшее ей нервы. Она опустилась в кресло, а они стояли друг против друга, нелепые, запутавшиеся, попавшие в ловушку. Анна была как зритель в театре. И с нетерпением ожидала продолжения пьесы. Элен Редан вытащила из кармана пальто сложенный вчетверо лист бумаги.

— Пьер, это письмо!.. Я не могу поверить!.. Вы написали его под диктовку!..

Он взглянул на дочь, как бы ища у нее поддержки, кашлянул и сказал:

— Вовсе нет. Все так и есть...

В глазах Элен Редан появился призыв, мольба — какое жалкое это было зрелище! Она как бы умоляла Пьера вспомнить то, что было, прогнать наваждение, сказать свое слово.

— Значит, вы решили порвать,— прерывающимся голосом сказа-

ла она.— После того, что было между нами! После того, что вы мне говорили!

— Постеснялись бы, мадам! — с презрительной усмешкой заметила Анна.

— Помолчите, мадам, вы не в состоянии понять!

— Ну что ж! Ответь тогда ты, папа,— приказала Анна.— Говори... Говори...

— Да,— пробормотал Пьер,— я, видите ли, был не в себе... И я поступил так по слабости, по глупости... Мне очень жаль... Но между нами все кончено... Прошу вас забыть...

У него был вид ученика, повторяющего урок. Экзаменатором была дочь. И краешком глаза он проверял, одобряет ли она. Элен Редан обошла столик и встала перед Анной, которая по-прежнему сидела в кресле.

— Это ужасно — то, что вы сейчас делаете, мадам,— сказала она.— Между вашим отцом и мной не было ничего плохого, ничего позорного. Мы оба уважаем память вашей матери. Мы встретились с ним в таких обстоятельствах, что между нами возникла глубокая, спокойная привязанность. Я не только питаю нежные чувства к вашему отцу — я так нуждаюсь в его помощи. А он в книжном магазине нашел для себя интересное занятие, обрел вкус к жизни. Все это вы разрушили. Во что вы его превратите? В жалкую развалину! Я смотрю на него и с трудом узнаю, хотя мы всего несколько дней не виделись! Он же рта не смеет раскрыть! Какая вы злая женщина!..

Но ни одно из этих слов, произнесенных прерывающимся голосом, не подействовало на Анну. Уверенная в своей силе и правоте, она дала противнице возможность выговориться — пусть сотрясает воздух. Ее это не трогало. Пьер же при каждой фразе Элен Редан вздрагивал. Он был сражен, подбородок у него дрожал, и, глотая слезы, он вдруг простонал:

— Уходите, Элен, уходите, умоляю вас...

— Хорошо, Пьер,— сказала Элен Редан, внезапно успокоившись.— Я ухожу. Я не хочу усугублять ваших страданий.

Анна не могла не признать в глубине души, что Элен Редан с достоинством приняла свое поражение. «Сильная женщина. Он стал бы тряпкой в ее руках».

Но непрошеная гостья уже шла к выходу. Анна проводила ее до дверей. На пороге Элен Редан задержалась, лицо ее сморщилось. Затем она повернулась и стала быстро спускаться по лестнице.

Анна закрыла дверь и прислонилась к стене прихожей. Эта встреча взволновала ее больше, чем она могла предположить. Она вышла из борьбы победительницей, но колени у нее подгибались. Ее поразила тишина в доме. Отец ушел к себе. Она прошла на кухню — Луиза занималась подсчетом расходов в хозяйственной книге.

— Не угодно ли вам проверить, мадемуазель...

— Я проверю завтра, Луиза,— сказала Анна.— Вы можете идти.

Она налила два бокала сухого вина и направилась в комнату отца. Он сидел в кресле, склонив на грудь голову. Глаза у него были влажные. Взгляд тупой, свинцовый. Он прерывисто дышал, точно прислушиваясь к пульсирующей боли.

— Хватит, папа,— сказала она.— Пошли!

— Куда?

— В гостиную. Выпьем вместе.

— Нет, оставь меня, Анна.

— Пойдем сейчас же!

Он встал, последовал за ней, взял протянутый ему бокал.

— Ну пей же! — сказала она.

Они чокнулись. Стоя возле нее, Пьер пил и плакал. И после каждого глотка всхлипывал. Когда он допил вино, она сходила за бутылкой и налила ему еще.

■ ■ ■

После ужина Пьер, молчаливый и мрачный, удалился к себе, Анна же присела в гостиной за маленький письменный столик в стиле Людовика XVI, чтобы просмотреть бумаги, которые ей дал господин Куртуа. Лоран, лежа на диване, играл с бахромой абажура. Всякий раз, как Анна поднимала от бумаг глаза, она видела его за этим бессмысленным занятием. Спустя некоторое время она так увлеклась работой, что перестала им интересоваться. Она листала бумаги, делая выписки для доклада, который она продиктует завтра...

— У тебя еще надолго? — спросил Лоран.

— Да,— сказала она.— А ты чем занят?

— Смотрю на тебя и жду.

— Ты только и делаешь, что ждешь. В будущий понедельник я уезжаю в Болонью.

Он разом сел на диване.

— Что?

— Да, Лоран.

— А что тебе там понадобилось?

— Там будет Международная ярмарка книги для молодежи. У нашего издательства там свой стенд. Раз я теперь вместо мадемуазель Бурьез, патрон предложил мне...

— И ты согласилась? — перебил он.

— Ну конечно! Я не могла поступить иначе.

— На сколько же времени ты уедешь?

— Дней на пять.

— Но это невозможно!

— Почему?

— Ты не можешь меня оставить!

— Нет, могу, Лоран.

Он вскочил на ноги. Глаза его стали черными от бешенства.

— Ты едешь туда с Марком! — выкрикнул он.

— До чего же ты глуп! — проговорила она со вздохом.— Я еду с мосье Куртуа.

— Ну знаешь, в конце концов я предпочел бы, чтобы ты ехала с Марком! — сказал он с издевкой.— Так это хоть имело бы какой-то смысл! По крайней мере, я думал бы, что ты бросаешь меня ради удовольствия! А ты, оказывается, едешь из-за работы, из-за твоей паршивой работы!.. Она убивает тебя! Отравляет! Стоит твоему патрону свистнуть, и ты уже бежишь! И семенишь за ним! А меня спокойно бросаешь.

Он перевел дух, подумал немного, и вдруг лицо его совсем по-детски осветилось надеждой.

— А что, если мне поехать туда с тобой? — воскликнул он.

— Об этом не может быть и речи! — сказала Анна.

— Это тебе помешает?

— Очень.

Лоран нахмурился и, отчеканивая слова, подчеркивая их, произнес с насмешкой и ненавистью:

— Патрон будет недоволен? Мое присутствие унизит тебя в его глазах и испортит твою карьеру?

— Нет, Лоран,— ответила она.— Но пойми же, наконец. Не могу я таскать тебя всюду за собой, как кандалы!

— Что? Что? Повтори!..

Она зажала руками уши. Надоели ей эти крики. Словно у ног ее тявкала собачонка. Но он вдруг умолк. Взгляд его потух. Он, кажется, понял, что все возражения бесполезны. Он стоял перед ней, покачиваясь, лицо его разгладилось и стало невыразительным, как блин. После долгого молчания он проговорил:

— Если ты поедешь туда, Анна, ты меня больше не увидишь!

Она пожала плечами. Он повернулся на каблуках и вышел из комнаты.

Анна усердно, с удовольствием поработала еще около часу, стремясь навести порядок хотя бы в бумагах, если не в своей жизни. Затем в ней шевельнулась совесть, и она пошла в спальню. Лорана там не было. Он решил показать свой нрав и удалился в комнатушку в дальнем конце коридора. Она обнаружила его там — он спал, свесив с постели голову. Рядом лежали таблетки. Слишком часто он их принимает. Она забрала коробочку. Почему ей всегда приходится о ком-то заботиться, ухаживать, давать советы, наставлять,— а кто пытается помочь ей? Почему бы ей в таком случае не сложить оружие? Ах, если бы кто-нибудь взял ее за руку и повел за собой! С какою радостью она забыла бы о своем пресловутом сильном характере! Но окружающие вынуждают ее быть вечно на страже.

Она долго стояла и глядела на распростертое перед нею полуголое тело, дышавшее в одном ритме с нею. Затем, поправив одеяло, она вышла на цыпочках из комнаты, вернулась к себе в спальню и легла, радуясь тому, что вдруг оказалась одна.

■

Иллюминатор заволокло плотным облаком. Анна сидела, откинувшись на спинку кресла, и ей казалось, что, оторвавшись от земли, она как бы оторвалась от реальной жизни. Здесь все было ненастоящим: и воздух, которым она дышала, и даже она сама. Вырванная из привычной жизни, заброшенная в неведомое пространство, она словно перечеркнула все то, что до сих пор составляло смысл ее жизни. Рядом с ней господин Куртуа листал журнал. Она вдруг ощутила нелепость этого соседства на высоте в несколько тысяч метров с человеком, который ничего для нее не значил, тогда как Лоран изнывал от скуки и злости в покинутой ею спальне. Он так и не простил ей отъезда. Ночью он был с ней груб, словно хотел отомстить за то, что она вызывала в нем желание. В конечном счете Лорана интересовало только одно — физическое наслаждение. Он не способен был ни на что, кроме ревности и жажды обладания. Для него все сводилось к потребности любить и ласкать женщину. И сегодня утром он умолял Анну позвонить ему сразу же по приезде в Болонью. Детские глупости. Не станет она ему потакать. Надо приучить его обходиться время от времени без нее. Иначе, если уж слишком себя связать, жизнь станет просто невыносимой. Господин Куртуа положил журнал, открыл портфель и извлек оттуда пачку листков с машинописным текстом.

— Я вам говорил, что получил заключение экспертов? — пробурчал он.— По их мнению, все произошло из-за короткого замыкания...

Самолет тряхнуло, и он провалился в воздушную яму. Через репродуктор объявили, что они пролетают над отрогами Альп.

■ ■ ■

Луиза вторично обнесла мясом обедающих. Пьер отрицательно покачал головой. Лоран тоже. Они сидели друг против друга, есть ни

тому, ни другому не хотелось, а говорить тем более. Глубоко задумавшийся Пьер словно сквозь туман видел своего товарища по несчастью, барахтавшегося в двух шагах от него. Он не жалел его, но и не испытывал к нему ненависти. Все за пределами собственного горя было ему глубоко безразлично. Зазвонил телефон. Оба разом подскочили. Пьер тут же подумал: это — Элен Редан. И страх острым копьем пронзил его сердце. После ужасной сцены разрыва он боялся, как бы эта женщина не возникла снова в его жизни. Что тогда делать — Анны-то ведь нет! Не проявлять признаков жизни. Это — единственная защита. По другую сторону стола Лоран, наоборот, живо выпрямился. Для него звонок был не угрозой, а надеждой. Отъезд Анны два дня тому назад привел его в полное отчаяние. Он не выходил из квартиры в ожидании звонка. Торопливой рукой он снял трубку. Ожившее было лицо сразу погасло.

— Передаю ему трубку,— сказал он.

Пьер в ужасе прошептал:

— Кто это?

— Не знаю,— буркнул Лоран.

Пьер в свою очередь встал. Ноги у него были точно ватные. Он взял трубку и со страхом поднес к уху. В руках его была бомба. Сейчас взорвется. И он, и дом вместе с ним. Но разве он этого не хотел? Услышать голос Элен и — умереть.

— Алло! Это ты, Пьер?

Он чуть не потерял сознание, когда услышал голос Клардье. Тот приглашал его на бридж. Едва держась на ногах от слабости, он пробормотал, что не может — занят, потом сказал, что болен, и запутался в извинениях. Положив на рычаг трубку, он почувствовал огромное облегчение. Жизнь пошла прежним чередом — без смысла и без надежды. Он снова мог отдаться на волю течения, плывя по серой поверхности дней. Он вернулся за стол. Луиза принесла десерт. Неожиданно Лоран сказал:

— Сегодня вечером я перебираюсь в свою комнату на седьмой этаж. К ужину меня не ждите.

— А... а если Анна позвонит? — спросил Пьер.

— Она не позвонит.

■

— Когда же он перебрался? — спросила Анна.

— Три дня назад,— ответил Пьер.— Он сказал, что хочет жить наверху.

— А он спускается к обеду или к ужину?

— Нет.

Анна положила чемодан на кровать. Пьер протянул ей несколько писем, полученных в ее отсутствие. На одном из конвертов она узнала почерк Марка. Она вскрыла письмо. Сообщение о свадьбе. Церемония состоялась неделю тому назад «в узком кругу близких родственников». Анна разорвала карточку и выбросила клочки в мусорную корзину. Отец смотрел на нее потухшим взглядом. Она упрекнула себя за то, что не поцеловала его с дороги. Но со времени объяснения с Элен Редан она не могла заставить себя коснуться губами этого лица, которое видела искаженным старческой любовью. Она задала еще один вопрос:

— А почему нет Луизы?

— Она попросила отпустить ее на час раньше. У нее племянница заболела...

Анна поджала губы: отец вечно проявляет слабость. Стоит ей уйти из дому, как все переворачивается вверх дном. Она страшно устала после поездки. А тут еще Лорана нет — это ее раздражало. Она так надеялась застать его дома, на своем посту!

— Ну, как прошла книжная ярмарка? — спросил Пьер.

Его голос звучал как из пропасти, забитой картоном. На неподвижном лице двигался только рот.

— Очень хорошо,— ответила она.

— Погода была хорошая?

— Да.

— Тебе удалось немного побродить?

— Что ты! Столько было всяких дел...

Она сгорала от нетерпения. Уже половина седьмого. Скорее подняться к Лорану, увидеть его. Немедленно. Да, да, нужно быть умнее, не упорствовать, не дуться понапрасну. Пожалуй, следовало позвонить ему из Болоньи...

Она выскочила на лестницу, поднялась на три этажа и — натолкнулась на запертую дверь. Раздосадованная, не зная, как быть, она металась по коридору. Куда он девался? Должно быть, уехал в Сент-Уан, к своим приятелям. Она спустилась к себе, сказала отцу, чтобы он не ждал ее к обеду, и умчалась.

Такси доставило ее к заброшенному домику. Казалось, время пошло вспять. Перед ней промелькнули, как в калейдоскопе, образы недавнего прошлого. Однако на этот раз никто не встречал ее у входа.

В большой комнате на первом этаже она увидела тех же парней и тех же девушек. Но Лорана среди них не было. И Фабриция — тоже. Анна подошла к опустившемуся существу неопределенного пола с длинными немытыми волосами и тусклым взглядом.

— Вы не видели Лорана? — спросила она.

Женское лицо ответило мужским голосом:

— Нет.

— Он не приходил сюда последнее время?

— Я не обратил внимания. Ты не видел Лорана, Режис?

— С тех пор как он работает — нет!

— Да нет же,— вмешалась в разговор какая-то девушка,— он был здесь позавчера! Он забыл что-то в своей комнате. Зашел взять и тут же ушел...

— Вы уверены, что он ушел? — спросила Анна.

— Да, конечно...

— А куда он отправился?

— Вот уж этого я не знаю!.. У вас случайно не найдется десяти франков?

Анна машинально открыла сумку. Она боролась с чувством разочарования, захлестнувшим ее, точно плотная сеть, со всех сторон. Да нет же, через несколько дней она, конечно, получит от Лорана из Экс-ан-Прованса письмо, полное несправедливых упреков и заверений в любви. Она ответит ему, покается, что была резка, попросит прощения и будет умолять вернуться. И он вернется... Девушка взяла деньги, даже не поблагодарив, и вернулась на свой ящик, на котором сидела.

Такси поблизости не оказалось. Анна долго шла пешком до метро. Теперь она уже не спешила.

Пьер, не дождавшись дочери, закрылся у себя в комнате. Она легла, попыталась было читать, но почти тут же, уступая усталости, протянула руку, потушила лампу у изголовья и будто провалилась в колодец.

■ ■ ■

Она села в постели, словно разбуженная криком. Но в спальне никого не было и стояла мертвая тишина. Серый свет зари проникал сквозь плохо задернутые занавески. Часы на ночном столике показывали десять минут шестого. Неужели она так долго спала? Она потерла руками лицо. Во рту чувствовалась горечь, руки и ноги затекли Она с трудом встала с постели, натянула халат и пошла на кухню Во дворе щебетали ранние птицы. Анна открыла кран, налила стакан воды и выпила. Но жажда не проходила. Она выпила еще стакан Залпом. Как Лоран.

Лоран! Вдруг все поплыло. Она бросилась на черную лестницу Стремительно взлетела по ступеням. Запыхавшись, вбежала в серый коридор. Комната номер 11. Она постучала. Молчание. Но он там Она это знала, она это чувствовала. Почему у нее нет второго ключа? Она позвала:

— Лоран! Лоран! Открой мне!

Она подергала ручку двери. Напрасно. Дверь была тонкая, плохо пригнанная. Анна нажала на нее плечом. Изо всех сил. Замок с треском вылетел, посыпались щепки. Дверь открылась. И, увлекаемая силой инерции, Анна влетела в комнату.

Лоран лежал на постели одетый, руки его были прижаты к телу, лицо задрано к потолку. Глаза были закрыты, рот раскрыт. Казалось, он спал. Не веря глазам своим, терзаемая страхом, Анна шагнула к нему, склонилась, потрогала, схватила за плечи. В руках ее была статуя. Она почувствовала ладонями сквозь шерстяной свитер застывшее тело. Несказанный ужас захлестнул ее. В легких не хватало воздуха. Изо рта вырвался дикий крик:

— Нет, Лоран, нет!

А недоверчивые пальцы уже метнулись к лицу, такому спокойному, такому прекрасному, дотронулись до скул и ощутили ледяную неподвижность. Глыба мрамора. Срубленное дерево. Манекен, почему-то облаченный в одежду Лорана, с его волосами и чуть намеченной бородой. Кто-то зло подшутил над нею! Но зачем?

Пронзенная болью, Анна опустилась на пол у кровати. Она хотела взять руку Лорана. Но ее невозможно было сдвинуть. Жизнь покинула его, и он лишь ждал, когда его положат в гроб, а затем — в землю. Анна перестала что-либо соображать. С сухими глазами, прижавшись щекой к шершавому краю матраца, она застыла, не очень понимая, где находится, кто она, чего ей ждать. Внезапно она заметила, что свет в комнате изменился. Сколько же времени она пробыла здесь — несколько минут или несколько часов? На неровном полу валялись две пустые трубочки из-под снотворного, опрокинутый стакан и лист бумаги, исписанный почерком Лорана. Машинально она взяла бумагу и поднесла к глазам. Перед ней запрыгали нелепые в своем безумии фразы:

«Анна, жизнь моя, я любил тебя как ненормальный... Я готов был уничтожить весь мир, чтобы остаться с тобой вдвоем, но мир уничтожил меня... Я не хочу быть для тебя кандалами, как ты выразилась... Я не создан для этого мира, в котором ты чувствуешь себя так хорошо... Прости меня, Анна... Прощай...»

Слезы застлали глаза Анны. Она уронила листок на пол. Солнечный луч упал на пыльное окно мансарды. А Лоран был мертв. Уже три дня, как мертв. Нет, он умер в тот день, когда столкнулся с ней. Она всегда знала, что их любовь так кончится. Он предупреждал ее об этом сотни раз. Она ему не верила. Сидя на корточках,

она почувствовала сладковатый запах тления. Мертвец вовлекал ее в свой мир холода и молчания. Она вступала с ним в вечность.

В коридоре послышались шаги. Она доползла до двери, оставшейся полуоткрытой, протянула руку и захлопнула ее.

■

— Да кушай же, папа!

Он качнул рукой над полной тарелкой в знак отказа. Анна приготовила ему макароны, запеченные с сыром, которые обычно он ел с удовольствием. Она просто не знала, что придумать, чтобы пробудить в нем аппетит и вывести его из сонного состояния. За три месяца он постарел на пятнадцать лет. Шея стала тощей, волосы совсем побелели, брился он теперь неохотно, и ей приходилось ссориться с ним, чтобы он принял ванну. За весь день из него едва удавалось вытянуть два-три слова, а когда он открывал газету, ей казалось, что он не столько читает, сколько хочет спрятаться за страницами. Обеспокоенная, она вызвала доктора Морэна. Он обещал зайти к семи часам вечера. Но вот уже пробило половину девятого, а он все не появлялся, и она решила сесть за стол, не дожидаясь его. Пьер поднес бокал с вином ко рту. Розоватая струйка потекла по подбородку. Теперь у него такое бывало. Анна хотела сделать ему выговор, но сдержалась.

— Папа,— сказала она только,— поаккуратнее!

Он поставил бокал и вытер рот салфеткой. Раздался звонок. Анна поспешила к дверям. Доктор Морэн. Она быстро объяснила ему шепотом в прихожей, что обеспокоена апатией и потерей аппетита у отца. Врач выслушал ее внимательно, затем с веселым видом вошел в столовую, где его пациент безучастно сидел над полной тарелкой. Анна проводила их в спальню, а сама села на стул в гостиной и, выпрямившись, стала ждать. Она очень устала за день работы в Пантене. Все приходилось делать через силу. Ее не радовали даже новые обязанности в отделе рекламы. Она была недовольна своей секретаршей — ставленницей мадемуазель Бурьез. Все, чем она занималась, казалось ей сейчас никому не нужным. Ураган пронесся, и воцарилось мертвое спокойствие. Все стало ей безразлично. Работоспособность упала, чутье притупилось. Жизнь текла без всяких перемен. Из участницы она превратилась в зрительницу. Извещенные телеграммой родители Лорана приехали в Париж и увезли с собой в Экс-ан-Прованс гроб в огромном похоронном фургоне. А затем все вошло в обычную колею. Внезапно Анна подумала о матери. Была ли она права, сделав ей тот укол? Сколько бы еще прожила Мили без ее вмешательства? Спинка стула вдавилась ей в спину. Она напряженно вглядывалась в пустоту, пока не почувствовала рези в глазах.

Доктор Морэн вышел из спальни. Анна поднялась и направилась к нему.

— Что скажете, доктор?

Занятая собственными мыслями, она лишь смутно слышала его: депрессивный синдром, потеря интереса к духовной жизни. Врач рекомендовал лекарства, стимулирующие обмен веществ и поднимающие настроение. Пациент требует постоянного наблюдения. Возможно, следовало бы переменить обстановку.

— Не перенес ли он в последнее время какого-нибудь потрясения? — спросил врач.

— Нет,— ответила Анна.— Ничего с тех пор, как умерла моя мать.

◆

# АНТОНИ ФЕЛПС

# *Минус бесконечность*

РОМАН

*Перевод с французского МОРИСА ВАКСМАХЕРА*

Маленькая жестяная флейта бежала и задыхалась, догоняя гитару, чьи аккорды мягко отбивали такт песни и словно придавали протяжность низкому голосу молодого певца.

Iè rosoi mrin tendé oun guita kap joué
Mrin di manman mrin sentim' ta dansé...[1]

Десяток пар танцевали в выставочных залах галереи, в окружении полотен Лазара, Седора, Дени, Ти-Га, Кастера; остальные мерно раскачивались возле трех случайных музыкантов, игравших здесь по субботам за несколько долларов и бутылку рома. Барабана, ваксины[2], нескольких ча-ча[3], гитары и флейты вполне хватало, чтобы создать атмосферу уюта, вызвать блаженное чувство отрешенности от будничных забот. И двигались в танце пары, и сердце полнилось дружбой, и под негромкую музыку, под голос маленькой жестяной флейты зарождалась в душах любовь — любовь навсегда и любовь на одну только ночь.

Марко танцевал с Полой в глубине галереи; поднимая глаза, он встречался взглядом с крестьянкой Седора, сидящей позади большой корзины. Картина ему нравилась все больше, и он решил ее купить.

— Надеюсь, она продается?

— Кто? — Пола подняла к нему голову.

— Эта картина Седора.

— Да, она очень хороша. Ты бы смог ее купить?

— Надо будет поговорить с Седором.

Голос певца поднялся на полтона выше. Последовал новый куплет песни:

Manman mrin dim' dansé guin gros dangé ladan'
Mrin pralé ouè koté sa eksisté...[4]

Следом за певцом вскарабкалась ступенькой выше и маленькая флейта. Марко улыбнулся. Голос маленькой флейты всякий раз вы-

Окончание. Начало в № 7.

[1] Вчера услыхала я голос гитары,
И сказала я маме: «Хочу танцевать» *(креольск.)*.

[2] Духовой музыкальный инструмент из бамбука.

[3] Музыкальный инструмент, вид погремушек.

[4] Мне мама сказала, что это опасно,
Но я постараюсь уж быть начеку... *(креольск.)*

зывал в сознании образ деревенской девочки с холмов, которая скачет на одной ножке по широкому лугу среди множества лютиков в предзакатном свете летнего вечера. Почему всегда возникал именно этот образ? Был ли в этом повинен скромный вид самодельной флейты с ее трогательными шестью дырочками, пробитыми в жести? Заморские флейты — те выточены из дорогих сортов древесины, и в них аккуратно просверлено целых двенадцать безукоризненно круглых дырок, и они нарядно сверкают металлическими кнопками... А вот эта крестьянская флейта, эта дудочка с тоненьким голоском, перекрывающим и гитару, и барабан, всегда предстает пред ним в облике крестьянской девчушки, которая скачет на воле среди расщелин, а вокруг пестреют полевые цветы да колючий кустарник.

Мне мама сказала, что это опасно,
Но я постараюсь уж быть начеку...

Флейта, маленькая жестяная флейта, крестьянская девочка, Красная Шапочка, торопливо идет по траве и восхищенно смотрит на мир...

Песенка продолжалась. Только музыка. Певец замолчал, уступив свое место инструментам, и они — теперь уже в унисон, потому что флейта наконец догнала гитару,— вели за собою танцующих, то мягко покачивая их на своих волнах, то приказывая замереть, придержать на мгновение шаг, и на какую-то долю секунды пары казались окаменевшими — только на долю секунды, не долее вздоха, и тут же возобновлялось движение, вливаясь в струение ритма до новой мгновенной задержки.

Маленькая флейта вела за собою танец — подгоняемая любопытством девчонка неудержимо, в колдовском ритме танца, приближалась к опасности.

Мне мама сказала, что это опасно,
Но я постараюсь уж быть начеку...

Пола тихонько мурлыкала себе под нос, подпевая модному припеву, и от ее дыхания на рубашке у Марко образовался маленький теплый круг. Она обвила руками его шею, и прижалась к нему, и чувствовала себя в безопасности. Я пойду за тобой туда, куда ты пойдешь, я готова следовать за тобою повсюду. Если тебе хочется побежать, я подстроюсь к ритму твоих бегущих шагов, если ты хочешь ринуться в гущу сраженья, я тоже пойду за тобой; если рука твоя сожмет винтовку и шаги твои поведут тебя в горы, я сделаюсь пулей в твоей винтовке, я буду карабкаться в горы вместе с тобой. Если ты хочешь остановиться, я тоже замру неподвижно, я крепко вцеплюсь корнями в землю возле тебя. Что бы ни делал ты, буду я эхом твоим.

— Тебе хорошо?

— Я бы хотела, чтобы так продолжалось всю жизнь.

Он держал Полу в объятьях. Он испытывал блаженство — оттого, что она рядом, оттого, что она с ним, и ее груди прижаты к его груди, и ее щека лежит у него на плече.

— Добрый вечер, Пола! Марко, привет!

Она оторвала щеку от рубашки Марко и высвободилась из объятий.

— А, это ты, Бенуа! — воскликнула она.— Как дела?

Перед ними стоял Бенуа Пардо и, улыбаясь, смотрел на них.

— Не так хорошо, как у вас. От вашего счастья больно глазам. Колет, будто заноза. Прямо хоть пинцетом вытаскивай.

— Ну, ну, ну, вот этого делать все же не надо! — сказал Марко,

пожимая ему руку.— Нежно прикоснуться к нашему счастью — пожалуйста. Но пинцетом — уж нет, извини!

— Эгоист! И, как я могу догадаться, Пола с тобой солидарна? Тогда пусть небеса сохранят навсегда вашу мечту такой же прекрасной и юной, и пусть она всегда будет с вами рядом, и пусть уж, глядя на вас, болят и слезятся наши бедные очи.

Он засмеялся и взял их за руки. Его небольшие черные глаза переходили с Марко на Полу, обволакивали обоих нежностью. У Бенуа были удивительные глаза. Казалось, они всегда смеются, всегда лучатся радостью, точно вся его жизнь — сплошной праздник. Лишь иногда в его глазах загоралась непримиримость и жесткость, и тогда их взгляд было трудно выдержать. Так произошло в тот памятный вечер, когда Матье, Бернар, Марко и Бенуа собрались в Инкубаторе и ждали, когда взорвется бомба, подложенная в бензохранилище Дариуса. В момент взрыва Бенуа обернулся к Марко, и ласковость его взгляда уступила место жесткости. «Отличная работа»,— сказал он. Его глаза полыхнули огнем, и в них отразилась вся его ненависть к режиму Пожизненного. И хотя это длилось не больше мгновения Марко стало вдруг даже не по себе, словно он нечаянно заглянул к другу в душу. Но длилось это не больше мгновения, и взгляд Бенуа снова стал мягким и ласковым...

— Какие стихи ты будешь сегодня читать?

— Еще не решил. Как всегда, это будет зависеть от состава присутствующих.

— Пока что ни одной подозрительной личности я не заметил,— сказал Марко.

— Я тоже, но ведь еще только одиннадцать.

— Прочитай своих «Солдат»,— попросила Пола.

— Не знаю...

— Ну, пожалуйста, прочитай,— голос девушки стал умоляюще-нежным.— Мне так нравятся эти стихи, и ты их так чудесно читаешь! Они каждый раз точно бомба. Обещай, Бенуа, что ты завершишь свое выступление «Солдатами».

— Да я их читаю уже четыре субботы подряд.

— Ну и что ж из того? Людям они нравятся!

— Хорошо, хорошо, обещаю. Но у меня сегодня какое-то странное предчувствие.

— Предчувствие чего?

— Я и сам толком не понимаю. Просто чувствую что-то нелад-ное. Нехорошее что-то. Это, конечно, глупо, но у меня все время такое чувство, что сегодня вечером непременно что-то случится. Послушай, Пола,— сказал он, меняя тон,— если тебе в самом деле так нравятся эти стихи и ты способна отвлечься от музыки, я их тебе сейчас прочитаю.

Он обнял Полу и Марко за плечи, сблизил их головы и стал читать своим теплым голосом:

Рука на столе
открытая всем горизонтам
рука
точно непринятый дар
рука на скатерти белой
забытая
левая
натруженная с набухшими венами
морщинистая
как перчатка.
Я не дитя зимы
нет я негр
мое тело солнца частица

мое сердце частица огня
и рука моя тянется к небу
чтобы с неба как с дерева птиц отрясти
ибо близится время
бескрайности
что проходит тропой наших рук
сжатых в кулак
наших рук что сжимают винтовку
и держат перо и бумагу.
Рука на столе
открытая всем горизонтам
рука как пророчество счастья
живая рука
левая наша рука
говорит о великих делах
солдат Революции.

— Ну вот,— проговорил он после короткой паузы.— А теперь пойду поищу ребят. До скорого, влюбленные!

И он быстро направился к бару, навстречу шумным приветствиям завсегдатаев.

— Удивительный человек! — сказала Пола и снова прильнула к Марко.

— Да. Вернее друга, чем он, у меня в жизни не было.

— А как ты думаешь, это он шутил, когда говорил о своих предчувствиях? Что тут может с нами случиться?..

— Как знать... У поэтов есть интуиция...

Они опять танцевали. Маленькая флейта резвилась и пела среди цветов и колючих кустарников, подпрыгивая на одной ножке в такт собственной песни:

Но я постараюсь уж быть начеку.

Казалось, теперь ничто не остановит ее. Она бежала и пела все увереннее и увереннее и даже позволяла себе кое-какие шалости. Пальцы молодого крестьянина разошлись, разыгрались, обрели ловкость и уж больше ни разу не ошибались, верно и точно попадали на нужную дырочку, уверенно извлекали нужную ноту, и танцующие блаженно купались в мелодии, она им дарила раскованность, придавала им смелость, вела за собою и в танце, и в любовных речах полушепотом, она дозволяла рукам ласково скользить вдоль бедер, медленно подниматься к теплым подмышкам, прикасаться губами к приручeнной горячей щеке.

— Сегодня полнолуние. Давай пройдемся потом немножко, если ты не очень устала.

— Мы даже могли бы пойти в Аркашон, посмотреть на восход. А пока я хочу быть твоей жемчужиной. А ты моя раковина. Обними меня крепче.

И тут послышались первые выстрелы.

Маленькая флейта споткнулась вдруг на ошибочной ноте, смолкла. Кто-то крикнул, чтобы музыканты перестали играть. Снова сухие щелчки выстрелов. Сомнений не оставалось: происходит что-то необычное. Безжалостно выдернутые из оцепенения, пары расплетали свои объятия. В баре гомон. Восклицания. Вопросы. Слова. Выражающие изумление. Тревогу. Страх. Кто-то вбежал со двора и отрывисто бросил:

— Они напали на Дидасов.

— На Дидасов.

— Дидасы.

— Поблизости, у Дидасов.

Повторяемые шепотом слоги зловеще ползли по комнатам, лип-

ко касались испуганных лиц. Надвигалась паника. Отчаянный скрип гормозов. Перед галереей Брошетт остановились два армейских джипа. С десяток вооруженных макутов ворвались во двор. Один из них выкрикнул слова приказа, остальные подхватили:

— Всем оставаться в доме! Никому не выходить!

Шум опрокидываемых столов и стульев. Всех оттеснили в две комнаты, служившие выставочными залами.

— Пошевеливайтесь! Быстрее! Быстрее!

Габриэль подошел к офицеру, отдававшему приказания.

— Что случилось, капитан Мартель?

— Не твоего ума дело. Где музыканты?

— Музыканты? — растерянно повторил Габриэль.

— Скажи им, пусть продолжают играть.

Габриэль отправился разыскивать музыкантов. Обе комнаты были теперь переполнены, люди сбились в кучу, над головой Полы крестьянка Седора, примостившись на корточках позади корзины, наблюдала за происходящим. Марко показалось, что во взгляде крестьянки что-то переменилось, ее глаза покраснели. Покраснели от стыда. От гнева и ненависти. Дрожащим голосом запела маленькая флейта. Девочка спотыкалась о камни, обдирала ноги о колючие ветки, ее платье цеплялось за кусты, девочка теряла равновесие, раскидывала, как крылья, тонкие руки, тщетно силилась взлететь над колючками и расщелинами, тщетно силилась избежать падения. Внезапно она исчезла, Красную Шапочку съел огромный злой волк. Молчание маленькой флейты тут же сменилось двойной автоматной очередью. Или это разлетелась на мелкие кусочки жестяная флейта — шесть неумело просверленных дырочек?.. У Марко было впечатление, что стреляют где-то совсем рядом, бьют из автоматов с веранды, самое дальнее — со двора. Наверно, послав свои смертоносные очереди, макуты укрылись за большим кенепьером [1]. Затаились за гладким широким стволом, ждут, какой будет ответ. Осажденные полностью окружены. Им долго не продержаться. Судорожно сжав кулаки, Пола заколотила в грудь Марко; девушка вся дрожала от бессильной ярости. Марко сохранял хладнокровие. Всякая попытка что-нибудь предпринять была бы сейчас бесполезной. Дидасам все равно не помочь — выходы из галереи Брошетт заняты вооруженными до зубов макутами. Он попытался представить себе, что происходит в обреченном доме: прижимаясь к стенам, осажденные перебегают от окна к окну, Андре Дидас открывает огонь по любой подозрительной тени, бьет в направлении, откуда раздались автоматные очереди. Но что могут сделать его винтовка и его пистолет против огневой мощи осаждающих? Да и патронов у него вряд ли хватит, чтобы долго сдерживать натиск. Как же он смог так глупо попасться? Видно, макуты напали внезапно, сразу обложили его со всех сторон. Дидас! Бывший военный, вот уже три года как уволенный из армии по приказу Пожизненного. На вид всегда такой мирный, уравновешенный. За все время службы в гаитянских вооруженных силах репутация его как офицера была безупречна — факт, надо сказать, довольно редкий; никакого злоупотребления властью, никакого насилия в отношении мирного населения.

Марко вспомнил свои первые встречи с Дидасом. Вначале, узнав, что Дидас начал все чаще наведываться в галерею Брошетт, Марко посоветовал друзьям проявлять осторожность. Быть начеку, следить за своими речами. Потом кто-то из товарищей заверил, что на Дидаса можно положиться, что он человек прогрессивных взглядов.

---

[1] Вид фруктового дерева.

Но Марко инстинктивно держался от него подальше. Он привык не доверять военным.

Дидас — и прогрессивные взгляды! Что за нелепость! Прогрессивный офицер!.. В то время Марко еще разделял позиции тех «радикалов», которые объявляли себя единственными наследниками марксизма и с полнейшей безапелляционностью утверждали, что ни мелкая буржуазия, ни офицерство не способны воспринять прогрессивные взгляды; мелкие буржуа и офицеры навсегда отмечены печатью своего класса, и всякая их попытка принять социалистические идеи— это чистейший оппортунизм. Но скоро сама жизнь доказала Марко несправедливость такой позиции, и он постепенно примирился с постоянным присутствием бывшего офицера. Увольнение Дидаса из армии избавило Марко от последних сомнений, и он был в числе первых, кто пришел к Дидасу домой, чтобы выразить ему свои дружеские чувства...

Стены вздрогнули от двух новых автоматных очередей. Раздались истошные женские вопли:

— Андре! Андре!..

— Помогите! Убивают!

Автоматы продолжали изрыгать смерть. Прогремел взрыв. И вдруг — тишина. Макуты, охранявшие входную дверь, замерли, капитан Мартель застыл с незажженной сигаретой в руке. Никто не шевелился, никто не решался произнести слово, это тянулось мучительно долго, потом со двора донеслись торжествующие крики, к Мартелю подлетел запыхавшийся офицерик:

— Мы их прикончили, мой капитан!

— Всех троих?

— Так точно.

Мартель зажег сигарету, глубоко затянулся, с садистским наслаждением выпустил изо рта дым, обвел взглядом столпившиеся в комнате пары.

— Трупы поджечь,— приказал он, выхватил из кобуры пистолет и с воплем: — Кончен бал! Выметайтесь отсюда! — разрядил в потолок всю обойму.

Началась паника. Завсегдатаев галереи как ветром сдуло. Марко потащил Полу в бар, там он нашел Бенуа.

— Марко, нам надо поговорить. А пока что всё здесь закроем. Габриэль, кому-нибудь нужно остаться в галерее. Всякое может случиться — ветер сильный, от Дидасов долетит искра, начнется пожар. Мерзавцы!..

— Где остальные? — спросил Габриэль.

— Уже в Инкубаторе.

— Пока побудем здесь вчетвером.

Закрыли окна и большую зеленую дверь, погасили везде свет, оставили только лампочку в баре. Вдруг Пола повалилась на стул, зарыдала. У девушки сдали нервы.

— Нет, нет, нет! — твердила она и билась головой о стол.

В это мгновенье с улицы донеслись дикие крики, в окнах заполыхали отблески пламени: макуты подожгли дом Дидасов. Пола подняла голову, ее глаза расширились.

— Неправда! — закричала она.— Они не станут жечь трупы, они не сделают этого!

— Ну, ну, Пола, успокойся,— сказал Бенуа и взял ее руки в свои.

Пола тряслась как в лихорадке. Марко обнял ее за плечи.

— Нам лучше уйти,— сказал он.

— Да, да, вам больше не нужно здесь оставаться,— подтвердил Габриэль.— Поле надо лечь. Вот тебе ключ от дома, мы тоже туда придем, когда все закончится.

Марко помог Поле встать. Снаружи доносился треск пожара, время от времени раздавались слабые взрывы — должно быть, в погребе рвались бутылки.

— Найдешь там все, что нужно для грога,— сказал Габриэль.

Из бара вышли через заднюю дверь. При виде огненных всполохов Пола судорожно вцепилась в Марко и опять задрожала.

— Марко! Марко!

— Не надо, пойдем, здесь оставаться нельзя.

Пола позволила себя увести. Она шла точно заводная кукла, глядя пустыми глазами в сторону пожара. Огонь бушевал все сильнее, весь дом пылал. В багровых отблесках деревья казались чудовищными колдунами, они исполняли ритуальный танец, трясли лохматыми головами, в неистовстве размахивали растопыренными руками. Марко и Пола миновали заросли кустарника, отделяющего дом Габриэля от галереи.

— Марко, Марко, нет, это невозможно,— говорила Пола.

— Идем, Пола, идем.— Он тянул ее за собой.

— Это невозможно,— повторяла она.— Трупы... Они подожгли трупы. В доме горят трупы.

— Идем.

Она остановилась, не желая идти дальше.

— Они не имеют права! Нет! Не имеют права!

Марко обнял ее, пытаясь приподнять, отнести в дом на руках, но она не давалась и только твердила:

— Трупы! Трупы!..

— Мы ничего не можем сделать, Пола. Ничего. Понимаешь? Идем в дом.

Она яростно отбивалась, резким движением вырвалась, побежала к ограде. Марко кинулся следом и едва успел ее схватить, уже возле самых кустов. Оба покатились на землю, Пола вцепилась в него, царапала ему спину, потом хрипло застонала. Она вся дрожала, и рука, которую он схватил, была холодна, как камень...

Сквозь листву мерцают угасающие отблески пожара. Пламя слизнуло все, что было можно. Все съело. Догорают последние балки. Деревья уже успокоились. В воздухе стоит запах гари.

Собака опять заворчала, и Марко отошел от ограды. «Пола,— прошептал он.— Пола, маленькая моя флейта, ты и сейчас поешь, но уже другим голосом. Каким же? Приглушенным? Надтреснутым? Пола, раскрытый цветок. Владычица лета. Частичка горячего солнца, благодатная плоть, что согревает и множит. Умащает и утоляет. Восхождение соков. Струение молока. Семечко, черенок. Носительница жизни».

— Когда-нибудь мы родим с тобой сына, Марко.

— Да, Пола.

— Который не будет знать ничего, что выпало на нашу долю. Ни тревоги. Ни несправедливости.

— Ни преследований. Ни страха.

— Который не будет страдать от предрассудков, от гнета.

— Наш сын родится в свободной стране.

— Где каждый человек будет горд своей жизнью.

— Где у всех будет все, что нужно для жизни. По потребностям.

— Где жизнь перестанет быть страданием для большинства.

— Она будет миром и радостью для всех. Работой и счастьем для всех. Любовью и братством.

— Это будет страна огромная, как весь мир.

— Как весь земной шар.

— Да. Без границ, без таможен. Без барьеров, без перегородок. Без злобы и зависти.

— Но это случится не завтра, Пола.

— Нет, Марко, не завтра.

— Борьба будет долгой.

— Долгой, трудной, суровой.

— Полной жертв и смертей.

— Но эти жертвы и смерти, они не будут напрасными, правда ведь, Марко?

— Нет, конечно. Но они неизбежны. Необходимы.

— Тогда зачем откладывать, Марко? Сотворим его прямо сейчас, нашего сына. Чтобы доказать, что мы верим в победу.

— Да, Пола. Чтобы доказать нашу веру в новое общество, которое мы хотим создать.

— И чтобы еще сильнее привязать себя к нашей земле.

— Чтобы наша борьба обрела еще больший смысл.

Пола, яркое пламя, неудержимо к себе влекущее, пламя, в котором сгораешь дотла. Пола, не зима и не осень. Вечное лето, вечная весна. Пола, растение, жадно сосущее землю. Центр притяжения. Ложе усталых рек, приют перелетных птиц. Зеленый пологий склон, неприметно ведущий к покою залива.

— Ты во мне точно нож, который один только знает, где сердце плода, и словно весь мир в меня входит, заполняет меня, и всегда это — счастье. Всегда одинаковое — и все-таки разное, потому что всегда оно новое, неожиданное. Жизнь и смерть, что сплетаются воедино, ночь и день, что вступают в единоборство, и мы оба с тобой низвергаемся в глубину несказанного.

Пола ливней и гроз. Пола бурь. Разнесенная на куски. Развеянная по ветру. Четвертованная.

— Из-за каменных стен я зову тебя, Марко. Я кричу, уцепившись в решетки, что несут надо мной бесполезную вахту. Мне отсюда не выйти. Сырость и мрак заглушают мой голос, стирают слова. Мой порыв к тебе, Марко, замедляется и тормозится пугливою толщей вещей. Дойдет ли оно до тебя, мое слово? Я его обращаю к тебе. Но к тебе одному ли? Это слово, как песенка, вьется веревочкой; поймай его, Марко! Умоляю, поймай поскорей! Это частичка меня, изувеченной и оскверненной. Пола любит тебя! Любит! Любит тебя!

Пола любит меня! Пола, малая флейта без нот. Музыка тычется слепо в глухие стены, ищет, зовет умелые пальцы, просит выпустить ее на волю...

Пес подошел к ограде, просунул между брусьев морду, заворчал, заскулил. Короткий жалобный крик, мольба о внимании, обращенная к человеку, который почему-то уже уходит, так и не приласкав. Ах, ощутить на загривке теплую тяжесть руки — пусть даже не дружеской, пусть равнодушной! — ведь это так важно для пса, который несет бессменную вахту над грудой развалин и пепла. Собака влажным глазом смотрит сквозь брусья вслед Марко, безнадежно машет хвостом, понуро бредет прочь от ограды и опять ложится на привычное место поперек дорожки.

Ты только что покинул папашу Эмиля, и теперь воспоминания старика перемешаны с твоими собственными раздумьями, и ты попался к ним в сеть, ты запутался в зыбкой и цепкой сумятице. Ты

окружен, ты обложен со всех сторон. Куда ты ни ткнешься, ячейки безжалостной сети тут же пружинят, сжимаются и отбрасывают тебя назад, к центру, к узловой точке, откуда исходят приказы, которые ведают каждым твоим движением. Ты так похож на насекомое, попавшее в паутину, оно отчаянно бьется, пытается вырваться, трепещут в ужасе крылья, дергаются лапки и усики,— ты очень похож на гибнущее в тенетах насекомое, с той только разницей, что твои-то рывки свершаются вовсе не для того, чтобы стряхнуть с себя путы. Ты вполне добровольно дал себя захватить, ты сунулся сам в западню, ты совершенно сознательно сделал свой выбор и теперь извиваешься, бьешься и жестикулируешь лишь для того, чтобы приблизить минуту, когда, связанный по рукам и ногам, окончательно скатишься к центру ловушки, в сосущую пустоту, в изначальную бездну, где пульсирует узел схватившей тебя паутины.

Марко прибыл к месту назначения. Он застыл в неподвижности перед кованой железной решеткой, преграждавшей вход в аллею, в глубине которой стоял Инкубатор. Улица была пустынна, скудный свет фонаря на углу терялся и таял в глубине тупика. Издали слышался смутный гул. Марко смотрел на бунгало, неясно темневшее за оградой. О, как знаком ему этот дом, сколько вечеров провел он здесь со своими друзьями — с друзьями, которых уже нет. Одни уехали в дальние страны. Другие ушли из жизни. Третьи гниют в тюрьмах. Медленно и беззвучно произвел он скорбную перекличку. Бенуа — Монреаль. Мишель — Париж. Симон — Куба. Эмиль — Швейцария. Эдгар — Прага. Раймон — где-то на Гаити. Максим — Монреаль. Пьер — Москва. Жак — Куба. Фредерик — Форт-Диманш, и уже два месяца о нем ничего неизвестно. Эдуар — в тюрьме, неведомо где, может быть, умер... Пола... Пола?.. Ив — под домашним арестом. Бертран — завтра уедет во Францию, если только его не задержат в аэропорту. Габриэль — Брюссель. А остальные? Тени, бесплотные тени. И самая черная тень — это Марко. Самая вязкая тень... Я!.. Чудное созвездие, не горящее ни в чьем небе, не озаряющее ничьей надежды. Марко прикоснулся к решетке и ощутил необъятность своего одиночества. Вокруг день за днем ширилась пустота. Друзья, с которыми он провел лучшие часы своей жизни, товарищи по борьбе, повернули к другим берегам, уплыли к иным небесам. Может быть, небеса эти ясные, синие — но чужие. Чужие для того народа, который Марко несет в себе, в своем сердце, в своей крови. Чужие и чуждые ритму нашего солнца, гаитянской нашей медлительности. Мой народ нетороплив, но живет напряженнейшей жизнью. При всей чудовищности режима, несмотря на все зверства правителей, он не оцепенел, не поддался зловещим заклятиям. Нет! Его сила — в великом терпении...

А Марко — Марко был одинок. Зиявшая вокруг пустота грузно наваливалась, отбрасывала куда-то вбок, заставляла искать новых встреч и знакомств, но ничто не могло избавить его от ощущения пустоты. Все эти знакомства действовали как наркотики, отвлекали на час-другой от действительности, но потом он чувствовал себя еще более одиноким. Вот уже три месяца, как уехал Бенуа, доверив ему свое бунгало, свой Инкубатор, но Марко все никак не мог решиться переехать сюда. Он был здесь дважды и даже входил в дом, он открывал все окна, садился за стол в кабинете, среди многочисленных полок с книгами. Потом вдруг вскакивал, снова все запирал и спасался бегством. Да, бегством! Потому что ему было страшно, потому что на стенах оживали слишком знакомые лица, и он боялся, что станет вслух называть их по имени, станет кричать и звать их, а лица будут в от-

вет неподвижно улыбаться со стен. Он не хотел, чтобы в его воображении возникли Бенуа, или Пьер, или Габриэль, не желал смотреть, как они сидят в качалках или на большом уютном диване и беседуют между собой, оживленно о чем-то спорят, а он не понимает ни слова. Не улавливает ни единого звука. Диалог немых. Или, скорее, совещание призраков. Еще он боялся, что и уши сыграют с ним злую шутку, боялся услышать, как гостиная наполняется голосами, которые он столько раз слыхал в этих стенах, где друзья собирались, чтобы обсудить новые тексты, подготовить новую радиопередачу. Достаточно было нажать на клавиш магнитофона, чтобы выпустить на свободу потоки звуков и слов, чтобы забили фонтаном голоса изгнанников, узников, мертвецов и вместе с ними его собственный голос, голос черной и вязкой тени. Его голос. Да, мой голос, голос Марко. Я, Марко, бреду по безумному городу, я незримою тенью крадусь возле стен, задеваю ветки деревьев. Моя тень струится по желобам, натыкается на углы, прячется, пробирается ползком в темноте и смертельно пугается света, потому что свет злорадно тычет в меня пальцем, он обличает и выдает. Вот он, хватайте его, не дайте ему ускользнуть! Вот она, жертва, добыча, которую надо схватить, разорвать, уничтожить! Тень Марко крутится, изворачивается, съеживается, становится крохотной, невидимой, незаметной. Марко теперь — лишь юркая тень, которая прячется и убегает, она изловчилась, вывернулась, она осталась цела, она больше не хочет играть в поддавки. Марко теперь — это мертвая, черная тень, самая смутная тень в том странном созвездии, которое не горит ни в чьем небе и не озаряет ничьих надежд. И мой голос, голос безжизненной тени, мог бы смешаться с вашими голосами, с голосами изгнанников, узников, мертвецов, и уж слишком бы страшная песня зазвучала внезапно в доме. До этого дня Марко не мог собраться с силами, чтобы решиться на подобное испытание. Но нынешним вечером он хочет с этим покончить. Он поселится в Инкубаторе, он изгонит из себя страх, потому что встретит его лицом к лицу, потому что преодолеет его.

По кустам пробежал ветерок, на стене заплясали причудливые силуэты. Залаяла собака. Может, собака Дидасов? И сразу затявкали все окрестные псы, будто они только ждали сигнала. Мы собачий народ. Мы брешем зря, в ночной мрак. Лаем на свою собственную тень. Просто нам нравится подымать шум, будить своим лаем квартал. Но стоит первому встречному нагнуться, делая вид, будто он ищет на земле камень, чтобы запустить его в нас,— и мы тут же закрываем свою визгливую пасть. И снова тишь да гладь. И, поджав хвост, мы забиваемся под хозяйский стол. Марко нагнулся, подобрал несколько камней, кинул их в глубину улицы. Собачье тявканье смолкло. Он никогда не любил собак, считал их существами угодливыми, лишенными достоинства. Он предпочитал кошек. Эти звери хотя бы глядят тебе прямо в глаза — и не чувствуют себя обязанными вилять хвостом или лизать тебе руку.

Марко толкнул калитку, взвизгнули ржавые петли. «Надо будет смазать». Шагнул на посыпанную гравием дорожку, остановился. Сад весь зарос, сорная трава глушила японские розы, топорщилась вокруг обоих кустов бело-розовой пуансетии, чьи цветы теперь, в темноте, казались серыми, осаждала ароматный самшит, росла вперемежку с арумом и с папоротниками, редкие разновидности которых стояли и на веранде, в горшках с красноземом.

Он зажег на веранде свет. В горшках цвели бегонии. В углу, у двери в буфетную, густо разросшийся папоротник всем своим видом требовал привести его поскорее в порядок. «Займусь в субботу». Диван и кресла стояли на своих местах. Бенуа ничего не изменил, ничего

не переставил с того последнего вечера, который они вместе провели в Инкубаторе. Бенуа любил раза два-три в год переставлять в доме всю мебель. «Мне тогда начинает казаться, что у меня новое жилище,— говорил он.— Это здорово прочищает мозги, и движешься как-то свободнее. Ненавижу рутину». В тот день, когда его выпустили из тюрьмы, он с помощью Марко и Матье произвел последнюю перестановку. Диван передвинули к двери, ведущей в студию, перенесли с середины веранды в западный угол резной дубовый стол. «Я знаю, что ты всегда любил Инкубатор. Оставляю его тебе. Я верю, ты будешь о нем заботиться. Перебирайся сюда жить. Воскреси этот дом, вдохни в него новую жизнь. А я уезжаю. Это бесповоротно. Нет, нет, не надо ничего говорить. Может быть, это трусость. Не осуждай. Теперь у меня лишь два выхода — самоубийство или отъезд. Я выбрал второе. Из инстинкта самосохранения, что ли? Наверно, так. Что поделать, я больше не гожусь для борьбы. Я теперь человек меченый! Прокаженный. С тех пор как я вышел из тюрьмы, мне уже дважды приходилось скрываться. Да ты это знаешь. И оба раза мерзавцы ошивались возле Инкубатора. И об этом ты знаешь. С того дня, как тот тип из службы пропаганды предложил мне свою гнусность, мне все время кажется, что я в западне. Конечно, я мог бы прямо отказаться от участия в затее, от радиодифирамбов Духовному Отцу, только какой в этом толк? Партии нет, поддержать меня некому, некому защитить. Куда ни ткнусь, везде пустота. Или постные мины. В людях сломалась пружина. У меня-то она еще крепкая, Марко, но проку от этого сейчас все равно не будет. И я уезжаю. Может, за границей я еще принесу какую-то пользу. Во всяком случае, хочу в это верить».

Марко вспомнил слова Бертрана, когда друзья собрались у папаши Эмиля, чтобы обсудить решение Бенуа.

— Ты не имеешь права уходить,— сказал тогда Бертран.— Всегда можно придумать какую-нибудь отговорку, чтобы не участвовать в этой радиопередаче. Можно заболеть. На какое-то время исчезнуть. Но бежать при первой опасности — этого ты не имеешь права. У нас еще больше месяца впереди. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Твое присутствие здесь необходимо, ты нужен для тех, кто остается в стране.

— Чем я могу им помочь? — спросил Бенуа.— Единственное, чем я располагаю, это моя жизнь, и я готов ее отдать в любую минуту, но только если начнется вооруженная борьба. Пассивное сопротивление не для меня.

— Придет время и для вооруженной борьбы. Но если ты уедешь, если при первом сигнале тревоги все начнут удирать, как нам тогда организовать эту борьбу? Мало сказать народу: «Вот вам оружие», надо еще, чтобы он знал, почему и против кого он должен сражаться. Необходимо мобилизовать его на решение социальных проблем, чтобы он понимал, во имя чего надо бороться.

— Вот уже восемь лет я слышу эти слова. Восемь лет, как вы отказываетесь понять, что революция — это не только политическое воспитание масс. Это одновременно и прежде всего создание боевой группы, которая приступит к активным действиям, которая ударит по врагу и тем самым покажет народу, что мы идем к нему не с одними словами, что мы успешно сражаемся ради него. Обе эти формы работы нужно вести параллельно, только тогда мы можем чего-то добиться. Революция произойдет лишь тогда, когда в народные массы будет заложен революционный заряд и когда революционеры высекут искру, которая попадет в народ. А вспыхнет такая искра лишь от деятельности вооруженной организации. Вот это я и пытался здесь осуществить. Участники группы в Брошетт-Маотьере получали идейную революци-

онную закалку и вместе с тем изучали военное дело, они знали, как устроить засаду, как заложить бомбу и взорвать автомашину, как изготовить зажигательную смесь. Все владели приемами дзюдо и карáтэ. В нашем активе несколько успешных операций. Но другие группы не пошли по нашему пути. Они готовили революционеров-теоретиков, которые могли всю ночь спорить насчет такого-то параграфа революционной доктрины, но были не в состоянии выследить и уничтожить вражеский автомобиль. Листовки разбросать — это еще они могли, но самим изготовить взрывчатку — на это их уже не хватало. Организацию разгромили не из-за отсутствия бдительности, а по причине бесконечных раздоров внутри прогрессивного лагеря. Теперь придется начинать все сначала. Почти что с нуля. Я готов и на это. Но ведь ты знаешь: стоит только начать разговор о конкретных действиях — и ты как будто сразу в трясину попал. Оставаясь здесь, в стране, где левые силы запуганы и разбиты, я только напрасно теряю время и к тому же рискую закончить свои дни в тюрьме, так и не сделав ничего путного, не успев принять участие в общей борьбе. Вот почему я должен уехать. Я делаю это с тяжелым сердцем и отнюдь не строю иллюзий относительно той пользы, которую, находясь за рубежом, я могу принести делу национального освобождения. Но в одном я твердо уверен: люди обязательно станут другими, на место павших бойцов придет молодежь, установки изменятся, борьба возродится на новой основе — реалистической и конкретной! И тогда я вернусь, ибо в рядах партии, способной возглавить вооруженную борьбу против режима и обеспечить мне защиту,— в рядах такой действительно боевой партии будет место и для меня.

— И все-таки,— упрямо сказал Бертран,— я считаю, что ты совершаешь ошибку. Это неверный путь.

В четверг, если только его не задержат в аэропорту, не арестуют в последний момент, Бертран тоже уедет. Спасение собственной шкуры? Дезертирство? Бегство? Но кто может их осуждать? И по какому праву? И где уверенность в том, что они принесут больше пользы, если останутся здесь, в этом городе, который день ото дня цепенеет все больше и больше под бременем мрака и пепла, где разменной монетой становятся страх и покорность, где на самый будничный жест, на самый простой, безобидный поступок ложатся багровые блики террора и крови?..

Марко направился к дверям студии, но на пороге остановился. Чего-то недоставало, что-то неуловимо нарушилось в привычной картине. Он огляделся. Ящерица, проснувшись от яркого света, медленно скользнула за колонну и исчезла в лохматом папоротнике. Кресла, широкий диван, резной стол, большой керамический кувшин и все мелкие вещицы, все безделушки: пепельницы, вазочки, причудливые негритянские головки — продукция местных художественных ремесел, издавна подражающих африканскому искусству,— все оставалось на своих местах. А, вот в чем дело! Горлицы! Ну конечно же. Пения горлиц — вот чего не хватало на веранде Инкубатора. Горлицы... В тот день, когда Матье пришел к нему на работу и сообщил, что Бенуа утром выпустили из тюрьмы, Марко бросил все дела и примчался в Инкубатор. Он застал друга на веранде. Бенуа был в домашнем халате, трехнедельная борода придавала лицу что-то пророческое. Он молча сжал Марко в объятиях, потом попросил:

— Ты поможешь мне здесь прибрать?

На пороге студии он спросил:

— А где остальные?

— Жак и Мишель придут к шести часам. Эдгара, Симона и Клода нет в городе.

— Где же они?

— Не знаю. После твоего ареста они решили скрыться. Так оно вернее. Ведь все теперь взяты на заметку.

— Да-а, дела, скажу я тебе. Погляди, что эти мерзавцы тут натворили!

Бенуа обвел рукой студию. В большой комнате все было перевернуто вверх дном. Пустые полки, книги на полу, мебель опрокинута. Все покрыто толстым слоем пыли. К счастью, хоть картины целы.

— Смотри,— Бенуа показал на клетку из ивовых прутьев,— мои горлицы погибли! Я нашел только трупики — жалкие комочки перьев. Двадцать один день без еды и питья — это слишком долго для бедных птиц, которые только и умеют, что петь.

Марко захотелось оправдаться:

— Мы не решались сюда приходить. После того как тебя увезли, Инкубатор был под круглосуточным наблюдением. До вчерашнего вечера у калитки торчал жандарм.

— Бедные горлицы. Честно говоря, я сам виноват. Что за варварская была затея — запереть в клетку беззащитных птиц!.. Мне доставляло радость слышать эти три протяжные ноты, но все равно это не оправдание, нельзя было их держать взаперти. Бедные птахи, из-за глупости людской погибшие от голода и жажды...

Потом они все вычистили, убрали, расставили по местам, и к половине седьмого, когда пришли Жак, Мишель и Матье, бунгало уже обрело свой обычный вид. Только без пения горлиц.

Когда друзья расселись, Жак посоветовал Бенуа больше не ночевать в Инкубаторе.

— А что тут со мной может случиться? Ведь не для того они меня выпустили сегодня утром, чтобы в тот же вечер опять сцапать. И вообще все пока обошлось. Так что я могу спокойно здесь ночевать.

— В таком случае,— сказал Матье,— ты разрешишь мне остаться?

— Пожалуйста. Вы все можете тут переночевать, места хватит на всех. Об одном прошу: не ведите себя так, будто вы мои телохранители. У нас есть ром, пластинки уцелели, мы можем отлично провести вечер.

Каждый налил себе рому, и Бенуа стал рассказывать про молодого солдата, который на четвертый день его заключения робко подошел к двери камеры и с улыбкой посмотрел на него через зарешеченную дверь. Бенуа тоже улыбнулся, и солдатик спросил, не принести ли ему чего с воли — сладкого, сигарет. Было что-то очень чистое и честное в глазах этого солдата, и вопрос его прозвучал так естественно, что Бенуа поднялся со своего тюфяка и подошел к решетке. Денег у Бенуа не было ни гроша, у него отобрали все, что было в карманах, когда вталкивали в камеру. Особенно ему не хватало сигарет. Четверо суток без курева! Чего бы он только не дал сейчас за одну сигарету «Сплендид»! Солдат покачал головой. Сам он не курил, и сигарет у него не было. Но он все понял. Жестом показав, что он постарается помочь, солдат ушел. Через несколько минут он снова возник перед камерой. В руках он держал какой-то сверток. «Возьми. Это тебе». Удивленный, Бенуа протянул руку сквозь прутья, взял приношение. В свертке оказалось шесть сухарей, две плитки прессованных фисташек, коробок спичек и шесть сигарет «Сплендид». Прежде чем Бенуа успел поблагодарить, юноша быстро сунул ему в карман рубахи пятидесятисантимовую монету и исчез.

— Я плакал, как ребенок. Нет, как взрослый.

Весь вечер Бенуа рассказывал друзьям о своем аресте, о тюрьме... На тринадцатый день его вывел из бездумного оцепенения внезапный

крик. В дверях стоял молодой макут и визгливо кричал: «Бена Падо! Бена Падо!»

Бенуа глядел сквозь решетку на макута, глядел, как тот переминается с ноги на ногу и, варварски коверкая имя, вопит: «Бена Падо!»

— Это я.

— Тебя вызывает майор.— Макут врывается в камеру, грубо толкает заключенного.— Давай поторапливайся. Туфли надень.

Хватает Бенуа за ремень и выволакивает из камеры. Поспешно проводит его через караулку во внутренний двор, примыкающий к зданию уголовной полиции, вталкивает в комнату, где двое младших лейтенантов разбирают какие-то папки за длинным столом. Три металлических шкафчика с картотекой, деревянный шкаф, несколько стульев. Один из офицеров поднимает голову. Бенуа узнает в нем макута, руководившего обыском в Инкубаторе.

— Что случилось?

— Майор хочет его видеть.

— А! Очень хорошо.

Еще одна комната, узкая, полутемная. Перед дверью — часовой в штатском; за столом, стоящим торцом к стене,— двое других.

— Это он?

— Он.

— Веди, майор его ждет.

Часовой на шаг отступает, распахивает дверь, и Бенуа, получив изрядный пинок, влетает в кабинет. Современная обстановка, кондиционированный воздух, стены в синих пастельных тонах. Первое, что бросается в глаза,— портрет Пожизненного. Голова в натуральную величину, толстые стекла очков. Близорукие глаза унылы и тусклы, толстые губы презрительно кривятся, жирные щеки плохо выбриты. Молодой макут опять толкает Бенуа, хватает сзади за ремень и бьет ногами, заставляя встать в положение «смирно». За большим письменным столом, на котором ничего нет, кроме телефона, листка бумаги и желтого карандаша, сидит в кресле, картинно выпрямившись и скрестив на груди руки, майор Масси. В фуражке, словно собрался уходить. Глаз майора не видно. В темных зеркальных очках отражается — с большим уменьшением — голова Бенуа.

— Это он? — произносит он после долгого молчания.

— Так точно, господин майор.

— Отлично. Можете идти.

Молодой макут уходит. Майор меняет позу — расслабляется, кладет руки на подлокотники.

— Значит, вы и есть Бенуа Пардо.

— Да, это я.

— А ведь я вижу вас впервые. Разумеется, ваше имя мне давно знакомо. Еще бы — поэт Пардо! Насколько мне известно, вы директор радиостанции.

— Совершенно верно. Радиостанции 4 VPM.

— 4 VPM. Так-так. Мне иногда случается послушать вашу воскресную литературную программу. Ваши передачи отлично сделаны, Пардо. Отлично сделаны.

Пауза. Майор Масси протягивает пальцы к желтому карандашу и начинает катать его по столу.

— Майор Масси, могу я узнать, почему я арестован?

Пальцы отталкивают карандаш, лицо майора становится жестким.

— Запомните, Пардо, вопросы здесь задаю я. С вами в тюрьме хорошо обращаются, а вы еще недовольны. Вы просто счастливчик, Пардо. У вас есть пишущая машинка?

«Он сам это прекрасно знает,— думает Бенуа,— поскольку млад-

ший лейтенант с усами, проводивший в Инкубаторе обыск, забрал ее с собой. Заявил, будто это вещественное доказательство».

— Да, «Оливетти». Портативная.

— Когда и где вы ее купили?

«К чему он клонит? Какая может быть связь между моим арестом и пишущей машинкой?»

— В тысяча девятьсот шестидесятом году. У Оливетти.

— Вы знаете Роже Лормье?

— Знаю.

— Чем он занимается? Кто он такой?

— Студент Высшего педагогического института.

— Вы с ним давно знакомы?

— Года три.

— Темы ваших бесед?

— Поэзия, музыка, литература.

— И только?

— И только.

— Давали ли вы ему свою пишущую машинку?

Вот оно что! Лормье арестовали за три дня до него, по доносу одного студента, который заявил, что Лормье является автором разбросанных по городу листовок; студент утверждал также, что видел у Роже копировальный аппарат. Произведенный макутами обыск ничего не дал, была устроена очная ставка Роже с доносчиком. Тот от прежних показаний стал отпираться, но на машинке настаивал, лишь уточнил, что скорее это была пишущая машинка. Обо всем этом Бенуа узнал уже в тюрьме, от заключенных. Теперь он понял, чем вызван его арест. Роже, должно быть, сказал, кому принадлежит пишущая машинка, отсюда и налет макутов на Инкубатор. Дело прояснялось.

— Так как же?

— Да, давал. Раза три или четыре.

— Зачем?

«Ну, уж это полнейший идиотизм! Неужто они не понимают, что на его «Оливетти» не изготовишь листовок?»

— Он перепечатывал на ней сказки, рассказы, стихи.

— И только?

— Да.

— Когда он делал это в последний раз?

— Месяца два назад.

Внезапно майор хватает карандаш и начинает водить по чистой бумаге. Линии извиваются, пересекаются, сталкиваются, на бумаге растет лабиринт, из которого никогда не выбраться. Круги и спирали сплетаются туже, свиваются все плотней и плотней, потом замедляют свой бег и наконец совсем замирают. Карандаш выпадает из пальцев, катится по столу. Рука не шевелится. Потом лист бумаги вдруг становится шариком, и майор мнет его в пальцах, взвешивает на ладони и, размахнувшись, кидает в корзину, стоящую в дальнем углу. Попадание. Видно, что майор очень любит эту игру. С самодовольной улыбкой он отваливается на спинку кресла.

— Так, значит, два месяца, а? — Майор взглядывает на часы и нажимает на кнопку. В дверях появляется часовой.— Я бы с радостью продолжил нашу беседу, Пардо. Не каждый ведь день выпадает удача принимать здесь поэтов. Но меня ждет президент. Вы в самом деле счастливчик, можете мне поверить. Эдмон, очини мне карандаш и скажи Мильену, пусть придет за заключенным. Пусть ведет его прямо в камеру.— Он закладывает ногу за ногу и глядит на Бенуа.— Пока отдыхайте, Пардо, и набирайтесь сил.— Уголок майорского рта взлетает в кривой ухмылке.

Дверь кабинета открывается. Тот же молодой макут. Отдает начальству честь, подходит к заключенному, хватает его сзади за брючный ремень, резко поворачивает лицом к двери.

— Шагай, foutt [1]!

Приемная. Кабинет младших лейтенантов. Внутренний двор. Караулка. Пинок. Бенуа влетает в камеру. Дверь захлопывается. Щелкает замок.

— И вот я опять на циновке, и в углу бидон из-под масла, который служит парашей, и три сигареты, которые я спрятал в соломе циновки. Я отсутствовал в камере не больше десяти минут. Меня не пытали, не били, но с этого дня, всякий раз как открывалась дверь караульного помещения, я чувствовал страх. У меня не выходила из головы последняя фраза майора. Я повторял ее, пережевывал, препарировал, проговаривал на все лады и на разные голоса, пытаясь добраться до сокровенного смысла. До подтекста. Ибо в ней обязательно должен был быть подтекст. Непременно. Политических заключенных не отсылают обратно в камеру — так вот просто, как сейчас отослали меня. Предварительно не избив, не подвергнув пыткам. Такого не бывает. Это противно всем установкам фашистского режима, это не вяжется с теми леденящими душу историями, которые рассказывают про Форт-Диманш, про Национальный дворец, про Форт-Насьональ, про казармы Дессалина, про другие фабрики смерти. Однако факт есть факт, меня отпустили, не пытали. Может быть, майор отослал меня обратно в камеру только потому, что у него не было времени заняться мною как следует? Он торопился, это было заметно. Кто станет сидеть в фуражке в собственном кабинете? Значит, сегодня же вечером или завтра — во всяком случае, очень скоро — за мною опять придут. Тот же щуплый визгливый макут. Явится ко мне в камеру. Да, так и будет. Распахнется дверь караулки, и на пороге возникнет макут. Как сама судьба. Только на этот раз он уже не будет кричать, не будет коверкать мое имя и оглядывать камеры. Теперь он знает меня. Знает сидящего в клетке зверя, которого ждет укротитель. Направится прямо ко мне. Схватит за ремень, стиснет, сдавит — сильнее, чем в прошлый раз. Теперь он будет особенно зол, зол, что водил меня в тот раз напрасно. Как следует пнет, ибо теперь-то уж он не упустит возможности покуражиться всласть, поизмываться над живой человеческой плотью. Ему не терпится поглядеть, как я обливаюсь кровью, послушать, как я от боли кричу. Так оно, конечно, и будет. В тот раз я его обманул, обманул его ожидания и пришлось ему, бедняге, вести меня тут же обратно в камеру, но на этот-то раз все будет иначе. Тут уж он поупражняется, уж он набьет себе руку. А то, глядишь, и отвыкнуть недолго. Ремесло палача требует ежедневной практики, ежечасной тренировки. Сегодня я лишил его столь необходимых учебных занятий, но уже нынче к вечеру или же завтра, во всяком случае скоро, он свое возьмет. Я предстану перед ним отдохнувшим, в отличной форме. Можно будет устроить продленный сеанс. Главное — не торопиться. Взяться за дело с толком, со вкусом, растянуть удовольствие, ведь это особая радость — топтать беззащитного, бить в лицо, и в живот, и в пах. Знать, что он целиком в твоей власти. Что достаточно вдарить покрепче да поточней, и он мигом отправится к праотцам. Кому придет в голову обвинять его в убийстве, его, юного прилежного макута, честно выполняющего свой долг? Разве что майор пожурит. За то, что слишком поторопился, не дал и майору получить свою долю удовольствия. Да нет, майору не придется его ругать. Мой визгливый макут, по всему видать, в своем деле не новичок, он отлично знает, что к чему... И я неотрывно

[1] Ругательство, от английского by Jove's foot! (черт побери!).

глядел на дверь караульного помещения, ждал своего макута. Когда дверь открывалась, у меня перехватывало дыхание. Под ложечкой набухал противный ком, руки и ноги деревенели, я чувствовал внутри сосущую пустоту. Дверь гипнотизировала меня. Я ложился вниз животом на цинковку и сквозь прутья решетки глядел на эту проклятую дверь. Но, как это ни покажется странным, мое наблюдение за дверью, мое безумное ожидание все же имело свои пределы. Мне наконец показалось, что я добрался до точного смысла угрожающих слов майора. Фраза «Пока отдыхайте и набирайтесь сил» означала: «Когда будет нужно, я вас вызову, и мы подвергнем вас пыткам, а пока что отдыхайте, пожалуйста». И мой организм, в предчувствии этих пыток, поставил в порядке самозащиты предел моему страху. Организм решил, что майор может вызвать меня лишь в промежутке между восемью утра и часом дня. Как только рожок возвещал подъем флага, начиналось мое ожидание. Дверь становилась наваждением. Ее открывали не меньше ста раз на дню. Отправлялись на строевые учения новобранцы. Макуты и следователи шли в столовую или в казарму. И я всякий раз сжимался. Но тревога оказывалась ложной. Петля расслаблялась. Страх отпускал меня — до следующего открытия двери. Но пытка прекращалась, как только рожок трубил отбой. Рабочий день армейской канцелярии был закончен. И я переводил дух. Переворачивался на спину. Чувствовал себя точно заново рожденным. Опять начинал воспринимать окружающую обстановку. Дотрагивался до стены своей камеры. Грелся в тощем солнечном лучике, пробивавшемся в слуховое окно. Ощущал, как жизнь весело бежит по жилам. Значит, сегодня этого не будет. Не сегодня. До завтра еще далеко. Впереди несколько часов покоя. Все это было довольно нелепо, теперь-то я понимаю. Майор мог послать за мной в любое время дня и ночи. Но, по счастью, мой организм почему-то реагировал именно так, а не иначе, и это было прекрасно, потому что каждые сутки мне выпадало несколько часов блаженного отдохновения. В таком ожидании пыток я провел всю неделю. Вспоминал и анализировал все наши операции, спрашивал себя, знают ли о них мои палачи, догадываются ли они вообще о моей принадлежности к брошетт-маотьерской группе. Известно ли им, кто я? Сегодня утром я понял, что они ровным счетом ничего обо мне не знают. В камеру пришел лейтенант и повел меня к майору. По дороге он ни разу меня не толкнул. Я свободно шагал впереди. Интуитивно я чувствовал, что ничего не случится. Что ведут меня не на допрос. Я опять в кабинете. Кондиционированный воздух. Майор в темных очках. На голове фуражка. Никто не заставляет вытягиваться по стойке «смирно». Майор поднял голову от стола.

— Вы свободны,— сказал он.— Но хочу дать вам один совет. Не попадайтесь нам снова. Вам повезло: вы выходите отсюда целым и невредимым. В следующий раз я вызову ваших родственников для опознания вашей личности. Но они вас не смогут узнать. Вы поэт, так что пишите себе на здоровье стихи. Лично я люблю поэзию и буду с радостью вас читать. Идите. Вы свободны.

Бенуа для них всего лишь поэт. Значит, он совершенно безвреден. Как дурачок. Или как безумец. Для режима мракобеснейшего доктора он не представляет ни малейшей опасности. Его стихи известны лишь узкому кругу любителей. Это искусство, не больше. Искусство не имеет для них ничего общего с жизнью.

Марко перешагнул порог, вошел в студию. Это была большая комната в форме буквы Г. Или виселицы. Когда Бенуа отдавал ему ключи, он сказал:

— Теперь все здесь твое, Марко. Используй любую вещь на свое усмотрение. Переставляй мебель. Подвесь кровать к потолку, если захочешь. Заколоти дверь в туалет. Все твое. До моего возвращения.

— И когда же ты вернешься?

— Кто про это знает?

Серый сизалевый ковер, устилающий пол от стены до стены, глушит шаги. Все ковры серые. Цвет невидимой грязи, невидимой глазу пакости. Серость — свалка всяческой мерзости.

В ярком свете плафона мебель вдруг возвращается к жизни. Заваленный книгами стол, продолжающий стеллажи. Большая кровать в глубине, покрывало, расшитое стилизованными божками. Кресла. Деревянные резные подсвечники. Маски красного дерева. Картины на стенах. Фотографии. Вот кто прежде всего оживает — фотографии. Лица хмурые и веселые. Насмешливые и серьезные. Пола, в компании Симона, Максима и Фредерика, поглаживает мочку левого уха, верный признак того, что сейчас она скажет что-то насмешливое. Габриэль в баре галереи Брошетт наполняет Симону бокал. С фотографии срывается шум голосов. Музыка. Смех. Звякают кубики льда о стенки стаканов. На противоположной стене оживает другая компания — Бенуа, Мишель, Эктор, Матье и Жак. Рядом, крупным планом,— хохочущий Клод. Смех пронизывает Марко насквозь.

— Добрый вечер, Марко!

— Привет, архитектор!

— Решил-таки проведать друзей?

— Где же ты пропадал все это время?

— А мы тебя все ждем да ждем. Уж не один месяц...

— Теперь-то, надеюсь, ты пришел окончательно, Марко? Ты поселишься здесь? Не сбежишь, как в тот раз? Нас не оставишь одних?

— Без тебя мы не можем общаться друг с другом.

— Если тебя прикололи к стене, не очень-то побеседуешь. Даже товарищей, что напротив, на той вон стене, и тех почему-то не видишь. Наши взгляды теряются, тают посреди комнаты. А теперь, когда ты пришел, нам сразу становится легче. Ты — как мост между нами. Ты — наш связной. Мы друг друга опять узнаём. Здорово, Эдгар. Эдуар, как дела?

— Алло, Симон! Я все время пытаюсь тебя отыскать. Хорошо, что Марко пришел, мы теперь с тобой поболтаем.

— Марко, а ведь ты меня не узнал. Я твой старый товарищ Марсель. Понимаю, понимаю, дружище. Тюрьмы Пожизненного — это, брат, не отель-люкс. Это больше похоже на ад. В профиль-то я не очень переменился. Погляди. Ну, видишь, как славно, вот ты и узнал.

— А это я! Это Ив! Здесь, за тобой. Ты всегда говорил, что я бесшабашен, что я слишком рискую. Знаешь, ты, пожалуй, был прав. Теперь я стал осторожней. Я отлично устроился у себя на балконе. Заходи ко мне в гости, ручаюсь, тебе тут понравится. Это чертовски забавно. Я таюсь за ветвями мускатного дерева и выслеживаю палачей. Как увижу кого из своры Пожизненного, сразу пулю ему в башку. Бац — и готово! За шесть месяцев я их прихлопнул ровно тысячу семьсот тридцать восемь с половиной. Что-что, а бухгалтерия у меня в ажуре. Заходи, сам увидишь. Я познакомлю тебя с малышами. Знаешь, из детского парка. Замечательные малыши! Мы отлично ладим друг с другом. Они сразу приняли меня в свою компанию и смотрят на меня не как на взрослого, ну совсем не как на взрослого!..

Марко подходит к стене и читает отрывок из Рене Ги Каду:

Если ты заглянул ненароком в жилище Поэта,
Ты не знаешь еще, что над нами у мебели странная власть
И что в ножке стола больше птичьего свиста таится,
Чем в сердце лесов...

Интересно бы знать, имела ли мебель Бенуа, его столы и кресла, и эти узоры в древесине мореного дуба, и эти узелки в красном дереве — имели ли они власть над тонтон-макутами, когда те переступили этот порог, проникли в самое сердце Инкубатора, перерыли весь дом, все книги и рукописи, испакостили стены, учинили дикий разгром? Может, они всего лишь ненароком заглянули в жилище поэта? Нет, они работают не вслепую. Их действия подчинены четкому плану, грубому и простому.

Марко провел пальцем по письменному столу. Пыль. Пыль лежала повсюду — на креслах, на стеллажах, на магнитофоне, на проигрывателе. «И целого дня, пожалуй, не хватит, чтобы все тут прибрать». Он освободил стол от книг, сбросил их в кучу на ковер. Потом, на досуге, он их пересмотрит — не торопясь, по одной. А пока что он не даст им заманить себя в ловушку; надо только на них не смотреть, даже названий не читать, не то пропал... Он протер уголок стола. Из-под слоя пыли выглянула гладкая черная поверхность. Ногтем проверил, насколько тверда древесина. В нее, привычно хрустнув, легко вошли бы кнопки. Он уже видит себя склонившимся над чертежом. Линейка, циркуль, рейсфедер материализуются... Поморгал, отгоняя видение. «Нет, не буду использовать стол Бенуа как чертежный. Нельзя его портить».

Он подошел к большому окну, выходящему в сад, раздвинул шторы. В комнату ворвался ветерок, шевельнул подвешенную к потолку легкую статуэтку. Как бы получше разместить свои зеркала? Он повернулся на каблуке, обвел взглядом стены, фотографии, полотна Седора, Дени, Лазара, Гурга, Ти-Га, Сен-Бриса. Может быть, по углам? Почему бы и нет? Если приладить наборы зеркал по углам и отрегулировать их наклон, можно добиться того, чтобы отражения дробились до бесконечности. Зеркала — это была его страсть. У него их великое множество, самой различной формы, вырезанных по его рисунку и наклеенных на цветные подставки. Он питал к зеркалам особую слабость,— и не то чтобы любил в них смотреться, просто когда он работал за чертежным столом, ощущение, что какая-то часть его «я» следит как бы со стороны за процессом творчества, подстегивало его. Иные видят в таких зеркалах способ забыться. А ему доставляло радость глядеть, как его движения повторяются в зеркалах, множатся, дробятся на порции света, открывая в стене калитку в другую реальность. Зеркало — это вода, спокойная и глубокая, дающая жизнь и изгоняющая одиночество. В ней можно утонуть, не умирая. Это окно в сновидение и в мечту. «Решено, расставлю их по углам».

■

Лежа ничком на полу, подняв над головой левую руку, Эдуар застыл в ожидании. На уровне его глаз корочка хлеба белым пятном выделялась на сером цементе. В конце концов эта дрянь непременно появится.

Сквозь ресницы он поглядывал на забранную решеткой дверь. Правое колено болело, ему очень хотелось подтянуть его к животу, но он удерживал себя от этого движения, хотя оно притупило бы боль. Шевелиться нельзя, чтобы не спугнуть дичь. Он выслеживает, он сторожит ее второй вечер, растянувшись на тощей циновке. подняв левую руку над головой. Вчера он чуть ее не поймал, но в самый последний миг кто-то поблизости пошевелился и все сорвалось. Но соблазн велик. Сегодня она непременно придет.

И вот она появилась! Крохотная, юркая, настороженная. На несколько секунд замерла, прыгнула вперед, опять остановилась, при-

нюхалась. Что-то большое и темное вытянулось на полу; возможно, здесь таится опасность. Учуяла запах хлеба, скользнула вперед и снова окаменела в явной тревоге. Теперь ему были хорошо видны прозрачные розовые ушки, подвижная мордочка. И два маленьких глаза, круглых и красных, которые без остановки шныряли по сторонам. Еще бы один прыжок — и маленькие острые зубы вонзились бы в хлебную корку.

Только бы она подошла чуть поближе, только бы ее ничто не спугнуло, как это было вчера! Снаружи, на улице, тихо. Голоса торговцев пирожками растворились в ночи. Ни единой машины. И радио в караулке молчит. Пустота. Порт-о-Пренс, Петионвиль и Казо обессиленно спят. Страх — полновластный хозяин, страх безраздельно царит, страх запирает дома и сковывает языки, страх глушит шаги, повергает страну в летаргию. Товарищи в камерах молча вслушиваются в воспоминания, но чей-нибудь голос может в любую минуту взорвать тишину. Например, Фредерик начнет напевать водуистскую песнь — она у него всегда на устах:

Choual mrin maré nan poto'a
m'pa prié pèsonne moune
lagé li pou mrin.
Li met guin chank
li met guingnin maling nan do
saint Jacques-ô bali la vi pou mrin[1].

Печальные ноты чуть приподнимутся, словно робея, над цементным полом, потом, осмелев и окрепнув, шагнут через тюремную стену, через решетку и затеряются где-то вдали, в глухой тишине, что висит вечерами над Порт-о-Пренсом. В любую минуту может отвориться дверь караульного помещения, и пугливая мышь мгновенно нырнет в свою черную щель. И опять, в который уж раз, все его уловки пропадут даром. Не двигаться, не шевелиться, сосредоточиться, и, может, тогда все вокруг тоже застынет, замрет — люди, вещи, улица, голоса... Есть! Она приближается. Приникнув носом к полу, крадется к хлебной корке. Хвост метет по цементу. Мышь приближается. Она уже не боится. Темная масса, вытянувшаяся на полу, не представляет опасности. От хлебного запаха мордочка дрожит. Сейчас ее коготки вонзятся в корку, она уже предвкушает сладостный миг, уже чувствует вожделенный вкус хлеба во рту. У нее текут слюнки. Прыжок. Левая рука обрушивается на нее, она в плену у жестких длинных пальцев. Они крепко сжимают ее. Черная масса поднимается с пола. Попалась, разбойница! Ах ты маленькая дрянь! На этот раз ты у меня в руках. Больше не будешь есть мой хлеб. Больше не будешь. Писк серой мышки тонет в удовлетворенном смешке человека. Будешь знать, как меня обворовывать, пока я сплю. Вот размозжу тебе голову. Шлепну об стену. Ха-ха! Он размахивается...

Рука повисает в воздухе, медленно опускается. Эдуар нагибается к полу возле дверей, разжимает пальцы. В щель метнулась серая молния.

— Эдуар!

Женский голос серьезен и ласков. Всякий раз, как он слышит, что она зовет его по имени, у него сладко екает сердце. В ее устах его имя звучит совершенно не так, как у всех...

---

[1] Я коня привязал к столбу,
не отвязывайте его.
Даже если мой конь больной,
даже если в ранах спина,
Жак-святой, сохрани ему жизнь *(креольск.)*.

— Эдуар, ты меня слышишь?
— Да, Мари-Жозе.
— Почему ты не сразу ответил? Я тебе помешала?
— Да что ты! Конечно нет.
— Так ты ее поймал? Я слышала писк.
Он молчит.
— Ты поймал ее, Эдуар?

Впервые он увидел Мари-Жозе в декабре, на студенческом балу в Высшем педагогическом институте. Их познакомил Матье, и Эдуара сразу пронзила уверенность, что их судьбы отныне сплетутся. В тот вечер они много танцевали, долго говорили друг с другом. Почти полное совпадение вкусов и взглядов. Да, она знает галерею Брошетт, была там три раза, познакомилась с художниками, поэтами, вообще с представителями левой интеллигенции.

— Мне там очень нравится, хотелось бы бывать там почаще.

Заговорили о воду́. Эдуар, конечно, не мог обойти эту тему. Воду́ — его конек. Она в этом почти не разбирается? Что ж, он может дать ей все нужные книги. Эта форма народной религии весьма интересна, она играет важную роль в формировании гаитянской культуры. Именно благодаря воду́, а также креольскому языку мы, слава богу, не просто французы Карибского моря. Воду́ и креольский способствовали созданию нашего национального типа. Разумеется, как и любая религия, воду́ — заблуждение, массовое помешательство; это болезнь, от которой мы будем лечить, но всего отбрасывать ни в коем случае нельзя. Необходимо систематическое изучение воду́ в целях выявления в нем рационального зерна, усвоения накопленного в нем векового народного опыта.

— Вклад воду́ в искусство, например в живопись и в музыку, невозможно переоценить.

Поговорили они тогда и о политике, и о новом декрете Пожизненного, обнародованном накануне и вводившем пошлину на въезд в столицу.

— Давайте встретимся в следующую субботу.
— Накануне Нового года?
— Да. Мы встречаем Новый год в галерее Брошетт, я вас приглашаю. Если только, конечно, вы не заняты в этот вечер...
— Нет, я свободна. Мне и Матье говорил про эту встречу.
— Значит, договорились?
— Договорились.

А в четверг он влип в глупейшую историю, дал себя схватить в кафе «Дю Пор», куда заглянул мимоходом, чтобы купить сигарет. Как раз в эту минуту там разразился скандал между двумя пьяными полицейскими, и, пробираясь к бару, он нечаянно толкнул одного из них. Эдуар извинился, но макут набросился на него с бранью:

— Тварь ты этакая, камокен проклятый, ты что же, не можешь ходить поосторожнее? Ишь размахался! Вообразил, что страна будет вечно принадлежать таким сволочам, как ты? Твое время кончилось, выродок вонючий! Я тебя выучу уважать представителей президента!

Эдуар не обращал на его вопли ни малейшего внимания, и макут совсем рассвирепел. Он размахнулся, целясь кулаком Эдуару в лицо. Тот ловко увернулся, и блюститель порядка, потеряв равновесие, грохнулся наземь. Второй макут разразился пьяным хохотом, хозяин за прилавком тоже не удержался от смеха, что окончательно вывело макута из себя, он выхватил из кобуры револьвер, выстрелил в Эдуара и попал ему в правое колено. И вместо того, чтобы встретить вместе с Мари-Жозе Новый год, он весь праздник провалялся на койке военного госпиталя. Пуля лишь задела сухожилие, через две недели Эду-

ара выписали — и водворили в тюрьму за нападение на волонтера национальной безопасности.

— Эдуар!

Второй раз он увидел ее три недели тому назад, когда ее привели в тюрьму. Была ночь. Они всегда это делают по ночам. Он проснулся от шума. Крики, чей-то злобный голос отдавал приказания. Дверь караульного помещения распахнулась, как от удара. Тоже обычное дело. Бархатных перчаток они не носят, у них шершавые, жесткие руки, которые бьют и свирепо и метко, бьют именно туда, куда надо, чтобы боль была острой, невыносимой. Дверь караулки открылась, и в коридор втолкнули Мари-Жозе и еще трех студентов. Он сразу встретился с нею взглядом и увидел через решетку, как в глубине ее глаз вспыхнул радостный огонек. И несмотря на то, что это тюрьма, он тоже был рад, что она рядом. Их судьбы снова сплетались. На этот раз свидание состоялось. Позже, во время их первого разговора через стену, она рассказала ему, что по городу прошел слух, будто его убили в тюрьме. Так вот почему этот радостный огонек!.. Но она-то, как здесь оказалась она? Что произошло?

— Я была членом забастовочного комитета в педагогическом институте. Нам назначили нового заведующего кафедрой гаитянской литературы, и я подписала протест. Мы призвали студентов бойкотировать занятия. Сегодня меня арестовали.

— Сегодня? Тебя не били?

— Нет. Ни разу никого не ударили. Сейчас в Порт-о-Пренсе находится комиссия ООН, вот почему они так обходительны.

— Наверно, так оно и есть.

— К нам пожаловал сам президент, назвал нас дорогими детьми и долго объяснял политику правительства в области высшего образования. Было трогательно до слез. Когда он уехал, майор Масси заявил, что лишь вмешательство главы государства лишило его, майора, возможности преподать нам урок, которого мы заслуживаем... Но расскажи, что же с тобой случилось.

Он рассказал о своем злоключении. Рана уже совсем зарубцевалась, но время от времени, особенно к вечеру, колено мучительно ноет, и только если поджать ногу к животу, кое-как удается заснуть.

— Эдуар!

— Что, Мари-Жозе?

— Ты ее поймал?

— Поймал.

— Ну и что?

— Ничего. Я не смог.

— Ты ее поймал, но не смог убить, да, Эдуар?

— Да. Глупо, конечно, но у меня не хватило мужества.

В караульном помещении зашепелявило радио. Сквозь треск разрядов долетали отдельные фразы: «Петионвиль вызывает Порт-о-Пренс. Петионвиль вызывает Порт-о-Пренс.... Арестовано трое. Повторяю; арестовано трое... Алло, Порт-о-Пренс, алло, Порт-о-Пренс... Казо вызывает Порт-о-Пренс... Все спокойно. Без изменений».

— Хотелось бы знать, кого они арестовали в Петионвиле,— сказала Мари-Жозе.

— Может, этого нам никогда не узнать.

— Почему?

— Есть много других мест, куда их могут упрятать...

При благословенном правлении Пожизненного тюрьмы росли как грибы. Кроме тюрем, официально объявленных таковыми, были и другие. Частное предпринимательство успешно конкурировало с государ-

ством. У многих макутских главарей имелись собственные застенки. Похищение людей стало обыденным, узаконенным делом.

— ...Если, конечно, их не привезут сюда. В этом случае вполне могут сунуть одного-двух и в твою камеру.

Она помолчала. Смысл его слов дошел до нее не сразу.

— Ты... ты в самом деле считаешь, что они могут поместить ко мне в камеру мужчину?

— Почему бы и нет? Если есть место... Для них ты не женщина, ты враг режима, ты камокен. Тебе еще повезло, что все эти три недели...

Поняв всю бестактность этого разговора, Эдуар прикусил язык.

— Мари-Жозе,— позвал он.

— Я... я тебя слушаю,— отозвалась она, и голос у нее дрогнул.

— Мари-Жозе, не терзай себя понапрасну. Я ведь все это не серьезно. Я пошутил.

— Они не поместят ко мне мужчину? Оставят меня в камере одну? Скажи, ты правда шутил?

Она вымаливала у него ответ... Зачем он будет заранее ее расстраивать? Да, они уже не раз швыряли мужчин и женщин в один застенок, и что помешает им втолкнуть двух или трех соседей к Мари-Жозе? Но пока этого не произошло, ни к чему зря мучить девушку.

— Конечно, я шутил. А ты и поверила? Обычно они держат мужчин и женщин раздельно.

— Ты в этом уверен?

— Абсолютно уверен. Так что не думай больше об этом и постарайся заснуть.

— Мне не спится. Который час?

— Не все ли равно? Часов, должно быть, двенадцать или половина первого.

— Ты не хочешь еще со мной поговорить?

— Боюсь, мы мешаем спать соседям.

В стену камеры постучали. Фредерик. Дает знать — не спит.

— Не хотите ли спеть вместе со мной? — предлагает он.— Мы могли бы...

«В караульном помещении грохочут сапоги, отрывисто звучит команда. Короткая пауза. Приглушенные голоса, словно кто-то шушукается. Я замер на своей циновке, чувствую, происходит что-то серьезное. Лежу неподвижно, вытянул шею. Дверь караулки распахивается. Входит старый капрал, он сегодня дежурит. Позвякивает связкой ключей и с озабоченным лицом направляется к маленькой камере в глубине коридора; дверь у этой камеры не зарешеченная, а сплошная, и в ней маленькое окошко. Мне кажется, у старого капрала дрожат руки, пока он возится с замком и ключами. Отпирает тяжелую дверь и, понурив голову, возвращается в караулку. Я в этом отделении почти месяц, и при мне маленькую камеру еще ни разу не отпирали. Клетка смертников, как называют ее тюремные старожилы. Предназначена для политических, забитых макутами до смерти. На пороге караульного помещения возникает спина макута. Она напряженно согнулась, словно макут тащит что-то тяжелое.

— Да поживее ты, бери ее за ноги,— говорит он кому-то, кого мне с моего места не видно.

Макут чуть выпрямляется, оглядывается назад и пятясь вылезает в коридор. Я лежу ничком, не в силах шелохнуться, словно неведомая тяжесть придавила меня к земле. Они доходят до середины коридора,

и второй макут, тот, что идет ко мне лицом, останавливается, выпуская свою ношу.

— Да что ты делаешь? — кричит другой.— Помогай!

— Успеешь, друг. Дай отдышаться. Заодно и эти мерзавцы, тут, в камерах, разглядят как следует, кого мы тащим. Пусть увидят, что мы делаем с камокенами.

Он подбоченивается и злобно оглядывает камеры, потом, повинуясь счастливому озарению, подскакивает к выключателю. Под потолком загорается лампочка.

— Света, побольше света! — вопит он.— Пусть полюбуются на эту дрянь, на эту бешеную суку, которая посмела на нас хвост поднимать.

Тело, лежащее на полу, обезображено до неузнаваемости. Было ясно, что это женщина, но поверь, Матье, дружище, узнать ее я не мог. О, что за зрелище! У меня до сих пор перед глазами безжизненная рука, пальцы сведены судорогой и будто тянутся ко мне... Во рту у меня пересохло, ни вдохнуть, ни выдохнуть, гляжу как завороженный на вздувшееся лицо, все в синяках, в кровоподтеках. Гляжу и не могу взгляда отвести.

— Очень прошу вас, поторапливайтесь, господа.

Старый капрал торопливо входит в коридор, хватает женщину за ноги и помогает первому макуту оттащить пленницу в клетку смертников. А второй все пялится на камеры. Глаза у него красные, словно перехватил. Верхняя губа дергается, обнажая желтые клыки. Дышит шумно, отрывисто. Останавливается перед камерой Фредерика.

— Ты вроде бы чем-то недоволен, а? Хочешь к ней поближе? Хочешь разделить ее участь? Могу тебе посодействовать. Я пока что в хорошей форме. У, дерьмо собачье! — Он плюет в Фредерика, бьет ногой по решетке.— В отличной форме, говорю тебе. В отличной. Могу всех вас сожрать, всех по одному.— Он вцепляется в решетку и бешено ее трясет.— Отопри мне эту камеру, капрал,— завывает он.— Я сожру эту крошку!

Первый макут подбегает к приятелю, хватает его за руки.

— Уймись,— говорит он.— Пойдем, нас ждет майор Масси. У нас еще есть работа.

Дрожа от ярости, тот дает себя увести.

— Считай, что тебе повезло,— бросает он напоследок Фредерику.

Капрал закрыл тяжелую дверь, запер клетку смертников на два оборота ключа.

— Правильно, капрал, запри-ка ее получше,— ухмыльнулся первый макут.— А то еще удерет. Ну, бывай, капрал.

Оба с гоготом ушли в караулку. Недолгая тишина. Шум мотора на улице, машина бешено рвет с места. Раза два прошепелявило что-то радио, потом замолкло. Старый солдат задержался в глубине коридора. Сокрушенно покачал головой, приоткрыл окошко, заглянул в камеру.

— Свят, свят, свят! — бормотал он.— Ох, чует мое сердце, выйдет мне боком все это дело...

Закрыл окошко, пошел в караульное помещение и вернулся с ведром воды и полотенцем. Погасил верхний свет и опять направился к клетке смертников, отпер, вошел внутрь. Тяжесть, прижимавшая меня к земле, вдруг отпустила, я встал с циновки. Стоял у решетки с бьющимся сердцем и прислушивался, пытаясь угадать, что происходит в нескольких шагах от меня. Я услышал шум льющейся воды, потом слабый стон, короткий крик. Наверно, добрый старик обмывал раны на лице узницы. Как он на это решился? Конечно, не все солдаты Пожизненного — убийцы, у старого капрала среди заключенных хоро-

шая репутация. К тому же соперничество между армией и тонтон-макутами ни для кого не секрет. Но то, чем занимался в эту минуту старик, могло ему дорого обойтись. Я инстинктивно прислушивался, нет ли кого в караулке, не возвращаются ли макуты. Я успел бы предупредить старика об опасности, чтобы они не застали его на месте преступления. Деревянная дверь камеры тихо скрипнула, приоткрылась. Появилось ведро, за ним капрал. Он запер дверь. Когда он проходил мимо моей камеры, я не удержался и окликнул его:

— Капрал Андре!

Он остановился, посмотрел на меня, словно не видя, постоял в нерешительности, подошел к моей камере. Грустно улыбнулся, покачал головой.

— Капрал, скажи, пожалуйста...

Он пожал плечами, вздохнул, переставил ведро.

— Больше я ничем не могу помочь. Ах, боком мне выйдет все это дело. Первый раз такое в мое дежурство. Черт бы их побрал! Зачем они ее ко мне привезли? Держали бы там, где пытали. Все это выйдет мне боком. Выйдет мне боком.

Он даже дрожал, когда произносил эти слова.

— Кто она такая, капрал?

— Чего?

— Кто она такая? — повторил я.

— Не знаю. Велели записать ее в книге как «неизвестную». Ее арестовали сегодня вечером в начале одиннадцатого, когда она расклеивала листовки на стене медицинского факультета. Похоже, она не раскрыла рта. Ничего не сказала. Ни единого слова. Они даже не смогли ее опознать. Потому-то так и взбесились. Ох, выйдет мне боком это дело, чует мое сердце...

Наутро она была мертва. Они унесли ее тело в простыне».

Эдуар закончил рассказ, закурил. «Мари-Жозе говорит то же самое, каких-нибудь две-три детали не совпадают»,— подумал Матье и вслух добавил:

— Это наверняка была Пола.

— А я не мог ее даже узнать! Лежала прямо передо мной на полу... Но лицо было такое и руки, ох!..

Он схватил со столика бутылку «барбанкура», наполнил стоявший перед Матье стакан, залпом выпил, поморщился. Погасил сигарету, походил по комнате, остановился возле окна. Над морем разливался лунный свет, листья кокосовых пальм мерно покачивались, на искрящемся фоне воды они казались чуть ли не черными. Он оперся обеими руками о подоконник, наклонился в ночь, жадно вдохнул ее свежесть. Он еще не привык к обретенной свободе. Все было еще слишком внове. Сегодня днем он сидел в камере на циновке, привалившись спиною к стене, и в голове его тяжко ворочались мысли, те же самые мысли, какие одолевали его все эти восемь месяцев. Восемь месяцев бездействия. Заточение делалось невыносимым, давило все тяжелей, особенно после того, как освободили Мари-Жозе. Еще только сегодня весь его горизонт состоял из стен, коридора, дверей караулки и жалкого клочка неба, расчерченного на квадраты. Дверь на сей раз открылась спокойно, вошел дежурный капрал, за ним двое лейтенантов, один из них сказал капралу:

— Камеры номер три, четыре, семь и девять. Эдуар Лану, Фредерик Берто, Пьер и Родриг Тиффо, Жак Бердье.

Что это значит? Пересылка в другую тюрьму? Или?.. Нет, в это он не решался поверить. Неужто освобождают? Это было бы слишком

прекрасно. Пятерых заключенных привели в кабинет капитана Мадраса, тот долго разглядывал их, потом заявил:

— Итак, господа, вы свободны! Если у вас остались здесь вещи — часы, ремни и все такое прочее, можете получить их у дежурного капрала. После чего — с богом! Дорогу вы знаете, двери открыты.

Завершив все формальности и оказавшись на воле, пятеро освобожденных ощутили вдруг необъяснимую потребность поскорее друг с другом расстаться, оказаться наедине с собой, отринуть от себя даже память о камерах. Лица товарищей навязчиво напоминали о тюрьме, они словно мешали тебе поверить, что вокруг идет обычная — вольная — жизнь. Торопливо пожали друг другу руки и разошлись. И каждый стал наяву проигрывать сцену, которая сотни и тысячи раз грезилась ему в одиночестве камеры. Эдуар остановил пустой автобус и попросил шофера отвезти его прямо в Мартисан.

— Я дам тебе доллар. Только не бери других пассажиров. Идет?

— Согласен, хозяин.

Эдуар сел на заднее сиденье и стал глядеть в окно. Он увидел родные пейзажи, знакомые улицы и магазины, увидел прохожих у Леоганских ворот. Высунул наружу руку, потрогал ладонью западный ветер и радостно улыбнулся. Он узнавал фасады домов, витрины баров, даже приметил несколько знакомых лиц. Ничто не изменилось. Все оставалось точно таким же, каким оно жило в его памяти. Ласково пригревало августовское солнце, стояла чудесная погода. Он вдохнул полные легкие воздуха. Улица пахла чуть-чуть по-другому, потому что ему рисовалось обычно, что из тюрьмы его выпустят ночью. В камере ему почему-то ни разу не пришло в голову, что весь этот долгожданный сценарий развернется средь бела дня, но если не считать двух-трех отдельных картин, все происходило теперь в точности так, как и было предусмотрено. Он вошел в лавку, и мать, увидев его, едва не потеряла сознание. Маленькая сестренка Николь, правда, играла во дворе, а не спала на втором этаже в своей кроватке, как это требовалось по первоначальному варианту сценария, но она с криком: «Крестный! Крестный!» кинулась к брату на шею и крепко его обняла. После того как умолкли первые восклицания, он попросил, чтобы о его возвращении поскорей сообщили Матье. Несколько человек из числа соседей, набравшись мужества, зашли поздороваться с ним, после чего он встал под душ и долго смывал с себя ненавистный запах тюрьмы. Потом побрился и вылил себе на щеки, на затылок, на руки, на грудь чуть ли не полфлакона лосьона «Ярдли». И тогда, наконец, впервые за все эти восемь месяцев он почувствовал себя чистым с головы до ног. С почти сладострастным чувством надел чистое белье, натянул свежевыглаженную белую рубашку, синие габардиновые брюки. Мокасины, правда, немного жали; в тюрьме он отвык от обуви... И вот уже около часа сидит он с Матье в своей комнате. Мать, закрывшая сегодня лавку раньше обычного, дважды выбегала из столовой, где она сидела в обществе двух соседок, и шла скорее к нему, чтобы обнять его, поцеловать, потрогать лицо, волосы, руки, словно желая еще и еще раз убедиться, что сын ее действительно здесь, что он уже дома и жизнь снова входит в свою колею.

— Тебе больше ничего не нужно, Эдуар?

— Нет, мама, спасибо, все в полном порядке.

— А ты, Матье, не останешься с нами поужинать? Эдуар ведь тебя пригласил?

— Да, спасибо, с большим удовольствием, мадам Лану.

А ведь только еще сегодня... Вдруг он резко повернулся к Матье:

— А Мари-Жозе?

Матье улыбнулся.

— Ну, слава богу. А то я все жду, когда ты наконец спросишь. Успокойся, она уже знает. Придет в начале девятого.

Эдуар отошел от окна и сел на прежнее место.

— Как она поживает?

— Прекрасно. Как и полагается влюбленной женщине.

— Влюбленной?

Матье уловил тревогу в голосе друга и весело рассмеялся.

— В тебя, в тебя, старина! Ох, за всю жизнь мне столько не твердили про Эдуара Лану, как за эти четыре месяца! «Не дашь ли ты мне почитать статьи Эдуара о воду́? А вы давно с Эдуаром знакомы? Отведи меня, пожалуйста, к матери Эдуара...»

— Я сам ее попросил повидаться с мамой и рассказать обо мне.

— Конечно, конечно. Но после этого она стала приходить сюда каждую неделю. Посидеть с твоей мамой, потолковать о том о сем, приободрить. А главное, о тебе послушать. Она теперь твою биографию наизусть знает. В каком возрасте ты на ножки встал, сколько тебе было месяцев, когда начали резаться первые зубки, и как ты, бедняжка, коклюшем болел.

Оба засмеялись. Эдуар протянул приятелю сигареты.

— Шутки в сторону,— сказал, помолчав, Матье.— Я очень рад, что у вас так все ладится. Должен тебе сказать, что ты, сам, наверно, того не зная, проделал большую работу. Выйдя из тюрьмы, Мари-Жозе стала здорово нам помогать, она политически очень выросла. Но одна вещь ее все время тревожит — это учеба.

— В каком смысле?

— Ее занятия в педагогическом погорели. Сунулась было к себе на факультет. Куда там! Не берут. Хочет еще раз попытать счастья в начале учебного года. Но я сомневаюсь, чтобы это ей удалось.

— Даже если и не удастся, можно всегда заниматься самостоятельно. Беда только, что диплома это не даст. А партия не могла бы ей помочь?

— Я уже думал. Дать ей стипендию, послать учиться. Например, в Прагу. Не знаю еще. Тут много всяких обстоятельств. Надо и с нею поговорить.

Помолчали. Матье задумался. Стипендия для Мари-Жозе... Необходимый запрос он уже сделал. Но сделал с большой неохотой. Мари-Жозе прямо создана для партийной работы, ячейка в ней очень нуждается, особенно сейчас, когда партия переживает трудное время. Многие товарищи уехали за границу, среди них Бенуа, Мишель, Симон, Эдгар. Другие, после перенесенных в тюрьме пыток, в плохом физическом состоянии. Политическая ситуация сейчас такая, что хуже и не придумаешь. Большинство прогрессивно настроенных людей от борьбы отошли, они устали, пали духом, утратили веру. Но даже с теми, кто сохранил свою веру, ох, как тяжко с ними работать! Все время нужно их расталкивать, тормошить, преодолевать в них это страшное безразличие, все время бороться против проклятой покорности судьбе, против смирения, против душевной апатии, которая все сильнее охватывает людей, да и сам нередко ловишь себя на том, что начинаешь сомневаться в полезности всех этих обсуждений, собраний и споров. Кажется, все впустую, все идет на холостом ходу... Но настанет, непременно настанет день, когда шестеренки зацепятся одна за другую, захватят друг друга зубцами, и машина снова завертится, и дело сдвинется с места, и мы сделаем шаг, еще один маленький шаг вперед... Эдуар совершенно не представляет себе нынешней ситуации, он и не может вообразить, в какой все пришло упадок за те месяцы, что его не было... Лишиться такого товарища, как Мари-Жозе,— это было бы непростительно. Партия уже не раз посылала людей на учебу, лич-

но он может насчитать не меньше сорока человек. Разве все они вернутся в страну, когда завершат за границей учение? Было бы наивностью этому верить. Так зачем же тогда эти стипендии?..

— Наверно, и Мари-Жозе,— сказал Эдуар, уже второй раз поглядывая на часы и с огорчением убеждаясь, что на них еще только половина восьмого,— наверно, и Мари-Жозе то же самое рассказала.

— А? — встрепенулся Матье.— Да, да, разумеется. В марте, когда ее выпустили, она сразу связалась с нами. Ее рассказ окончательно подтвердил наши опасения. Место и время ареста совпадали, было ясно, что женщина, которую вы оба видели,— Пола.

— А Марко? Как он это пережил?

— Мари-Жозе пришлось рассказывать в его присутствии, ей это было мучительно трудно. Ведь она уже знала от меня, что речь идет о Поле.

— Да, представляю себе.

— Мы собрались у папаши Эмиля. Эктор, Клод, разумеется, сам папаша Эмиль, Мари-Жозе, Марко и я. Мы не хотели звать Марко, он пришел случайно, когда мы уже сидели на веранде. Я-то думал, мы выслушаем Мари-Жозе и потом совместно решим, как быть, как подготовить Марко. Ты ведь знаешь, что́ для него значила Пола. С тех пор как она исчезла, после операции «С четырех сторон», и особенно после того, как он переехал к Бенуа...

— Стоп-стоп-стоп! Минутку, Матье! Я уже ничего не понимаю. Что это за операция «С четырех сторон»? И с чего это Марко вдруг переехал к Бенуа? Расскажи по порядку.

Ну, конечно, он ничего не понимал. Он и не мог понять. Нужно было сразу все толком ему объяснить, перебрать по порядку события, которые произошли со времени его ареста...

— Бенуа в Монреале.

— В Монреале?

— Он покинул Гаити в апреле.

— Бенуа? Быть этого не может!

— Тем не менее это так. Ничего другого не оставалось. Сразу после ареста Мари-Жозе произошли новые неприятности. Макуты ворвались на радиостанцию. Бенуа, к счастью, они не застали, иначе, я уверен, они бы опять арестовали его. Макуты разыскивали одного из тех, кто подписал студенческий протест. Помнишь, у Бенуа работал Рибуль, худенький такой паренек, читал иногда стихи в воскресных передачах. В конце концов макутам удалось его отыскать, они взяли его в Карфур-Фёй, но всю неделю радиостанция была оцеплена. Бенуа пришлось скрываться. Потом все уладилось, Бенуа снова приступил к работе. А в начале апреля к нему явился один тип из службы пропаганды и предложил участвовать в большой литературной передаче. Это, мол, патриотическая акция, она назначена на двадцать второе мая, по случаю первой годовщины провозглашения Возродителя нации пожизненным президентом, в нее будут включены тексты речей Высокомудрого доктора, и все завершится этаким коллективным выступлением четырех-пяти поэтов, в том числе и Бенуа; поэты будут читать свои вирши в честь и во славу Пожизненного... Передачу должны были ретранслировать все радиостанции, и служба пропаганды выделила на оплату актеров и прочие расходы две тысячи долларов. Разумеется, владельцам радиостанций и исполнителям досталась бы лишь четверть этой суммы, остальное перешло бы в карман министра информации. Парень из службы пропаганды всячески расхваливал литературные передачи станции 4 VPM и тут же многозначительно намекнул на тенденциозный подбор стихов. Дескать, в этих условиях участие Бенуа в торжественной передаче было бы только в его интересах. Это одна

из первых попыток правительства привлечь писателей на свою сторону, и отказ может повлечь за собой серьезные неприятности, как-то закрытие радиостанции и даже арест. Или Бенуа придется искать убежища в каком-нибудь из южноамериканских посольств... Что тут было делать? Бенуа обещал свое сотрудничество, и чиновник ушел от него в полном восторге. Сам понимаешь, в какое смятение привела нас эта новость. В тот же вечер мы перебрали у папаши Эмиля все варианты, прикидывая, как выбраться Бенуа из этой передряги, потому что, сам понимаешь, об участии в маскараде не могло быть и речи. Выходило одно — бежать из страны. Ничего другого не оставалось. Бенуа сделал вид, что с увлечением трудится над передачей и даже подготовил кусок монтажа из нескольких текстов Пожизненного, которые оставил тот тип, и двадцать пятого апреля, под предлогом срочной поездки в Майами для закупки электронного оборудования, он без всяких проволочек получил выездную визу в Национальном дворце. Через неделю он был уже в Монреале. Вот тебе все про Бенуа.

— Ну и дела,— проговорил Эдуар.— А остальные что? Мишель, Жак? Их-то, надеюсь, на крючок не взяли?

Матье вздохнул, зажег сигарету, встал.

— Ах, здесь столько всякого произошло, пока тебя не было,— сказал он и подошел к окну.

— Их арестовали? — спросил с тревогой Эдуар.

— Слава богу, нет. Жак и Мишель тоже уехали за границу. Мишель выехал в двадцатых числах февраля. Он сейчас в Париже. Помнишь, он всегда об этом мечтал. Вот мечта и осуществилась... Останься он еще немного на Гаити, я думаю, он кончил бы нервной депрессией. А Жак на Кубе, и Жан-Франсуа тоже там, и Родриг, и Симон. Максим теперь вместе с Бенуа в Монреале, Эдгар в Праге.

— Но почему? Почему все уехали?

Матье ответил не сразу. Он подыскивал слова, чтобы как можно точнее объяснить ситуацию:

— Понимаешь, левые силы переживают глубокий кризис. Для нас наступили черные дни. Все небо в тучах. Режим вступил в новый этап, он укрепился, он просочился во все щели. Репрессии дикие, удары сыплются без разбора, по всем слоям общества. Царство великого страха. Страх не только физический, не только боязнь, что тебя арестуют, но и страх за будущее, страх, так сказать, в материальном, финансовом плане. Многим фирмам пришлось сократить свой штат, уволить сотрудников, торговцы в Приморском квартале не скрывают своего пессимизма: товарооборот сократился на шестьдесят процентов, для многих это означает банкротство. И те, у кого есть возможность уехать, не теряют времени и уезжают. Загляни в посольство Соединенных Штатов, зайди в бюро путешествий, ты сам убедишься. Знаешь, сколько человек в день уезжает из Гаити? Сто, дружище, сто человек, осмысли эту цифру! И бегут не только коммерсанты, не только буржуазные сынки, люди с достатком. Нет. Механик, приказчик, счетовод, человек без профессии — все стремятся уехать, всех заразил этот вирус бегства. Заходишь, к примеру, в книжную лавку «Плеяды», замечаешь, что уж недели две не видишь такого-то из завсегдатаев, спрашиваешь хозяина, куда девался такой-то,— и ты можешь быть уверен, что услышишь в ответ: «Уехал в Нью-Йорк». Или: «Он в Монреале». Или: «В Париже». Репрессии, страх, эмиграция приводят к тому, что ряды редеют и у нас, в ПНЕ, и в НПНО [1]. Здесь, в брошетт-маотьерской груп-

[1] Народная партия национального освобождения, представлявшая круги прогрессивной мелкой буржуазии и интеллигенции, с 1965 года переименована в Союз гаитянских демократов, а в 1968 году слилась с Партией народного единения, образовав Объединенную партию гаитянских коммунистов. Действует в подполье.

пе, у нас осталось всего шестеро активных членов. В Петионвиле и того меньше — двое. В Бель-Эр и Карфур-Фёй практически нет людей. Лишь Пон-Сен-Жеро еще в силах кое-что сделать. Почти весь левый лагерь заражен недугом неверия. Люди избегают всего, что связано с борьбой. Если они и соглашаются с тобою поговорить, их оценка событий настолько мрачна, они настолько убеждены в невозможности что-нибудь сделать, что считают тебя полным дураком, если ты им предлагаешь продолжать борьбу. Так прямо и заявляют, что ты сумасшедший. Нужно здорово верить в будущее, чтобы заставить себя работать. К счастью, в университете, в лицеях дела обстоят чуть получше. Вместе с товарищами из Пон-Сен-Жеро мы сумели организовать нечто вроде учебного центра, но и тут приходится действовать с большой осторожностью. Главное в партийной работе заключается теперь в привлечении новых сил. Мы стараемся также извлечь из наших неудач уроки, пытаемся перестроить работу. Прежде всего необходимо заново осмыслить самую суть нашей борьбы, пересмотреть средства для достижения цели. Это будет совсем нелегко.

Матье замолчал. В окно залетел запах жареного мяса, и он почувствовал, что проголодался. Эдуар сидел, упершись локтями в колени, опустив голову на руки и уставясь в одну точку. Матье подошел к нему, тронул за плечо.

— Ну, ну, не унывай,— сказал он.— Не для того я тебе все это рассказываю. Сейчас тяжелое время, но оно обязательно кончится. А *когда* оно кончится — это зависит от нас, только от нас.

Матье снова сел, погасил сигарету, налил себе рома.

— Дела! — пробормотал Эдуар.— Да, такого я и представить себе не мог. Как я радовался, что снова вас всех увижу!..

Сколько раз в своей камере он представлял в малейших деталях свое возвращение, перебирал в памяти лица товарищей, и каждого наделял своей ролью, и вспоминал их любимые присловья, их привычные жесты, их сердечную теплоту. Шли дни и недели, и он все упрямее думал о том, как обрадуются они, когда он вернется. Обстановка встречи порою менялась. То она происходила у Бенуа, в большой комнате Инкубатора, то в галерее Брошетт. Жак обязательно напишет для него стихи. Из всех поэтов группы Эдуар больше всего дружил с Жаком. Бенуа, конечно, посвятит ему очередную воскресную передачу. Такой подарок он уже преподнес однажды Клоду и Эктору, когда их выпустили из тюрьмы. «Дамы и господа, мы с особенным удовольствием посвящаем сегодняшнюю поэтическую программу нашему другу Эдуару, который после долгой болезни опять с нами». Эдуар будет слушать передачу дома, в гостиной, вместе с Мари-Жозе и с матерью. Или нет, пожалуй, лучше у Бенуа, вместе с Мари-Жозе, Матье, Эдгаром, Жаком и со всеми другими. Мишель прикатит на своем Пегасе вместе с Надин, и она подарит ему сувенир, скорее всего какую-нибудь керамическую фигурку. Габриэль преподнесет ему картину. Это будет его, Эдуара, праздник. Папаша Эмиль притащит бутылку «барбанкура» многолетней выдержки. Пола и Марко явятся вместе, и скажут: «Сегодня праздник не только Эдуара, но и Мари-Жозе»,— и расцелуют обоих. Ах, Пола!.. Но Пола мертва, а Марко...

— А Марко? — спросил Эдуар.

— Марко?.. Да, да,— отозвался Матье,— нужно тебе и о нем рассказать. Нет больше прежнего Марко. Он отошел от всего. Когда гибель Полы окончательно подтвердилась, это его доконало. Теперь он совсем другой человек. Ведет жизнь отшельника. Днем сидит в архитектурной мастерской, вечером запирается у себя в бунгало. Что он там делает, одному богу известно.

— Но нельзя же предоставлять его самому себе! Надо его навестить. Заставить его выходить, встречаться с людьми.

— Поверь, мы сделали для Марко все, что могли. Пытались его развлечь, поддержать морально. Накануне своего отъезда Бенуа предложил ему поселиться в Инкубаторе, он надеялся, что тем самым Марко будет поближе к нам, к папаше Эмилю, к Эдгару, ко мне. Но все наши попытки, вся теплота и дружба привели лишь к тому, что Марко стал еще более раздражительным, еще больше замкнулся. Дважды я приходил к нему в бунгало. На мои вопросы он отвечал односложно и опять угрюмо молчал. Он даже не ответил ни на одно письмо Бенуа, а ведь ты знаешь, какие они друзья.

— Как ты думаешь, меня он захочет принять? — спросил Эдуар.— Может, я как-то его расшевелю...

— Даже не знаю, что тебе сказать. Но мне вспоминается одна сцена. Сидели мы как-то на радиостанции, и Марко туда зашел. Я ждал Мари-Жозе, у нас была назначена встреча. Она пришла, Марко ее увидел, прошипел: «Вестница смерти» — и тут же ушел, ни с кем даже не попрощался. Так что трудно угадать, как он тебя встретит.

— Самое худшее, что может произойти, это что он откажется меня впустить.

Матье выпил ром, поставил стопку на маленький столик.

— Не знаю, что ты задумал, но если ты всерьез решил его повидать, надо попытаться.

— Скажи, Матье, а ты не находишь, что все это странно? У парня макуты схватили жену, надругались, пытали, потом убили, а он сидит сложа руки!.. Заперся в четырех стенах, месяцами не хочет ни с кем встречаться. Если б такое со мной случилось! Если б эти скоты хотя бы пальцем тронули Мари-Жозе! Да я бы с ума от ярости сошел. Все бы кругом разнес! Уж я бы дома сидеть не стал! Не знаю, что бы я учинил, может, бросился бы в одиночку Национальный дворец штурмовать. Меня бы, конечно, убили, но я успел бы и из них наделать котлет. Ты слышишь? Я бы этим мерзавцам показал!..

— Охотно тебе верю,— сказал Матье.— Но не суди так поспешно. Ты кое-что не учитываешь. Полу арестовали тринадцатого февраля, а Мари-Жозе подтвердила наши подозрения только в конце марта. В первые дни после исчезновения Полы надо было прежде всего думать о безопасности группы. Те из ребят, кто в связи с провалом Полы прежде всего мог опасаться ареста, немедленно скрылись; в первую очередь Марко. У нас не было гарантии, что Пола ничего не скажет. Но прошло три дня, макуты никого из наших не трогали, и тогда мы начали размышлять. Вариантов могло быть немного. Или Пола убита на месте, или она не сказала под пыткой ни слова. И третья возможность: ее задержали случайно, уже за пределами университетского квартала, когда она возвращалась домой. И тогда при ней не должно было быть никаких компрометирующих материалов. И мы бы в конце концов обязательно узнали, где ее держат — в Форте-Диманш, в казармах ли Дессалина, или в полицейском управлении, или в Большой тюрьме. Кто-нибудь ее непременно бы увидел и сообщил родным или друзьям. Но Пола как в воду канула. Никаких следов. Что бы ты делал в такой ситуации? Только бы ждал и волновался. А у Марко еще и чувство вины...

— Вины? Какой вины?

— Он отвечал за эту часть операции «С четырех сторон». И поручил Поле университетский сектор именно он.

— А что это за операция «С четырех сторон»? Ты один раз уже упомянул о ней сегодня.

— Ах, да, конечно,— спохватился Матье,— я тебе пока не все объяснил. Мне, наверно, и вечера не хватит, чтобы рассказать тебе обо всех наших делах. Помнишь, еще в декабре мы начали говорить, что надо бы подготовить какую-нибудь крупную операцию, такую, чтобы она была броской, эффектной. И вот в начале февраля нам стало известно, что Блоюс устраивает у себя на вилле Мюссо большой прием по случаю своего дня рождения. Съедется большое начальство, все макутские главари; не исключено, что на праздник пожалует сам Пожизненный. И мы решили напасть тогда на виллу.

— Силы небесные! — вскричал Эдгар.— Вы атаковали виллу Блоюса?

— Погоди, не спеши. Осуществить операцию предусматривалось в два этапа. С девяти до половины десятого Макс и Ив расклеивают листовки в торговом квартале, Эдгар берет на себя участок Лицей — коллеж Петиона — Сен-Марсиаль, а Пола — университет. Без пятнадцати десять с листовками должно быть закончено, потому что в десять ноль-ноль другая группа атакует виллу Блоюса. Гранаты, взрывчатка — и мы...

Шаги и возбужденные голоса в гостиной прерывают Матье на полуслове. «Эдуар!» Распахивается дверь, на пороге — Мари-Жозе. Эдуар, который весь вечер ждал этой минуты, вдруг теряется. Он неподвижно сидит в кресле и смотрит на девушку в белом. Потом, стряхнув оцепенение, вскакивает, раскрывает объятия.

— Мари-Жозе!

Она приникает к его груди.

Матье тихо выходит из комнаты. В гостиной мадам Лану берет его за руку и говорит с видом сообщницы:

— Скоро будем ужинать. А пока пусть они немного побудут вдвоем.

■

В Порт-о-Пренс пришел великий пост. От растопленного на солнце асфальта поднимался сухой пар, неистовый ветер срывал с прохожих соломенные шляпы, заставлял пугливо вздрагивать над магазинами вывески, проникал в любую щель, яростно хлопал дверьми, сердито качал деревья, он хрипел, свистел и завывал, он юлил у женских ног и вдруг вороватым движением высоко задирал у женщины юбку. Потом, так же внезапно угомонившись, устало валился на горячую землю.

В Порт-о-Пренс пришел великий пост. Ветер и солнце. Сухая жара. Асфальт вздыхал под ногами. Витрины лавок в торговом квартале ловили и отражали солнечный свет, под ударами ветра покачивался перегретый воздух. И всесущая пыль, пользуясь ловко моментом, срывалась с насиженных мест, пускалась в дорогу, липла к витринам, укладывалась на прилавки, въедалась в одежду и кожу. Пыль.

Ветер и солнце. Пыль и жара. Это и есть наша жизнь. Солнце в глазах, жара в голове. Пыль в глазах и в горле, и еще ощутимей становится привкус земли, который мы чувствуем с первых минут своего появленья на свет. А ведь бывает целебная пыль, говорящая о процветании. Благодатная пыль, угольная или рисовая, щедрая пыль работы, здоровая, животворная пыль, дающая сердцу надежду, эта пыль — как подтверждение труда, как оправдание пота, уверенность в завтрашнем дне. Заводская пыль. Пыль торговых кварталов, которая отдает духами «Шанель» и сушеной треской... Но наша теперешняя пыль тяжела и бесцветна; она стелется по земле, пресмыкается под ногами, она отвратительно преет, собираясь в темных углах, она по-

добна отбросам. Наша пыль стыдится себя и с досады дает нам пощечины. Она ужасно пресна и не пахнет ничем, даже дерьмом. Бесцветна, суха и мертва. И никому, ни гадалке и ни следопыту, нипочем не прочесть, что записано, что зашифровано в беловатых этих налетах, лежащих безжизненной пленкой на тротуаре и под бетонными тумбами. Скучная пыль, несчастные атомы, которые ветер безжалостно трет о мостовую и стены. Ветер причудливо лепит из пыли то волны, то лабиринты гребней и холмов. Ни колдуну, ни гадалке не разобраться в значении этих узоров. Пыль, немая, безликая пыль. Ей только бы липнуть к подошвам прохожих, забиваться с отчаянья между пальцами босоногих грузчиков, слоняющихся без дела, ей бы только досаждать калекам и нищим. Пыль и сама, точно нищенка, назойливо тащится за тобой, нагло цепляется, угрожает. Пыль паразитирует на городе, гложет дома и людей, как болезнь.

Марко отшвырнул ногой по направлению к водостоку пустой пакет из-под молока «Карнасьон». Пакет скользнул по тротуару, раскололл зеленоватую поверхность жижи, шумно плюхнулся в водосток, который незамедлительно проглотил его, прожорливо чавкнув. Молоко «Карнасьон», чистое, обезжиренное, пастеризованное молоко, разлитое в пакеты для извращения потребительских вкусов. Молоко «Карнасьон» — чистое, выпаренное молоко, в котором от молока не осталось ничего, кроме цвета. Пакет из-под молока «Карнасьон», ты попал в жадную пасть водостока, и она хватает тебя тысячью своих невидимых зубов, затягивает в сырую глубину и медлительно жует, перемалывает тебя в сероватую кашицу, потом удовлетворенно глотает. Звучное чавканье. Ненасытная, жадная пасть водостока. Ты сожрешь, ты примешь и переваришь все, что тебе дадут, ты как дыра в полу моей комнаты, слопавшая для начала пять старых номеров «Нувеллиста». Марко повернул влево, к Выставочному городку, надеясь найти под навесами тень. Когда она впервые появилась в углу моей комнаты, возле стены, отделяющей комнату от туалета, я подумал, что это крысиная нора. Заткнул ее пятью номерами «Нувеллиста». Заткнул на первое время, чтобы потом заделать цементом. Наутро все в том же месте нагло зияла дыра. Старых газет как не бывало. Ни клочка, ни обрывка. Наглость прожорливой крысы. Сожрала всю бумагу, распечатала щель. И не оставила ни малейших следов. Неплохая работа для одной-единственной крысы. Надо признаться, это какая-то странная крыса, которая не поленилась прибрать за собой, удалить все следы, чтобы не выдать своего присутствия. Насколько мне известно, крысы бумаги не едят. Они изгрызают ее на кусочки, делают ленты и кружева, но бумагой они не питаются. Вот и спрашивается, что же сделала моя крыса с этими старыми газетами, которыми я так старательно забил дыру до самого дна? Что она с ними сделала?.. А довольно забавно расставлены здесь эти куклы. Марко шел мимо лавок и магазинчиков и поглядывал на витрины, в которых выставлены были маски, и негритянские головы, и прочие поделки из красного дерева, и всякого рода вышивки, и пестрые ткани, и яркие платья с узорами на тропические сюжеты, и расшитые кофты, и шляпы из латании или сизаля. Товары медленно проплывали перед глазами, иногда убыстряя движение. Планы менялись. Наплыв. Наплыв. Смещение фокуса. Крупный план. Порой лента прокручивается в обратном порядке: шляпы, расшитые кофты, тропические сюжеты на платьях, ткани, вышивки, африканские головы, маски. Стена. Стеклянная дверь и снова витрины, новая серия. Куклы в платочках и длинных синих платьях; браслеты, серьги и брошки, черепаховые, медные, терракотовые. Лавки сувениров. Картинки для туристов. Изделия местных кустарей вперемешку с импортными товарами. Тьфу ты черт! Он споткнулся о выбоину в тротуаре и чуть не

упал. Поделом! Нечего пялиться на витрины. Не можешь смотреть себе под ноги, как все люди? Забыл, что эта сторона Выставочного городка оседает, что насыпь, которая и тогда-то была сделана кое-как, местами совсем развалилась под ударами моря. Стены домов дали трещины, тротуар вздыбился и прогнулся, там и сям зияют дыры, в щелях гниют отбросы. Марко заглянул в одну из таких щелей. Торговец соками нашел для себя великолепную помойку, лучше не бывает. А управление общественных работ и не подумает прикрыть дыру цементной плитой. Больно им нужно этим заниматься! Впрочем, плиту бы тоже сожрали крысы, как мою бумажную затычку... Да, надо купить цемента. Если только найду хороший. У папаши Эмиля цемент, пожалуй, выдохся. Он и в прошлый раз был уже слабый.

— Мне масла на десять сантимов!

— А? — дремавшая за кассой старая Анна вздрогнула и проснулась.— О, Марко! — Она засмеялась дребезжащим смехом.— Как ты меня напугал!

— Не будете спать на работе, Анна.

Он поцеловал ее в потный лоб.

— Попробуй не заснуть в такую жару... Не понимаю, чего я вообще не закрываю лавку на эти часы.

— Наверно, из-за покупателей, Анна.

— Покупатели... Какие сейчас покупатели?

— А я? Разве я не покупатель? Мне мно-ого чего надо купить. Масла на десять сантимов.

— Ты все такой же шутник!

— А папаша Эмиль, наверное, отдыхает?

— Да, как обычно, на веранде.

— Не знаю, стоит ли его тревожить...

— Он только будет рад. Ты такой редкий гость, Марко.

— Работа! У меня в последнее время особенно много работы.

Он прошел через лавку в коридор и поднялся на веранду, где папаша Эмиль, вооружившись садовыми ножницами, обрезал на плюще сухие ветки. Услышав шаги, старик обернулся, лицо осветилось улыбкой.

— Марко, какой приятный сюрприз!

— Как поживаете, папаша Эмиль? Вижу, вы с головой в работе.

— Что поделаешь, надо же иногда срезать засохшие ветки. Входи же, садись.

— Нет, нет, я на минуту. Хотел узнать, не осталось ли у вас немного цемента.

— Цемента?

— Ну да, мне надо в Инкубаторе дыру заделать. Возле туалета. Пол там оседает, что ли, надо бы укрепить цементом. Не знаю, отчего это произошло. Выгребная яма от дома довольно далеко, вряд ли это из-за нее. И трубы как будто не протекают.

— Может быть, крысы? У нас тут в округе они попадаются.

— Тоже вряд ли. Снаружи нет никакого отверстия, дыра образовалась изнутри, в комнате, у стены, которая отделяет ее от туалета.

— Да, чтобы поддерживать дом в хорошем состоянии, нужен все время какой-то ремонт. По-моему, в лавке у меня оставался цемент. Тебе много нужно?

— Да нет, фунтов пять-шесть, не больше.

— Лопатка у тебя есть?

— Нашел одну во дворе на складе. Там есть и щебенка, и немного

белого песка осталось. Вполне хватит, чтобы заделать дыру. Но мне все это кажется странным.

— Я вижу, ты встревожен.

— Нет, нет. Но сомнения возникают. Вокруг дыры совершенно нет мусора. Если бы это была крыса, я заметил бы следы ее работы. Но нигде ничего не видать. Поэтому я и подумал про оседание почвы.

— Думаешь, что-то серьезное?

— Понятия не имею. Я зацементирую дыру и, если она снова откроется, приглашу кого-нибудь из нашей конторы, пусть замеры произведут.

— А с фундаментом там все в порядке?

— Как будто. Дом построен всего восемь лет назад, и почву под фундаментом утрамбовали как надо. Ладно, поглядим, что будет дальше. Так где у вас цемент?

— Ах, да... Внизу, под левым прилавком. Сейчас я тебе его дам.

— Нет, нет, не беспокойтесь, папаша Эмиль, кончайте вашу работу, я сам все найду.

«У тебя сейчас такой важный вид, с этим цементом под мышкой... Скоро проклятая дыра получит по заслугам, скоро ты ее, негодяйку, заткнешь!.. Скажи, ты в самом деле думаешь, что на этом все кончится?»

«Почему бы и нет?»

«Значит, этот цемент, по-твоему, крепче, чем тот?»

«Какой такой тот?»

«Марко, не строй из себя дурачка, ты прекрасно понимаешь, о чем я толкую. В Инкубаторе пол на бетонной прокладке, бетон никакому грызуну не по зубам. И оседания почвы там быть не может. Если, конечно, Инкубатор не возвели на подземной пещере. Но тогда ты имел бы не дыру пятнадцати сантиметров в диаметре, тогда в твоей комнате провалился бы пол».

«Паркет весь в полном порядке, я проверял».

«Знаю, что же тогда?»

«Что — что же?»

«Как ты объясняешь возникновение этой дыры?

«Трубы в туалете могли дать где-нибудь течь. Вода просочилась под землю, вызвала под фундаментом сдвиг грунта, почва осела и...»

«И появилась дыра. Все очень просто! Но позволь задать тебе один вопрос. Как ты объясняешь тот странный факт, что по краям дыры нет никаких следов?»

«Поскольку речь идет об оседании...»

«А бумага?»

«Какая бумага?»

«Старые газеты, которыми ты законопатил дыру,— они тоже осели? С их-то крохотным весом?»

«Засасывание. Их втянуло внутрь».

«Ах, вот как! Их, значит, втянуло! Я вижу, у тебя на все заготовлен ответ».

«Не понимаю, куда ты клонишь».

«Ты понимаешь не хуже меня. Я считаю эту историю по меньшей мере странной и не могу об этом не думать».

«Ты мне надоел. Дыру я сейчас заделаю. Понимаешь, заделаю. Через десять минут ее больше не будет. У меня есть цемент, щебенка, белый песок. Гляди, вот цемент, вот песок и щебенка. Сейчас приготовлю раствор».

В глубине сарая Марко отыскал старое ведро, насыпал в него

песка и цемента, подлил немного воды. Перемешал смесь лопаткой, добавил еще цемента, опять размешал. В бидон из-под керосина ссыпал щебенку и битый кирпич и вышел из сарая. Щурясь от яркого солнца, пошел к Инкубатору. В дом вошел через кухонную дверь. Поставил в комнате на пол ведро и бидон, присел на корточки возле дыры. Острием лопатки поскреб края, ощупал дно. Встал, принес в кувшине воды, смочил дыру по краям. Вылил остаток воды на щебенку и принялся за работу. В несколько минут все было готово. Загладил лопаткой сырую поверхность цемента. Отлично! Прибрал, подмел, пошел в туалет помыть руки. В зеркале над умывальником улыбнулся своему отражению. Вычистил щеточкой грязь из-под ногтей. Черноватая мыльная вода покрутилась воронкой над сливом, с глухим бульканьем канула в пустоту.

«Засасывание. Буль-буль. Раствор и щебенка. Буль-буль. В дыре опять происходит засасывание. Крок-крок. Блок-блок. Щебенка и битый кирпич неудержимо втягиваются в пустоту. Флук-кук, флукук. Раствор срывается с места, оседает, скользит, просачивается между кусков кирпича и уходит. Фью-туфф. Буль-буль-баль. И снова дыра...»

Марко выскакивает из туалета, наклоняется над бывшей дырой. Все на месте. Гладкий цемент. Ничто не сдвинулось ни на волосок. Все в полном порядке. Он тихонько хмыкает и возвращается к умывальнику. Видит себя в зеркале, улыбается, показывает своему двойнику язык, скалит насмешливо зубы.

«Болван!»

«А признайся, ты сдрейфил. На минуту поверил всему, что я тебе тут наплел. Настолько поверил, что прямо увидел дыру».

«Было такое, поверил. Но теперь все заделано напрочь. Залито, забито, зацементировано. Твои дурацкие домыслы — чистейшая липа. Дыра как дыра, и ничего тут нет странного, что она появилась в углу, у стены туалета. Чисто физическое явление, мой дорогой. Чисто физическое». Он вытер руки, вернулся в комнату, взял лопатку, ведро и бидон, отнес их в сарай.

Марко снова сощурился от яркого солнца. Ветер плеснул в лицо запахом моря. Марко замедлил шаг, пропустил автобус и перешел улицу возле бара «Sunset».

Постоял в нерешительности, не зная, что выбрать,— крытую волнистым пластиком веранду или пахнущий кожей бар с кондиционированным воздухом. На веранде снова заколебался, сесть ли за обычный свой стол, слева, в глубине, возле рощицы карликовых пальм. Наконец, решился — сел, как обычно, лицом к улице.

— Здравствуйте, мосье Дени.

Официант провел тряпкой по пластику стола.

— Привет, Гримо! Что нового?

— Никаких новостей.

Гримо постелил на стол скатерть в красно-белую клетку, поставил пепельницу.

— Заказ — как всегда?

— Да, кварту рому, бутылку содовой и...

— ...и побольше льда. И бифштекс с картошкой.

— Ты просто телепат.

Гримо бесшумно исчез.

Один-два раза в неделю ты повторяешь те же движения. Садишься за этот стол. Это стало привычкой. Приходишь каждый четверг. День ваших солнечных встреч. Это она их так называла. Ты успевал пропустить стаканчик-другой, и перед тобой появлялась она, появ-

лялась она со своею улыбкой, обладавшей удивительным даром что-то мгновенно менять в обстановке, в классической обстановке гаитянского бара-ресторана, с его коваными решетками, клетчатыми скатертями, декоративными растениями, приглушенной музыкой. По четвергам она занималась в здании Французского института и к четверти первого приходила на эту веранду. И всегда бывала точна, не опаздывала на свидания. Почему тебя тянет сюда? Привычка ли это, идти из конторы на веранду бара «Sunset» или, может, ты еще на что-то надеешься? Да, в душе, подсознательно, ты еще веруешь в чудо. С того четверга, когда начиналась операция «С четырех сторон», ты ее больше не видел. Девчонка, скакавшая по склонам холма, канула в небытие. Платье ее разодрали колючки, острые камни изрезали ноги, запутались руки в сплетении лиан, под ногами разверзлись расщелины, растаяла песня и треснула флейта.

— Бифштекс с картошкой будет готов минут через пятнадцать—двадцать. Вы можете подождать?

— Что?.. Ах, да, конечно.

Официант ставит бутылку рома, содовую и ведерко со льдом на скатерть в красно-белых квадратах и удаляется. Марко щедро наливает себе рому в стакан, добавляет немного газированной содовой, ждет, когда кубики льда охладят эту смесь, и осушает стакан. Первый стакан он всегда выпивает залпом. Наливает опять, приподнимает стакан, ставит на красный квадрат на другой стороне стола.

«Шах и мат!»

«Браво, ты выиграл! Требуй всего, что желаешь!»

«Выпей, моя Королева. Я Король влюбленных. Я верный твой Шут».

«Тогда пей за мое здоровье!»

Марко снова берет стакан, подносит к губам и выпивает до дна. Прохладный напиток медлительно входит в жилы. Марко откидывается на спинку стула, чуть заметно потягивается, смотрит на улицу. Из Французского института вышла группа студентов, на эспланаде ее встречает сильный порыв ветра. Один-два раза в неделю ты являешься на эту веранду. Покидаешь просторную залу с чертежными досками и с прохладой кондиционированного воздуха и садишься в левом углу, на веранде бара «Sunset». С этого места отличный обзор. Полуденное солнце мечет в море огонь, и вода сверкает, будто отполированная стальная пластина. Кое-где на черте горизонта белеют треугольнички парусов. Поближе к тебе, по эту сторону бегущей вдоль берега решетки, листья низкорослых кокосовых пальм неистово плещутся на ветру, словно желая скорее стряхнуть с себя весь этот нестерпимый блеск. Но вертикальные блики упрямы и цепки, блики дрожат и скользят, гаснут на миг, появляются снова, рассылают по всем направлениям огни. Листья кокосовых пальм теряют последнюю выдержку, мечутся, хлещут по воздуху и вдруг, повинуясь усталости ветра, опадают лениво и дремлют в привычной апатии, вздрагивая во сне. Поближе к тебе, по эту сторону красновато-коричневой решетки, разлиновавшей морскую поверхность на четкие ромбы, растут карликовые кокосовые пальмы, привезенные сюда из Майами во время Всемирной выставки по случаю двухсотлетия Порто-Пренса, и лежит бульвар Гарри Трумена — аккуратные массивы садов. Слева — здесь ты, пожалуй, угадываешь, а не видишь — сверкает железная крыша Французского института, чья литая узорная арматура пропускает и ветер, и свет. Тебе не видна эта крыша. Ты знаешь, что она есть. С твоего места ее не увидишь. Навес над верандой бара «Sunset», навес из просвечивающего пластика, закрывает сверху весь кадр. Ты ведешь панорамную съемку — ведешь ее понизу,

вдоль фасада из кованого железа, где чередуются геометрические линии, древнегреческие мотивы, пчелиные соты, которые своей нарочитой хрупкостью перекликаются с прозрачной фактурой крыши. Чуть ниже — бетонированная эспланада, раскаленная полуденным солнцем, рядом с нею газон, опоясанный зарослями кретона, алтеи, розовых лавров. А дальше асфальт. Ленту асфальта пересекает женская фигура. Каблучки впечатываются в вязкость гудрона. Ноги стройные, чуткие, длинные, очень красивые ноги. Ты их узнал. И ощущаешь в ладони теплую тяжесть икр, нежную их упругость. Рука поднимается выше. Твердость колена. Бархат бедра. Плавно качаются бедра в ритме постукивания каблучков, что по дорожке, через газон, направляются к бару «Sunset». Ты пытаешься справиться с сердцем, приготовить его, его и несколько первых слов, и улыбка твоя устремляется вместе с тобою, как в каждый четверг, устремляется к ней, к этой женщине, что подходит к столу.

— Я тебя не заставила ждать?

— Я всегда тебя жду. Даже если ты рядом, со мной.

— От меня можно ждать любой неожиданности?

— Нет, просто каждую минуту я заново открываю тебя.

— Разве осталось хоть что-то, чего б ты еще обо мне не знал?

— Я в тебе ничего не знаю. Вот твое лицо, уж, казалось бы, я знаю его! Но оно никогда не бывает одним и тем же. Оно непрестанно меняется. Надеваешь другое платье — ты уже вся другая. Твой голос, он тоже разный все время. Он может быть оживленным, пронзительным, низким, нежным, гневным, ласковым, любящим, сладострастным. Я никогда не знаю заранее, какою сегодня ты предстанешь передо мной.

— Значит, Марко, я для тебя загадка?

— Вот уж нет! Я знаю тебя насквозь, я могу угадать любую твою реакцию.

— Чего же тогда ты не знаешь во мне?

— В какую все это выльется форму, вот чего я не в силах предвидеть. В этом, наверно, и есть твое обаяние. Твое очарование. В волшебном смысле этого слова.

— Я тебя люблю.

— Пока я буду слышать от тебя эти слова, в моей жизни будет смысл.

— Он уже есть в твоей жизни, Марко.

— Борьба?

Пола взмахивает ресницами и внезапно становится очень серьезной.

— Да, борьба, и она должна быть для нас в жизни важнее всего.

— Нет, Пола. Борьба не может быть чем-то особым, что лежит за пределами каждодневного бытия. Борьба — не религия. Она — проявление любви. Вопроса, почему я сражаюсь, я себе не задаю. Не почему, а за кого. Я сражаюсь за тебя, Пола. За женщину, которую знаю, к которой могу прикоснуться, могу ее ласкать, целовать, могу обнять. Которую люблю. Я сражаюсь за всех, кто мне дорог, кого я знаю, к кому могу прикоснуться, с кем могу поговорить. Я сражаюсь за всю свою родину в целом, это верно, конечно. Но моя борьба рождена тобой, она связана с тобой. Я не мог бы сражаться ради людей, которых не знаю. Все начинается с живого теплого существа, понятного, близкого, из плоти и крови.

Марко осушил стакан и опять приготовил смесь рома с водой. Третий. Если прислушаться, можно сквозь расстояние уловить ропот волн, набегающих на берег, ударяющих в мол.

Лечь на солнце, вытянуться на песке, слушая краем уха, как всплескивает волна, как, мягко шурша, перекатываются тысячи мелких ракушек. Под плотно закрытыми веками нескончаемо сыплются, льются падучие звезды, тянутся яркие шлейфы, кружатся круги. Лежать неподвижно под солнцем на морском берегу, а мысли пускай плывут по течению и придумывают все, что хотят. Мир больше не знает проблем и конфликтов. Люди счастливы, люди живут как полагается людям. Солнце печет. Время от времени ветер тебя задевает прохладной ладонью, и на долю секунды тебе становится зябко, пробегает гусиная кожа, и всеми порами тела ты уже жаждешь опять благодатной жары. Колыбельная волн, совершенство блаженное мира. Свежесть моря, жара, сумасбродные грезы. Омываемый лаской мира, ты плывешь по волнам безбрежья, ты, счастливая, гладкая, нежно смазанная частица замечательного механизма. Птичий крик прорезает цветастую ленту видений и гаснет. Сквозь внезапную щель, расколовшую пение моря, до тебя долетает смутный гул далекого города. Трудового, живого, прекрасного города, столицы счастливой страны, где сам ты — звено в могучей цепи рабочего братства. Скоро закончится день, и вечер придет, с ним отдых, веселье и танцы. Детские грезы. Ла-Салин, нарядная гавань, чистая, отмытая от вековой своей грязи, принимает радостно шхуны со свежим уловом. Тазары, негритянские головы, бекины, розовые сарды[1]. Запахи жареной рыбы. Масло шипит и потрескивает. Детский смех, крики, песни, тамтамы. Народ, счастливый народ, наконец добившийся права на жизнь. Детские грезы. Выше, дальше, далеко за пределами города, всюду, насколько хватает глаз,— возделанные поля. Трубы заводов и винокурен дымят ради общего благоденствия. Города и деревни — как зерна огромного ожерелья. Вся страна — точно улей, где радостно трудятся пчелы. Многокрасочный Порт-о-Пренс. Крепкий город, залитый солнцем, гордый своими детьми. Мужчины и женщины, открытые взгляды, на лицах улыбки, в сердце свобода... Поднимаются веки, глаза открываются, все исчезает, нет и тени желанного мира, нет и в помине прекрасной гармонии, на минуту возникшей в мозгу. Мир счастливого детства, мелькнувший на миг под закрытыми веками, разом растаял, и вокруг только мерзость и смрад, руины и рабство, угнетение, жестокость, порок. Валяются на песке обломки кораллов, злобно вырванные из родной подводной стихии. Грейпфрутовая кожура, задубевшая от морской соли, волосатая скорлупа кокосовых орехов. И яичная скорлупа, в которой кишат насекомые. Выпотрошенные крабы. Гниющие водоросли. Засохшая слизь медуз.

— Посмотри-ка, что я нашла.

Пола кладет на песок, у самых глаз Марко, свою соломенную шляпу, наполненную ракушками.

— Сокровища моря. Моя добыча. Коралл. Погляди! Правда, похож на собаку? Гав-гав-гав!

Она кладет находку ему на живот. Обломок еще мокрый, Марко вздрагивает, вертит его в пальцах.

— И верно, очень похож на собаку.

— Жалко, что здесь только одна половинка. Собачий профиль. Мою морскую собаку расколола волна... А вот это, гляди, это...

— Это дисковидная раковина морского ежа, в просторечии именуемая «песчаным долларом».

— Спасибо, господин учитель. А это ракушка с розовыми прожилками, а это морская звезда, высушенная солнцем.

Смутный гул городской — уже не гудение улья, а скрежет и

---

[1] Местные названия тропических рыб.

стон, вопли, плач и мольба. Город теперь — это яичная скорлупа, давшая трещины. Мир счастливого детства, на секунду построенный в грезах, рушится и оседает, изъедаемый липким недугом. Волшебные замки, детские грезы... Для песочных морских городов, воздвигнутых летом на пляже, смертельны дожди сентября. Дожди сентября размывают дворец, разрушают башню и замок. Ливень молотит, колотит, долбит. Злые тяжелые капли вонзаются копьями в древнюю площадь общественных сходок. Капли, как пулеметная очередь, вонзаются в стены домов. Песочные крепости детства попадают в коварные сети дождей сентября. Опасные зоны. Запретные зоны. Дома́ — одиночные камеры. Город — карцер. Гаити — тюрьма.

Твой взгляд покидает вереницу правильных ромбов, окаймляющую морской берег, и передвигается к белому треугольнику на линии горизонта. С твоего места он кажется неподвижным, но ты знаешь, что сейчас его мерно качает волна. Рыбаки вытягивают из воды на палубу сеть, соленые брызги оставляют на черной коже белые следы, рисуют контуры неведомых островов. Рыба в трюме трепещет и бьется, рыба пляшет в ритме песенки, напеваемой капитаном:

Mrin tendé oun Kanno ki tiré o
ki tiré ki tiré ki tiré
mapral mandé Agoèt-Arroyo sasa ié[1].

Ты догадываешься, что на борту кипит работа, ты словно видишь четкие жесты людей, слышишь их крики, соленые шутки, что искрятся на солнце в заливе Порт-о-Пренса. Море — как гладкая металлическая пластина. Глядя на море, хочется пить. В чем же заминка — протяни только руку, а вот он рядом с тобой, на шахматной красно-белой доске — твой запотевший стакан. Шут Короля. Шут Королевы. И твоя Королева сидит напротив тебя. Юный солдат принес ей бокал фруктового сока. Она отпивает глоток. Ей тоже хочется пить.

— Листовки готовы?

— Да. Эдгар, Макс и Ив взяли свою долю.

— Прекрасно. Значит, все поняла? Этнографический факультет, юридический, стоматологический. Мимо медицинского быстро проходишь, наклеиваешь две-три на стену. Только не на фасад, там слишком открытое место. Если останется несколько штук, бросаешь их за ограду и убегаешь по направлению к клинике. Потом идешь к административному корпусу, садишься в автобус и едешь домой. Без пятнадцати десять чтобы тебя на улице не было! Ты должна быть дома. Это главное, Пола. Дома. Нельзя попадаться к ним в лапы, когда при тебе листовки. Слышишь, Пола? Нельзя! И не наклеивай листовок на фасад медицинского факультета. Это будет нарушением приказа. Ради бога, не на фасад! Не ходи туда, Пола. Тебя арестуют, будут бить и пытать и убьют, потому что ты им не скажешь ни слова. Пола, ни слова. Ты не сказала ни слова. Ты рта не раскрыла. Ты не разжала зубов, несмотря на удары железными прутьями, несмотря на удары ногами, несмотря на удары плетьми. Ты отлично держалась под пыткой. Ты осталась немой. Немой. Немой. Как могила.

Маленький частный пляж. Сунули сторожу денег. На пляже нет ни души. Пятница. Время после полудня. Никто сюда не придет, никто их не потревожит. Пола стоит возле Марко на коленях и чем-то усердно занимается.

— Что ты сооружаешь?

— Лежи спокойно и не мешай.

[1] Слышу я, как пушка бьет,
пушка бьет, пушка бьет.
«Что случилось, ты скажи мне, Агоэ-Арройо!» *(креольск.)*

Она возводит вокруг Марко песчаную стену, потом медленно, сложив ладони чашей, сыплет песок ему на ноги, на бедра.

— Ты не умер?

Он принимает игру, закрывает глаза. Чувствует, как к векам прикасается ее грудь.

— Еще нет.

Она покрывает песком его руки, живот. Песчинки щекочут.

— Ты не умер?

— Еще не совсем.

Теперь она сыплет песок ему на грудь. От мелких ракушек щекотно. Хочется почесаться.

— Пожалуйста, не шевелись.

— Мне щекотно.

— Где?

— На груди, возле сердца.

— Здесь?

— Чуть левее.

— Здесь?

— Ага.

Она трет ему кожу песком.

— Ну вот, теперь ты умер.

Он улыбается.

— Да, я умер, и ты меня похоронила. Я в твоей власти. Но воскреси меня, Пола, скорее!

Она наклоняет к нему лицо, целует глаза, нос, лоб, потом губы жадно приникают к его рту. Марко поворачивается, опрокидывает ее. Песок щекочет обоим кожу. Пола мягко высвобождается. Она тяжело дышит.

— Не здесь... В воде... Идем в воду, Марко.

Они вскакивают и бегут в воду, они будут любить друг друга в воде. Как медузы. Как могила. Ты осталась немой, как могила. Ты ничего не сказала. Ни единого слова не сорвалось с твоих губ. И только глаза кричали о смертной муке.

Твой стакан пуст, Марко. Ром с каждым глотком все вкуснее и крепче. Ты в последний раз приготовляешь смесь, горлышко бутылки звякает о стакан. Последний. До последней капли. Зажигаешь спичку, капельки рома вспыхивают на внутренних стенках. Из пустой бутылки вьется дымок.

— Марко?..— Ее голос далек и нежен, но почему-то немного дрожит.

— Что, Пола?

— Ты...— Она умолкает, но он знает, о чем она хочет спросить.

— Да, я тоже участвую.

Указательным пальцем она постукивает по кусочку льда, плавающему на поверхности сока, и кажется, будто вдалеке звенит колокол.

— Мне... Обещай, что ты будешь осторожен, Марко.

— Пола, нет ни малейшего риска. Две недели все тихо. В лицеях спокойно, студенты остыли. Макуты спокойно смотрят сны по домам, им и в голову не придет охранять виллу Блоюса. Мы используем фактор внезапности.

Кусочек льда в стакане с соком опустился на дно, задел стенки, толкнул другие кусочки, и колокольный звон разлился звонче и шире.

— Но они ведь быстро опомнятся. Они вас схватят.

— Но нас там уже не будет. Нам не нужна осада. Бьем одновременно с четырех сторон. Наносим массированный удар и скрываемся. Ни минуты не остаемся на месте. О результатах налета мы прекрасно

можем узнать потом. Главное, чтобы листовки были разбросаны и расклеены в промежуток между девятью и половиной десятого. Точно перед нападением. Позже нельзя. Макуты поднимутся по тревоге, начнут прочесывать город. Значит, без пятнадцати десять ты должна уже быть у себя. А мы наносим удар и тут же скрываемся. Чтобы от Мюссо, от виллы Блюса, добежать до Дельмасской дороги, где нас будет ждать с машиной Мишель, нам нужно ровно пять минут. Еще через семь минут мы у Рональда. У него день рождения, он пригласил друзей, и в числе приглашенных даже несколько макутов. Так что, как видишь, никакого риска. Бенуа и Матье все прохронометрировали, секунда в секунду. Через пять минут.

— Вот видите, мосье, ровно пятнадцать минут,— говорит Гримо и ставит перед Марко большую тарелку с бифштексом, картошкой, двумя листками салата и тремя ломтиками темно-красных помидоров.— Приятного аппетита.

■

Удобно устроившись на веранде, позади своей лавки, отгородившись завесой плюща от всякого шума и от нескромного взора возможных — но, честно говоря, весьма проблематичных — покупателей, папаша Эмиль показывает себе кино. Сквозь зелень, ловко используя прихоти ветра, играющего листвой, иногда пробивается солнце, успевая сделать пару-другую моментальных снимков, на которых сидит в уютной качалке старик и курит задумчиво трубку. Затяжка. Качалка уходит назад, ноги взлетают в воздух. Пуфф. Пуфф. Пуфф. Голубоватый дымок легкими кольцами колышется над головой. Качалка идет вперед. Затяжка. Пуфф. Пуфф. Ритмичное раскачивание. Одно за другим проплывают лица друзей. Эктор, Симон, Габриэль. Теажен в своих неизменных наутюженных джинсах. Малыш Матье жадно ловит каждое слово из уст Бенуа. И остальные. Все остальные. Пуфф. Пуфф. Но как странно, почему-то сегодня все они на одно лицо. Все похожи на Марко. У них неживые глаза. Глаза без души. Взгляд призрака, взгляд зомби[1]. Взгляд чуточку тронутого. Один Марко. Другой Марко. И еще, и еще. Пять, десять, двадцать Марко. Бесконечное повторение одного и того же безжизненного лица. Мелькание кадров: Марко мастерит бомбу, Марко и Бенуа в Инкубаторе, Марко бежит, Марко берет со стола бокал «Гляжу я на вас», Марко в галерее Брошетт, Марко за чертежной доской. Наплыв. Из-под множество раз повторенного Марко медленно возникает другое лицо. Его черты проясняются. Пуфф. Пуфф. Пуфф. Старик яростно пыхтит трубкой. Качалка пускается вскачь, потом замирает. Глаза папаши Эмиля щурятся, пытаясь поймать еще зыбкие контуры, которые теперь уже совсем закрыли собою облик Марко. Большие черные глаза. Длинные волосы, собранные сзади в пучок. Ах, да... Пуфф. Пуфф. Это Пола. Это ее улыбка стерла безжизненный облик Марко. Пола выпила Марко, поглотила в себе, растворила, с собой унесла. Пола бежит. Весело скачет на одной ножке, перепрыгивает с облака на облако. Руки ее раскидываются, точно крылья. Она взлетает, парит. И поет, не в силах сдержать свою радость, и взмывает все выше, и облеплены юбкой округлые крепкие бедра, и шелковистая ткань колышется ласковым шлейфом. Взмахи рук — или крыльев? — и Пола взлетает все выше. Папаша Эмиль летит вслед за ней. Он тоже парит в вышине. Пуфф. Пуфф. Пуфф. Трубка трещит, как мотоциклетный мотор. И добрый старик летит вслед за Полой по прочерченной ею стремительной трассе, прямой и все же извилистой, которая круто меняет

[1] По гаитянским народным верованиям — оборотень.

вдруг направление, и тут же отлого спускается, и снова взмывает в синий зенит. Моторы ревут, и папаша Эмиль мчится вдогонку за Полой, которая выпила, съела, вобрала в себя Марко и теперь убегает с добычей. Папаша Эмиль торопливо колотит руками, или, пожалуй, уже плавниками, как бразильская рыбка скаляр, а трубка пыхтит, пуфф, пуфф, пуфф, и папаша Эмиль, уф, наконец-то на сиреневом облаке, пуфф, девчонку догнал. Пола в восторге хохочет, а во чреве ее свернулся зародышем Марко, довольный, счастливый. Он в тепле. В безопасности. Стоило мне, старику, так высоко забираться, чтобы снова найти тебя, Марко, таким? Что ты делаешь здесь, свернувшись клубочком во чреве у Полы? Что-то больно давно уж ты нежишься в этой уютной позиции. Пора бы тебе и к работе вернуться, к нашим делам, у нас их так много сейчас, нам нужны твои сильные руки, ну чего ты коснеешь в бездействии? Марко смотрит на него, улыбается, не отвечает. Марко спиной к нему поворачивается, он потягивается, как пловец, нет, он снова свернулся в клубок. Как зародыш. Внезапно Пола начинает головокружительный спуск. Мелькают стремительно кадры. Катушка раскручивается, лента летит, шестеренки трещат, лица, картины бегут, фейерверком искрятся, вытягиваются, точно хвост у кометы, и тают в пространстве. Пола приземляется на веранде. Пуфф. Пуфф. Пуфф. Папаша Эмиль опускается следом за ней. Трубка пыхтит. Громкие выхлопы. Та-та-пуфф! Пуфф. Ай!.. Он снова в качалке. Качалка качается. Туда и сюда. В ритме качелей. Клубы синеватого дыма, несколько быстрых затяжек. Кадры уже замедляют свой бег. Теперь ему легче за ними поспеть. Тут Марко выпрямляется во чреве у Полы, становится на колени, тянет к папаше Эмилю левую руку, на которой нарисован цветок. Это подсолнух. Откуда он взялся и зачем он здесь, этот цветок? Потому что я так хочу, папаша Эмиль. Принесите мне подсолнух. Много подсолнухов. Тонны подсолнухов. Целое поле подсолнухов для Полы и для меня. А зачем я их буду тебе приносить? Я отдам лучше другим. Исчезнувшим, мертвым. Я приношу цветы жертвам режима, ты ведь знаешь. А ты-то жив, ты еще можешь многое сделать. Я человек конченый, папаша Эмиль. Я уже ничем не могу вам помочь. Сами знаете, на меня уже больше рассчитывать нечего. Я уничтожен. Я мертв. Почти мертв. Мертв для борьбы, которую вы ведете. У меня больше сил нет за вами идти. Я выпотрошен. Считайте меня пропавшим без вести. Считайте жертвой. Еще одной жертвой Пожизненного. Ты ошибаешься, Марко. Это еще поправимо. Стоит тебе захотеть, стоит сделать усилие, поглядеть на жизнь, увидеть ее такой, какая она есть, и ты многое можешь свершить. Я не могу. Не могу, папаша Эмиль. Не могу. Поймите меня. Нет, я тебя не понимаю. Ты не первый на свете мужчина, потерявший любимую женщину. Ты должен встряхнуться, найти в себе силы снова жить, продолжая борьбу. В том, что случилось, разве ты виноват? Нет, Марко, ты здесь ни при чем. Ни при чем, ты слышишь меня? Я вас слышу, папаша Эмиль, но борьба для меня была связана с Полой. Ох, дядя Эмиль, не ругайте так Марко за то, что была я всегда для него неотрывна от нашей борьбы. Разве можно его упрекать в том, что меня он любил и не в силах что-либо делать после того, как меня потерял? Я ведь тоже ушла, я вас покинула всех, а ты мне принес цветы. Не надо сравнивать, Пола. Это разные вещи. Ты погибла в бою. Из-за непослушания, дядя Эмиль, из-за неподчинения приказу. Без пятнадцати десять ни души не должно оставаться на улицах, к этому часу все должно быть закончено. Таков был приказ. А я не послушалась. Я нарушила инструкцию, дядя Эмиль. Мне очень хотелось сделать больше, чем было условлено, хотелось наклеить листов-

ки и на фасад медицинского факультета. Вот почему я не с вами сейчас. Я сама виновата. А ты все равно ведь принес мне цветы. Пола, ты — дело другое. Марко жив, он еще может сделать много полезного нашей борьбе. А он, будто сыч, сидит в своем Инкубаторе. Папаша Эмиль, мне много не надо. Один лишь цветок. Один лишь подсолнух прошу. Не поле подсолнухов и не охапку. Всего лишь цветок. Даже маленький пусть. Нет. Окончательно — нет! Марко, тебя еще можно спасти. И решение задачи у меня в кармане. Я поговорю с товарищами. Нажму, если надо. Старик похлопал по карману своей рубашки, затянулся дымом, снова пустил качалку на полный ход. Нет, Марко, не будет тебе цветов! К тому же сеанс закончен. На сегодня все. Цветы ему подавай! Да ни за что! Пуфф. Пуфф. Голубоватый дым вьется колечками над головой старика.

Задвигались тени, на веранду кто-то вошел. Папаша Эмиль обернулся.

— А, это ты, Матье! Заходи, присаживайся, малыш.

Папаша Эмиль придвинул к своей качалке плетеное кресло, пожал гостю руку. Глаза старика радостно сверкали, и Матье незамедлительно справился о причине такого хорошего настроения.

— Потому что у меня отличные новости!

— Какие же?

— Пришло письмо от Бенуа. Вот, слушай.

Он вынул из кармана авиаконверт, извлек из него листок голубой бумаги, развернул и, отставив подальше от глаз, начал читать:

— Слушай! «Монреаль, 12 июня 1966 года. Дорогой папаша Эмиль! Это мое последнее письмо. Завтра я уезжаю в Европу, а оттуда — к Симону, Родригу и Жану-Франсуа. Я буду очень загружен учебой и вряд ли смогу поддерживать регулярную переписку. Хочу только, чтобы вы знали: если я вам не пишу, то это не значит, что я вас забыл. Такого человека, как вы, забыть невозможно! Вы всегда в моем сердце, вы и милая Анна, которую я от души обнимаю. Братский привет всем друзьям. Бенуа».

— Превосходная новость! Я всегда знал, что он не оставит борьбу.

— Это еще не все, дорогой мой Матье! Это еще не все.— Старик снова поднял письмо к глазам.— Слушай приписку: «По прибытии я постараюсь узнать, нельзя ли что-нибудь сделать для наших ребят. Я уверен, что им бы тоже очень хотелось приехать туда на учебу. Я только что получил письмо от Симона; судя по всему, к нам там хорошо относятся и могут предоставить еще несколько стипендий. Нужно только одно — чтобы будущие студенты были серьезные парни и чтобы, закончив учебу, они непременно вернулись в страну». Вот так, дорогой Матье. Что ты на это скажешь?

— Это просто замечательно, папаша Эмиль.

Матье вспомнились слова, которые Бенуа сказал ему на прощанье перед отъездом: «Я знаю, ты огорчен, что я уезжаю. Я тоже огорчен, Матье. Но я не хочу бессмысленно рисковать. Это нелепо — сделав так мало полезного, заживо сгнить в тюрьме. За границей можно хорошо поработать над мобилизацией сил. Там я могу пригодиться, и в этот переходный период там я буду полезнее, чем здесь. Обещаю тебе: как только мы будем готовы, я вернусь и встану в строй рядом с вами».

— Да, папаша Эмиль, он вернется.

— Не сомневаюсь, Матье. Но что ты думаешь по поводу его предложения?

— Насчет стипендий?

— Да.

Матье повернулся к нему вместе с креслом.

— Папаша Эмиль,— сказал он,— вряд ли организация захочет сейчас посылать еще кого-нибудь за границу. Воспитывать кадры нужно на месте. Кстати, на эту тему есть статья в последнем номере «Вуа дю пёпль», вы ее, конечно, читали. Партия не может больше разбрасывать своих людей по братским странам, это слишком большая роскошь, ибо бороться против режима нужно здесь. Я думаю, когда наша новая политика будет окончательно принята и обнародована, истинные революционеры непременно вернутся из эмиграции и включатся в борьбу.

— Это все верно,— сказал папаша Эмиль и потер подбородок.— Но бывают особые случаи. И в чисто человеческом плане пребывание за границей было бы для некоторых наших товарищей курсом лечения.

— Вы имеете в виду Марко?

— Да, в первую очередь его.

Папаша Эмиль сложил письмо и снова начал качаться. Матье закурил сигарету. «Марко...» — подумал он. Матье дважды пытался привести его на собрания, но тот, сославшись на срочную работу, уклонился. Матье рассказал ему о новом направлении, которое начинает обозначаться в партии, о стремлении сделать борьбу более реалистической и конкретной: одновременное политическое воспитание и военное обучение кадров, создание городской диверсионной группы, систематическое применение силы в ответ на террор тонтон-макутов. «Именно этим мы и занимались в маотьерской группе. Слава богу, наконец, и до них дошло»,— вот все, что удалось ему вытянуть из Марко.

— Он тревожит меня.— Папаша Эмиль остановил качалку, набил табаком свою трубку.— Он все больше от нас отдаляется, и я начинаю бояться, не окончательный ли это разрыв. Раньше я думал, все дело в гибели Полы, думал, пройдет время, боль притупится и он опять к нам вернется, но потом я понял, увы, слишком поздно понял, что перед нами совершенно другой человек.

— Думаете, у него это неизлечимо?

— Боюсь, что так. Во всяком случае, в настоящий момент. Видишь сам, он живет в пустоте. Время для него как будто остановилось. Нет, конечно, на работу он ходит, но потом запирается в Инкубаторе. Поначалу еще он заглядывал ко мне раза три-четыре в неделю. А теперь проедет на своем «фольксвагене» мимо лавки, сделает Анне ручкой — и прямо домой. В последний раз я его видел больше месяца назад. Он заходил за цементом, хотел заделать дыру в своей комнате. Говорил мне, вроде почва там оседает. Думаю, с этой дыркой он справился, потому что больше с тех пор он ко мне не заходил. О, если бы группа не была разгромлена, если б и для него нашлось настоящее дело, это могло бы морально его поддержать, помогло бы ему справиться со своим горем. А он оказался совсем в одиночестве, и когда Мари-Жозе вышла из тюрьмы и подтвердила все наши страхи насчет Полы, у него не осталось уже никакой надежды.

— А ведь он встретил известие довольно спокойно,— сказал Матье.

— Именно это и должно было меня насторожить, открыть мне глаза. Отсутствие всякой реакции! Поглядел на Мари-Жозе, опустил голову, дважды прошептал имя Полы. И все. Даже отказался от бокала «Гляжу я на вас», который я ему принес. Ты только подумай!

С этого дня он внешне ведет себя так, словно Полы не существовало на свете. А сам бесконечно мучает себя и грызет.

— Он же ни в чем не виноват.

— Конечно, нет. Но попробуй втолкуй ему это! И уж очень на него подействовало отсутствие старых друзей. Все эти аресты. И особенно отъезды.

Папаша Эмиль зажег трубку, затянулся.

— Как-то мы тут вспоминали, уж не помню, в какой связи, несостоявшееся нападение на виллу Блоюса... Помнишь славную операцию «С четырех сторон»?..

— Еще бы! Век ее буду помнить! — Матье рассмеялся.— Без десяти минут десять мы скрытно подошли к вилле и увидели, что в доме темно. Ни огонька, только в саду горит несколько фонарей. Сперва я подумал, что это засада. Но нет, вилла была пуста. Пришлось нам со всей зажигательной смесью не солоно хлебавши топать домой. На Дельмасской дороге, в условленном месте, нас ждал в черном «шевроле» Мишель. От него мы узнали, в чем дело. Оказалось, в половине восьмого Блоюса увезли в больницу с острым приступом аппендицита. И в последний момент прием отменили. Весь вечер, когда мы сидели у Рональда, Марко смеялся, острил и вообще казался самым счастливым человеком на свете.

— В том-то и дело! — сказал папаша Эмиль.— Из-за этого он теперь больше всего себя грызет. И об участии Полы в операции не упоминает. Обходит эту тему — ведь в то время, когда он веселился у Рональда, макуты пытали Полу. Вот что его гложет. Поверь, самое лучшее для него было бы переменить обстановку, уехать отсюда, где все вокруг напоминает ему о случившемся. Ему оставаться в Инкубаторе вредно. Он все время себя изводит... Только как убедить его отсюда уехать? — после короткой паузы добавил папаша Эмиль.

— Может быть, вам и попробовать? Вас он любит и уважает, папаша Эмиль. Вы единственный, кого он может послушаться.

— Нет, для этого я не гожусь, дорогой мой Матье. Понимаешь, ведь с Полой познакомил его я, ведь это у меня они впервые увидели друг друга. Я помог их любви. Когда я увидел, что Поле он приглянулся, я пригласил ее погостить у нас неделю во время пасхальных каникул. Я поддержал их любовь. Впрочем, это оказалось не трудно, они были созданы друг для друга. Так что для Марко я еще одно воспоминание о ней. Воспоминание слишком свежее, понимаешь? Он хочет без помех, наедине воскрешать свои счастливые дни; вот почему он не приходит больше сюда. Мое присутствие вынуждает его принимать гибель Полы как факт. Ах, представляю себе, что творится у него в голове. И в душе. А тут еще чувство вины, которое не покидает его ни на миг. Все это может плохо кончиться, Матье. И я хотел бы ему помочь.

— Да, я понимаю.

Замолчали. Матье задумчиво смотрел вдаль, сквозь густую завесу плюща. Он снова предпримет попытку побеседовать с Марко, и Марко на сей раз не отделается от него односложными «да» или «нет». Матье заставит его выложить все, что его тяготит, откровенный и честный разговор облегчит другу душу, поможет взглянуть правде в глаза. Если понадобится, Матье будет даже жестоким и резким. Прав папаша Эмиль, надо помочь Марко выбраться из тупика. Встретиться до субботы не удастся, но в субботу он обязательно пойдет в Инкубатор и поговорит по душам. Обязательно. Летнее солнце словно медлило заходить, веранду лениво окутывал розовый свет. Вдруг запахло жареным кофе. Папаша Эмиль потер нос, с шумом втянул воздух и нервно запыхтел трубкой.

Одна! Две! Три!.. Марко яростно вонзал кнопки в податливое дерево чертежного стола. Хочешь глодать древесину? Валяй! Вонзай свой зуб, делай, пожалуйста, дырку! Четыре!..

Он в мастерской один, до возвращения коллег с обеда еще целый час. Нужно закончить проект жилого дома, набросать рядом деревья, нарисовать облака да еще две копии снять. Заказчик, толстый сириец, торговец мануфактурой, придет к двум часам, и Сеймур ему обещал, что к этому времени проект виллы в Ла-Буле будет готов. Марко отошел от стола и направился в глубину мастерской, где к стене прикреплен был рулон кальки. Сегодня же вечером повидаю Поля. Вытянул из рулона около метра, быстро отсек кальку металлическим лезвием, вернулся к столу. Надеюсь, он мне не откажет, даст на полдня казенный грузовик. Только под каким соусом все это изобразить? Придумать какую-нибудь историю, найти удобный предлог... Землю возьму на любом пустыре, не проблема. Кирка да лопата, больше ничего не понадобится, и часа за полтора я насыплю полный кузов. Значит, полтора часа — нагружаюсь первый раз, полтора — второй. Всего три часа. Если начать в десять вечера, к часу ночи я ее завалю. Думаю, что успею... Дурак я, дурак, за все время ни разу не проверил дыру. Давно это надо было сделать. Взять подвесной фонарик, определить глубину, рассчитать точное количество грунта для засыпки. Вся задача теперь в том, как подвести грузовик поближе к дыре. Черт бы все побрал! Придется всю землю таскать лопатой. Нет, одному мне не справиться. Дьявольщина! Займись я этим пораньше, сразу после того, как заделал дырку цементом, ничего бы не произошло. Ничего бы не произошло, был бы Марко сейчас спокоен, жил бы себе как все люди, и жизнь была бы просто прекрасна, и проект был бы давно готов, и копии тоже, и воздух благоухал бы цветами и медом, а, Марко? И голова у тебя была бы свободна, и на сердце легко, и ты насвистывал бы модный мотивчик, склонясь над чертежным столом. И кнопки послушно входили бы в мягкую доску, вкусно похрустывая, ах, ты ведь любил всегда этот звук!.. Теперь же, после этой проклятой истории, палец яростно давит на ненавистную кнопку. Втыкайся же, дрянь! Жри свою древесину! Что мне стоило вовремя этим заняться! Полтора месяца потерять! Сколько за это время осело земли! Вычисляй теперь, сколько понадобится грунта. И как его доставишь к дыре? Просить кого-то помочь? Но кого? Разве объяснишь кому-нибудь эту идиотскую историю? Не поверят. Будут смеяться. Что, говоришь, у тебя? Дыра? И сама по себе растет? Да брось ты нам голову морочить! И ты стал бы настаивать, клясться всеми святыми. Ей-богу, не вру! Впервые она появилась месяца полтора тому назад и, знаете, все растет и растет. Доросла до чудовищных размеров... Ах, Марко, да ты над нами смеешься! Брось дурить!.. Нет, никто не поверит, и никому он не скажет ни слова. Об этом нечего даже и думать. Это твоя личная беда. Тебе одному и расхлебывать. Марко принялся шагать из угла в угол. Несколько раз хлопнул себя по лбу. Остановился, повернулся на каблуке, оглядел мастерскую. Толстый кондиционер урчал, тупо уставившись на него десятком своих шестигранных глазков. Стеллажи — увеличенные в размере пустые картонные кубики. Картонные футляры для чертежей нацелились на него, точно ружейные дула. Стаканы с карандашами. Дверь. Стены. Вдруг он понял впервые, что его окружает множество всяческих дырок и дыр. Дыры, дырки, отверстия, щели окружают его каждый день, осаждают, нацеливаются. Все эти дыры размером поменьше, чем Та, и формой другие, но все они так же опасны. Замочные скважины. Дырки от кнопок в чертежной доске.

Отверстия розеток в стене. Глазки — как пчелиные соты — в кондиционере. Издевательски пялятся горлышки бутылок. Дырки водослива всегда начеку в умывальнике. Петли на рубашке похожи на жадные губы. Мельчайшие поры пронизывают кожу. Дырки ноздрей. Дырки ушей, провал рта, дырки глотки с розовым язычком в глубине. Про другие отверстия даже не хочется говорить. На бутерброде, к которому он не притронулся, дырки в швейцарском сыре — как пустые глазницы. А там, за окном, в домах и на улицах, крысиные и мышиные норы, туннели улиц, расщелины в тротуарах, водосточные желоба. А в комнате, дома, эта... эта... Ах, бежать! Бежать без оглядки из этого кошмара, от этого наваждения. Уйти куда глаза глядят. Где ты окажешься недосягаем для всех этих дырок и дыр. Но куда бежать, Марко? Куда? Бегство твое ничего не изменит, и ты это знаешь. Один только выход, единственное решение — принять бой, смело ответить на вызов дыры, не дать ей куражиться, встать преградой на пути ее вожделений. Дать ей бой, расквасить ей рожу. Уничтожить. Стереть. Задушить. Грузовик. Два грузовика. Три, четыре, пять, шесть грузовиков, доверху полных землей,— и задушить. Удавить. Да, только так. Убить, уничтожить, засыпать. Вырезáть кожу на спине, длинными такими лентами, по штуке в день, пока не околеет. Посадить в раскаленную добела клетку. Отрубить руки, ноги, язык, вырвать глаза и бросить на свалку. Закопать живьем, под десятью тоннами грунта. Закопать в землю по самую шею, а голову обмазать медом и оставить на съедение муравьям и крысам, которые сожрут его толстые губы, и жирные щеки, и выпученные глаза, и тупой лоб, и острые уши, и даже очки...

— Ну как, Марко, чертежи, надеюсь, готовы? Абалли придет через десять минут.— Мосье Сеймур подходит к чертежному столу, наклоняется.— Но позволь, что это значит,— кричит он, отшатываясь от стола.— Марко, ты испортил оригинал! Черт побери! И что означают все эти рисунки и цифры? Грузовики? И голова самого... его превосходительства!.. Марко Дени, вы с ума сошли... честное слово!..

Мама-Дыра справляла вакханалию на Марсовом поле. Окруженная свитой из тринадцати несколько менее значительных дыр, тянувших, скуля и подвывая, заупокойную молитву, и охраняемая справа и слева парочкой средних дыр, восседающих на остроконечных барабанах, Мама-Дыра справляла вакханалию на Марсовом поле, перед застланным кроваво-красной скатертью алтарем, посреди которого возлежал большой черный камень.

В некотором отдалении, на затянутых черным крепом трибунах, располагались высшие сановники дырявого режима. Министры и их приближенные, начальники корпуса добровольцев национальной безопасности, генеральный штаб вооруженных сил, чины высшего и низшего духовенства, сливки общества и более мелкая сошка, все, все они были сегодня на Марсовом поле, а среди кресел для дипломатического корпуса, на высоченном троне восседал, выпятив грудь и выставив вперед козлиную бороденку Великая-Дыра-С-Большой-Буквы и смотрел на мир немигающими, налитыми, кровью глазами. Сам Великая-Дыра-С-Большой-Буквы, Великий Папа-Дыра, Дядюшка Сверхдыра. Время от времени он бормотал сердито какую-то невнятицу, а иногда даже вскакивал на ноги и вопил во все горло: «Монроэ!.. Монроэ!.. Монроэ!..[1]», и громко хлопал в ладоши, и дробно топал ногами, чем явно мешал, чем задерживал благопристойное течение

[1] Имеется в виду президент США Джеймс Монроэ, провозгласивший в 1823 г. доктрину, основанную на принципе «Америка для американцев» и используемую ныне для аргументации экспансии империализма США в Латинской Америке.

шабаша. Но вскоре он успокаивался, и ритуал, приостановленный из уважения к его августейшей персоне, тут же возобновлялся — правда, в чуть ускоренном ритме, словно участники церемонии торопились наверстать упущенное. Барабанщики еще судорожнее барабанили в свои барабаны, тринадцать мелких дырок еще пронзительнее верещали, творя зловещую молитву, и Мама-Дыра опять изрыгала поток кабалистических заклинаний, продолжая колдовскую службу в честь своего покровителя, Барона Субботы [1], Святого отправителя-на-тот-свет, Поставщика Смерти, Хозяина Преисподней. А я, Марко, я, жалкая тень, я, отказавшийся от борьбы и сложивший оружие, я, жалкий дезертир, Вышедший-из-обращения, вычеркнутый из списков всех ячеек и групп, я и был той несчастной жертвой, которую следовало умертвить, над которой надлежало свершить великий обряд заклания, дабы умилостивить Барона Субботу. Они выбрали, наметили меня, они обложили, окружили меня, меня, Черного Петуха. Отрезали мне пути к отступлению, преградили все выходы. Они выкрикнули воинственный клич: «Coucourouge!» Заорали: «Лови! Лови!» И «Хлоп!» — сказали они, и они схватили меня, и их руки сомкнулись на мне, на глупой домашней птице, которая может ходить, но не умеет летать. Схватили, связали лапы и крылья. Ощипали на шее перья. Подули на голову, на клюв, на живот. Опрыскали мертвой водой, швырнули на черный камень посреди алтаря, и развязали меня, и уже не веревка, не путы держат меня, а хищные пальцы. Да, я теперь в их руках. Да, это он, это Марко стал средоточием шабаша, на него, на несчастного Марко, обрушиваются удары мачете — семь ритуальных ударов плашмя отвешивает ему Мама-Дыра всякий раз, как тринадцать маленьких дырок визгливо возносят к ночному небу мерзостную молитву во славу Барона Субботы. У Марко окровавлены ноги, исполосованы спина и живот, и кожа на ягодицах лопнула, как перезрелый гранат. Марко бьется, кричит, а неумолимая сталь снова и снова пронзает его наболевшую плоть. Марко, Черный Петух, бьется, кричит, колотит крыльями Маму-Дыру, когтями царапает руку, которая прижала его ощипанную шею к жертвенному камню, Марко целится шпорой в сердце своего палача, в сердце Мамы-Дыры, в голову, в глаз. Но шпора только скользит по татуированным щекам, колдовской узор защищает лицо палача, как железная маска.

Марсово поле гудит и звенит, по Марсову полю расходится эхом повторяемое на все голоса имя Святого Убийцы, грозное имя Поставщика Смерти, и Марко чувствует, чует: близок финал вакханалии, адские гимны во славу Барона Субботы скоро сменятся воплями злобы и смерти, и зловещая Мама-Дыра перервет ему горло зубами. Недавно, ах, совсем ведь недавно проклятая Мама-Дыра точно так же расправилась с Курицей Зингой, и голова изувеченной Полы скатилась на жертвенный камень, и брызнула жаркая кровь, рванулась фонтаном из горла, долетела до самых трибун, и одна капля попала на левую руку Великого Папы-Дыры, и он жадно слизнул эту каплю, и участники шабаша подбегали гурьбой к алтарю, и Мама-Дыра окропляла им кровью лицо, и толпа завывала в экстазе. И останки Курицы Зинги брошены были в дыру, и скоро, ох, скоро, через несколько жутких минут, Черный Петух будет брошен туда же, и две отрубленных головы узнают друг друга, и четыре крыла сплетутся в смертельной тоске. Пола, Курица Зинга, и я, Марко, Черный Петух, вместе мы ляжем на смертное ложе. Через несколько жутких минут.

Дыры нещадно лупили по коже своих барабанов, нарастало неистовство, близился апогей. Черного Петуха приподняли над жерт-

---

[2] Кровожадное божество в культе воду́.

венным камнем, петушиные лапы были схвачены крепкой рукой, и трижды его крутанули в воздухе, гудящем от шабаша, и десница Мамы-Дыры сжала голову жертвы. Но в тот самый миг, когда Мама-Дыра нацелила острые зубы на голое горло Черного Петуха, вдруг с почетного трона сорвался Дядюшка Сверхдыра, перепрыгнул через балюстраду, отделявшую публику от священнослужителей, начал кричать свое любимое: «Монроэ!.. Монроэ!..» Дыры замерли. По трибунам промчалась волна беспокойства, дипломаты растерянно переглянулись. Дядюшка Великая-Дыра-С-Большой-Буквы, как кольчугой покрытый дырами, пулевыми отверстиями, провалами шахт, прорехами сегрегации, приблизился медленно, и над головою его трепыхался флаг, на котором с шипеньем мерцали смертоносные звезды, и Сверхдыра вскочил на алтарь, возведенный во славу Барона Субботы, и, как цирковой дрессировщик, начал служителей культа хлестать, как бичом, своим звездным флагом и понукать их такими криками:

— Ну-ка, ну-ка, скачите, мои негритята, обезьяньи вы морды, козлиные ноги! Это я перед вами, Великий властитель помоек, Покровитель террора и злобы! Скачите, скачите, мои негритята! Алле-гоп!

И две дырки, сидевшие на барабанах, и тринадцать довольно значительных дыр, взявшись за руки, вдруг понеслись в хороводе, увлекая с собою и Маму-Дыру, которой пришлось таким образом выпустить шею своей обезумевшей жертвы.

— Ах, как они поразительно скачут, мои негритята! — восхищенно покрикивал Дядюшка Сверхдыра.— И ничего, что погонщиков нету моих. Ведь свиньи и сами всегда отыщут дорогу к помойке! Скачите, бегите, мои негритята, мои поросята, малые свиньи мои! Громче вопите, мои черномазые выученики!

И дыры скакали. И дыры вопили. И дыры пронзительно пели:

Да, конечно, это ты,
Наш Великий Папа Смерти,
Да, конечно, это мы,
Мы, мы, мы, мы, мы, мы, мы.
Негритята Дядюшки, негритята Дядюшки!
Будем бегать, будем петь,
Будем петь и убивать,
Ты нам только прикажи.
Слава славной, и великой, и пожизненной Дыре!
Слава славной Сверхдыре!

Тут и публика, и справлявшие шабаш дыры, и члены дырявого правительства, и опора режима, высшие сановники со своими присными, и начальники корпуса добровольцев защиты национальной безопасности, и весь генеральный штаб, и генеральный генералитет, и все чины высшего и низшего духовенства, и дипломатический корпус — все как один, польщенные и восхищенные, подхватили радостным хором:

Слава славной, и великой, и пожизненной Дыре!
Слава славной Сверхдыре!

С черного камня, что возвышался посреди алтаря, Марко следил за происходящим. Страх у него прошел, никто больше не обращал на Марко внимания. Весь ритуал великого шабаша был смят внезапным вмешательством Дядюшки Сверхдыры, и Черный Петух уже не интересовал собравшихся на Марсовом поле: все эти сотни и сотни дырок и дыр самозабвенно кружились в бешеном хороводе, приседая и выпрямляясь, изгибаясь и выламываясь, следуя судорожному ритму звездного флага, и у всех сановников, и дипломатов, и чинов высшего и низшего духовенства прыгали в глазах, шипя и искрясь, как бенгальский огонь, звезды дядюшкиного флага. Вдруг Мама-Дыра стала бить себя в грудь и взывать:

— Ужас! Ужас и смерть!.. Я сею вокруг ужас и смерть!..

Все примолкло на Марсовом поле. И тогда, поглядев на алтарь одним своим глазом, кривым и круглым, как бильярдный шар, другим своим глазом тоже поглядев на алтарь, она отдала Дядюшке Сверхдыре честь и обратилась к участникам шабаша с речью:

— Никто не ждал меня в этом доме. Я вошла в этот дом без стука. Мои хищные зубы сделали мощный подкоп, и теперь уж никто и ничто не сможет мне помешать до основания сожрать этот дом! Ибо я духовна и бестелесна!

Навстречу ей взлетел ураган приветственных воплей. Дядюшка Сверхдыра еще сильнее хлопнул своим звездным флагом, и куклукс-клановские звезды покраснели от удовольствия на загорбке маленьких негров, черных выучеников Великого Папы Смерти. Мама-Дыра, властно потребовав тишины, так продолжала:

— Великий Дядюшка Дыра, ну-ка, сам убедись, что я сделала с этим народцем! Меньше чем за десять лет я его вполне оболванила. Погляди, ведь они теперь — оборотни! Я сделала то, с чем ты не управился за пятнадцать лет оккупации. Я вырвала из их сердца имена Отцов родины. Дессалин — Петион — Лувертюр — Кристоф — эти слова лишены теперь всякого смысла. Мои дураки по привычке жуют эту жвачку, но соли в ней нет. Я отняла у них соль. Соль, которая делала этих негров людьми. Ибо соль — это я. Я, великое Всесожрание. Я, чье имя сверкает отныне и в небе над площадями, и на поверхности моря, и на вершинах всех гор. Я, я, я, я!..

Она гулко рыгнула и продолжала:

— Некоторые утверждают, что страна никогда еще не переживала подобного ужаса. Что ж, я этим только горжусь! И еще они говорят, что я переименовала столицу. Теперь она зовется Гроб-о-Пренс... Ха-ха-ха! Гроб-о-Пренс!.. Тысяча чертей! А ну-ка, повторяйте за мной: Гроб-о-Пренс!.. Гроб-о-Пренс!..

И все дыры, все участники шабаша с ликованием подхватили: «Гроб-о-Пренс, Гроб-о-Пренс, гроб и гроб, грабь и грабь!» А Сверхдыра спрыгнул с алтаря, подхватил Маму-Дыру за талию, закружился с ней в танце, приговаривая: «Грабь, грабь, грабь!» Бьется на ветру флаг, сыплет зловещими искрами, плюется бешено кровью.

Марко в паническом ужасе. Он сидит съежившись на черном камне и судорожно цепляется за камень когтями, пытаясь удержаться, а вокруг несутся хриплые вопли, волнами прокатываются по трибунам, клокочут у подножия алтаря. Он закрывает глаза, чтобы не видеть этой чудовищной вакханалии, он прячет голову между собственных ляжек, чтобы не слышать похотливого хохота, но шабаш въелся в него, шабаш сидит в его теле, от шабаша некуда деться; Марко дрожит, Марко корчится, и все его нервы трепещут и извиваются в ритме всеобщего свального греха, а флаг угрюмо мерцает всеми своими пятьюдесятью звездами.

Но вот уже вопли начинают стихать, утомленные дыры, тяжко дыша, распластываются по земле.

Черный Петух робко приподнимает свой клюв и круглым глазом осматривает площадь. С высоты алтаря ему открывается дикое зрелище. В немыслимых позах, поражающих своей непристойностью, устилая газоны президентского сада, валяются сотни и тысячи тел, и над помятой травой колышется мерзостный запах.

Трибуны, места дипломатов, скамьи сановников, парадная лестница — все, как гигантский лоток старьевщика, усеяно всякой одеждой. На ограде президентского дворца повисли в невероятном смешении вуалетки и шарфы, портупеи и четки. На флагштоке развевается белый плащ Дядюшки Сверхдыры, пряча в своих широченных складках черно-багровое знамя Пожизненного...

Черный Петух торжествующе хлопает крыльями, мстительно кукарекает и соскакивает с алтаря. И сразу все дыры, точно только и ждавшие этого знака, начинают возиться, ворочаться; вслед Черному Петуху тянутся жадные руки. Дядюшка Сверхдыра одним прыжком оказывается на ногах и кричит: «Монроэ! Монроэ! Coucourouge! Он нам нужен живым!» Обезумев от страха, Черный Петух мечется вправо и влево, подпрыгивает, бежит с перепугу назад, хлопает крыльями, ищет проходы в сплетении голых ног, бьет клювом и шпорами. Великий Папа-Дыра запутался в складках звездного флага и в ярости голосит: «Держите его! Держите его! Мы должны его жертвенной кровью скрепить договор наш о дружбе!» Но дыры, и дырки, и макуты, и офицеры, и чины высшего и низшего духовенства, и дипломаты, все полусонные и одурелые, не в силах схватить беглеца. Он проскальзывает между дыр, он не дается им в руки. Черный Петух, словно верткая тень, скользит по газону, проскакивает через изгородь ног, катится кубарем, становится невидимкой. «Не давайте ему удрать! Мы должны принести его в жертву! Кидайтесь наперерез!» Черный петух прячется под разбросанной вокруг одеждой, ускользая от пальцев прожекторов. Черный Петух — всего только юркая тень, которая выпуталась из беды, которая не желает больше играть в поддавки. Неуловимая тень, просочившаяся сквозь щель в президентских воротах, исчезает в ночи.

Занемевшей рукой Марко стирает пот со лба, переваливается на другой бок. Сизалевая циновка щекочет голую спину. Марко усердно чешется. Лунная ночь. На полу отчетлив рисунок узорной решетки, которой забрано большое окно. Марко прислушивается к ночным звукам. Неясные шорохи, собачий лай, стрекотанье цикад, да порою вдали вскрикнет спросонья петух, невпопад возвещая рассвет.

Марко поджимает под себя ноги, подползает к стене, прислоняется к ней.

— Мерзость! — кричит он, обращаясь к странному черному пятну с зубчатыми очертаниями, которое расползлось от стены туалета до середины комнаты.— Мерзость и подлость! Ты продолжаешь расти! Продолжаешь набивать свое ненасытное брюхо! Чего тебе нужно еще? Когда же ты кончишь пожирать Инкубатор? Ты принесла в жертву Курицу Зингу, ты выпила всю ее кровь, но я, Черный Петух, непременно найду твое слабое место. И тогда берегись! Я достану тебя своим клювом, и даже Сверхдядюшка тебе не поможет, когда я мстительной шпорой проткну тебе глаз!

Он вздрагивает от холодного северного ветра, встает и ходит по комнате, потирая руки и загнанно косясь на странную дыру, освещенную лунным светом.

— Мы еще поглядим, кто кого!

Он был в Инкубаторе и отражался в многочисленных зеркалах. Зеркала дробили его на куски, а потом повторяли и множили отсеченные части. Он видел шестнадцать рук, и шестнадцать ушей, и восемь пупков. Повторение собственной наготы вдруг стало ему неприятным. Перед ним посреди комнаты торчало десять, нет, двадцать, нет, тридцать истощенных голодом голых людей. «Черт побери, да это ведь лагерь нюдистов». Яростно сорвал со стен зеркала и швырнул их в дыру. Грохот бьющегося стекла и опять тишина. Еще весь дрожа от ярости, Марко приблизился к дыре, пронзенный безумной надеждой, что зеркала совершат сейчас чудо. Нет, это было бы слишком прекрасно.

Зеркалам не заполнить дыру, не заткнуть ее пасть, как не заткнули ее ни кровать, ни кондиционер, ни его, Марко, чертежный стол, ни письменный стол Бенуа, ни магнитофон, ни пластинки, ни книги, ни стулья. Ничто не насытит дыру. Проглотила мгновенно все жертвы, и все так же неудержимо, пядь за пядью, углубляется и растет, словно невидимая рука точит и режет края, словно тысячи ртов чавкают где-то внутри, и жуют, и глотают и землю, и камень, и дерево, ни на минуту не переставая жевать и глотать. Словно в комнате расположился огромный грызун. Если я его не убью, он сожрет скоро весь Инкубатор. А потом и двор, и соседний дом, и галерею Брошетт, и развалины дома Дидасов, и пустырь. И лавку папаши Эмиля со всем ее содержимым. И улицу. Все поглотит дыра. Поглотит весь город. Сожрет всю страну.

Он глубоко вздохнул, сделал несколько шагов. Остановился, одинокий и голый, на краю этой бездны, сам такой же нищий и голый, как опустелая комната. Посмотрел на свои исхудавшие ноги. Медленно стал ощупывать тело. Это был, пожалуй, не он, руки и ноги принадлежали уже кому-то другому, принадлежали чужому исхудавшему человеку. Мне все это снится. Сейчас я проснусь — не здесь, а у себя, на улице Мишеля-Ореста. Он ущипнул себя. Ногти больно впились в тело.

— Черт бы всех побрал! Кто там еще? — Он подскочил к окну, выходящему в сад, и, укрывшись за занавеской, выглянул на дорожку. Кто-то закрыл за собой калитку, кто-то шел по скрипящему гравию. В мерцании фонаря Марко скорей угадал, чем узнал, что это Матье...

— Марко! Марко!..

Чего ему нужно? Главное, не впускать. Ему все равно не понять.

— Марко!.. Это я, Матье.

Конечно, это ты. Я видел, как ты подошел. Я услышал твои шаги еще от калитки. Калитка тебя продала. Я так и не выбрался смазать ее, и хорошо, что не смазал, потому что калитка теперь предупреждает меня об угрозе, о приходе незваного гостя.

— Марко!.. Ты спишь?

Да нет, не спит он, твой Марко. Затаился тут, у стены. Стóит мне чуточку отодвинуться от занавески, и ты увидишь меня. Какой у тебя забавный вид, малыш Матье! Ты озабочен. Ты, наверно, идешь от папаши Эмиля. Как он там? Я давно его не видел. Да, конечно, я живу всего в двух шагах, мог заскочить к нему в лавку. Но не хочу отлучаться. Понимаешь? Я уже не могу. Особенно сейчас.

— Марко, открой мне!

Нет, в Инкубаторе очень опасно. Знаю, ты парень бесстрашный, ты не раз доказал это, но тут, понимаешь, случай особый. Здесь колдовство. Тебе в этом не разобраться. Не успеешь ты переступить порог Инкубатора, и тебя тут же втянет, всосет и поглотит!.. Не по зубам тебе эта проклятая штука, и я не хочу иметь еще одного покойника на своей совести. Нет!.. О, это теперь совсем уж не тот Инкубатор, который тебе был знаком. Теперь это логово Пожирателя. Да, Великого Пожирателя. Я видел, как он зародился, как вырастал, раздувался, я с ним боролся, я знаю, как не поддаться его колдовству. А тебя он... Нет!.. Не хочу брать на душу грех. Ах, поверь... Ты не знаешь, не можешь ты знать, как это ужасно!..

— Марко, я должен с тобой поговорить.

Что ты можешь сказать мне такого, с чем нельзя подождать одни сутки? Сутки. Я прошу у тебя всего только двадцать четыре часа. Потом приходи, и я все тебе расскажу. А сейчас мне нельзя отвлекаться, я должен стеречь эту... эту штуку!.. Пока я на страже, она не шевелится, но стоит мне только заснуть или на миг отлучиться, Пожи-

ратель опять оживает, он спешит захватить позицию, расширить владения. Пусть на несколько сантиметров. Он уже столько сожрал! Письменный стол Бенуа, мою чертежную доску, кресла, книги, пластинки. Все превратилось в кашу. Так-то, мой милый Матье. Я совал ему в пасть и железо. Слышишь? Железо. Кондиционер, кровать, магнитофон. Он все измолол челюстями. Остается единственный выход — дать ему бой. Выйти один на один. Выйти на него с голыми руками. Выцарапать ему глаз... Я должен убить его как можно скорее, иначе он слопает весь Инкубатор и вырвется на свободу. Что тогда будет с нами, Матье? С тобой, со всеми другими? Он нас всех перемелет своими зубами, всех нас перемелет, вместе с домами, реками, горами, и ничего от страны не останется, черноватая только кашица. Ничего не останется от пяти миллионов свободных латиноамериканских негров!.. Заглотит Великий Пожиратель. Доверься мне, Матье. Доверься, малыш. Я нашел способ его остановить. Да. Шпора Черного Петуха вонзится ему в глаз, прямо в зрачок, и он сдохнет, проклятый, и мы будем спасены. А теперь уходи, Матье. Я должен его подстеречь, мне осталось недолго, надо выждать момент и напасть.

— Марко, открой!

Фу ты, черт, ведь я сказал же тебе, что не могу. Не могу. Не могу. Да не барабань ты так в дверь! Не дергай мне нервы. Не стучи, черт возьми!..

— Марко! Марко!..

Отстань от меня. Уходи.

— Ты отказываешься открывать?

Не настаивай, Матье. Когда-нибудь я тебе все объясню. Даже завтра. Когда я закончу. А сейчас оставь меня. Я и так потерял с тобой уйму времени.

— Ладно, Марко, так и запишем... Я ухожу.

Давай, давай, уходи. Уходи.

Марко слышит, как шаги удаляются от Инкубатора. Скрип калитки, скрежет петель, которые он так и не смазал.

■

Папаша Эмиль стоял во дворе и осматривал черенки плюща, пересаженные на прошлой неделе. Одна из главных веток, вившихся вокруг веранды, совсем засохла, большим участком зеленой завесы пришлось пожертвовать. Но на черенках уже появились ростки, в их нежной зелени таилась надежда. Скоро юные стебли устремятся на приступ стены, ухватятся за перила, и их упрямые усики вцепятся в проволоку, натянутую между балок, и начнут карабкаться вверх. Переплетутся друг с другом новые ветки, объединят свои листья и сообща заделают брешь, и зеленый ковер будет как новенький. Старик поднял голову. В экране плюща зияло отверстие, этакий прямоугольник размером два метра на метр. Солнце весело гуляло по веранде, спокойно присаживалось отдохнуть в соломенных креслах, в его широком луче плясали пылинки. Вся веранда будто переменилась.

«Еще немного, и природа свое возьмет, и опять все станет как прежде»,— подумал старик.

Он обернулся, поглядел на сарай в глубине двора, потом медленно поднялся по каменной лестнице в дом.

Он передвинул любимую свою качалку, полозья весело скрипнули по темно-коричневым плиткам пола, и сел в нее так, чтобы не видеть дыры в зеленой листве. Набил табаком трубку и только собирался ее зажечь, как из лавки послышался голос жены:

— Папаша Эмиль!

Радостные восклицания. Шум шагов.

— Чего тебе, Анна?

— Я веду к тебе гостей,— сказала старая Анна, подходя к мужу. Папаша Эмиль обернулся и зажмурился, так ярко светилось на солнце белое платье жены. Матье с Эдуаром вступили в полосу света.

— Ах, это вы!— воскликнул папаша Эмиль, поднимаясь с качалки.— С возвращением!

— Эдуар и Мари-Жозе вернулись вчера вечером,— сказал Матье,— а я приехал сегодня утром. Ах, папаша Эмиль, я теперь самый счастливый человек на Гаити!

Он весь сиял и лучился, за очками задорно блестели глаза.

— Так, так,— приговаривал папаша Эмиль, пожимая руки гостям,— давно я не видел Матье таким радостным.

— Есть отчего,— сказал Эдуар.

— Тогда рассказывайте скорее. Садитесь сюда, здесь тень.

Он снова уселся в качалку, Эдуар устроился возле стола, а Матье не садился и оглядывался по сторонам, будто чего-то искал.

— Папаша Эмиль, мне кажется, что-то у вас переменилось. Только не пойму, что же именно... А, понял! Листва!— воскликнул он, показывая на прямоугольник неба и солнца.— Какая жалость!

— Да,— подтвердил папаша Эмиль,— засохшую ветку обрубил.

— Дыра получилась заметная.

— Ненадолго... Ну, садись, не томи!

Юноша сел напротив своего старшего друга.

— Итак, друзья, все прошло хорошо?

— Лучше, чем можно было надеяться,— сказал Матье.— Сделан первый шаг к созданию серьезной и действенной оппозиции режиму. Ни один вопрос не остался в тени. Вы в этом сами убедитесь, папаша Эмиль. Партия четко и ясно сформулировала свою политику.

Друзья наперебой стали рассказывать, как проходил пленум ПНЕ, который в течение двух недель работал в подполье в одном из отдаленных районов страны. С самого начала представители местных организаций выразили свое полное согласие с необходимостью перестройки всей партийной работы на основе вооруженной борьбы против режима Пожизненного. Пленум детально обсудил, как организовать сопротивление. Были намечены основные этапы борьбы — создание боевых групп в городах, перерастание их в крупные опорные центры партизанской войны. Эдуар рассказал, что партия самокритично пересмотрела свою прежнюю тактику и провозгласила необходимость диалога со всеми прогрессивными силами, стоящими на антидиктаторской и антиимпериалистической платформе. Матье говорил об атмосфере энтузиазма, в которой проходили все заседания.

— Партия опубликует манифест с итогами дискуссии, а в начале месяца «Вуа дю пёпль» начнет печатать серию статей о работе пленума. Когда я обо всем этом думаю, мне кажется, будто я заново родился!— с воодушевлением заключил Матье.

— Отлично, отлично!— пробормотал старик.— Сделан большой шаг вперед. Эти решения помогут объединить силы. Выработать единую точку зрения на задачи и формы борьбы стало просто необходимым, и вот теперь это сделано. Очень, очень хорошо... Ах, дорогие мои, вы возвращаете мне надежду! Выходит, брошетт-маотьерская группа потрудилась недаром.

Старик опять оттолкнулся от пола и стал тихонько раскачиваться в качалке, задумчиво посасывая погасшую трубку. Возможно, это был еще один киносеанс папаши Эмиля, возможно, перед ним проходили сейчас столь близкие старому сердцу картины, проплывали знакомые лица, его дорогие ребята, и каждый обретал на веранде свое

постоянное место, определившееся случайно, выбранное наугад, на первой же встрече, которую когда-то созвал Бенуа... Вот здесь сидел Теажен в своих неизменных джинсах с безукоризненной складкой, за ним Робен и Эктор, чуть подальше Базиль и Жан-Франсуа, а там Клод, Серж, Титюс, Полен и Дестен. И все остальные — Марко, Родриг, Кари, Рональд. Папаша Эмиль снова видел порывистые жесты, слышал горячие голоса. А быть может, на эти знакомые лица, на эти привычные сцены наплывали уже другие черты, может быть, в кадре появлялись новые персонажи, пока еще незнакомые,— новое поколение борцов, идущих на смену погибшим...

— Отлично, отлично,— прошептал старик. И сказал уже громко:— Сегодня большой день, друзья. Большой день...

В этот миг в дверях показалась старая Анна.

— Я подумала, что вам будет приятно отметить такую хорошую встречу,— сказала она, подходя к столу с графином.

Папаша Эмиль остановил качалку, посмотрел на жену.

— У тебя удивительный нюх, моя славная Анна! И правда, известие, которое они принесли, согрело мое сердце. Я помолодел на пятьдесят лет! Садитесь ближе, друзья, мы с вами выпьем. Старая гвардия и молодые бойцы снова в одной шеренге. Вы влили мне в душу надежду. Может, и ты с нами выпьешь, Анна?

Анна положила руку ему на плечо.

— Ты ведь знаешь, что я не переношу спиртного. Да мне и незачем сегодня пить. Радость, которую я вижу в твоих глазах, меня опьяняет сильнее, чем целый галлон «Гляжу я на вас»... Пейте, мои дорогие. И да поможет вам небо,— добавила она, уходя с веранды.

— Ах, эти женщины,— сказал папаша Эмиль и потянулся к графину. Он наполнил рюмки; прозрачная влага, в которой плыло несколько молочно-белых хлопьев, искрилась на солнце.— Прошу...

Подняли рюмки, чокнулись, медленно выпили, смакуя каждый глоток. И замолчали надолго. Этот напиток напомнил им многое. Воскресил недавнее прошлое, и до боли знакомые лица вдруг возникли на пронизанной солнцем веранде. Видения плыли, мягко отталкивались, исчезали, чтобы вынырнуть снова. И стать еще более четкими. И тогда очень тихо, боясь спугнуть тишину и словно сделав свой выбор среди наводнивших веранду видений, Эдуар проговорил:

— Мы узнали... про Марко.

Легкий ветер проник на веранду сквозь широкий проем в листве. Папаша Эмиль вздохнул.

— Это длилось недолго,—сказал он.— Неделю. Отмучился Марко.

— Мы не успели приехать,— сказал Матье.

Впрочем, когда он узнал, все равно уже было поздно. Не довелось ему проводить в последний путь своего боевого друга. Не довелось увидеть его в гробу. И теперь, вспоминая Марко, он видел его живым, полным сил. Исчезнувшим, но живым. В полный рост.

— Я знаю, вы тоже его любили. Особенно ты, Матье. Но сейчас не надо о прошлом. Будем строить завтрашний день. Цветы для погибших мы еще принесем. После победы.

Он поднял руку над седеющей головой и крепко ухватился за луч предзакатного солнца.

— После победы,— повторил он.

И плавно пустил в ход свою качалку

■

# ДРАГАН М. ЕРЕМИЧ

## *Мысли и максимы*

Из книги «С ЛИЦА И С ИЗНАНКИ»

*Перевод с сербскохорватского*
*АЛЕКСАНДРА РОМАНЕНКО*

Все, чем обладаем, мы получили от природы, от своих предков, от окружающей среды, из прочитанных книг. Собственно нам принадлежит лишь наше творчество. Им мы возвращаем долги, которыми обязаны всем своим заимодавцам.

Тщетна всякая дискуссия между людьми, которые заинтересованы не в истине, но в победе собственных мнений.

Быть скептиком — иногда означает соглашаться, пусть неосознанно, с собственным бессилием в познании.

Догматик не любит сомнений, а скептик — твердых ответов. Но лучше стремиться найти твердые ответы и в них, хотя бы немного, сомневаться.

Даже знание о незнании есть знание, поскольку невежда не знает даже того, что он чего-то не знает.

Чувство должно давать разуму крылья, а разум чувству — глаза.

Для того, чтобы обмануть другого, надобно привести определенные доводы, но чтобы обмануть самого себя, они не нужны, поэтому никто не обманывает себя больше, чем мы сами.

Общие теории столь же мало полезны при решении запутанных частных вопросов, как и карты автомобильных дорог при изучении потаенных лесных тропинок.

Древнюю Сократову (и Конфуциеву) максиму «познай самого себя» следует развить и объяснить с помощью другой максимы: «Познай других так, как следует познать самого себя, а себя — как хотелось бы познать других».

Тот, кто непрерывно вопрошает, имеет ли смысл его существование, находится на верном пути к его обретению, подобно тому, как путник, постоянно расспрашивающий о дороге, с нее не собьется. Но и человек, нашедший смысл жизни, может легко его утратить, перестав постоянно проверять себя.

Вы жалеете глупца, но и он вас также; вы считаете его глупым, но и он то же самое думает о вас; вы пытаетесь убедить его в ошибочности его суждений, но и он стремится доказать, что ошибаетесь вы. И в конце концов вы задаетесь вопросом, не глупец ли вы сами. Это-то и есть доказательство того, что вы не глупы, поскольку глупцу не придет в голову, будто он глуп.

Когда речь заходит о том, правит ли миром случай или судьба, теоретически допустимо решать эту проблему как угодно, но на практике приходится поступать так, будто одновременно царит и то и другое: смело, как если бы все уже было решено судьбою, и осмотрительно, как если бы все зависело от случая.

Бóльшая притягательность веры в сравнении со знанием прежде всего заключается в том, что верят во что хотят, а знают то, что должны знать; вера зависит от нашего выбора, знанию же мы покоряемся.

Для многих людей превосходство религии над наукой состоит в том, что религия — лична, а наука — безлична или, точнее, надлична. Религия заботится о «спасении души» каждого верующего в отдельности, в то время как наука дает (лишь) возможность улучшить положение всех людей. Для верующих несущественно, что «спасение души» есть иллюзия, а возможность прогресса, которую дает наука, реальна. Им важно, что бог через посредство «душеспасителей» обращается прямо к ним, и верующие считают это единственным способом утвердить собственную личность. Однако личность утверждается не подчинением иллюзии, но лишь в столкновении и борьбе с действительностью.

Тот факт, что различные религиозные культы значительно больше взаимоисключают друг друга и значительно более непримиримы между собой, нежели различные научные теории, свидетельствует против веры. Не говоря уж о том, сколько пострадало людей и сколько пролилось крови из-за религиозной нетерпимости.

Слабость божества отчетливее всего, вероятно, проявляется в том, что для подчинения людей ему нужна особая организация — церковь.

Смешно, что между богом и людьми существуют посредники и вследствие этого они ближе к богу, хотя все люди являются якобы его равноправными чадами.

Смысл и ценность жизни заключается не в нынешнем бытии, но в будущем: они идентичны его цели. Их гораздо легче осуществить в жизни отдельного человека, нежели в масштабах всего человечества. Но все эти отдельные жизни доказывают каждому, что жизнь вообще обладает смыслом и ценностью. А поскольку все большее число людей стремится прожить жизнь, как ее прожили великаны человечества, то все более актуальным становится вопрос, как сделать свою жизнь полной смысла и ценности для всех людей. В этом-то и заключается сущность и значение социализма как общественной системы, при которой это должно быть обеспечено.

Морали приходится нелегко, ибо она должна вести бой против двух различных противников. Ей противостоят не только аморальность, но и лицемерие. Аморальность — открытый, фронтальный противник; лицемерие — тайный, подпольный.

Энергии, которую иные люди тратят на маскировку своих слабостей и пороков, хватило бы на то, чтобы от них избавиться.

Справедливость есть истина, которая обладает силой противостоять лжи.

Мнение человека о себе самом и мнение, которое имеют о нем другие, очень часто значительно расходятся, ибо люди видят лишь то, что человек сделал до сих пор, а он сам считает себя творцом как настоящего, так и будущего. Поэтому истина обыкновенно находится посредине: человек не только в том, что он уже сделал, но и в том, что он намеревается сделать, хотя многое из того, к чему он стремится, он обычно совершить не успевает, ибо он или переоценил свои силы, или же некие объективные обстоятельства ему в том воспрепятствовали.

Люди были бы значительно более нравственны, если б зло было столь же очевидно, как и безобразие.

Если бы наше дурное мнение о других одновременно не означало, что мы слишком ценим самих себя, мы говорили бы о других людях со значительно большим тактом, пониманием и мягкостью.

Искать удовольствий или любой ценой уклоняться от страданий — верный путь к аморальности.

Опасаясь зла, мы готовы с легкостью усомниться в том, кого обвинили в неблаговидном поступке. И, пусть незначительное, сомнение это остается в нас даже тогда, когда невинно обвиненный оправдан. Поэтому бесчестные люди столь часто пользуются клеветой: она почти никогда не минует того, в кого нацелена.

Есть искренние, но непоследовательные личности: сегодня им уже чуждо то, что они доверили тебе вчера.

Наибольшее несчастье для человека не самая смерть, но ее тень, которая, нависая над ним, может погубить любую жизнь и свести ее к жалкому прозябанию. Однако страх смерти не только отрицательная, но и положительная сила: он может заставить человека растоптать самые заветные ценности, дабы сохранить собственную жизнь, и в равной же мере побуждает творить великие дела — непрерывно созидать во имя прогресса человечества.

Вера в ценность добродетели уже сама по себе есть добродетель: негодяи не верят в нее, потому и не стремятся ее иметь.

Не заслуживает восхищения тот, кто ничем не восхищается.

Признание должно было бы украшать жизнь и хотя бы немного возмещать затраченное, однако нередко оно приходит так поздно, что может лишь в очень незначительной степени облегчить смерть.

Иногда и многих достоинств недостаточно, чтобы возвысить человека, но и одного изъяна довольно, чтобы без труда его погубить.

Честолюбивый человек испытывает удовлетворение по мере исполнения своих желаний, тщеславному же достаточно самого тщесла-

вия. Он ведет себя так, будто всего уже добился, будто ему ровным счетом ничего не нужно. У первого есть возможность развития, второй — угасает.

Есть люди, которые неискренни даже перед собой, поскольку правда поразила бы их самих. Как же можно тогда ожидать, что они будут искренни перед другими?

Люди подчас делают подарки, надеясь в ответ получить много больше. Поэтому слова, произнесенные Лаокооном у Вергилия: Timeo Danaos et dona ferentes[1], можно было бы перефразировать так: бойся даров, когда их приносят и не данайцы!

Человек должен быть цельной личностью и обладать всей полнотою душевных качеств, чтобы выполнить свое общественное и духовное предназначение, подобно тому как его тело должно обладать всеми органами для того, чтобы хорошо осуществлять жизненные функции. Однако, к сожалению, наши заботы о теле остаются значительно более сильными и важными, нежели заботы о душе. Жалеют, например, человека, у которого одна нога короче другой, но не жалеют того, кто короток умом и лишен идеала, хотя второй недостаток значительно серьезнее и опаснее и для того, у кого он есть, и для других людей, из-за него страдающих.

Радуясь, мы не всегда смеемся, а смеясь, не всегда радуемся. Однако наиболее прекрасны смеющаяся радость и радостный смех.

Люди ограниченные и ленивые видят везение даже там, где успех достигнут трудом и знаниями.

Человек не любит быть объектом чужих решений и стремится к самостоятельности. Но он убеждается, насколько это трудно. Ведь для того чтобы выбрать, необходимо много знаний, опыта, решительности, способности предвидеть последствия. Вот почему многие сознательно отказываются от права выбора. Так, по крайней мере, они сохраняют возможность обвинить в своих неудачах других.

От других зависят лишь благоприятные обстоятельства, а удача зависит от нас самих.

Значительную часть силы человека составляет понимание им своего бессилия, а значительную часть бессилия составляет убежденность в собственной силе.

Нравственность есть нечто, придающее цельность и незыблемость не только обществу, но и отдельной личности.

На первый взгляд они одинаковы, но по сути бесконечно различны: упорство, рожденное верностью истине и порядочности, и упрямство, мешающее человеку прийти к истине и служить порядочности.

Люди настолько полны слабостей и недостатков, что могут легко прикрываться плащом добродетели: наглецы считают себя полными достоинства, болтуны — красноречивыми, грубияны сильными лич-

[1] Бойся данайцев, дары приносящих *(лат.)*.

ностями, хитрецы — искушенными людьми, трусы — осмотрительными, льстецы — хорошо воспитанными, циники — прямодушными. Клевета, быть может, оттого так и живуча, что вывернутую наизнанку добродетель легко провозгласить недостатком.

Люди, требующие, чтобы в разговоре вы всегда соглашались с ними, не способны к диалогу, но лишь к монологу. Монолог похож на барабанный бой, в то время как хороший диалог подобен музыке.

Наши недостатки удовлетворяют других, пока они им не угрожают.

Хитрость есть интеллигентность глупцов, которой они могут превосходить и подлинно интеллигентных людей.

Для молодых людей важно и полезно иметь хорошие примеры и следовать им, для людей зрелых — иметь хороших критиков и верить им. Первым примеры помогают сформулировать личность, вторым критики помогают исправлять уже сформировавшиеся характеры.

Нет ничего ужаснее интеллигентного и непорядочного человека. Глупец не умеет даже скрыть свои недостатки, а интеллигентный человек в состоянии превратить их в логически оправданные принципы.

Тот, кто занимает в обществе более низкое положение, чем заслуживает, несчастен сам, кто занимает более высокое, чем заслуживает, делает несчастными всех тех, кто прямо или косвенно страдает от этой ошибки.

Сила иллюзий заключается в наших иллюзиях об иллюзии. Многие люди в принципе против иллюзий, как чего-то оскорбительного для человека и человечества, и стараются избавиться от них в надежде увидеть мир в его истинном виде, однако иллюзии скрываются как раз в том, что они считают истинной картиной действительности.

Творят ли зло из принципа? Зло и творят по недостатку принципов.

И достоинства, и недостатки проявляются в истинном свете во время падения или возвышения человека, причем в тем большей степени, чем неожиданнее и стремительнее это происходит.

Чем больше наши способности, тем больше и наши обязанности.

По обыкновению мы гораздо лучше знаем, в чем заключаются обязанности других, нежели наши собственные.

Людей следует оценивать не по тому, какую должность они исполняют, но по тому, как они ее исполняют.

Видеть себя в зеркале — значит все-таки смотреть на себя своими глазами. Поэтому подлинное зеркало наших достоинств и недостатков суть глаза других людей.

Человек, оправдывающий свои пороки собственной слабостью, по существу признает, что порок неизмеримо сильнее его.

Бахвальства своими добрыми делами достаточно, чтобы весьма их преуменьшить или даже вовсе погубить.

Равнодушие к себе — ошибка, равнодушие к другому — порок.

Человечество развивается медленно оттого, что пример является единственным подлинно воспитательным средством. Если бы вместо примера подлинным средством воспитания были добрые советы, человечество быстро стало бы совершенным.

Насильниками являются даже те, кто хочет насильно осчастливить других.

Зло дальше слышится, чем добро, потому что люди принимают добро молча, а зло — с воплями.

Свободен не тот, кто склонен навязывать свою волю, но тот, кто превыше себя ставит благо людей. Без возвышенной цели стремление к свободе превращается в стремление к тирании.

Легче быть строгим, нежели справедливым, и легче быть справедливым, нежели гуманным.

Человек, живущий преимущественно прошлым,— несчастен, живущий будущим — фантазер, а живущий настоящим — легкомыслен. Тот же, кто живет и прошлым, и настоящим, и будущим,— не несчастен, не легкомыслен, не фантазер, но разумный человек.

Человек, который во всех своих бедах обвиняет только судьбу, но не самого себя, никогда не сможет избавиться от своих несчастий.

И фактор времени работает против морали. Для преступления достаточно мгновения, порядочности необходима целая жизнь.

Любовь создает иллюзию, будто вводит нас в рай, но сердце, лишенное любви, есть подлинный ад.

Подобно тому, как политика не принимает во внимание любовь, так и в любви не может быть политики.

Люди, которые легко приходят в состояние возбуждения, обыкновенно не способны к великим эмоциям: много легче взволновать стакан воды, нежели море.

Многие сентиментальные души сделали сердце символом нежности. Однако сила сердца, как и всякая иная способность человека, ограниченна: оно нежно по отношению к тому, что любит, и безжалостно к тому, что ему чуждо.

В браке, как институте, который призван оберегать любовь, нередко забывают о любви в море обязанностей и обязательств.

Самое прекрасное чувство, которое в состоянии пережить человек,— это чувство любви, а самый прекрасный миг в любви — ее пробуждение: тогда острее всего ощущается огромная разница между прежним состоянием равнодушия и почти неземной вознесенностью, которую приносит зарождение любви.

Нам пришлось бы значительно тяжелее в жизни, если б не было существа, которое нас всегда поймет, оправдает и ободрит,— нашей матери.

Любовь родителей к детям всегда больше любви детей к родителям. Это несоответствие и несправедливость возмещают им собственные дети.

Amicus Plato, sed magis amica veritas [1]. Тот, кому принципы дороже друзей, обыкновенно лишен последних, тот же, кому друзья дороже принципов, очень часто беспринципен.

Тот, кого ничто не может поразить, вряд ли может быть счастлив. Тот, кого может поразить все, вряд ли оказывается мудр.

Какое счастье, что мы можем зажмуриться и не видеть чужой трагедии, но вот беда — таким способом мы не в силах освободиться и от собственных несчастий.

Откладывать — значит заранее соглашаться с поражением.

Не является ли аргументом в пользу пессимизма то, что гораздо легче и быстрее разрушать и уничтожать, чем строить и созидать? Город строится десятилетиями и веками, но при землетрясении или бомбардировке может вмиг исчезнуть. Люди, которые растут годами, мужают и становятся мудрее, могут мгновенно исчезнуть в какой-то битве или катастрофе. Зачастую и ничтожество способно подавить или вовсе уничтожить великие ценности. Интриган может очернить благородного человека, а маньяк — убить замечательного, чтобы этой смертью снискать славу Герострата. Но тем не менее пессимизм нельзя принимать как аксиому. Человек всем существом противостоит возникновению физического и морального неравенства, поэтому можно утверждать следующее: ничто не характеризует человека лучше, чем стремление восстановить равновесие, отдать предпочтение созиданию перед разрушением и предпочесть интеллектуальную ценность физической силе. Причины оптимизма заключены, следовательно, в человеке, его природе и достигнутых им успехах в борьбе за восстановление определенного равновесия в естественном порядке вещей, равно как и в предпочтении всего гуманного. Подобный оптимизм, который отчетливо видит многочисленные недостатки и ужасы жизни, но возлагает надежду на мужество и разумность человека и требует от него решительной борьбы против этих недостатков, противостоит как пессимизму, так и наивному оптимизму и может быть назван героическим оптимизмом.

Несчастье кажется неотчуждаемым и неделимым, а радость не только разделяют, но зачастую и отравляют в общении с другими.

Большое счастье, как и большое несчастье, не всякие плечи могут вынести: почти в равной мере они требуют большой силы, причем наиболее редкостной — силы личности.

Приступая к любому делу, надо быть смелым, разумным и выносливым: смелым для того, чтобы его начать, разумным — чтобы исполнить, выносливым — чтобы сохранить.

Нет ничего более противоречащего мечте, чем любая иная мечта. Если некто мечтает стать великим писателем, ему и в голову не придет мечтать о том, чтобы стать великим полководцем. Поэтому похожими могут быть лишь люди, лишенные мечты.

---

[1] Платон мне друг, но истина дороже. (По преданию, слова Сократа.)

Мир Шекспира, Леонардо и Баха есть нечто совсем личное и тем не менее понятное всем людям, поскольку всякий человек — человечество в миниатюре. Можно, следовательно, согласиться с Лейбницем в том, что каждый человек есть одна монада, но при условии, что каждая монада в то же время составлена из многих монад. Непонятны лишь те писатели и художники, чей взгляд сосредоточен на чем-то меньшем одной монады, на «сдвинутых» или неполных монадах.

Подлинную революционность в искусстве проявить очень трудно. Она заключается не в дешевом новаторстве, которое должно поразить и обескуражить, но в возвышенности замысла, глубине идеи и блистательности исполнения, что должно вдохновить и восхитить. Художник-революционер не тот, кто стремится любой ценой отличаться от классиков, но тот, кто хочет стать больше их.

Книги должны готовить нас к жизни, дополнять ее и делать более разнообразной, но они не должны заменять жизнь.

Книга, которая не обращается к тебе лично, не твоя книга. Ты можешь держать ее в своей библиотеке, но подлинно она принадлежит лишь тому, кто находит в ней ответы на свои собственные вопросы.

Даже свое лучшее произведение художник не считает вершиной, но лишь жалким ее подобием, ибо только ему ведомо, как много он стремился вложить в свое творение и как мало достиг.

Когда начинают создавать ради обогащения культуры, а не ради обогащения жизни, культура приходит в упадок.

Подлинная оригинальность никогда не возникает в результате заботы об оригинальности.

Самое худшее, что можно пожелать писателю, это не тяжкая судьба, но глупые и ограниченные читатели.

Красноречием легко прикрывается незнание, ибо многие люди слушают слова и наслаждаются их звучанием, не вникая в их смысл и суть.

Наибольшей ценностью обладают слова, открывающие мысли, которые никто другой не с м о г открыть, или слова, выражающие мысли, которые никто другой не с м е л выразить.

Книга дорога нам и тем, что начинает и кончает разговор по нашей воле, а этого не умеют делать даже самые близкие нам люди.

Произведения искусства своим величием во многом обязаны тому, что́ они взяли из прошлого, и в еще большей степени — тому, что́ потомки, возвращаясь к ним, непрерывно им прибавляют.

Произведение искусства есть примирение человеческой мечты и реальности.

Теория «искусство для искусства» исходит из того, что произведением искусства должен наслаждаться преимущественно художник. С точки зрения морали — это эгоизм, с общественной — индивидуализм, с философской — солипсизм.

Натягивая маску, люди не всегда замечают, как она становится их подлинным лицом.

Мелкие невзгоды озлобляют больше, нежели крупные: перед лицом больших бед человек чувствует себя значительнее, ибо масштабы нашей личности зависят и от противника, с которым вступаешь в схватку.

Будущее было бы совсем иным и много лучше, если бы оно начиналось завтра, а не уже сегодня и даже не вчера.

Каждый человек всегда говорит только о себе самом, но для глупца его «я» — весь мир, для мудрого же человека весь мир — его «я».

Идеалы должны быть как звезды: стоять очень высоко и служить нам ориентирами на земле, помогая достигнуть целей, к которым мы стремимся.

## *Похвала мудрому слову, или По поводу этой книги, а немного и о ней*[1]

Эта книга принадлежит к определенному жанру, довольно редко встречающемуся у нас, но, как известно, всегда труднее добиться успеха в области, интерес к которой еще надобно создавать, нежели в той, повсеместная склонность к которой утвердилась. Мысли, рефлексии, апофтегмы, медитации, сентенции, гномы, максимы — как только не называют краткие тексты, основанные на наблюдении разнообразных явлений жизни человека и окружающего его мира и принадлежащие к древнейшему и наиболее живучему виду литературного и философского выражения, более древнего даже, чем сама письменность. В своей изустной форме этот жанр лежит в основе целых цивилизаций, причем таких, из которых и поныне современная наша цивилизация черпает значительную часть своего наследия. Без четко сформулированных раздумий о жизни и суждений о том, как следует жить, невозможно, например, представить индийскую или китайскую, да и эллинскую культуру. Один из крупнейших мыслителей античности Гераклит, учение которого благодаря своей диалектике сохранило актуальность и по сей день, писал афоризмами.

И в то же время славу некоторых крупных литератур составляют именно писатели, культивировавшие этот литературный жанр. Вспомним лишь о великих французских моралистах: Монтене, Паскале, Лабрюйере, Ларошфуко, Вовенарге, Шамфоре, Жубере[2]. Вряд ли найдется труд по истории французской литературы, где была бы обойдена молчанием роль этих писателей в развитии национальной культуры.

У нас тем не менее по пальцам одной руки можно пересчитать тех, кто уделил особое внимание записыванию и публикации своих «мыслей», да немного найдется и тех, из чьих произведений можно было бы составить хотя бы небольшую книгу рефлексий вроде, на-

[1] Послесловие автора к книге, включающей пятьсот афоризмов, дается с сокращениями.

[2] Вовенарг Л. (1715 — 1747), Шамфор Н. С. Р. (1741—1794), Жубер Ж. (1754—1824) — французские писатели-моралисты, авторы книг изречений и максим.

пример, той, какую «извлек» Любомир Петрович из сочинений Богдана Поповича [1]. И все-таки не следует ли именно поэтому создавать традицию? Одна книга, естественно, погоды сделать не может, но в состоянии привлечь внимание к жанру в целом.

Разумеется, этому жанру присущи и определенные «слабости», отчасти, правда, свойственные не только ему. Существенный его недостаток, более или менее характерный для любого литературного жанра, заключается в том, что он не универсален. Можно прочитать много прекрасных книг и не найти в них ни одной сентенции, которую хотелось бы запомнить и при случае использовать; это особенно заметно, когда речь идет о стихах, но может относиться и к прозе, исключая, естественно, прозу философскую.

В зависимости от склада ума есть люди, которым может нравиться или не нравиться подобная манера выражения. Те, кто склонен размышлять и судить о жизни в форме кратких, лапидарных речений, обладают врожденной склонностью к данному жанру. Люди эмоционального склада, значительно более подверженные влияниям настроений и даже ритмически-моторному воздействию слов, в данном случае могут быть далеки от восторга. Следовательно, чтобы уяснить себе, почему одни обладают большей, а другие — меньшей склонностью (или вовсе лишены ее) к созданию и восприятию или, если угодно, к записыванию и чтению рефлексий и максим, необходимо некое типологическое разграничение.

Однако указывая на существующие различия между людьми, мы вовсе не собираемся подчеркивать также относительность мнений о роли рефлексий. Коль скоро нам предстоит выбор, думается, что предпочтение следует отдать тем, кто считает чтение и слушание инструментом развития своего интеллекта, но отнюдь не тем, кто видит в этом одну из возможностей борьбы со скукой.

На первый взгляд соотношение отдельно взятых сентенций и цельного литературного произведения, где все функционально, в известном плане подобно соотношению между заготовленными заранее строительными деталями и законченным зданием. Уподобление это, однако, вряд ли кажется состоятельным. Во-первых, число зданий-шедевров невелико, во-вторых, книги создаются не из одних сентенций. Сравнение неудачно еще и потому, что максимы редко бывают одноплановыми и зачастую образуют особую законченную философскую систему, независимо от того, возникли ли они вторично из нее (как у Божидара Кнежевича [2]) или лишь должны были ее создать (как в случае Паскаля или Шамфора). Внимательный читатель почти всегда обнаружит в них фундамент мировоззрения. Они не укладываются в тесные рамки философских систем, но подчиняются своим особым законам. Паскаль в своих «Мыслях» писал: «Я буду записывать здесь свои мысли в беспорядке, а может быть, и в ненамеренной путанице: это подлинный порядок, благодаря которому именно беспорядком всегда будет определяться мое направление». Этот беспорядок, по существу, представляет естественную систему рефлексий об избранном предмете, причем эта система уникальна и любая другая казалась бы на ее месте искусственной, неискренней, неестественной.

Однако при этом новом порядке «мысли» бледнеют не только оттого, что «соединяются» с помощью «клея» совсем иного качества, нежели они сами, но и оттого, что утрачивают прежнюю непосредственность, накал и ощущение субъективности происходящего, связь с жизнью и ситуациями, в которые она нас непрерывно ставит. Рож-

[1] Попович Б. (1863—1944) — сербский критик, литературовед, уделявший много внимания вопросам формы. Петрович Л.— комментатор и исследователь его творчества.

[2] Кнежевич Б. (1862—1905) — сербский историк и философ-позитивист.

денные в непосредственном контакте с жизнью, они могут быть легко применимы в этой жизни. Поэтому, думается, прав был Жан Ростан [1], который, следуя классическим французским моралистам в «Размышлениях биолога», заметил: «Когда мысли отредактированы, они кажутся менее искренними». Моралисты, вероятно, сообщили много больше правды о жизни, нежели философы, поскольку всегда оставались более близкими к ней и более верными и потому рассуждали о ней с большей тонкостью и сопереживаемостью.

Тем не менее именно тесную связь с жизнью можно считать одним из недостатков максим. Возникшие из непосредственного с ней контакта, без той абстрагированности, которая является результатом дальнейшей их «обработки», они могут нравиться или не нравиться, в зависимости от того, совпадает ли с ними наш собственный опыт или нет. В них нет места для доказательств и примеров, все уже подчинено непосредственному приятию и пониманию или же неприятию. Не находя в них созвучного себе, мы считаем их неточными, а обнаружив знакомое — банальными, поскольку они-де содержат общеизвестные истины. Следовательно, рефлексии пребывают где-то между неточностью и банальностью, как между Сциллой и Харибдой. Приятие или неприятие данной мысли, стало быть, часто красноречивее говорит о нашем собственном характере и опыте, нежели о ее абсолютной ценности. Не случайно Вольтер, восхищавшийся Ларошфуко и Вовенаргом, отрицал Паскаля. Это скорее свидетельствует о различии мышления, нежели о том, что Ларошфуко и Вовенарг более глубоки, чем Паскаль. Счастлив автор, нашедший самокритичного читателя, который не будет заранее делить его «мысли» на хорошие и плохие, а в тех, что ему не понравятся, увидит лишь собственную неспособность их понять,— читателя, подобного мадам де Севиньи, кому принадлежит следующее суждение о «Максимах и моральных размышлениях» Ларошфуко: «Среди них есть божественные. Среди них есть, к моему стыду, и такие, которых я не понимаю».

Поскольку рефлексии во многом зависят от нашего характера и жизненного опыта, не исключено, что можно составить иные суждения, порой даже противоположные уже существующим, которые, вероятно, покажутся более уместными и при этом также будут точны. Жизнь столь глубока и разнообразна, что ни одна сентенция не может исчерпать все ее возможные формы. Лотреамон в своих «Стихотворениях» вывернул наизнанку смысл многих афоризмов Паскаля и Вовенарга, и (о, чудо!) его афоризмы выглядят столь же точными. Ибо почему человеку суждено быть только мыслящим тростником (как утверждал Паскаль), а не, скажем, дубом и почему великие замыслы должны рождаться только сердцем (как писал Вовенарг), а не разумом? Ведь в жизни совмещаются без особых сложностей самые противоречивые суждения.

Вы возразите, возможно, что недостатком жанра является известная обусловленность максим личностью автора. Но разве иначе обстоит дело со всеми прочими жанрами литературы и даже философии? Столь ценимая авторская непосредственность содержится в изречениях даже в большей степени, нежели в прочих видах литературы, поскольку очарование заключается именно в том, что «рассчитывал на знакомство только с автором, а познакомился с человеком» (Паскаль). Отсюда их своеобразная двойственность: мы видим человека, создавшего их, но еще больше — человека, в них действующего. И в этом смысле рефлексии подобны произведениям хороших портретистов, где в мастерски воссозданной личности перед нами предстает многое от образа ч е л о в е ч е с т в а.

[1] Ростан Ж. (род. в 1894 г.) — французский биолог и писатель-моралист.

Максимы — ярко выраженный классический и классицистический литературный жанр. И ничуть не случайно, что во французской литературе сборники рефлексий были особенно популярны в XVII—XVIII вв., то есть до того, как с утверждением романтизма возобладали лирическая очарованность природой и подчеркнуто субъективное видение мира одной необыкновенно чувствительной личностью. И поныне любовь к этому литературному жанру, по существу, означает известную приверженность к классическому идеалу литературного выражения.

Значение этого литературного жанра весьма велико. Изречения, пословицы, размышления и афоризмы присущи, как уже говорилось, пожалуй, всем великим цивилизациям. Многие из авторов «сентенций» формировали у своих народов не только вкус и склонности, но нередко творили самое историю. Не без оснований Вольтер утверждал, будто максимы Ларошфуко значительно способствовали формированию вкуса французского народа, воспитывая его в духе точности и определенности; и не сделал ли Шамфор для французской революции больше, чем иные революционеры, бросив ставшее крылатым выражение «Мир хижинам! Война дворцам!» и подсказав тем самым Сийесу его основную идею о третьем сословии, а Мирабо — темы многих выступлений. Немало писателей, пользующихся большим авторитетом и влиянием в развитии современной мысли, прошли школу классической этической литературы. Не читал ли Ренан со вниманием Паскаля и не перефразировали ли Стендаль и Шопенгауэр Шамфора?

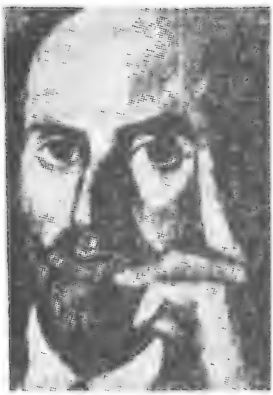
И, наконец, большинство моралистов по-прежнему остаются учителями стиля. Убедительнее других писателей они на практике доказывают, что стиль не что иное, по словам Шопенгауэра, как «отражение мысли». Изречения ближе к своей первооснове, чем какой бы то ни было иной литературный жанр, и вполне естественно, что люди, которые делятся своими личными наблюдениями и опытом, не повторяя где-то услышанное или прочитанное, являются хорошими стилистами. Лишенные украшательства, длиннот и ненужных деталей, их тексты, как правило, представляют собой стилистические шедевры, и неудивительно, что именно это неизменно подчеркивается при анализе их сочинений.

У сентенций есть еще одна особенность: книгу максим, разумеется, нельзя читать как роман. Если роман можно иной раз небрежно перелистать, то максимы следует читать без поспешности, вдумчиво, возвращаясь к отдельным страницам. Это отлично уловил Анри де Монтерлан, который, сам будучи автором афоризмов, в «Записных книжках» писал: «Надобно обладать особым умением для чтения максим: может быть, по одной странице в день».

В его словах, естественно, содержится преувеличение, но заключена и немалая доля истины, поскольку почти в каждом законченном изречении скрыто ядро более объемного сочинения: философского эссе, этического или психологического трактата,— и поскольку сам автор не развивает мысль, это должен сделать читатель, на что ему, разумеется, понадобится немало времени.

В заключение несколько слов по поводу этой книги. Она возникла столь же преднамеренно, сколь и случайно. Возникла из стремления хотя бы мельком наметить идеи, которые обстоятельства не позволили мне разработать в нечто более крупное и собрать в более цельной книге. Но она возникла из желания не только написать книгу, но и выразить свое отношение к жизни, которое сложилось много прежде, чем я решился перенести на бумагу свои наблюдения.

◆



# ХУАН РАМОН ХИМЕНЕС

*Перевод с испанского и вступление А. ГЕЛЕСКУЛА*

Хуан Рамон Хименес родился в андалузском городке Могере близ Уэльвы, в рождественскую ночь 1881 года и прожил долгую жизнь, на десятилетия пережив своих современников, корифеев Серебряного века испанской поэзии нашего столетия, родоначальником которой он был. Когда Мачадо издавал первые сборники, имя и стихи Хименеса были у всех на устах; когда Лорка только готовился стать поэтом, Хименес — к тому времени автор уже тридцати поэтических книг — был для него классиком и учителем. Признание пришло к Хименесу рано и стремительно. У его славы на родине были свои приливы и отливы, но, пожалуй, наибольшей она была в десятые — двадцатые годы, для Хименеса самые плодотворные, именно тогда сложилась его поэтика, которой он остался верен. Сегодня Хуан Рамон Хименес — один из самых любимых поэтов не только в Испании, но и в Латинской Америке, где он жил после поражения Испанской республики.

Первые два сборника Хименеса были тепло встречены критикой, но восемнадцатилетний поэт вскоре и навсегда отрекается от этих стихов, считая их незрелыми и вычурными, и возвращается из столицы в Могер. Там его ждет удар — смерть отца. Хименес на грани душевной болезни; невроз, вызванный потрясением, длится почти всю жизнь, вынуждает подолгу лечиться и приучает к одиночеству. В 1900 году в санатории на юге Франции он пишет свои «Сумеречные строки», а в 1903-м издает новый сборник, «Грустные напевы», ставший любимой книгой Антонио Мачадо. Высоко оценил ее и Рубен Дарио: «Теперь я могу сказать — это поэт великий... И как много в нем испанского, даже не испанского, но андалузского — этой андалузской печали».

И снова Хименес в Могере. «Здесь я ближе к жизни и все дальше от литературы». В Могере он создаёт в эти годы свои лучшие книги — «Весенние баллады», «Элегии», «Звонкое одиночество», «Колдовские стихи». Так рождается новая испанская поэзия — в андалузском захолустье, над рекой, уводящей к морю, в краю синевы, пастухов и певчих птиц.

Сейчас уже трудно представить себе то ощущение новизны и самобытности, которое ошеломило первых читателей Хименеса. После целого столетия книжности и красноречия — свежие, детски-искренние стихи, с живой интонацией и привкусом народной речи; после фавнов и Филумен — поля, запах сена, пастухи в тумане, испанские травы, испанские птицы; после броских декораций — тонкая живопись, зоркое и любовное внимание к миру. При этом несомненная поэзия, таинственно преображающая обыденность, и — прав Дарио — «как много в нем испанского». Даже обилие роз и соловьев в стихах Хименеса — не литературщина, и его соловей — не аллегория. Кто из испанских поэтов до Хименеса прислушивался к недолгой соловьиной песне осенью?

Хименес обновил лексику испанского стиха. Он говорил, что испытывает физическое наслаждение всякий раз, когда вычеркивает книжное слово и заменяет его самым обычным. Благодаря языковому чутью и артистичности Хименеса это стало законом испанской поэзии и новым источником красоты. И может быть, важнее фольклорных мотивов и стилизаций у Хименеса то, что с его стихами в испанскую поэзию снова вернулись простота и прозрачность народно-песенной фразы.

И наконец, необыкновенная (и непереводимая) музыкальность его стихов, неразрывно связанная с природой испанской речи. Эта музыкальная стихия действовала для них «наваждением». Эта поэтическая волна росла под знаком Хименеса — гипнотически — некоторые поэты «поколения 27 года» вспоминают, что Хименес был и в борьбе с ним, за собственное «я». Так было и с Лоркой.

Поэзия Хименеса родилась вместе с веком и росла под заметным воздействием символизма и — особенно вначале — импрессионизма. В 1917—1918 годах выходят книги стихов, которые, как считает сам Хименес, открывают второй период его творчества; поэзия становится строже, живопись сменяется графикой. Внешне эскизный, образ углубляется, становится просторней и емче в своей многозначности; в его скупом рисунке за чисто душевным состоянием угадывается философский и нередко исторический подтекст.

Ты мертва,
почему же печаль как живая
из очей твоих смотрит, по-прежнему черных?—

к кому обращены эти стихи, к женщине или к родине? В музыкально-пластических образах Хименеса, в контрастном чередовании душевных движений, горя и радости запечатлена не только личность поэта, но и судьба поколения.

Круто меняется и стихотворная форма — обычно это белый или свободный стих и, чаще всего, предельно краткая миниатюра. Как и прежде, но намного решительнее Хименес освобождает поэзию от всего «поэзийного», доходя порой до чрезмерного аскетизма. Нередко он публикует стихи анонимно. Его новаторство и лаконизм (отличительная черта испанского фольклора) подхвачены «поколением 27 года» — Лоркой, Альберти и другими. Но бывшие ученики уже вышли из-под власти учителя и, преодолевая рамки его эстетики, идут дальше — к поэзии более широкого дыхания и социального воздействия.

Сам Хименес с середины 20-х годов живет в Мадриде, одиноко и замкнуто. Когда же историческая ситуация ставит его перед выбором, он, не колеблясь, выбирает сторону справедливости. 22 августа 1936 года республиканское правительство назначает Хименеса культурным атташе в США, и он выезжает в Вашингтон, где развивает неутомимую деятельность по организации помощи испанским детям и беженцам. После поражения республики Хименес оказывается практически без средств к существованию, но вернуться в Испанию не считает для себя возможным. Он переезжает из одной страны в другую, некоторое время живет в Пуэрто-Рико, потом на Кубе, пробует преподавать в школе, читает лекции, изредка печатает стихи.

В конце концов Хименес поселяется в США, при Мэрилендском университете. Жизнь становится внешне благополучней, но тем резче контраст между этой жизнью и внутренней неприкаянностью, вечной тоской по родине: «Что мне в этом солнце, в этой роскоши? Земля, камни, деревья — их я помню... Каждую ночь я беру карту, ищу, где жить, и не нахожу себе места...»

Умер Хуан Рамон Хименес в 1958 году в Пуэрто-Рико, через два года после присуждения ему Нобелевской премии.

В его поздних стихах, при всей их горечи, нередко воскресают светлые интонации той поры, когда только начиналась весна испанской культуры, оборванная франкистским мятежом. В них та же верность себе, такой же простой и отточенный язык, так же странно сочетаются проповедь радости и неизбывная печаль, одиночество и благодарное доверие к миру — все, что прозвучало и полюбилось полвека назад, тот двойственный внутренний облик Хименеса, который запечатлен не в воспоминаниях современников, а в посвященных ему стихах Антонио Мачадо:

...Пел скорбный голос из тумана,
и то была душа весны.

*(Перевод О. Савича)*

Наследие Хуана Рамона Хименеса — около двух тысяч стихотворений (и помимо этого — прекрасная проза). Предлагаемая небольшая публикация может дать лишь некоторое представление о его поэзии, мало известной русскому читателю. Стихи взяты из книг «Печаль полей» (1903), «Элегии» (1907—1908), «Звонкое одиночество» (1908), «Грусть» (1910—1911), «Духовные сонеты» (1914—1915), «Вечные мгновения» (1916—1917), «Камень и небо» (1917—1918), «Единое время» (1946) и «На иных берегах» (1953).

■ ■ ■

В полях печально и пусто,
одни стога среди луга.
Ложится вечер осенний,
и пахнет сеном округа.

Проснулся плач соловьиный,
а сосны замерли сонно,
и стал так нежно-сиренев
над ними цвет небосклона.

Уводит следом за песней
меня тропа луговая,
и веет осенью песня,
бог весть кого отпевая,—
поет, как пела когда-то,
зовя ушедшего друга,
и падал вечер осенний,
и пахла сеном округа.

## Октябрь

Лежал я на земле, а надо мною
стоял закат и, ярко догорая,
в кастильском поле без конца и края
отсвечивал осенней желтизною.

За плугом параллельно с бороздою
тянулась борозда, еще сырая,
и шли крестьяне, в землю посылая
зерно рукою честной и простою.

И думал я: настало мое время —
я вырву сердце, звонкое, живое,
вручу земле, пока не отзвенело,

и поглядим, взойдет ли это семя,
чтоб по весне высокою листвою
нетленная любовь зазеленела.

■ ■ ■

Детство! Луг, колокольня, зеленые ветки,
разноцветные стекла высоких террас.
Как огромная бабочка смутной расцветки,
вечер ранней весны опускался и гас.

И в саду, золотом от вечернего света,
птичье пенье росло, чтобы вдруг онеметь,
а прохладные волны приморского ветра
доносили из цирка плакучую медь...

И еще до того, как возник безымянно
и застыл во мне горечью привкус беды,
я любил, соловьенок, в безлюдье тумана
затихание мира и голос воды.

■ ■ ■

Чуть желтеет луна за седой пеленою,
и сырой полумрак, как аквариум, зелен.
В золотистую муть под размытой луною
призрак сада плывет, как туман из расселин.

И цветы незнакомы, и горечь туманна.
И что было родного — утрачено снова.
И бессонный хрусталик в тумане фонтана
плачет мертвым напевом из мира иного.

■ ■ ■

Щемящие сумерки позднего лета,
и дом по-осеннему пахнет мимозой...
И память хоронит, не выдав секрета,
неведомый отзвук, уже безголосый...

Вдоль белых оград, как закатные пятна,
последние розы тускнеют лилово,
и кто-то тоскует, а кто — непонятно...
и тени родные встают из былого...

Неслышное чье-то впотьмах приближенье,
и сердце сжимается вдруг поневоле...
И в зеркале смотрит на нас отраженье
глазами чужими и полными боли.

■ ■ ■

Чем он был изначально, твой напев соловьиный, —
родником, или розой, или ранней звездою?
Вспомни, лунная птица,— за какой луговиной
он поил первоцветы водой золотою?

И твои ль это в небе самоцветные трели?
Или бог в тебе плачет, что ни миг — сиротливей?
Или сам не припомнишь, у какого апреля
ты украл, соловей, свои звезды в разливе?

■ ■ ■

(... Черепица
в дожде
и цветах.
Х.Р.Х.)

Бродят души цветов под вечерним дождем.
О, ростки желтоцвета по кровельным скатам,
вы опять отогрели заброшенный дом
нездоровым и стойким своим ароматом!

Он как голос, который заплакать готов,
или сказка лесная, с лачугой в низине,
где невеселы краски, и много цветов,
и большие глаза нелюдимы и сини...

Привкус горя навек с этим запахом слит
и возник в незапамятно-давние годы...
Крыша пахнет цветами, а сердце болит,
словно эти цветы — его желтые всходы...

## *Облака*

Снега небес, вы как луна в апреле —
неуловимы, призрачны и белы.
Я как-то луг увидел оробело
таким, как ваши вечные метели.

И сном во сне пришли к моей постели
вы как посланцы белого предела,
к которому душа моя летела.
Я просыпался — слезы все блестели.

Когда я с вами, крылья кочевые,
в моей душе дремота или бденье?
Сольюсь порою с вашей белизной —

и словно пробудился я впервые...
И вдруг как бы пронизывает тенью
от миндаля, зацветшего весной...

■ ■ ■

Летят золотые стрелы
с осеннего поля брани.
И в воздухе боль сочится,
как яд, растворенный в ране.

А свет, и цветы, и крылья —
как беженцы на причале.
И сердце выходит в море.
И столько вокруг печали!

Все жалобно окликает,
все тянется за ответом —
и слышно: — Куда вы?.. Где вы?..
Ответ никому неведом...

■ ■ ■

Я узнал его, след на тропинке,
по тому, как заныло сердце,
на которое лег он печатью.

И весь день я искал и плакал,
как покинутая собака.

Ты исчезла... И в дальнем бегстве
каждый шаг твой ложился на сердце,
словно было оно дорогой,
уводившей тебя навеки.

■ ■ ■

Комочек перьев
под совиной лапой смерти,
о, как ты смотришь на меня печальным оком —
чуть розоватым, тусклым угольком —
из-под ее когтей неразличимых,
о, как ты смотришь... если бы я мог!

■ ■ ■

Я как бедный ребенок,
которого за руку тащат
по ярмарке мира.
Глаза разбежались
и столько мне, грустные, дарят...

И как нелегко мне отсюда уйти!

■ ■ ■

Бездна одиночества одна.
И один идешь к ней издалека,
одиноко, как одна волна
в одиноком море одинока.

■ ■ ■

Я снова у моста любви,
соединяющего скалы,—
свиданье вечно, тени алы —
забудься, сердце, и плыви.

— Мне за подругу вода речная:
не изменяясь, не изменяя,
она проходит, и век не минет,
и покидает, и не покинет.

## Юг

Бескрайняя, жгучая, злая
тоска по тому, что есть.

■ ■ ■

Был ее голос отзвуком ручья,
затерянного в отсветах заката,
или последним отсветом закатным
на той воде, которая ушла?

■ ■ ■

Я не я.
Это кто-то иной,
с кем иду и кого я не вижу,
и порой почти различаю,
а порой совсем забываю.
Кто смолкает когда суесловлю,
кто прощает, когда ненавижу,
кто ступает, когда оступаюсь,
и кто устоит, когда я упаду.

## Утрата

Бесконечна ночь утраты,
и темна стезя.
Умирающий уходит,
и вернуть нельзя.

Он все дальше от надежды
на пути своем.
Но несбыточней надежда
умереть вдвоем.

И не легче пригвожденным
к одному кресту.
Все равно уходит каждый
на свою звезду.

## *Моя бедная тоска*

То, что стелется,— туман,
а не река.
И волна его растает,
как тоска.

То, что реет,— это дым,
а не крыло.
Он редеет — и становится
светло.

То, что мучит,— не душа,
а только сон.
И все темное развеется,
как он.

■

А. МУЛЯРЧИК

# В ПОИСКАХ НОВЫХ ГОРИЗОНТОВ

## Заметки об американском романе начала 70-х годов

О том, что жизнь в Соединенных Штатах в конце 60-х годов проходила под знаком Водолея — созвездия, благоприятствующего молодости, любви, дерзновенным порывам, чаще и красочнее других писал, пожалуй, Норман Мейлер[1]. Опередив философов и социологов, в своих публицистических книгах «Армии ночи» и «Майами и осада Чикаго» он дал яркую картину молодежной вольницы, соединявшей, как ему казалось тогда, бунтарские выступления на улицах американских городов с выработкой путей, ведущих к «духовному раскрепощению личности». «Новое поколение Америки уже не полагается на технику,— провозглашал Мейлер вскоре после «марша на Пентагон» в октябре 1967 года.— Оно верит в ЛСД, в волшебство, в племенную мудрость, в оргии и в революцию... Его радикализм — во враждебности всякой власти, которую оно ассоциирует с мировым злом».

Расшифровкой этих и аналогичных положений занялась вскоре обширная литература, на самых высоких нотах оповещавшая о «приходе контркультуры» в качестве залога грядущей «новой американской революции». Так утверждал, например, в книге «Без Маркса и Иисуса» (1970) французский журналист Ж.-Ф. Ревель, к которому присоединились американские социологи Т. Роззак и Ч. Райх, писатели М. Маккарти и П. Гудмен. «Нам нужна не столько политическая революция, сколько антиполитическая»,— восклицал Ревель от имени «святых варваров» Америки, «выпавших» из лона буржуазной цивилизации и как будто бы решивших целиком отдаться ее перестройке, опираясь на «отказ от авторитарной культуры в пользу культуры, проникнутой критикой и разнообразием и в своей основе творимой заново, а не заимствуемой из ранее накопленных культурных ценностей».

Щедрая на декларации «контркультура» оказалась, однако, не в состоянии подкрепить свои благие намерения соответствующим творческим вкладом — к началу 70-х годов это обескураживающее для многих обстоятельство выявилось с достаточной полнотой. Нарастание разногласий в среде «новых левых» подчеркнуло не только политический упадок движения, но и серьезную уязвимость его культуртрегерской позы. Нотки сомнения закрадывались в уверенный, а то и восторженный голос Мейлера еще в пору работы над «Армиями ночи»; уж слишком разительным внезапно представился ему контраст между озаренным заревом осажденным Пентагоном и окружающим его морем осеннего мрака, между шумливой разношерстной коалицией, штурмующей еще одну Бастилию, и безмятежностью окрестных городков и поселков, обители и опоры «молчаливой Америки».

Три года спустя развитие конфликта между основной массой населения, «здраво-

[1] О творчестве Н. Мейлера см статью А. Зверева «Через зону пустоты». «Иностранная литература» № 3, 1974 г.

мыслящими чурбанами», по выражению Мейлера, и противостоящим им «новым стилем жизни» приводит писателя чуть ли не в отчаяние. В книге-репортаже о первой межпланетной экспедиции «Аполлона» «Огонь на Луне» (1970) он как бы делает смотр своим союзникам, «воинству», к которому принадлежал и он сам, глупому, самодовольному и тщеславному, склонному к предательству, ненавидящему и презирающему всякую тиранию, отзывчивому и чувствительному и все же позволившему себя обойти и одурачить, оставившему поле битвы и всевозможные трофеи за соперником». И остаткам разгромленной армии «вышедших из ночи», сдавшей свои позиции из-за отсутствия ясной программы действий, или «страшного нигилизма», как именует это Мейлер, писатель противопоставляет трудолюбивых «ос»[1], «забывших о собственном нигилизме ради компьютера и лазера». Что означает эта смена декораций на авансцене общественной борьбы Америки, какое умонастроение и какие социальные силы придут на смену разочарованной и не отличавшейся стабильностью студенческой стихии, спасут ли они мир чувством «нового оптимизма» — Н. Мейлер только ставил эти вопросы, но сам он не был в состоянии дать на них ответ. Привыкнув к своей «авангардной» роли и слишком тесно сблизившись с психологией «разгневанных бунтарей», писатель (а вместе с ним и те, кто воспринимал пример Мейлера в качестве едва ли не единственного путеводного ориентира) оказался на время в стороне от идейной полемики, наложившей заметный отпечаток на духовную жизнь США в новом десятилетии.

Несмотря на упреки в «традиционности» со стороны критиков-авангардистов, реалистическая литература США и в 60-е годы, в пору расцвета абсурдистской прозы и объявившей о «смерти» романа школы «нового журнализма», сохранила свою жизнеспособность и верность испытанным художественным принципам. Молодежное движение всколыхнуло всю страну, поколебало многие устои, и вот уже несколько лет, как писатели-реалисты заняты осмыслением и подведением итогов этой «генеральной чистки» американского духа, причем внимание к ее эксцессам, как правило, соединяется у них с защитой гуманистических представлений, с попыткой определить направление дальнейшей духовной эволюции Соединенных Штатов. Таких остроактуальных романов немного, и вряд ли можно говорить об идейном единстве их авторов, по-разному относящихся к некоторым узловым проблемам современности.

Одни из них, подобно С. Беллоу в «Планете мистера Сэммлера» (1969), растерянны и не видят в современном мире ничего, кроме торжества «самоубийственных импульсов»; другие же не удовлетворены пессимистическими обобщениями и пытаются в какой-то мере представить в своих книгах наглядную картину борьбы различных социальных и духовных сил, формирующих в наши дни облик американской нации.

Обеспокоенность интеллигенции США судьбами страны, вступающей в последнюю четверть века, предполагает внутреннюю готовность писателя к бескомпромиссному анализу общественных противоречий, к поиску «существенной человеческой истины». Но эта цель, стоящая перед каждым подлинным художником, наполняется реальным смыслом лишь в соединении с активной гражданской позицией. Стремление не только фиксировать приметы и подробности жизни, но и искать ответа на вопрос: «Куда идет Америка?» — вот главное, что объединяет ряд симптоматичных, хотя далеко и не равноценных, произведений, появившихся в первой половине 70-х годов в литературе Соединенных Штатов.

■

«Земля — прекрасная планета. Мы знаем это по фотографиям астронавтов. Но разве не делается все возможное для того, чтобы жизнь на ней стала невыносимой, разве не существует всеобщего неосознанного заговора, распространяющего вокруг себя яд безумия?» — с таким риторическим вопросом обращается к своим слушателям заглавный герой книги Беллоу «Планета мистера Сэммлера», романа-трактата, претендующего на выражение квинтэссенции американской действительности, какой она сложилась к концу минувшего десятилетия. Упадок современной цивилизации — предмет неустанных дум Артура Сэммлера, бежавшего в конце последней мировой войны от преследований нацистов в Америку, потерявшего в концлагере левый глаз и уже много лет ведущего незаметное существование одинокого мыслителя. «Поверенный нью-йоркских эксцентриков, утешитель неуравновешенных мужчин и опекун неуравновешенной женщины, регистратор человеческого безумия» — так аттестует себя он читателю.

Что же видит вокруг себя мистер Сэммлер, одноглазый король в государстве слепых, каким считает его автор и суждения которого он разделяет? «Я не хочу сказать, что мы живем в худшее из всех времен, но ощущение таково, что все вокруг нас разваливается на куски»,— не раз и не два восклицает Сэммлер, но эти критические возгласы, похоже, не имеют в книге точного адреса. «Писатель для интеллектуалов» — так обычно называют Беллоу в США — вот уже многие годы энергично выступает против «тоталитарности» как якобы единой модели мирового развития. Отказываясь проводить разграничительную линию между миром социализма и буржуазным обществом, сохраняя тесные связи с американски-

[1] Оса по-английски wasp. В то же время wasp — сокращение: «белые протестанты англосаксонского происхождения», составляющие более половины населения США.

А. МУЛЯРЧИК

## В ПОИСКАХ НОВЫХ ГОРИЗОНТОВ

ми сионистскими кругами, Беллоу переносит и в роман многие из политических пристрастий, составивших ему незавидную репутацию одного из сравнительно небольшого числа писателей, активно прокламирующих свою враждебность новому общественному устройству. Показательно и то, что в последние годы Беллоу совсем не выступал как прозаик, зато его имя можно было нередко встретить под различными петициями, пытающимися бросить тень на внутреннюю и внешнюю политику нашей страны, омрачить и осложнить дальнейшее развитие американо советских отношений.

Путаное отношение Беллоу к основным идеологическим проблемам современности накладывает отпечаток и на оценку его героем плодов буржуазного прогресса. Борьба за права индивидуальности принесла с собой в Соединенные Штаты в 60-е годы такое, скажем, сомнительное завоевание, как возможность наслаждаться плодами «сексуальной революции», «соединяющей изобретательность и негу альковных забав придворных Версаля с непринужденностью эротических привычек жителей Самоа». И мистер Сэммлер на деле, воочию ощущает, что означает быть «раскованным» в современном Нью-Йорке, с его душной, насквозь сексуализированной атмосферой. Встреча с темнокожим карманником-эксгибиционистом, приперающим старика к стене в подъезде его собственного дома и безмолвно демонстрирующим ему свою мужскую стать, становится первым и самым сильным шоком в ряду других потрясений.

Нет покоя для Сэммлера в Нью-Йорке, этом «самом умышленном городе», как сказал бы Достоевский, которому Беллоу пытается подражать, начиная со своих первых литературных опытов. Упадок городских служб, равнодушные лица зевак, на глазах у которых может без помех случиться любое преступление, полная взаимоотчужденность — эта обстановка на нью-йоркских улицах в апреле 1969 года словно бы соответствует духоте июльского Петербурга в «Преступлении и наказании»: та же томительная атмосфера, когда чувства обострены, нервы на пределе и затянувшееся ожидание грозы готово в любой момент смениться отчаянным поступком.

Но мистеру Сэммлеру и его создателю не дана решимость Раскольникова — или, может быть, слишком тяжел груз раздумий и знаний, наслоившийся за разделившее их столетие на плечи современного западного интеллигента. С него достаточно соблюдения приличий, сомнений и вздохов по поводу судьбы своих сожителей по планете, но не активных действий. Дезинтеграция общественной жизни на Западе за послевоенные годы зашла настолько далеко, что скромный стоицизм кажется Беллоу если не подвигом, то чуть ли не единственно возможным образцом гражданского поведения. Терпимость — вот, пожалуй, высшая добродетель, по мистеру Сэммлеру. Он следует ее рекомендациям и в случае с карманником, которого наконец застигают с поличным, и в конфликте с отвергающими его взгляды студентами университета, и в отношениях со своими знакомыми, богатыми бездельниками, «благодарными клиентами технической революции».

Образом своего героя, «человека с лицом читателя библиотеки Британского музея», то есть, по мысли автора, хранителя традиций высокой гуманности и культуры, С. Беллоу стремился создать известный противовес нашествию «контркультуры» в момент ее наивысшего влияния. Решительно отвергая «новейшие умонастроения» с их недоверием к логике, рациональности, анализу, принципам, писатель в свою очередь оказался не в состоянии наметить сколько-нибудь реальную перспективу высвобождения человека из-под власти, по его выражению, «гигантских сил организованного контроля». В беседе с ученым коллегой доктором Говиндой Лалом, как бы вмещающим в себя мудрость Востока, Сэммлер всерьез поддерживает идею последнего о... колонизации Луны как способе избавить человечество от гнетущего ощущения неудовлетворенности. Рецепт этот, разумеется, фантастичен, и создается впечатление, что разговор двух эрудитов весьма мало «привязан» к действительной жизни и имеет отдаленное отношение к насущным нуждам.

Итог разговора с доктором Лалом примечателен. Продравшись сквозь дебри мудрствования, читатель яснее представляет себе охранительную, по существу, идейно-философскую основу произведения. Сэммлер скорбит и в то же время придерживается тактики «скрещенных рук»; он настрадался за свою жизнь и теперь предпочитает оставаться наблюдателем, лишь «обозначая» свою заинтересованность в общем деле. Пассивность героя — свидетельство глубокого пессимизма Беллоу, отказа от поисков реального противоядия всем тем многочисленным недугам, что ныне серьезнее, чем когда-либо прежде, угрожают духовному здоровью его соотечественников, людей с планеты мистера Сэммлера.

Заключительные главы «Планеты мистера Сэммлера» выдержаны в обнадеживающей и вроде бы ободряющей интонации, но подобный дидактический крен не снимал с произведения явного ощущения усталости и апатии как следствия душевной растерянности и ошибочности идейно-политических взглядов писателя. Выступая в поддержку гражданской активности интеллигенции, Беллоу, однако, как уже отмечалось, нередко пытался свести к одному знаменателю противоборствующие общественно-политические факторы нашей эпохи. «Нам отчаянно необходим подлинный радикализм, который всерьез бросает вызов власти»,—говорил он в одном из интервью, ссылаясь в качестве яркого образца связи художника с жизнью на Т. Драйзера, «реалиста с элементами гения». Но как раз пример Драйзера, многие десятилетия стоявшего на стороне прогрессивной Америки и в конце жизни вступившего в коммунистическую партию, должен был бы предостеречь Беллоу и некоторых других, не лишенных худо-

жественного дара писателей Соединенных Штатов от политической необъективности и прямых выпадов против социализма, идущих вразрез со славной традицией критического направления в американской литературе. В числе литераторов, порой не осознававших всей ответственности своей роли не только художника, но, по существу, и общественного деятеля, с конца 60-х годов значилось, к сожалению, и имя Джона Апдайка, автора известных нашему читателю «Кентавра» (1963) и «Фермы» (1965).

В сборнике рассказов и путевых заметок «Бех: книга» (1970) Апдайк весьма поверхностно и тенденциозно излагал свои впечатления от поездок в Советский Союз и страны Восточной Европы в 1964—1967 гг. Избранный им комический склад повествования не мог скрыть снобистской позы писателя и его недоброжелательного отношения к обычаям и традициям стран социализма. Ценителей творчества Апдайка огорчила и его позиция в годы войны во Вьетнаме, заметно расходившаяся с антимилитаристскими взглядами подавляющего большинства американской творческой интеллигенции. Противоречием между нечеткостью идейных установок Апдайка и его незаурядным талантом реалиста был отмечен роман «Кролик возвращается» (1971), отразивший, как и в случае с «Планетой мистера Сэммлера», своеобразное положение «на распутье», в котором оказалось в начале 70-х годов немало известных американских писателей.

Камо грядеши? — словно бы вопрошала книга Апдайка. Сидя на пепелище своего дома, герой романа Гарри Ангстром, он же Кролик, подобно Марию на развалинах Карфагена, окидывает мысленным взором события недавнего прошлого. Как и у Беллоу, в центре внимания Апдайка панорама 1969 года, этого пика «молодежной революции», которой на сей раз противостоит не утонченный интеллектуал-чужеземец, а «синий воротничок» из американской провинции, внезапно выдвинутый на авансцену типичный представитель «молчаливой Америки».

Гарри Ангстром, с которым читатель впервые встретился в давнем романе Апдайка «Кролик, беги» (1960),— квалифицированный рабочий, линотипист, на вид степенный отец семейства, ведущий размеренный, хотя и однообразный образ жизни. «Набираю текст. Смотрю телевизор. Сижу сложа руки» — к этому сводятся отныне «труды и дни» Кролика, но он не забыл о своем бегстве от потребительской Америки, давшем название и генеральную идею предыдущей книге Предрассудки сравнительно обеспеченного мещанина и трезвые наблюдения, подсказанные обыкновенным здравым смыслом и житейским опытом, составляют исходную сумму взглядов теперешнего Кролика Он отнюдь не «расист-империалист» (этой звучной кличкой награждает Кролика любовник его жены Джанис), но нередко в его высказываниях слышится решительное неприятие радикального «духа 60-х годов». Кролик словно бы зажат между двумя измерениями современной Америки массовидно-обывательским, олицетворяемым Джанис с ее газетно-телевизионным жаргоном, и молодежным «подпольем».

С уходом Джанис к Чарли Ставросу Кролик попадает в иное социальное окружение. Он заводит знакомство с «цветными», которых до сих пор чурался, сближается с девушкой-подростком, «перекати-поле» Джил, дает приют Скитеру, солдату-негру, только что вернувшемуся из Вьетнама. В его доме собираются те, кому чужд американский стандарт, фальшивая официальная мораль,— дети, «отчужденная» молодежь, мятежники-негры. Особенно близка Кролику Джил. «То, что люди думают, когда они что-нибудь делают, воплощается в вещи, выходящие из их рук. Если для них главное деньги, то все потом будет пахнуть деньгами... Человек — это механизм, чтобы обращать вещи в духовность, а духовность — снова в вещи»,— так философствует эта «девченка с улицы», сидя на полу скрестив ноги, и ее словам с восторгом внимает сын Кролика Нельсон. Да и сам линотипист, несмотря на скептицизм «пожившего» человека, уже не с такой усмешкой относится к прекраснодушным мечтам Джил о всеобщем братстве, к ее готовности отдать душу и тело во всеобщее пользование ради достижения мировой гармонии.

Но и юной Джил есть чему поучиться у тридцатишестилетнего Кролика — его уравновешенности, трудолюбию, стойкости не только на словах, но и на деле. За десять лет, минувших после его «бегства», Кролик со многим смирился, не кое-что и уразумел. Он понял, что безнравственна критика без положительной программы, какой бы ограниченной она ни была, что нельзя жить только в долг у прошлого, у будущего, у своих менее эксцентричных соотечественников. Иначе, размышляет Кролик, мираж разудалой жизни скоро развеется, пыль осядет и все останутся лицом к лицу с запустением и горечью осознания ушедшего впустую времени.

И, быть может, Джил и Кролик, молодость и зрелость, смогли бы приноровиться и понять друг друга, если бы не «леваческий» экстремизм «контркультуры», воплощенный в Мефистофеле — Скитере. Скитер стоит за свободу от всего: моральных обязательств, принципов, элементарных приличий. Мечтая о «винтовке, рождающей власть», он готов перенести оправданные в условиях антиколониалистской борьбы методы партизанской войны в обстановку высокоорганизованного «индустриального общества». Скитер красноречив, и он прав, когда ведет речь о горьком вековом уделе черной Америки — о рабстве, сегрегации, насилии, однако предлагаемое им лекарство оказывается не менее губительным, чем сама болезнь. Вспышкой спровоцированного Скитером насилия со стороны белых горожан,

А. МУЛЯРЧИК

## В ПОИСКАХ НОВЫХ ГОРИЗОНТОВ

приверженцев «закона и порядка», разрушен уютный гостеприимный теремок: Джил погибает в огне, Кролик и Нельсон остаются без крова. «Твое несчастье в том,— говорит на прощание Кролик Скитеру,— что тобой движет лишь жалость к самому себе, не больше. Главный вопрос — что делать дальше, в каком направлении идти. Все мы находимся в одной и той же лодке». «В каком направлении идти» — так называлась и последняя, предсмертная книга Мартина Лютера Кинга, жизненный пример которого неизменно вызывал град насмешек со стороны его более нетерпеливых, но, как показало последующее развитие событий, не столь дальновидных соратников.

Полуобгоревшая стена дома Кролика — словно застывший телеэкран, запечатлевший самые различные знаки и символы «горячей поры» конца 60-х годов. Эмблема пацифистов соседствует здесь со свастикой, лозунги «закона и порядка» с легкостью переплавляются в призывы к «власти черных». Соприкосновение с «молодой Америкой» в лице Джил и особенно Скитера указало герою Апдайка на всю бессмысленность и пагубность необузданных, «волевых» порывов, не подкрепленных трезвым расчетом наличных средств и достижимости цели. Ценя в молодежи ее идеализм, американский писатель не скрывает своей иронии по поводу практического преломления возвышенной риторики с ее акцентом на разрушение вместо служения. Вот почему автору теперь ближе повзрослевший Кролик, который знает, что надо жить, чтобы было кому воспитывать детей и хоронить родителей, жить хотя бы ради минутных проблесков света и надежды. Несчастья не ожесточают его, подобно Скитеру, но и не приводят к радикальному перелому. «Мне отмщенье и аз воздам» — этой мрачной ветхозаветной мудрости, пришедшейся вполне ко двору в эпоху грабительского неконтролируемого капитализма, Апдайк и его герой могут противопоставить лишь вневременные, евангельские идеалы благоволения и участия. Но смирение Кролика означало объективно и уступку противникам общественного прогресса. Прощая своим врагам, не противясь возвращению к разрушенному семейному очагу «блудной жены» Джанис, Кролик как бы подавал руку мистеру Сэммлеру в зыбкой надежде на укрощение страстей и «выпрямление» человеческого рода через посредство единичного морального примера.

Абстрактно-гуманистический идеал писателя и трактовка им образа главного героя романа, доброго самаритянина Кролика, не могли полностью удовлетворить демократическую американскую критику, еще со времен романа «Супружеские пары» выражавшую сомнения в последовательности общественных воззрений Апдайка.

Оппозиция молодежному бунтарству и «контркультуре» исходила в эти годы в Соединенных Штатах из двух противоположных и обособленных источников: гуманистической, демократической традиции и буржуазного охранительства. Грань между ними было подчас трудно уловить в лавине шаблонных полустертых слов печатной полемики, сопровождаемой убыстряющимся процессом девальвации духовных ценностей в условиях «массового общества». Но в сложном мире художественной литературы, составляющей по-прежнему наиболее близкий аналог противоречивой и изменчивой действительности, существует возможность критической проверки истинности или ложности представленных вниманию читателя аргументов. Мера жизнеподобия, художественной убедительности, органичности моральной позиции — вот главные критерии, позволяющие дифференцированно подойти к произведениям, выражающим, как может поначалу показаться, созвучные идеологические настроения. Этот подход дает основания видеть известное различие между книгой Апдайка и появившимся год спустя романом Джона Гарднера «Диалоги с Солнечным» (1972), с одной стороны, и программным произведением американского конформизма — «Странниками» Джеймса Миченера (1971), с другой. Контраст между ними позволяет, и особенно рельефно, выявить противоборство различных идеологических тенденций, отразившихся в художественной прозе США 70-х годов.

Как и у Апдайка, сюжет романа Гарднера строится на противопоставлении двух концепций, двух истин: одна из них принадлежит абстрагированной «традиционной» Америке, другая выражает разрушительный дух «новейшего бунтарства». Стороны, ведущие диалог, представлены «студентом-анархистом» по прозвищу Солнечный, прослывшим возмутителем спокойствия в провинциальной Батавии, и шефом полиции этого городка Фредом Кламли. Отпрыск одного из местных патрицианских родов, щедро наделенный данайскими дарами современной «контрцивилизации», Солнечный возвращается в родные места для того, чтобы «перевернуть все вверх дном» и подготовить Батавию к «революционному взрыву». И несмотря на весь демонизм своего облика: черная бородка, обожженное лицо и язвительная усмешка, это не бесплотное «темное начало», а глубоко реалистический персонаж произведения, повествующего о распаде буржуазной семьи и буржуазного сознания, об оскудении мира, забывшего о бескорыстном служении обществу и идеалу.

Преследование Кламли Солнечного обрастает все новыми драматическими эпизодами, растет число убийств, драк, грабежей. Городок корчится в конвульсиях, и его жители, разуверившись в полиции, покорно отдают себя во власть вырвавшихся на волю демонов. «Я фундаментально расхожусь с тобой во взглядах на жизнь,— заявляет Солнечный Кламли во время одной из их встреч.— Ты победишь, на твоей стороне большинство, голосование пройдет в твою пользу, но торжествовать тебе не придется, потому что сперва я тебя убью».

Но в финале романа гибнет не Кламли, а сам Солнечный, гибнет от случайной пули

напуганного констебля, добровольно явившись с повинной в полицейский участок. Его капитуляция назревала уже давно: как когда-то и Раскольникова, его переубедил не «представитель власти», не Порфирий Петрович, а собственный внутренний голос, признание несоразмерности целей и средств, позиции и позы. Ведь подлинной целью бессмысленных, казалось бы, буйств Солнечного было стремление заставить людей мыслить, чувствовать, переживать, и как раз в этом можно разглядеть основную, как представляется, нравственную идею, владевшую умами лучших представителей «молодежной революции». «Человеческое сознание,— восклицает герой Гарднера,— это восхитительная радость и чудовищная мука, это самое фантастическое достижение всей немыслимой хроники времени и пространства». Разбудить дремлющее воображение, открыть потоку впечатлений засыпанные пеплом обыденности чувства, заглянуть в невидимые концы спектра наслаждений и открытий — к этому призывали вместе с Солнечным провозвестники и идеологи «очистительной бури».

Конечно, провозгласить программу проще, нежели реализовать даже некоторые из ее пунктов, и в последнем диалоге Солнечного с Кламли суровым самообвинением звучат слова об «извращенной, изломанной индивидуальности, больной душе, разменивавшей себя на вызывающие, глупые трюки». В то время как Солнечный обращается к высшей безличной истине, к сияющим, но холодным далям чистого разума, консервативный, недалекий Кламли, подобно айдаковскому Кролику, претендует на то, чтобы его устами говорило все жаждущее покоя человечество. От имени «средней Америки» он дает отпущение грехов своему блудному — и теперь уже мертвому сыну, и в надгробном слове Кламли звучит не только призыв к христианскому смирению, но и иная, более конкретная и обязывающая интонация, вырастающая в набросок руководства для завтрашнего дня нации. Необходимо, говорит Кламли, «жить в надежде и вере, несмотря на то, что не все в порядке в обществе, несмотря на то, что не все идет так, как хотелось бы». Но для Гарднера иного выбора нет, губительность бесплодного анархизма доказана, и поэтому «нужно стремиться к лучшему, думать и заботиться о людях менее счастливых и удачливых — иначе жизнь застынет и вселенная, как это говорится у Эйнштейна, обратится в глыбу льда».

Согласимся, что «Диалоги с Солнечным» могли бы быть прочитаны как произведение, обосновывающее социальную стабильность и утверждающее традиционное миросозерцание американского среднего класса. Однако в том-то и состоит отличие проницательного реализма от замаскированной апологетики, что его гуманистическая, демократическая программа прежде всего исходит из критики преобладающих в буржуазном мире отношений. «Средняя Америка» далеко не монолитна в изображении Гарднера, и она никогда не была безупречной. К тому же нетрудно заметить, что конфликт между центральными персонажами книги отнюдь не абсолютен. «Наше общество — смесь стыда, ненависти и скуки»,—возвещает Солнечный, но и шеф полиции Батавии подмечает пороки существующей системы с не меньшей зоркостью, чем бродячий философ. С другой стороны, пройдя через испытания кровью невинных жертв, меняется и сам Солнечный. Не так уж много остается от его нигилизма, если к концу романа у него вырывается такое характерное признание: «Чем больше у меня свободы, чем шире дистанция, которую я устанавливаю между собой и обыденным человечеством — шоферами автобусов, судьями, полицейскими, учеными и им подобными,— тем чаще я ловлю себя на теплом к ним чувстве... Я снимаю перед ними шляпу, становлюсь на колени и, как Иаков у Исайи, прошу у них благословения». И в этих словах — не дань минутной слабости или привычному для нашего героя фиглярству, а смущенное и неохотное «открытие мира», отказ хотя и запоздалый, от самоубийственного «наваждения» безраздельного буржуазного эгоцентризма.

Иного рода «примирение» конфликтующих поколений, своеобразную конвергенцию в области современной идеологии предлагали «Странники» Дж. Миченера, читавшиеся как беллетристическое пособие по «молодежному вопросу» для американского обывателя. Весьма симптоматично, что к этой теме решил обратиться один из законодателей «массовой литературы», долгое время специализировавшийся в области псевдоисторических сочинений и экзотических романов-путешествий, но в ответственный момент решивший включиться в спор о жгучих проблемах века.

Экспозицию его книги составляют подробные биографии шести молодых людей — трех парней и трех девушек,— волей автора сведенных вместе в испанском курортном городке Торремолинос. В истории каждого из них отражена та или иная грань «молодежной ситуации» на рубеже 60—70-х годов, но для того, чтобы мог завязаться проблемный диалог, в «Странниках» возникает и фигура авторского двойника, шестидесятилетнего Джорджа Фэрбенкса, завзятого путешественника и джентльмена, служащего одной из международных финансовых компаний со штаб-квартирой в Женеве. Вместе с «шестеркой», забыв о неотложном бизнесе, кочует он по городам и весям Испании, Португалии, Марокко и даже Мозамбика, пытаясь увещевать своих «дрейфующих» без руля и без ветрил собеседников. Ответом Фэрбенксу, как правило, служит смущенное молчание либо уклончивые, сбивчивые реплики, и это подчеркнутое косноязычие—следствие не только действительных слабостей «молодежного» образа мыслей, сконцентрированного

на «живом настоящем» и пренебрегающего многими другими слагаемыми полноценного существования, но и заведомого пристрастия буржуазного романиста. Ведь, по сути, Миченер помещает своих «подопытных» в искусственную, условную среду, создавая вокруг социальный вакуум и тем самым намеренно обрекая их на бездействие и безмыслие.

И вот в момент назревания кризиса молодежных представлений на сцене романа, словно из засады, появляется главная опора «здравомыслящей Америки», уже не ограничивающейся негромким элегическим комментарием Фэрбенкса, а переходящей в открытое наступление в борьбе за души молодого поколения. Это сорокалетний инженер-механик, мастер на все руки Харви Холт, родом из Вайоминга, то есть как бы из самых «недр» Соединенных Штатов. Похожий и на коннектикутского янки у Марка Твена, и на Сайруса Смита из «Таинственного острова» Жюля Верна, он символизирует воскрешение в конформистской литературе США долгожданного рыцаря без страха и упрека, на сей раз противопоставленного анархиствующей молодежи.

Распад группы «странников» — логическое завершение всего «бунтарского эксперимента» в глазах Миченера, увлеченного полемикой против «страны Хиппландии», рисуемой им в образе праздной толпы, заполняющей свой безмерный досуг наркотиками, сексом, поп-музыкой и бесконечными невразумительными дебатами. Но Миченер не только клеймит и предостерегает — он подает и надежду. Молодежь сбита с толку, но это наша молодежь, внушает он, и задача руководителей нации, ее идеологов, заключается в том, чтобы не отталкивать «выбитых» и «выпавших», а внимательно следить за их духовными исканиями и мудро, «по-хозяйски» отнестись к такому ценнейшему капиталу, как альтруизм и душевная чистота юности. «За исключением Вьетнама и болтовни насчет межрасового братства, эти ребята в полном порядке по части здравого смысла,— утверждает с голоса автора Харви Холт.— Если поговорить с ними об экономике или о том, как голосовать на выборах, то нам практически не о чем спорить».

Представителю «молчаливой Америки», разумеется, не следует верить на слово. Школа гражданской борьбы и политических кампаний в огромной степени сказалась на социальном и умственном развитии молодых американцев, которые ныне, перейдя в разряд «самостоятельных граждан», способны еще в большей степени, чем прежде, повлиять на настоящее и будущее своей нации. О попытках консолидации духовных сил американского народа на какой-то новой, рождающейся в муках и драматических столкновениях моральной основе свидетельствуют другие произведения последних лет, вновь опережающие в своих прогнозах наблюдения американских социологов и философов. Тема общности человеческих обстоятельств, надежд, интимных переживаний, бесконечно далекая от примитивного оптимизма конформистского чтива, помогает многое понять в нынешних настроениях творческой интеллигенции США, стремящейся посредством искусства распознать, а то и предвосхитить тенденции общественного развития.

Как можно было судить, еще в «Диалогах с Солнечным» Дж. Гарднер пытался наметить контуры иного мироощущения, идущего на смену «грохочущим» и «пританцовывающим», сотканным из противоречий и крайностей «шестидесятым годам». Гармонизирующей, умиротворяющей интонацией окрашена его следующая книга — «Никелевая гора» (1973)[1] с полемически звучащим подзаголовком «роман-пастораль». Ее герою Генри Сомсу, владельцу придорожной закусочной, затерянной в Кэтскильских горах, не нужно дожидаться призывов от священников и моралистов. Он берет в жены обесчещенную девушку, предоставляет приют погорельцу с сомнительной репутацией, на собственные деньги хоронит его жену и, не помня зла, протягивает руку дружбы молодому «соблазнителю», которого вернули в родные края угрызения совести. Трудности преодолимы, и таким философским камнем, преображающим грубую руду однообразных буден и врачующим смертную тоску, сопутствующую человеку от рождения, становится в глазах Генри устойчивость семейной жизни, помноженная на инстинктивный гуманизм, на «религию сердца».

Ужасам современной «технологической цивилизации», распространению насилия и всеобщему отчуждению новый роман Гарднера противопоставляет пример бескорыстного и деятельного сочувствия ближним. Та же мысль в еще более развернутой форме составляет сердцевину последней книги старейшины американской прозы и драматургии Торнтона Уайлдера, романа «Теофил Норт» (1973). Образец социальной сатиры и вместе с тем обращенное к сегодняшним поколениям поучение признанного знатока человеческой природы, философа и моралиста, известного нашему читателю по роману «Мост короля Людовика Святого» (1927), это произведение тоже ставит своей целью гальванизировать «американский дух» и в трудную для него пору указать на возможные «опорные точки» для формирования «нового оптимизма», каким бы ограниченным, по сути дела, ни представлялось действительное наполнение этой концепции.

Составленная из пятнадцати самостоятельных глав-новелл книга Уайлдера повествует о лете 1926 года в приморском городке Ньюпорте, штат Род-Айленд, куда попадает проницательный наблюдатель нравов и сердцевед, еще один Асмодей нашего времени, на сей раз носящий имя—Теофил Норт Характер Норта не лишен доли условности: он являет собой тип человека, которого не

[1] Рецензия на этот роман опубликована в «Иностранной литературе» № 8, 1974 г

снедают неисполнимые желания и которому нет нужды подстраиваться под чужую волю и бесконечно лавировать между острыми углами жизни. Разъезжая по богатым домам на велосипеде, он не просто учительствует, но и становится доверенным лицом, или, как говорили в старину, ходатаем по делам самых разнообразных лиц, выходцев из разных социально-культурных слоев Ньюпорта. Отставной дипломат, мечтающий об основании в Соединенных Штатах философской академии с привлечением выдающихся умов нашего времени; бывший бравый военный летчик, превратившийся в приживала при богатой жене; талантливый художник, по слабости характера попадающий в руки шайки мошенников; безногий подросток-итальянец, остро переживающий свою оторванность от сверстников,— все они подопечные и клиенты Теофила Норта, и для каждого он находит не только слова утешения, но и реальный практический выход из создавшихся затруднений.

Как свидетельствуют рассказанные Уайлдером истории, жизнь американской буржуазии бессодержательна и никчемна. Торжествуя победу над циничными и грубоватыми дельцами, развенчивая невежество, самодовольство и заносчивость так называемых «сливок общества», Теофил Норт демонстрирует «утонченному» сословию, не менее чопорному и преисполненному предрассудков, чем двор Версаля, свой, основанный на широте кругозора и демократизме склад мыслей и кодекс поведения. Возвышенные размышления, благородные поступки, изысканные манеры — все это оживает в книге Уайлдера не только как образ «старого доброго времени», но и как этический идеал, сочетающий убежденность в силе морального образца и отзывчивости души простого человека с вечным как мир призывом «делать добро».

Актуальность звучания романов Уайлдера и Гарднера, подчеркнутая успехом у широкого читателя, не снимала, однако, вопроса об утопичности представленных в них конкретных картин человеческого существования. Пасторальная идиллия, приуроченная к середине 50-х годов, и отнесенный в еще более далекое прошлое уютный мирок уайлдеровского Ньюпорта могли лишь опосредованно соотноситься с проблемами Америки «после новых левых», открывающей еще одну страницу своей истории. Гораздо более уверенным и значительным шагом вперед в попытке определить мироощущение страны на нынешнем этапе стали роман Джойс Кэрол Оутс «Делай со мной, что захочешь» и повесть Джеймса Болдуина «Если Бийл-стрит могла бы заговорить»[1], увидевшие свет в издательском сезоне 1973—1974 гг.

«Нам нужно широкое, щедрое, входящее в детали произведение, которое соединит наши разрозненные, но очень схожие голоса, которое вырвется из категорий «разумного» и «неразумного», чтобы показать, почему сознание будущего исполнится радости, а не страха».— писала Оутс в журнале «Сатердей ревью» одновременно с работой над книгой, призванной в образной беллетристической форме отразить то, что в ее статье было названо «новым сознанием» Америки. Композиционная основа романа Оутс — банальный, но, по-видимому, вечный «любовный треугольник», позволяющий, впрочем, не только углубиться в интимные переживания героев, но и соотнести их душевный склад с «ветром перемен», свершающихся в широком мире. И муж Елены Марвин Хау, и ее возлюбленный Джек Морриси по профессии юристы, и оба они считают свои занятия краеугольным камнем американского общественного устройства. Но их усилия направлены на разные цели: знаменитый авторитет Хау защищает в судах интересы коммерсантов и промышленников, в то время как Джека можно с полным правом именовать «адвокатом бедных», отдающим все свое время защите гражданских и социальных прав не привилегированных американцев.

Соперник в любви, противник по убеждениям, Джек Морриси — один из тех волонтеров, что устремились лет десять назад в южные штаты для участия в кампании гражданского неповиновения. В маленьком сонном городке Ява, штат Миссисипи, негры объявили бойкот местным муниципальным службам, и Джек был прикомандирован сюда в качестве специального юрисконсульта. Его «университеты» продолжались затем на американском Севере, в Нью-Йорке и Детройте. Они захватили все «шестидесятые годы», и заслуга Оутс состоит в том, что она показывает эту эпоху диалектично, как время не только заблуждений и крайностей (на чем делает теперь упор консервативная пресса), но и пробуждения национальной совести. Многие американцы получили тогда «точку опоры», недвусмысленное оправдание собственного существования, а главное — на идеях воинствующего радикализма было воспитано новое поколение, которому, по мысли Оутс, суждено будет освежить нравственную атмосферу ближайших десятилетий.

Рядовой этой армии передовых, демократических сил, Джек Морриси не теряет оптимизма, хотя он работает на износ и ему часто приходится нелегко. После первой пробы сил, когда не все сразу шло гладко, он не падает духом, не отступает, а продолжает свой упорный повседневный труд. В основе поведения Джека лежит трезвый подход юриста-профессионала: он верит в «абсолютную силу закона», опираясь на который теперь удается добиться гораздо большего, чем в начале движения за гражданское равноправие. «Времена меняются,— убежденно повторяет он,— идеи не стоят на месте. Новое сознание стучится в дверь». Так эволюционирует герой недавних книг Оутс: цепкая хищница Клара в переведенном на русский язык «Саде ра-

[1] Опубликовано в «Иностранной литературе» № 7, 1975 г.

А. МУЛЯРЧИК

## В ПОИСКАХ НОВЫХ ГОРИЗОНТОВ

достей земных» (1967), жертвы современного социального хаоса Морин и Жюль из романа «Их жизни» (1969) и наконец Джек Морриси, поборник добра, активный участник общественных преобразований.

Литературному двойнику Джека, адвокату Хэйуорду, отведено важное, если не ключевое, место и в фабуле уже названной повести Болдуина, где с новой силой зазвучал мотив единства белых и черных, главный мотив песни «Мы преодолеем», бывшей гимном похода за гражданские права и социальную справедливость для всех американцев в начале 60-х годов. Попавшей в беду молодой негритянской паре — начинающему скульптору Алонсо-Фонни и его подруге по прозвищу Тиш — приходят на помощь люди из разных слоев многонационального Нью-Йорка. Это пуэрториканцы и евреи, итальянцы и англосаксы, без вмешательства которых вряд ли могла бы благополучно сложиться судьба Фонни, обвиненного в изнасиловании. Обстоятельства, служащие завязкой повести, скрыты от читателя, и, думается, Болдуин делает это намеренно. Бросая вызов традиции, берущей начало у крупнейшего негритянского прозаика XX века Р. Райта, он призывает судить о своем герое не только под углом зрения его страданий от полицейских и судебных преследований, но как о цельном человеке, стремящемся к раскрытию своих способностей, к полноценному участию в жизни общества.

Образ Фонни полемически обращен и против сегодняшних мелкобуржуазных радикалов, утративших контакт со временем, этих «вечных женихов революционной Пенелопы», по не теряющему остроты и в наши дни замечанию Герцена, и против той части негритянской молодежи, что подчас не видит отчетливой грани, отделяющей протест от преступления.

«Он... не баловался со шприцем, не накачивался дешевым вином и не нападал на прохожих на улицах, не грабил магазинов,— говорит о своем друге юная Тиш.—Он начал работать поваром в закусочной, чтобы и кормиться там, подыскал подвальное помещение, где занимался резьбой по дереву, и бывал у нас чаще, чем у себя дома». Обращение к теме труда в качестве нравственного идеала, контрастирующего со звонкой, но повисающей в воздухе фразой,— такого давно уже не было в литературе Соединенных Штатов. Труд для героев Болдуина — не изнурительная обезличивающая повинность, а одухотворенное деяние, создающее для человека возможность полноправного вхождения в мир. Труд и любовь, разводимые идеологами «контркультуры» по разным концам человеческого опыта, у Болдуина взаимоплодотворяют друг друга. «Вот так он работал по дереву. Вот так он работал с камнем. Если б я никогда не видела его за работой, то, может, так и не узнала бы, что он любит меня»,— вспоминает Тиш о своих свиданиях с Фонни. И когда от Фонни «пахло усталостью» после трудового дня, он казался Тиш самым прекрасным человеком на земле.

«Традиционная и трогательная любовная история» — это определение, данное Дж. К. Оутс в статье о книге Болдуина, применимо и к ее собственному роману «Делай со мной, что захочешь» недаром на его суперобложке изображен силуэт молодой женщины, которая, несмотря на всю уступчивость и кротость, держит в своих руках судьбы обоих мужчин, оспаривающих друг у друга ее благосклонность. Окруженная, точно нимбом, облаком прозрачных белокурых волос, почти бесплотная, Елена Росс олицетворяет возвышенный спиритуализм, не менее прочно связываемый ныне с представлением о новой, «зеленеющей Америке», нежели иные, более динамичные и конкретизированные слагаемые ее облика. Слово «любовь», еще один ключ к пониманию миросозерцания «молодой» Америки, в романе Оутс насыщается живым содержанием — начиная от «космической любви», любви как «движущей силы вселенной», до очень земного, но ничуть не тривиального чувства, нет-нет да и проглядывающего в сложных взаимоотношениях Елены и Джека Морриси.

Несмотря на внешнюю холодность, Елена не стоит в стороне от деятельности Джека и своей молчаливой преданностью помогает ему продолжать борьбу. Но ее роль в реальной битве идей и социальных сил в современной Америке подчеркнуто нематериальна, символична. Зачарованная красавица Елена, в трактовке Оутс,— это таинственная и недоступная Прекрасная дама, наиболее законченное воплощение женского типа, которому на протяжении всего своего творчества остается верной писательница из Соединенных Штатов. Пожалуй, это самый «личный» из созданных ею характеров, и в то же время он и подчеркнуто абстрактен, весь словно бы теряющийся в дымке, сотканный из идеальной духовной материи.

В заметной степени абстрагирован, или, точнее, условен, и образ негритянки Тиш, от лица которой ведется рассказ в последней книге Болдуина. Продавщица из универмага говорит здесь на правильном английском языке, и ей с удивительной легкостью удается передача очень тонких и сложных душевных переживаний. Отказавшись от лингвистического буквализма, который так часто служит в США средством выражения националистических настроений, Болдуин пошел по пути включения «негритянской проблематики» в общий поток американской идеологии и культуры. Конечно же, всю эту историю о борьбе молодых гарлемских негров против социального гнета, за право на счастье излагает не полуобразованная девушка-подросток, а умудренный, многоопытный писатель. Но правда жизни сохранена Болдуином — мысли и чувства Тиш адекватны ее положению, и она рассказала бы обо всем сама, если ...если Бийл-стрит могла бы заговорить

Быть может, наиболее примечательной и

одновременно неожиданной особенностью книг Болдуина и Оутс является их благополучная развязка, тот самый «счастливый конец», от которого давно уже отвыкла литература Соединенных Штатов. Хотя ребенок Тиш и Фонни появляется на свет в декабре, новая повесть негритянского прозаика, за творчеством которого внимательно следят его почитатели,— не «рождественская песнь в прозе», а реалистическая картина жизни в «демократическом аду», где по-прежнему полным-полно гнева, горечи и скорби. Оба произведения широко открыты в будущее; рождение человека — неизменный символ надежды, а уход Елены Росс от Марвина Хау — знак того, что мир беспринципности и чистогана не в состоянии больше удерживать в своей власти плененную им красоту, безотчетно стремящуюся к союзу со справедливостью и добром.

Совокупность нескольких произведений, опубликованных в США на протяжении первой половины текущего десятилетия, обрисовывает, разумеется, лишь одну, но, на наш взгляд, существенную линию в развитии современной американской прозы. От критики леваческого экстремизма в романах Гарднера и Апдайка через прекрасно-душную мечтательность «Никелевой горы» и «Теофила Норта» к более деятельному гуманизму последних книг Болдуина и Оутс — таков один из путей художественного воображения, сохраняющего веру в человека и его способность к совершенствованию, к изменению общественной среды даже при самых неблагоприятных исторических условиях.

Но на дне этой чаши стоического и сдержанного оптимизма накопилось, как мы могли убедиться, и немало горького осадка. О том, что природа буржуазного общества не изменилась, несмотря на увлечение социальным реформизмом, свидетельствуют в наши дни не только сенсационные политические разоблачения и углубляющийся экономический кризис. И в 70-е годы Америка остается «толпой одиночек», охваченных страхом перед неизвестностью,— об этом напомнил недавно романом «Что-то случилось» Дж. Хеллер, известный советскому читателю своей антивоенной сатирой «Уловка-22». Надежда на проведение в жизнь последовательных демократических преобразований неуничтожима в душах простых американцев, но на ее пути стоят все те же силы общественного контроля, предрассудков и буржуазной косности, против которых выступали в своих книгах в начала 70-х годов многие писатели реалистического направления Соединенных Штатов.

◆

РАДИЙ ФИШ

# ХЛЕБ И ЛЮБОВЬ ОРХАНА КЕМАЛЯ

На выцветшей фотографии — двое. Тот, что в пальто,— постарше, он высок, плечист, пышноволос. На шее не то шарф, не то артистическая бабочка. Стоит улыбается. Другой совсем еще молод. Щупл, невелик ростом. Пиджак распахнут, рубашка без галстука. Кулаки вызывающе засунуты в карманы широченных брюк. Близко посаженные глаза задиристо глядят из-под крутого, нависшего лба прямо в объектив. Учитель и ученик. Два популярнейших имени в турецкой литературе двадцатого века.

Позади на фото — бетонная лестница и высокая глухая стена со сторожевой вышкой. Снимок сделан ранней весной 1941 года во дворе бурсской тюрьмы, где отбывали заключение уже известный во всей стране поэт-коммунист Назым Хикмет и никому еще неведомый Рашид Огютчу, который под именем Орхана Кемаля станет впоследствии крупнейшим прозаиком Турции.

— Будь благословенна тюрьма,— говорил незадолго до смерти Орхан Кемаль.— Там я встретился с Назымом Хикметом. Там я окончательно освободился от иллюзий. Там понял, что я в мире не одинок.

Орхан Кемаль родился в 1914 году на юге Турции, неподалеку от Аданы. Его отец, человек демократических убеждений, был депутатом первого турецкого парламента — Великого национального собрания, созванного после разгрома Османской империи и провозгласившего Турцию республикой. Преследования вынудили его покинуть родину, и будущий писатель, не успев окончить среднюю школу, оказался на чужбине — в Сирии и Ливане. Семья голодала, надо было самому зарабатывать на хлеб. Юноша пошел работать мойщиком посуды, официантом, подмастерьем у чеканщика. Потом вернулся на родину, в Адану. Но и здесь его ждала все та же «борьба за хлеб» — этими словами он впоследствии назовет свою первую книгу рассказов.

Орхан Кемаль поступил чернорабочим на хлопковый склад. Трудился на ткацкой фабрике, служил писарем в бухгалтерии. В Адане женился на фабричной работнице Нурие, которая родила ему четверых детей и прошла вместе с ним весь его нелегкий путь до самого конца.

Увиденное и пережитое в эти годы легло позднее в основу его автобиографических романов, объединенных подзаголовком «Записки маленького человека»: «Отчий дом» (1949), «Бродячие годы» (1950), «Джамиле» (1952), «Семейная жизнь» (1960), «Свистки приятелей» (1968).

Герои этих книг принадлежат к обездоленным слоям общества, которые до Орхана Кемаля никогда не были представлены в турецкой прозе с такой широтой. Это безработные, мусорщики, мелкие чиновники, поденщики, люмпены. Ради куска хлеба они готовы на любую работу. И ни на минуту не оставляет их

Этот очерк о жизни и творчестве О. Кемаля будет опубликован в качестве предисловия к избранным произведениям писателя выходящим в издательстве «Прогресс».

страх: как бы не погибнуть от голода. Этих людей много, очень много, но все они одиноки, бесправны, беззащитны, каждый за себя и сам для себя.

При всем разнообразии индивидуальностей и судеб, одиночество их обусловлено одной и той же причиной: они люди деклассированные. В годы, предшествовавшие второй мировой войне, в Турции начался процесс развития буржуазных отношений. Выходцы из среднего класса, некогда кормившиеся службой Османской империи, разорившиеся ремесленники, а главным образом обезземеленные крестьяне постоянно пополняли рынок «свободного труда», где предложение в десятки раз превышало спрос: промышленность только зарождалась.

Эти люди своей пуповиной были связаны с феодально-патриархальным прошлым, оно еще жило в них как представление о нормах человеческих взаимоотношений, между тем действительность все решительней эти нормы отвергала. Орхан Кемаль, сын адвоката и внук султанского чиновника, был близок по умонастроениям к героям своих автобиографических произведений. И назвал он эту серию романов записками «маленького», а не простого человека не случайно.

Термин «маленький человек», впервые употребленный в турецкой литературе Орханом Кемалем, вначале был принят читателем и критикой как нечто само собой разумеющееся. Споры начались позднее, когда писатель развернул его смысл в десятках судеб и характеров, показав противоречивость социальной природы «маленького человека». «У нас, как и во всем мире, маленький человек в отчаянии,— писал видный романист К. Тахир.— Прежде всего потому, что он «маленький». На Западе он в отчаянии потому, что не понимает или не хочет понять, что условия жизни могут быть изменены, в отчаянии потому, что не может стать «большим», то есть эксплуататором, и в ужасе от того, что вынужден примкнуть к трудовым массам, которые считает ниже себя. Это, конечно, отчаяние, но не заслуживающее жалости, по крайней мере со стороны честных писателей. Драма этого сукиного сына, маленького человека Запада, конечно, заслуживает описания со всей его подноготной, во всей гнусности его тоски по эксплуататорству. Есть ли у нас маленький человек и его драма? Конечно. Но хотя о нашем маленьком человеке написано много, мы пока еще не приблизились к пониманию причин его отчаяния, ибо наши рассказчики, да и кое-кто из романистов, вместо того чтобы исследовать нашу действительность, пошли по наиболее легкому пути — присвоили сработанные на Западе образцы. Наш маленький человечек и его отчаяние ждут своего писателя».

Строго говоря, почти каждый большой писатель всю жизнь пишет одну главную книгу. Такой книгой для Орхана Кемаля стала трагикомедия «маленького человека» Турции. В романах, а он написал их двадцать восемь, в каждом сборнике рассказов, а он их выпустил пятнадцать, Орхан Кемаль так или иначе развивал эту главную тему своего творчества, изобразив турецкого «маленького человека» с его слабостями и падениями во всех его ипостасях, его превращение в «большого» и возвышение до Человека без всяких эпитетов.

Ни один из автобиографических романов Орхана Кемаля пока на русский язык не переводился. Но об их атмосфере, их героях и стилистике читатель может составить себе представление по многим рассказам писателя, которые были опубликованы в те же самые годы, что и первые книги «Записок маленького человека», и неоднократно выходили на русском языке. В них можно обнаружить и основы творческого метода, который Орхан Кемаль развивал всю жизнь.

Рассказы Орхана Кемаля подчеркнуто фактографичны: это незамысловатые происшествия, не раз виденные каждым сцены, встречи и разлуки, беседы и рассуждения вслух. Писатель как бы настаивает: он пишет лишь о том, что пережил сам, чему сам был свидетелем, избегая фантазии и домысла.

Пространные эстетизированные описания красот природы, закатов и восходов, апельсиновых садов и оливковых рощ, подробные характеристики причесок и костюмов, если они не играют непосредственной роли в событиях, кажутся ему непозволительной роскошью, а то и уловкой «живописцев словом» для сокрытия и приукрашивания жизненной правды. Авторские отступления — редкость, описания сведены до минимума. Время и место действия обозначены со скупостью ремарок в драме. Писатель как бы ограничивает себя возможностями драматического жанра, чтобы использовать его преимущество: способность создавать иллюзию жизни, проходящей на глазах у зрителей. И многие его рассказы и повести впоследствии действительно были инсценированы на театре.

Орхан Кемаль стремится передать внутреннюю жизнь своих персонажей только через внешние ее проявления — жест, действие и прежде всего их собственную речь. Диалог — основа его рассказов. Здесь, как в драме, он — и способ развития сюжета, и средство психологического анализа. Воспроизведение живой разговорной речи народа во всех ее оттенках, а через нее и характеров — сильнейшая сторона его искусства. В диалогах и беседах, которые слышатся в грузовиках на дорогах, в рабочих кофейнях, в ночлежках, на хлопковых планта-

---

РАДИЙ ФИШ
ХЛЕБ И ЛЮБОВЬ ОРХАНА КЕМАЛЯ

циях, в конторах и городских парках, у деревенских источников и в полицейских участках, яснее всего обнажается для Орхана Кемаля та правда, которую он хочет донести до читателя.

Каждодневная борьба «маленького человека» за хлеб тягостна и уныла, она иссушает душу и ум. Но сквозь серые облака обыденности в произведениях Орхана Кемаля то и дело пробивается свет.

Этот свет — дети, с их незамутненным, естественным чувством справедливости и жизнелюбием. Детям улиц, детям простого народа посвящены, пожалуй, самые проникновенные страницы писателя.

Этот свет — любовь к женщине. Предшественники да и современники Орхана Кемаля часто изображали любовь как напасть, которая в дополнение ко всем бедам навлекает на «маленького человека» новые тяготы и несчастья. У Орхана Кемаля женщина, в особенности трудящаяся, едва ли не единственная опора «маленького человека». Она верна ему, разделяет его горе и его скудные радости, не позволяет опустить руки, спиться, предаться отчаянию.

И наконец — книги. Они несут свет знания, рисуют иную, неведомую «маленькому человеку» жизнь. Но «маленький человек» подобен рыбе, живущей в море, ничего не ведая о нем. И в книгах он ищет не познания жизни, а забвения ее. Такие книги всегда к его услугам. Лишь изредка попадаются другие.

«...«Мои университеты»... Ах, что это за книга!.. В нем самом есть что-то от Горького. А может, ему это кажется оттого, что самому жилось так же тяжело, как Горькому?»

Кто это говорит? Только ли герой рассказа «О продаже книг»? Или вместе с ним сам Орхан Кемаль?

Именно книги, в особенности Горького и Толстого, впервые заронили в душу Орхана Кемаля сомнения в его собственных представлениях о действительности, послужили толчком к освобождению от иллюзий. Книги, можно сказать, привели его в тюрьму.

Из произведений турецкой литературы самое сильное впечатление на будущего писателя произвели стихи и поэмы Назыма Хикмета. Они были так необычны, так непохожи на все другие, словно написал их человек иных масштабов, иных миров, посвятивший свою жизнь и свое искусство, очевидно, благородным, но весьма смутным для «маленького человека» целям.

Орхан Кемаль вспоминал: «Как все, я заочно восхищался им и, как все, неизвестно за что был на него зол. И подобно всем, хоть сам того не понимал, любил его. Огромный, великий поэт...»

Призванный в армию простым солдатом, Орхан Кемаль узнал, что Назым Хикмет осужден на двадцать восемь лет тюрьмы по обвинению в подстрекательстве военных к мятежу. Единственным основанием для такого обвинения послужили обнаруженные у курсантов и военных моряков книги его стихов, хотя они свободно продавались в любой книжной лавке. Орхан Кемаль возмутился беззаконием, жертвой которого стал великий поэт, и осмелился высказать свое возмущение вслух.

Результат оказался мгновенным и ошеломляющим. Военный трибунал приговорил Орхана Кемаля к пяти годам заключения «за прокоммунистическую пропаганду».

В тюрьме города Бурса он стал писать стихи и посылать их в один из стамбульских журналов. Ничего не зная об авторе, их стали печатать. И когда в конце года редакция провела опрос читателей, то большинством голосов эти стихи, подписанные псевдонимом Рашид Кемали, были признаны лучшими.

«Зимним днем 1940 года,— вспоминал писатель,— я сидел в тюремной канцелярии и корпел над бумагами. Мой начальник, тюремный писарь, просматривал служебную почту.

— Ого, поздравляю! Прибывает твой учитель!

— Какой еще учитель?! Не было у меня никаких учителей.

— Не ломайся, голубчик! Разве Назым Хикмет не может считаться твоим учителем?

Я не поверил. Он протянул мне бумагу.

С трудом сдерживая себя, чтобы не побежать, я направился в камеру своего приятеля Неджати. Тот был знаком с Назымом Хикметом по стамбульской тюрьме, рассказывал про него легенды. Говорил, стоит Назыму взять на руки плачущего ребенка,— тот моментально затихает. Рассказывал и такое: заходит, мол, Назым в простонародную кофейню в бедном квартале. Подсаживается к первому попавшемуся бродяге, вынимает из кармана деньги (известно, у него денег куры не клюют) и говорит: «А ну, выкладывай все, что у тебя есть!» Тот ошалело вытаскивает несколько монет. «Отчего так мало?» — спрашивает, мол, Назым. Бедняга молчит, голову повесил. «Давай,— говорит Назым,— свои деньги сюда!» Перемешивает все, свои и его, и делит пополам. «На, держи!» Неджати столько раз повторял эту историю, что я потом как-то раз, не утерпев, спросил Назыма, правда ли, мол. Назым рассердился, а затем серьезно ответил: «Клянусь, никогда в жизни таких глупостей не выкидывал!» Легенда, однако, примечательна: так мы представляли себе социалистов».

Назыма Хикмета и Орхана Кемаля поместили в одну камеру. Кто-то прогозорился, что Орхан пишет стихи, и Хикмет попросил их прочесть.

«Откровенно говоря, я был в восторге от своих стихов,— рассказывал Орхан Кемаль.— Писал я, подражая модным поэтам, и получалось у меня нисколько

не хуже, по крайней мере, так мне казалось самому.

Назым закурил трубку и, пуская клубы дыма, проговорил:

— Я вас слушаю.

Не успел я прочесть первое четверостишие, как он меня прервал:

— Ясно, братишка, достаточно Пожалуйста, следующее.

Я полагался на первое стихотворение больше всего. Но нечего делать, стал читать другое. Прочел первую строфу.

— Скверно!

Кровь бросилась мне в голову. Еще одно стихотворение.

— Отвратительно!

Дальше я читать уже не мог.

— Зачем, братишка, все эти словесные выкрутасы, это, простите меня, словоблудие? Вы пишете о том, чего не чувствуете и не знаете. Неужели вы не понимаете, что клевещете на себя, выставляя себя в комическом виде?

Назым продолжал говорить. В его речи мелькали слова: «реализм», «социальный реализм», «искусство и действительность». Но я уже ничего не соображал».

В стихах Орхана Кемаля Назым Хикмет разглядел задатки истинного таланта. Но все, о чем писал молодой поэт, было описано до него тысячу раз и лучше. Поэзия служила ему парусом, уносившим его подальше от земли, наркотиком, помогавшим забыться среди грязи, боли и голода, а не средством познания жизни и переустройства ее.

Назым Хикмет предложил заниматься под его руководством сперва французским языком, потом философией и политэкономией.

«В ответ я только и мог, что мотнуть головой»,— вспоминал Орхан Кемаль.

Изо дня в день три с половиной года проходил свои «тюремные университеты» Орхан Кемаль. Он не только выучил французский язык — он овладел знанием законов общественного развития. И это перевернуло все его представления о жизни, о назначении искусства. Вскоре он сжег тетрадь со своими стихами, служившими ему утешением в тюрьме: он не нуждался больше в утешениях. А через некоторое время написал свой первый рассказ «Рыба», опубликованный в 1940 году газетой «Ени эдебият» («Новая литература»), которую издавала прогрессивная турецкая писательница Суад Дервиш.

Когда, отбыв срок, Орхан Кемаль в 1943 году вышел из тюрьмы, у него была уже готова для печати книга рассказов и вчерне закончен роман.

На родине, в Адане, Орхана настигло напутственное письмо учителя. «В тебе — великолепные задатки рассказчика, романиста,— писал из бурсской тюрьмы Назым Хикмет.— И нет никаких причин, по которым ты мог бы потерпеть неудачу. Ты храбр. Правда, тебе немного недостает образования, но это можно восполнить. Ведь каждый день ты носом к носу сталкиваешься с самой неприкрытой, голой реальностью. И если ты будешь и впредь работать так же много, как сейчас, то в недалеком будущем подаришь турецкому народу и всем народам земли отличные произведения. Я очень верю в тебя».

Назым Хикмет не ошибся. Но прошло еще пять лет упорного труда и лишений, прежде чем нашелся издатель, который решился выпустить книги Орхана Кемаля.

«Самая страшная тюрьма — та, которая построена у тебя в голове»,— говорил Назым Хикмет. Путь к правде, к пониманию действительности вообще нелегок, а для «маленького человека», да еще в Турции — тем более.

В произведениях Орхана Кемаля как бы выстроены две модели жизни и общества: истинная, соответствующая реальности, и ложная, иллюзорная. Эту ложную, вот-вот готовую рухнуть, но живучую модель действительности, в которой странным образом сочетались религиозная мораль и официозные идеи о «бесклассовости турецкого общества», власть имущие поддерживают всеми доступными им способами: от проповедей в мечетях — до политической демагогии, от псевдоромантической сентиментальной поэзии и бульварной литературы — до новейших средств массовой информации Столкновение иллюзий, построенных в голове «маленького человека», будь то герой рассказа, читатель или же сам рассказчик, с неприкрытой реальностью составляет содержание главного конфликта произведений писателя и определяет их стилистику.

Орхан Кемаль — рассказчик и романист — ниспровергает ложноромантические мифы и соответствующие им традиционные эстетические нормы По собственному опыту он знает, что один из самых старых и живучих мифов подобного рода — миф о «божественной» любви. И в заголовке одного из первых тюремных рассказов ставит рядом слова, которые в разорванном сознании «маленького человека» лежат на разных полочках: «Хлеб, мыло и любовь».

Герой рассказа, тюремный надзиратель Галип, ищет спасения от скуки и грязи обыденной жизни в «неземной, божественной любви», о которой ему рассказывает романтическая литература и которую ему показывают в кино. Когда в ответ на его любовное послание, полное банальных слов «о загадке смерти», «о женщине, которую бог создал неуловимой, как мираж», его возлюбленная говорит ему о таких прозаических вещах, как хлеб и мыло — ведь от них зависит ее жизнь,— надзиратель чувствует себя оскорбленным.

Галип в конце концов понимает свою

---

РАДИЙ ФИШ
ХЛЕБ И ЛЮБОВЬ ОРХАНА КЕМАЛЯ

ошибку. Но цель писателя не в том, чтобы прозрели его герои (в книгах Орхана Кемаля мало так называемых «положительных» героев), его цель в том, чтобы положительным образом изменить читательские представления о жизни.

Как писатель он вообще не становится в позу этакого всезнающего, всепонимающего господа бога. Он заставляет нас вслушаться в речи своих героев, вдуматься в обстоятельства их жизни и самим сделать выводы, если их не в силах сделать персонажи его произведений.

Орхан Кемаль отчетливо сознает свое место романиста в классовом обществе. Мир собственничества отрывает поступки от чувств, превращая все в товар, машинизирует и деморализует человеческую личность, разрушает ее. Но люди — не только объект воздействия общественных условий. Они, конечно, его продукт, но только они, эти же самые люди, могут и должны изменить само общество. Здесь — глубинный источник любви Орхана Кемаля к людям своего народа, источник его оптимизма.

В небольшой повести Кемаля «Семьдесят вторая камера» (опубликована в «Иностранной литературе» № 7, 1975 г.), состоящей из диалогов и внутренних монологов, писателю удалось уместить такое количество мыслей, вызвать столько ассоциаций, нарисовать запоминающиеся характеры стольких людей, что она стоит иных многотомных эпопей. С безжалостной правдивостью изображает Кемаль арестантов, доведенных до отчаяния голодом и бесчеловечными условиями тюремного существования. Но вслушиваясь в их голоса, читатель различает в этой потерявшей человеческий облик толпе — людей. В кульминационные моменты повести эти голоса сливаются в один общий хор и начинают звучать как голос самого порабощенного народа.

Точно высеченная из камня статуя, высится фигура Капитана. Он обладает чувством собственного достоинства, человечен, не падок до денег. В его душе живет мечта о братстве людей. На какой-то миг ему представляется возможность осуществить ее. И распрямляются спины, оживают глаза затравленных арестантов, толпа превращается в подобие человеческой общности. Но только на миг. И дело, конечно, не в том, что добро извечно слабее зла именно потому, что оно добро,— как пытался истолковать повесть Орхана Кемаля кое-кто из турецких буржуазных критиков.

По нравственному кодексу родового строя, а как раз по нему живет Капитан, он не преступник, а герой, исполнивший священный долг кровной мести. Точно так же как представления Капитана о чести, приведшие его в тюрьму, основаны на отошедших в прошлое нормах морали, его мечты принадлежат иному миру, чем тот, в котором он живет. Они питаются чувствами, не подкрепленными работой разума и пониманием действительности. И потому, в сущности, это не мечты, а иллюзии. Они благородны, человечны, но от этого не перестают быть иллюзиями. Не проверенные разумом, не освещенные знанием, даже самые благородные чувства бессильны перед железной логикой действительности.

Таков лишь первый круг мыслей, которые вызывает повесть. Другой, не менее важный, связан с вопросом о том, кому выгодны религиозно-патриархальные иллюзии, кто их поддерживает и эксплуатирует. Для Боби Ниязи, прислужника начальника тюрьмы, все человеческие чувства, в том числе и его собственные,— лишь товар, который он ловко превращает в деньги: ему нужен капитал, чтобы, выйдя на волю, открыть заведение. Каким бы неприступным ни казался Капитан, Боби, профессиональный ловец душ, быстро находит его уязвимое место. Превратить подобную находку в деньги — для Боби, как говорится, лишь дело техники

Уязвимым местом в нравственном мире Капитана, так же как многих других героев Орхана Кемаля, оказывается опять-таки любовь, вернее, ложноромантическое представление о ней. Снова и снова в разных вариантах возвращаясь к этому мотиву, Орхан Кемаль, конечно, не следует фрейдистской моде, которой оказались подвержены литераторы, пытавшиеся, по словам К. Тахира, перетащить западные штампы на турецкую почву. Напротив, Орхан Кемаль исследует специфически национальные черты «маленького человека», сложившиеся в результате исторического развития его страны.

Как известно, в Турции вплоть до двадцатых годов нашего века женщина официально считалась существом второго сорта, была зависимой и бесправной. Если сентиментальность — оборотная сторона цинизма, то ложноромантическая идеализация женщины — оборотная сторона ее реального унижения. Унижение женщины неизбежно оборачивается, таким образом, духовной ущербностью мужчины. И здесь Орхан Кемаль выступает как последовательный реалист.

■

В старой части Стамбула, едва сойдешь с проспекта, по которому потоком мчатся машины, сразу попадаешь в иной мир. Узкие улочки с нависающими над тротуарами вторыми этажами домов. Выщербленная мостовая, лавчонки. Центр такого квартала — кофейня, в которой собираются вечером мужчины, и мечеть. Здесь все знают друг друга. Каждый квартал — свой замкнутый мир. В один из таких кварталов — Ункапаны, где обитают рабочие и мастеровые, в ветхий деревянный домик привел нас Орхан Кемаль.

По скрипучим ступеням поднимаемся на второй этаж. Низкие потолки, расша-

танные половицы. Маленькие, тщательно прибранные комнатушки. Посредине квартирки — железная печка, которую у нас когда-то называли «буржуйкой».

Здесь Орхан Кемаль прожил почти двадцать лет. Ни его квартира, ни его образ жизни ничем не отличались от жилищ и образа жизни его соседей и его героев.

Орхан Кемаль приехал в Стамбул, когда из печати уже вышло несколько его книг, получивших хвалебные отзывы в крупнейших газетах и журналах. Он полагал, что его, как человека, известного в литературе, встретят с почетом и что в Стамбуле ему будет легче прокормить семью. Однако его никто не встречал, никто не предлагал ему работы. Не помогали и знакомства среди стамбульских литераторов. Без постоянного дохода, без надежды на место этот человек намеревался писать, продавать написанное издателям и этим жить, да еще кормить семью?! И притом не опускаться до пошлости, до банальных литературных поделок, рассчитанных на самый вульгарный вкус?! Неслыханно, невероятно!

Но Орхан Кемаль совершил невероятное. Один-единственный из многочисленного поколения начинавших вместе с ним литераторов. Совершил трудом — по восемь-десять часов в день не вставая из-за стола. Он начал с репортажей, статей, миниатюр. Печатал рассказы. Получал за это гроши, семья голодала. Над книгами же приходилось сидеть по ночам.

«История семьдесят второй камеры долго жила в моем подсознании,— рассказывал писатель.— Не раз я начинал работать, исписывая груды бумаги,— ничего не выходило. И вот как-то ночью, когда деревянные стены сотрясались от порывов зимнего ветра, а в комнатах было так холодно, что плюнь— и плевок замерзнет, снова решил взяться за рукопись. Дети были еще совсем маленькие, мы с женой свалили на них все тряпье, которое нашли. Ни печки, ни мангала у нас не было. Только керосинка. Последние пол-литра керосина я залил в лампу, которая почему-то больше гудела, чем светила. Подышал на руки и принялся писать. Когда я кончил, на улице было уже светло, вода в стакане на столе замерзла. Но я был счастлив: повесть звучала для меня как песня. Я разбудил детей, жену и вместо завтрака прочел им написанное. После обеда я отправился пешком за шесть километров на улицу Бабыали, где помещаются издательства, редакции газет и журналов. Зашел в первый попавшийся литературный журнал. Я был уверен, что повесть у меня вырвут из рук и дадут хоть небольшой аванс. Куплю мяса, хлеба и бутылочку вина, урвем у судьбы хоть этот вечер, думалось мне. Но за ответом мне велели зайти завтра. Делать нечего, пришлось ждать до завтра. На следующее утро я наточил старое лезвие, побрился, как на праздник, и, отшагав шесть километров, снова явился в редакцию. Вместо редактора меня встретил привратник: «Ваша повесть непристойна. Возьмите рукопись!» Удар был тяжел. Не столько то, что я не получил аванса, в котором так нуждался, а непонимание сразило меня... С рукописью в руках я поплелся в редакцию газеты «Дюнья», уже не надеясь на успех. Но там повесть взяли. А на следующий день даже дали аванс, если не ошибаюсь, сто лир.

Я ходил по лавкам и, зажав в кулаке сто лир, старался выбрать лишь самое необходимое. Но столько было самого необходимого, что денег никак не хватало».

Орхан Кемаль писал рассказы за десять, пять и даже за три лиры. Ходил пешком, чтобы не тратиться на транспорт. Он не терпел саморекламы. Не любил торговаться и никогда не жаловался. Постоянную нужду носил с достоинством, как добротное старое пальто.

В середине пятидесятых годов в Стамбуле Орхан Кемаль написал еще одну повесть, которой может гордиться турецкая литература,— «Муртаза».

Помощник ночного сторожа на одной из текстильных фабрик в Адане Муртаза-эфенди — человек долга. Служба для него «выше совести и чести». Бедняк, отец шестерых детей, он, чтобы выучить старших, посылает младших дочерей, совсем еще девочек, на фабрику работать по двенадцать часов в сутки. Но за службу не требует ничего, кроме одобрения начальства. Начальство же для Муртазы — каждый, кто стоит на ступеньки выше его или хотя бы носит галстук, как служащие конторы. Преувеличенное, чуть ли не маниакальное поклонение власти делает его комичным. Но Муртаза и страшен: стоит ему надеть повязку надсмотрщика, как он перестает быть мужем, отцом, товарищем, перестает быть самим собой. Он страшен, как фанатик, отчуждающий в себе человеческое ради некой абстракции, как бы привлекательно она ни называлась.

Но Муртаза одновременно фигура трагическая, ведь он предает и себя. Хороший семьянин, он верен, честен, неподкупен, смел. Но служение власть имущим превращает все его добродетели в их противоположность. Хороший семьянин оказывается убийцей собственной дочери: «Она нарушила порядок». Честный малый начинает доносить на своих сослуживцев директору. Храбрец дрожит под неодобрительным взглядом хозяина. Неподкупный служака в награду за верность получает несколько лир в голубом конверте.

Характер, подсмотренный Орханом Кемалем в турецкой действительности, вырастает под его пером в трагическую

---

РАДИЙ ФИШ
ХЛЕБ И ЛЮБОВЬ ОРХАНА КЕМАЛЯ

фигуру человека из народа, предающего самого себя.

Муртаза — одно из самых значительных художественных открытий писателя. И, как всякое открытие, опровергая утешительно привычные представления, оно сразу вызвало споры, которые не утихли до сих пор. Чего только не приписывали автору повести! И чрезмерное сгущение красок, и оторванность от жизни (он, дескать, просто-напросто вложил в своего героя заимствованную у Канта абстрактную идею «категорического императива»), и даже клевету на народ.

Подобно каждому истинно художественному произведению, повесть Орхана Кемаля многопланова, многозначна. Но с какой бы стороны к ней ни подойти, если оставаться объективным, придется признать, что и здесь писатель выступает как последовательный реалист, ибо он точно изображает социальную и историческую среду, взрастившую феномен Муртазы.

Муртаза — крестьянин, переставший быть крестьянином, но не ставший рабочим. К тому же он из «переселенцев». Так называли тех, кто после поражения Османской империи в первой мировой войне возвратился в Турцию из некогда оккупированных империей стран, где турецкое население играло роль колонистов. Среди этого населения с особым усердием веками насаждались военно-феодальные «идеалы» доблести, порядка и подчинения. Зная об этом, легко понять, почему Муртаза беспрестанно твердит, что его первым наставником был колагасы — майор султанской армии, его дядя,— понять, отчего персонажи повести так много рассуждают о бесстрашии, послушании и презрении к смерти как о неких извечных чертах нации. Да и выражение «я пес у порога твоего», которое повторяет Муртаза директору фабрики, вовсе не означает самоуничижения, как может показаться советскому читателю. Это просто формула имперских времен, формула признания вассалами власти своего феодала. Словом, характер Муртазы вышестован идеологией феодальной имперской бюрократии, которая в нем и ему подобных пережила самое себя. Новые хозяева страны лишь эксплуатируют то, что досталось им по наследству.

Будучи реалистом, Орхан Кемаль не пугался ни собственных мыслей, ни выводов, которые могут быть сделаны из его художественных открытий. И в этой повести он не только высмеял старые иллюзии, но и обнаружил иллюзорность «культа народа», насаждаемого националистами, лживость шовинистических идей, которыми пытались одурманить «маленького человека».

■

Мы сидели за столом у Орхана Кемаля: хозяин, его друзья, жена, дети. Шел 1966 год. Весной этого года писателя снова бросили в тюрьму по обвинению в коммунистической пропаганде. Когда друзья пришли к его дому, чтобы забрать к себе его жену и детей, там стояла толпа фашистов и выкрикивала угрозы. А Нурие-ханым расставляла в коридоре наполненные водой бутылки — готовилась к обороне.

Протесты международной общественности на сей раз заставили власти выпустить писателя на свободу. И теперь эта история служила предметом застольных шуток.

Орхан Кемаль уже не был тем юным мастеровым и любителем футбола, который задиристо глядит со старых фотографий. Время, годы лишений и тюрем, изнурительная литературная поденщина сделали свое дело. Лицо прорезали глубокие морщины, крутой и без того высокий лоб стал еще выше от залысин. Но острые глаза по-прежнему молодо сверкали из-под густых с проседью бровей.

Речь зашла о последнем замысле писателя — современной плутовской эпопее в трех книгах, причем каждая из них должна была являться и самостоятельным произведением. Первая часть трилогии — роман «Инспектор инспекторов» только что вышел из печати. В нем развертывалась история шарлатана, как все истории Орхана Кемаля, типично турецкая. Выходец из разорившейся аристократической семьи, Кудрет Янардаг (по-русски это имя звучало бы примерно как Сила Вулканов) пользуется своей импозантной внешностью, благородными манерами и велеречивостью для того, чтобы дурачить легковерных провинциалов, преисполненных почтения к внешним атрибутам власти. Начинает он карьеру с мелкого надувательства: войдя в кофейню или отель, указывает хозяину на какой-нибудь мнимый или действительный недостаток — «не в качестве начальника или важной персоны, а как простой гражданин». Привыкшие ко взяточничеству, провинциальные торговцы и обыватели по этой фразе немедленно принимают его за важную шишку. Перед жуликом раскрываются все двери, деньги рекой текут в его карманы.

«История восхождения мелкого жулика к вершинам власти,— говорит Орхан Кемаль,— вплоть до депутатского кресла, позволяет мне дать социальный срез нашего общества сороковых — пятидесятых годов».

После выхода «Инспектора инспекторов» в одной из редакций к Орхану Кемалю подошел чиновник и, справившись, он ли автор романа, сказал, что он сам — инспектор. Вместе с коллегами по профессии каждый вечер, собираясь то у одного, то у другого, они читают роман вслух. И по их общему мнению, Орхан Кемаль, должно быть, сам служил ревизором, настолько точно знает он «тайны и секреты их ремесла».

Роман «Нечистая игра» — вторая книга задуманной писателем трилогии. В

ней показано превращение главного персонажа из обыкновенного жулика в жулика политического, высокопоставленного. С большим юмором и изобретательностью изображает писатель, как Кудрет Янардаг беззастенчиво эксплуатирует религиозные чувства, забитость и невежество «маленького человека» из провинции, не гнушаясь ни демагогией, ни лестью.

В романе верно представлена и политическая обстановка в стране накануне пятидесятых годов, когда по настоятельному требованию «заокеанских друзей» правящие классы Турции решили перейти от авторитарного образа правления к двухпартийной системе, дабы направить угрожавшее взрывом народное недовольство по ложному руслу.

В последней части эпопеи писатель намеревался показать деятельность своего «героя» на посту «народного избранника» в годы правления так называемой демократической партии, стоявшей у власти в пятидесятые годы. Своей жестокостью, продажностью и беззастенчивостью ее главари едва ли не превзошли злодеяния кровавых османских султанов. 27 мая 1970 года молодые офицеры при поддержке студентов и молодежи свергли правительство «демократов», а его глава Мендерес кончил жизнь на виселице.

Орхан Кемаль не успел осуществить свой замысел. Он был тяжело болен и знал об этом. Три года писатель добивался разрешения на выезд за границу для лечения. Когда, получив, наконец, паспорт, он приехал в Москву, выяснилось, что лечение потребует времени. Орхан Кемаль вынужден был вернуться на родину, чтобы приехать снова и лечь в больницу.

Он умер по дороге, в Софии, 2 июня 1970 года. В последний путь до Стамбула его провожала делегация Союза болгарских писателей. Похороны Орхана Кемаля превратились в грандиозную политическую манифестацию. Его гроб несли на руках через весь Стамбул. За гробом шагали огромные толпы молодежи, подняв над головой сжатые кулаки.

В эти дни в стамбульских газетах было опубликовано завещание, которое Орхан Кемаль продиктовал сыну перед отъездом: «Все патриоты, все прогрессивные и революционные силы, вооружившись учением марксизма-ленинизма, должны объединиться в неколебимом боевом строю... Истинные художники, интеллигенты, должны творить для трудящихся, опираясь на единство с ними, ради установления в стране народного строя».

Всего две недели пробыл Орхан Кемаль в нашей стране, верным другом которой он был. Он очень гордился тем, что его книги переведены на язык Толстого и Горького, что их у нас много читают.

В Москве он первым делом отправился на Новодевичье кладбище. У ворот купил цветы и, словно шел к живому, вложил в них свою визитную карточку. На обороте написал: «Не верю, Назым, что ты лежишь в земле!»

Когда увидел большой неотесанный камень и высеченную на нем фигуру высокого человека, упрямо идущего против ветра, обнажил голову и долго стоял неподвижно.

«Знаешь,— сказал он, садясь в машину,— только теперь я поверил, что Назым умер».

Мне не довелось с тех пор побывать в Стамбуле. Я не стоял над могилой Орхана Кемаля на кладбище Зинджирликую. Я вижу его живым. Таким же, как его книги,— несмотря ни на что, веселым, громкоголосым и целиком устремленным в будущее.

◆

# Культура и современность

## Заметки на полях

# РАЗДУМЬЯ КРИСТЫ ВОЛЬФ

**Может ли человек, живший при фашизме, назвать число, или месяц, или год, начиная с которых он преодолел прошлое? Поставив этот вопрос, немецкая писательница Криста Вольф дала на него отрицательный ответ. В интервью, напечатанном журналом «Веймарер байтреге», она напомнила, что преодоление прошлого — процесс не только исторический, но и психологический. Хотя со времен разгрома гитлеровской армии и свержения гитлеровской диктатуры прошло тридцать лет, каждый, даже тот, кто в черное двенадцатилетие фашистского режима был, как Криста Вольф, подростком, без конца переживает и изживает это прошлое.**

«Все чаще слышим мы от юных,— сказала Криста Вольф,— что они, несмотря на все, не понимают, как люди вроде нас, их родителей, могли жить тогда, даже, быть может, не испытывая постоянного ощущения гнетущего несчастья, и как мы, после того, что было, могли продолжать жить. «Несмотря на все» — это значит: несмотря на все книги, читанные ими, несмотря на все фильмы, виденные ими, несмотря на уроки истории в школе, где им объяснялись предпосылки прихода Гитлера к власти».

**Антифашистская тема представляется Кристе Вольф неисчерпаемой. Немецкие писатели уже создали классические произведения антифашистской литературы, но они еще будут создавать другие книги на ту же тему, рассматривая ее в таких аспектах, в каких она не рассматривалась. Эти аспекты несомненно окажутся различными, но вряд ли возможна книга о годах, предшествовавших 1945-му, которая не включала бы в себя осмысление того, чем были для человечества последующие тридцать лет. Нельзя**

«изображать фашизм феноменом, существовавшим вне нас и исчезнувшим после того, как были уничтожены центры его власти и формы его организации».

**Она, к сожалению, не ошиблась, когда, имея в виду современные проявления фашизма, добавила:**

«Эта материя все еще остается радиоактивной».

**Лучшие из лучших немецких писателей в своих антифашистских произведениях доказали, что каждый отвечает за все. Исходя из этого, Криста Вольф уточнила, что нельзя — а такое, по ее мнению, бывало, особенно в некоторых кинофильмах ГДР,—**

«приписывать прошлое фашистское «другим», а себя связывать только с традицией антифашистов и борцов Сопротивления».

**Без этой традиции не было бы ни Германской Демократической Республики, ни ее литературы и искусства, но эта традиция не допускает никаких упрощений в постановке вопроса об ответственности за прошлое.**

**На первый взгляд может показаться, будто Криста Вольф в своем интервью повторяет общеизвестное, но это не так. Ей понятно, что книги немецких писателей о военных и послевоенных годах, предназначенные сегодняшним и завтрашним читателям, должны быть новыми не только по датам их выпуска, но и по существу.**

«Время — прожитая нами с той поры жизнь — постоянно создает новые измерения, в которых рассматривается любой, а в особенности определенный период нашей истории»,— замечает Криста Вольф.

Разумеется, новые измерения обусловлены совокупностью исторического опыта, не только многообразного, но и противоречивого. Однако Криста Вольф выделяет из этого опыта то, что именует «преодолением прошлого в настоящем».

Она рассказывает о судьбе своего поколения, ставшего очевидцем крушения тех устоев, веру в незыблемость которых им внушали с детства, ставшего участником труднейшей перестройки, касающейся основ человеческого существования и человеческого сознания. Разумеется, если бы не одержанная в 1945 году победа над гитлеризмом, никакой перестройки не было бы.

Преодоление прошлого в настоящем и будущем — не только нелегкая общественная, но и нелегкая творческая задача.

> «И опять дело в том,— поясняет Криста Вольф,— чтобы найти манеру письма, благодаря которой можно завоевать такие высоты реализма, какие требуются для достижения поставленной цели...»

Криста Вольф постоянно обновляет свою творческую манеру. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить роман «Расколотое небо» с повестью «Размышления о Кристе Т.», повесть «Размышления о Кристе Т.» — со сборником рассказов «Унтер ден Линден» [1]. Говоря о том, к чему привело ее это постоянное обновление, писательница высказывает мысли, многие из которых общезначимы.

Криста Вольф повторяет выражение поэта и прозаика Фолькера Брауна о «резервах реализма». Она убеждена, что реализм таит в себе неиспользованные возможности.

В свои рассуждения о реализме Криста Вольф вводит понятие «внутренней аутентичности», или «внутренней подлинности». Оно выходит за пределы представлений о правдивости искусства, хотя и предполагает эту правдивость. Это понятие скорее означает верность художника самому себе, а точнее, своему жизненному опыту. Когда Ганс Кауфман, бравший у Кристы Вольф интервью, выразил опасение, что понятие «внутренняя аутентичность» дает излишний простор субъективизму, писательница не согласилась с ним. Она сказала, что «к безудержному субъективизму» чаще всего приходит тот, кто ориентируется только на умозрение; именно он сплошь да рядом принимает воображаемое за существующее.

Что же касается жизненного опыта, то им, по выражению Кристы Вольф, надо «овладевать», а для этого нужна полнота жизнеощущения, глубина миропонимания.

> «При ограниченном кругозоре попытка добиться достоверности в литературе обречена на неудачу...— пояснила Криста Вольф,— так же, как и попытка отстраниться, избежать совпадения горящих точек, внешних, социальных, и внутренних, индивидуальных».

Самым выдающимся фактом германской истории за тридцать лет Криста Вольф считает то, что в общественном укладе ГДР произошли

> «коренные перемены, направленные к достижению социализма».

Криста Вольф полагает, что радикальности совершающихся перемен не всегда соответствовала радикальность вопросов, которые ставились историками, экономистами, писателями ГДР, стремившимися осмыслить эти перемены. Она отдает себе отчет в том, как вредна привычка к такой самоцензуре, из-за которой

> «автор путается, бесполезно и безвыходно, в переплетении взаимоисключающих заповедей: что он, например, должен писать реалистически и в то же время отказываться от изображения конфликтов, что он должен писать правдиво, но не верить собственным глазам, если увидит что-то «нетипичное».

Автор, не покончивший с такой самоцензурой, неминуемо начинает

> «отступать, уклоняться, «затушевывать» — это он может одинаково хорошо или одинаково плохо делать в романе современном, и в параболическом, и в утопическом, жанр тут ни при чем».

Итак, полюбившееся Кристе Вольф понятие «внутренняя подлинность» искусства несовместимо с каким бы то ни было уклонением от поисков истины. А тот, кто ищет, заранее не знает, что найдет и что потеряет, он действует на свой страх и риск. Недаром Криста Вольф полушутя вспомнила сказку братьев Гримм, ежа, взявшегося бежать наперегонки с зайцем, потому что ежиха его подстраховывала. Творческая работа удается лишь тогда, когда она делается без подстраховки и без перестраховки.

Вряд ли нужно подробно останавливаться на том, как Криста Вольф с точки зрения «внутренней аутентичности» оценивает те или иные творческие приемы. Ведь эти приемы у каждого из художников особые. Автору «Размышлений о Кристе Т.» хочется, чтобы писатели поменьше прятались за фабулой, за материалом повествования, чтобы они побольше приоткрывали завесу над тайной творческого познания и перевоплощения действительности, чтобы они, как выражается Криста Вольф, осуществляли

> «прорыв к новой, почти уже считавшейся навеки утерянной спонтанности...».

---

[1] См. рецензию Т. Л. Мотылевой в «Иностранной литературе» № 3, 1975.

С этим можно соглашаться или не соглашаться, так же как можно принимать или не принимать термин «внутренняя аутентичность». Суть, конечно, не в термине, а в другом: Криста Вольф отстаивает подлинность искусства, то, чем оно отличается от всяческих ремесел — и сложных, утонченных, и простых, огрубленных. Цель искусства, по словам Кристы Вольф, состоит прежде всего

«в создании новых структур человеческих отношений в наше время».

И если уж в наши дни писать о фашистском прошлом, то надо, как считает Криста Вольф, не столько воспроизводить многократно воспроизведенные экономические и политические обстоятельства, сколько

«заново приблизиться к действовавшим и бездействовавшим индивидуумам, заново рассмотреть их, заново сделать запрос о мотивах их поведения, о мере их ответственности...».

Ведь индивидуальность, ее роль в истории, возможные способы ее поведения — едва ли не главная проблема современного реализма.

«Все еще, снова и снова, речь идет о реализме,— заявила Криста Вольф,— все еще, снова и снова, нужно бороться за него».

Интервью Кристы Вольф — яркий пример писательских раздумий, которые никак не назовешь узкопрофессиональными. Ведь эти раздумья — не только об отражении жизни в искусстве, но и о самой жизни, о фашизме и о социализме, о том, что должно уничтожаться, и о том, что должно созидаться.

Интервью Кристы Вольф — одно из многих, опубликованных журналом «Веймарер байтреге» за последние годы. Каждый из писателей, у которых брали интервью, говорил о своем и по-своему, а все вместе — о судьбе литературы ГДР. К числу этих писателей, помимо Кристы Вольф, относятся Бруно Апиц, Эрик Нойч, Гюнтер Кунерт, Вольфганг Йохо, Иоахим Новотный, Герберт Нахбар, Вернер Бройниг и другие. Список, надо думать, будет продолжен.

В ГДР за последнее пятилетие появилось множество книг, герои которых — писатели, журналисты, живописцы, архитекторы, одним словом — художники. Судя по тому, какой интерес вызвали эти книги, знакомство с личностью художника во всех ее проявлениях — общественных, нравственных, творческих — стало для читателя потребностью. Этой потребности отвечает и интервью Кристы Вольф.

**Л. СИМОНЯН**

# КОНЕЦ АМЕРИКАНСКОГО БУДУЩЕГО?

Бывают минуты, писал М. Е. Салтыков-Щедрин, когда имеющие хождения в обществе «бодрые слова» вдруг словно бы начинают портиться. Хотя они еще удерживаются в обращении, от них уже «пахнет тлением».

Что-то подобное ныне происходит в Соединенных Штатах. В этой стране, как нигде на Западе, насаждался аффектированный оптимизм, вера в неиссякаемые возможности общества, основанного на частнокапиталистическом начале. От этого-то оптимизма, от этой веры отдает теперь тлением. Это видно, в частности, из недавно появившейся книги Питера Скрэга, известного американского публициста, которая озаглавлена выразительно: «Конец американского будущего» [1].

Вот что сам Скрэг пишет о своей книге в предисловии: «Трудно было бы установить, откуда исходят многие вскормившие ее идеи, подсказки, советы». Отнюдь не следует понимать это таким образом, что автор отдал дань модному литературному приему, взяв себе роль некоего медиума. Просто он вдоль и поперек изъездил свою страну, наблюдал ее, проинтервьюировал сотни, если не тысячи, ее жителей и все отложившееся в памяти попытался суммировать, подытожить, попытался кристаллизовать то аморфное, что в английском языке обозначается заимствованием из лексикона Гегеля «Zeitgeist», а по-русски именуется «духом времени». Америка, пишет Скрэг,

«страна слишком большая и трудная для понимания, страна слишком любимая и слишком ненавидимая... И все же были здесь вещи, сообщавшие смысл и вносившие порядок. Главной такой вещью, будто дарованной нам свыше, было ощущение возможностей, запечатленное в нашем повседневном языке. Это ощущение пока не исчезло, но после 1968 года... оно сделалось слабым, приглушенным, условным».

[1] P. Schrag. The End of the American Future. N. V., 1973.

Положим, были и есть в Америке другие «главные вещи», «вносящие порядок», например: что это — капиталистическая страна, что это — буржуазная демократия и т. д. Но верно, что ощущение возможностей было принципиально важной чертой американской жизни — с той далекой поры, когда неисследованный континент простерся перед первыми пилигримами, и до самых последних лет. Пускай это ощущение чем дальше, тем больше оказывалось обманным для все большего числа американцев — оно сохранялось, пока было движение, динамизм, экономический рост. Магия кривых роста завораживала, предполагалось, что всегда они будут ползти вверх, как бы поддерживая друг друга. Даже такая тяжелая на подъем, как кривая заработной платы. Даже кривая того, что исстари называется смягчением нравов.

Теперь, пишет Скрэг, слишком многие американцы перестали верить в кривые.

> «Быть может, дело еще не дошло до крайностей — до роковой грани, предсказанной Римским клубом в «Пределах роста» (книга эта у нас неоднократно прокомментирована.— Ю. К.) и другими апокалипсическими видениями истощения природных ресурсов и перенаселения; возможно, с помощью новых технологических хитростей удастся сохранить рост и в то же время уменьшить разбазаривание естественных ресурсов... Но что можно утверждать с уверенностью, это что в последние несколько лет в Америке распространилось своего рода энтропическое сознание».

Энтропическое сознание здесь — усталое сознание. Ни кризисная экономическая конъюнктура, ни даже такие долговременные факторы, как экологический и демографический, сами по себе еще не объясняют в достаточной мере этого феномена. Причина разуверенности в будущем — в общем кризисе общества, культуры. Вероятно, читатель «Иностранной литературы» помнит о нашумевшей в свое время книге Олвина Тоффлера «Столкновение с будущим». У Тоффлера горизонты будущего открывает взбудораженным людям НТР, плохо им увязанная с социальной реальностью. Тоффлер в этом смысле «надысторичен» («претенциозен» — на взгляд Скрэга). Для Скрэга, напротив, чувство завтрашнего дня у американцев куда глубже коренится в сегодняшнем дне и вчерашнем. Оно подсказано не футурологическими предначертаниями, по конкретной жизненной ситуацией, в конечном счете — классовым самосознанием, с некоторыми поправками на географические широты и долготы.

Столетиями в стране культивировался некий унифицированный взгляд в будущее — из окошка личного успеха. Катехизис личного успеха составляет сердцевину того, что зовется американизмом и что складывается из разнородных, но крепко сросшихся элементов: от хождения в церковь по воскресеньям до яблочного пирога по субботам. Литературе, от Синклера Льюиса до Джона Чивера, обязаны мы знакомством с этим укладом жизни. Провинциальная Главная улица — протянувшаяся через всю Америку — почитала себя той осью, от которой должно вести отсчет будущего времени не только для страны, но и для остального мира.

Само собой разумелось, что Главная улица — навечно. Парадный вид на будущее сводился фактически к тому, что все обойденные судьбой — то есть бедняки, цветные, иммигранты — рано или поздно «подтянутся», сумеют преуспеть. Подразумевалось, что и прочие народы «возьмутся за ум», преодолеют свою «неполноценность», переймут американский образ жизни. В глубине души, как это замечает Скрэг, преуспевшие тешились собственной «исключительностью», потому что ведь личный успех только тогда и имеет смысл, когда он сопоставлен с неуспехом других. Но парадный оптимизм всем сулил место под солнцем: если американизировать в стране и за ее пределами все то, что еще не американизировано.

Вот этим-то представлениям о будущем ныне приходит конец. Толща среднего класса, которая питала их, испытывает растущее замешательство: и от экономических невзгод, и от невзгод экологических, и от разгулявшейся преступности, и от соблазнов контркультуры (чья скандализующая новизна и «праздничность» пропали, но чья непосредственная чувственность сохранила свою притягательность), и, наконец, от открывающихся ей реальностей большого, меняющегося мира. Главная улица вдруг обнаружила, что у нее нет будущего, что время работает не на нее. Это «вдруг», если быть точным, не вчера началось и, вероятно, не завтра кончится, но именно где-то здесь, по мнению Скрэга, пролегает медиана между отлетающей самоуверенностью и прокравшейся апатией. Традиционный американизм, пишет Скрэг, теряет свои глобальные амбиции, уходит в раздраженную, в себе замыкающуюся провинциальность.

Кризис американизма не ограничивается средним классом, вообще буржуазией. Идеология эта, повторяем, претендовала на универсальность и долгие десятилетия навязывалась, и не без успеха, сверху вниз — небуржуазным слоям. Речь идет, в первую очередь, о рабочем классе. Рабочим внушалось, что преуспеть они могут лишь благодаря производственному усердию, и они это усердие обычно выказывали, хотя, как замечает Скрэг, триумфаторами они себя чувствовали все-таки не у станка, а в рядах пикетчиков. Многих из них вместе с тем смущал соблазн обзавестись со временем собственным маленьким делом. Сейчас, когда таковая перспектива померкла, а реальная заработная плата из года в год падает, рабочие — это уже общеизвестный факт — заметно охладели к работе (особенно это относится к молодежи). Они ее, по словам Скрэга, «и ненавидят, и боятся потерять». В масштабе страны среди рабочих

«распространяется ощущение, что у класса нет будущего *внутри* (курсив мой.— Ю. К.) существующей системы»,

и, как следствие, зреет враждебное их отношение к этой последней.

Кризис американизма наблюдается не только в вертикальном, социальном то есть, разрезе, но и, так сказать, горизонтальном — географическом. В попытках «спасти американское будущее» происходит сейчас любопытная переориентация с Запада на Юг.

«Запад» всегда был для американцев, можно сказать, перенасыщен значениями, всегда был синонимом возможностей, направлением вектора всяческой экспансии. От пилигримов до хозяйственников новейшей формации и до хиппи. Еще в 60-е годы Калифорния как магнит привлекала энергию нации, создавая атмосферу экономического бума. Сегодня дела в этом штате уже далеко не всюду хороши, но даже там, где дела идут в общем-то нормально, не хватает чего-то существенного: «нет будущего, нет перспективы, нет романтики». Это

> «край, где порожденное бумом возбуждение и чеховское чувство утраты встречаются в тревожной неопределенности».

Калифорния — не только демонстрация свершений, но и самое, кажется, на свете удобное пристанище для скверны отчуждения. Концентрация пугающей пустоты. Представление о будущем выхолощено, о нем там говорят, как о вопросе чисто техническом, но технологическая перспектива, замечает Скрэг, в этих условиях как будто разведена с живым чувством будущего, подменяет его и, при всей своей подчас фантастичности, не рассеивает впечатления остановившегося времени.

Иначе на Юге. Столетие с лишком этот район считали обузой для динамичной страны. Аграрный по преимуществу Юг с его старомодным барством, его специфической обломовщиной, тяготеющим над ним проклятием расизма ковылял где-то далеко позади Америки янки, несколько даже стыдившейся этого родства. Теперь дело обернулось таким образом, что те же янки, притормозив, оглядываются на Юг с занимающейся надеждой. Тому есть главным образом две причины. Во-первых, здесь более стабильный экономический рост. Правда, по уже достигнутому уровню развития Юг еще заметно отстает от других районов, то есть ему еще только-только приходится нагонять остальную Америку. Но в этом как раз видят его преимущество: имея перед глазами дурной пример Севера (и Запада), можно избежать его ошибок, избежать загрязнения среды, появления таких монстров, как Нью-Йорк и Лос-Анджелес, и т. д. Как именно можно всего этого избежать при существующем строе, никто, конечно, толком не представляет, но говорят и пишут об этом очень охотно.

Во-вторых, рушится, наконец, под ударами политика расовой сегрегации. Настолько привыкли ассоциировать Юг с этой позорной традицией, что происшедшие там (примерно после 1969 года) перемены кажутся чудесными: видано ли такое! — отовсюду изъяты вывески «только для белых», найти их теперь можно разве что в музеях; мелькают на арене общественной жизни новые фигуры — черный кандидат в губернаторы (пока только кандидат), черный профессор университета, черный мэр, черный шериф. Можно, конечно, умерить приятное изумление, можно вспомнить, что вопрос о равноправии рас поставлен в порядок дня более сотни лет назад и уже тогда был вопиющим, не терпящим отлагательства. Можно констатировать и другое: что дискриминация далеко еще не преодолена, что ликвидированы, как пишет Скрэг, лишь кричащие ее формы, а более «хитрые» остались и что, следовательно, борьба за равноправие будет продолжаться.

Так или иначе, Юг выделяется какими-то качественными переменами и еще более — обещанием таковых. Старое, искривленное, искореженное бурями дерево пустило молодые побеги — и породило разнообразные надежды. Сама укорененность жизни на Юге уже не кажется только помехой на пути прогресса; многим ясно, напротив, что такие вещи, как чувство истории, приверженность традиции, сообразность с миром природы — то есть то, что, как считается, отличало южан от янки,— могут в разной степени удобрить почву для будущего. Вообще, кажется, психология южанина, выработанная в сложных исторических перипетиях, богаче красками, быт богаче нюансами. Это важно, в частности, в таком сугубо бытовом деле, как преодоление расового взаимоотчуждения, которого не сломить никакими законодательными мероприятиями. Так как «болезнь» эта, как известно, общенациональная, может случиться, пишет Скрэг, что южане, сколь это ни парадоксально, подадут пример остальной Америке в решении расового вопроса. В конце концов ведь они, белые и черные, веками жили бок о бок и лучше знают друг друга.

Пока что несомненное смягчение расовых отношений на Юге имеет чрезвычайно важное следствие: зреет классовое самосознание эксплуатируемых. Не секрет, что веками практиковавшаяся, обязательная для всех белых психологическая прививка расизма была весьма эффективной; что, например, преступления клановцев возможны были не только потому, что они поощрялись властью имущими, но и потому, что средний американец терпимо относился к ним в атмосфере, насыщенной расовыми предрассудками. По мере того как этот дурман рассеивается, проясняются контуры реальных социальных антагонизмов. Растущий пролетариат Юга, пишет Скрэг, впервые открывает себя, свои возможности, демонстрируя — чем дальше, тем больше — межрасовую солидарность. По словам одного из профсоюзных деятелей, многие белые рабочие

«начинают соображать, что к чему. Они поняли, что их дурачили в расовом вопросе. Они поняли, что время — закатать рукава и идти на банки и корпорации».

Одно из двух: либо Юг окончательно усвоит, с некоторыми поправками, дискредитированный американский образ жизни, либо он его (вместе с остальной Америкой) отвергнет. В любом случае никакого будущего у традиционного американизма на Юге нет — такой вывод напрашивается из книги Скрэга.

Есть у «конца американского будущего» еще один аспект, весьма сложный. Это то, что Скрэг называет «нашим самым, вероятно, значительным романом, нашей пылкой и кратковременной любовной связью с Наукой». Роман этот с самого начала был трудным, ибо НТР в определенной мере разрушила традиционный американизм, разрушила устоявшееся представление, что личного успеха можно добиться с помощью ingenium vulgare — обыкновенной смекалки и других чисто бытовых качеств, окружила ореолом Знание. Если вспомнить, что антиинтеллектуализм всегда был в Америке непременной частью традиционного образа мыслей, легко представить, что

«здравый смысл разнервничался, и Главная улица утратила самоуверенность».

Если раньше предвидеть завтрашний день было, казалось, по силам здравому смыслу, то теперь предвидение пришлось передоверить разного рода мозговым трестам. Тут, однако, необходимо уточнение. Вызванный НТР переполох совершался в сфере культуры, тогда как в социальной сфере перемеиилось не столь уж многое: ведь не только здравый смысл, но и научный, футурологический расчет (как он производится на фабриках мысли и т. д.) обречены оставаться в четырех стенах капиталистического бытия. «Научная культура» вписалась в структуру и в целом работает на нее.

В общем, роман состоялся, но оказался, как сказано, недолговременным. Уже на пороге 70-х ряд причин вызвал весьма широко распространившееся разочарование в научно-техническом прогрессе. Это все тот же экологический кризис, все та же депрессия, это вдруг возникшее перепроизводство знания, но сверх того это еще и выявившееся расхождение между живыми потребностями общества (его подавляющей части) и движением научной, футурологической, в частности, мысли — абстрактной и вместе с тем заключенной в упомянутых четырех стенах. По мнению Скрэга, мозговые тресты не сулят в будущем чего-то действительно нового, даже хуже: их

«версия будущего представляет, если разобраться, не что иное, как развитие наиболее отталкивающих аспектов настоящего».

Так окрепло парадоксальное сомнение в возможностях Науки, так американцы заметно к ней охладели — хотя по-прежнему безграничны ее горизонты.

Вместо заключения автор «Конца американского будущего» аргументирует в пользу того, что он называет европеизацией Соединенных Штатов. Европеизация в данном случае расшифровывается как определенная стабилизация жизни. Не та стабилизация, что означает устойчивость и постоянство, но та, которая делает явственной, прозрачной существующую общественную структуру, прежде замутненную непрерывным движением «вширь». Такая стабилизация чревата серьезными социальными потрясениями.

Конечно, динамизм был свойствен и капиталистической Европе (откуда он, собственно, и передался Америке), и сейчас еще что-то сохранившей от этого качества. Но, во-первых, там он всегда был умеренней, чем на американских просторах, а главное, в последние десятилетия европейская буржуазия утратила, ввиду пролетарских революций, былую веру в незыблемость частнособственнических идеалов, от экспансии перешла к борьбе за выживание. Тогда как за океаном жила иллюзия, что «закат Запада» не распространяется на Америку и американизм, что их может спасти «бегство вперед» (термин, впервые, кажется, употребленный во Франции после майско-июньских событий 1968 года, но особенно применимый именно в США) от исторических закономерностей. И вот — испаряется американистское чванство, обнажаются общие, фундаментальные антагонизмы. Материализуется призрак коммунизма. Скрэг отмечает у рабочих резко возросший интерес к заповеданной прежде коммунистической идеологии. А на классические купола — те, что над «коридорами власти»,— ложатся через океан тени старой-престарой Европы: «тени Меттерниха и Клаузевица».

Следующее замечание Скрэга можно посчитать выводом в его очень трезвой книге:

«Поскольку страна вступила, очевидно, в пору более скромных ожиданий, стала частью конечного и самоограничивающего мира, вновь возымели силу старые марксистские положения: о борьбе за рынки сбыта и источники сырья, о домашней борьбе между рабочим и капиталистом, между богатым и бедным. Эти положения, конечно, никогда не утрачивали силы, но казалось, что их можно отсрочить или смягчить благодаря бесконечным призывам к новым рубежам».

Здесь можно бы поставить многоточие, ибо сказанное приоткрывает новую перспективу. Скрэг ее не рассматривает, он ограничивается фиксацией текущего момента: нет в сегодняшней Америке определившегося чувства будущего, есть только ломка прежних представлений о будущем.

Ю. КАГРАМАНОВ

# Публицистика

## ГОЛОСА ПРОТЕСТА

*Книги очерков, статей, репортажей израильских писателей-коммунистов Фелиции Лангер и Йосэфа Альгази — документальные свидетельства очевидцев бесчинств, творимых израильской военщиной на земле палестинских арабов,— напечатаны более года назад, однако положение с тех пор мало в чем изменилось: газеты, телевидение, радио по сей день приносят с Ближнего Востока вести — оккупанты продолжают «осваивать» чужие земли, продолжают вершить произвол по отношению к жителям захваченных территорий. «Лидеры Израиля, вопреки интересам народов, в том числе своего собственного, тормозят справедливое разрешение конфликта на Ближнем Востоке, стремятся помешать тому, чтобы прочный мир пришел на его многострадальную землю»,— говорил в недавнем обращении к избирателям Н. В. Подгорный.*

*Публикуемые ниже фрагменты из этих достоверных, велением совести продиктованных, с трудом проникших в печать произведений позволят отчетливее представить, что́ скрывают за собой как будто бы «примелькавшиеся» строки скупой газетной информации.*

*Насущность, безотлагательность ухода Израиля с захваченных земель с особой силой подчеркивают голоса протеста против оккупации, раздающиеся в самом Израиле,— в какой-то мере они представлены в данной публикации.*

*Открывает ее статья советской журналистки Дицы Сильвер, впервые собравшей воедино в своем обзоре наблюдения над фактами сопротивления официальной политике правящих кругов Израиля со стороны прогрессивных деятелей израильской культуры, разоблачающих опасный антинародный характер деклараций и деяний поборников «великого Израиля», всех тех, кто пытается за фасадом псевдодемократической фразеологии спрятать, утопить империалистическую, агрессивную, шовинистическую сущность притязаний правящих сионистских кругов.*

*Освобождение всех оккупированных в 1967 году арабских земель, удовлетворение законных прав арабского народа Палестины, вплоть до создания им своей государственности, эффективное обеспечение всем государствам Ближнего Востока безопасного, независимого и свободного существования и развития Л. И. Брежнев в своей речи на XI съезде Венгерской социалистической рабочей партии назвал «коренными проблемами, без решения которых невозможно установление действительно прочного и действительно справедливого мира на Ближнем Востоке».*

*Именно к этим коренным проблемам взволнованно и гневно обращаются в своих репортажах авторы публицистической подборки, которую мы предлагаем вниманию читателей.*

ДИЦА СИЛЬВЕР

# АНТИВОЕННАЯ ТЕМА В ПРОГРЕССИВНОЙ КУЛЬТУРЕ ИЗРАИЛЯ

«...Я не раз удивлялся, как легко поддаться соблазну быть обманутым с открытыми глазами и присоединиться к огромному лагерю лгунов, невежд, лагерю корыстного равнодушия и просто бесстыдного эгоизма, предпочтя подлинной истине позу пожимающего плечами старого грешника» — этими словами начинается знаменитый в Израиле рассказ «Хирбэт-Хиз'э» С. Изхара, написанный в 1949 году. Сказанное четверть века тому назад не утратило остроты и сегодня. Десятилетия, отделяющие войну 1948 года от «шестидневной войны» 1967 года и октябрьской войны 1973 года, были годами, в течение которых официальная пропаганда и вся система воспитания в Израиле привели к укоренению в стране «невежества, корыстного равнодушия и просто бесстыдного эгоизма». Самыми изощренными способами в сознание людей внедрялась уверенность, будто «весь мир против нас», а все арабы «точат ножи, чтобы уничтожить народ на его земле». И если до июньской войны 1967 года это делалось исподволь, хотя и тогда уже весьма «эффективно», то с первого дня войны «промывание мозгов» приняло гигантские размеры. Буквально все средства массовой информации были мобилизованы: радио и телевидение, органы печати (кроме, разумеется, изданий компартии) пели гимны войне и захватам, проповедовали культ силы и ненависти к арабам, передавали и печатали беседы с генералами и политиками, репортажи о «доблестях» израильской армии. Захваченные арабские территории стали именоваться не иначе, как «освобожденными». Ясное и недвусмысленное определение коммунистами июньской войны как агрессивной именовалось «предательством». Книжный рынок вскоре был наводнен потоком шумно рекламировавшихся книг. Сначала хлынули серии альбомов с рассказами о военных операциях, о летчиках и танкистах, с пейзажами «освобожденных» земель. За ними — книги репортеров и разного рода военных обозревателей, книги о генералах и книги самих генералов. Все это в огромном количестве, на отличной бумаге, роскошно иллюстрированное. В бесчисленном множестве издаются приключенческие серии «рассказов для детей» — они повествуют о «командах находчивых и смелых» израильских ребят, которые побеждают «жестоких и кровожадных» арабов, чьи характеристики исполнены в оскорбительных шовинистических тонах. Среди создателей этого чтива немало профессиональных литераторов. Иной раз в амплуа авторов подобных «шедевров» подвизаются и профессиональные вояки. Один из них — генерал М. Гур, нынешний начальник генштаба израильской армии. Другой — автор довольно популярной серии «Команда дерзких» Х. Луфман, скрывающийся под псевдонимом Идо Сетер,— был некогда заместителем главного редактора армейского еженедельника «Бамаханэ», работал в генштабе «специалистом по арабским вопросам», в качестве одного из редакторов возглавлял издававшийся в конце 50-х годов «Шин-бетом» (израильской службой безопасности) еженедельник «Римон». «Арабы хитры, это опасный враг,— заявлял Луфман.— Я лично отношусь к арабам с ненавистью. Я уверен, что арабы хотят убить меня». И резюмирует: «Я бы хотел предпринять нечто конкретное — схватить этого араба и просто задушить его».

В рассказах Самеха Изхара, одного из крупнейших израильских писателей, впервые прозвучали сомнения в справедливости обращения с соседним народом. Солдат повествует об изгнании населения целой арабской деревни Хирбэт-Хиз'э с их родной земли. Он чувствует, что совершается несправедливость. Он бросает в лицо своему командиру: «Это грязная война. Что, черт возьми, мы здесь делаем?!»

В декабре 1967 года, когда большинство израильтян еще было одурманено угаром военной победы и мутные потоки шовинизма увлекали за собой многих честных людей, которые лишь потом остановятся, ошеломленные: «Куда мы бежим?!», «Куда вы, собственно, гоните нас?!» — Изхар выступает как гневный грибун. В статье «О певцах аннексии», опубликованной в газете «Гаарец» 12 декабря 1967 года, он писал:

«Много говорится сегодня о «территориях» и о том, что с ними будет сделано, тогда как все знают, что существуют не просто территории, а существуют люди. Но легче говорить об аннексии территории и менее удобно говорить об аннексии людей». И далее: «С той минуты, когда начинают игнорировать людей на территориях, начинается истинный суд, роковой. Роковой не только для них, для тех, кто потерпел поражение, роковой и для нас, победивших. Победа для победителей является, как известно, не меньшим испытанием, чем поражение для проигравших.

...Представляют ли себе мои добрые коллеги, с восторгом и возбуждением провозглашающие лозунги «великого Израиля» (как далеко, собственно говоря, распространяется это величие?), что́ они смогут сказать жителям приглянувшихся им территорий?»

Но «добрые коллеги» были глухи к по-

добного рода вопросам. Они с жаром включились в кампанию проповеди войны и расизма. Часть из них просто принадлежала к числу основателей движения за «великий Израиль» — сионистскую империю от Нила до Евфрата, с «максимумом территорий и минимумом жителей». В этом «движении» проявляет себя поднявший голову израильский фашизм, произрастающий на сионистских концепциях. «Движение» организует шумные и крикливые сборища с лозунгами «Ни пяди земли!» (не возвращать арабам захваченные у них земли); обслуживающие его «интеллектуалы» требуют того же со страниц газет, в радио- и телепередачах, подстрекают рядовых фашистских молодчиков к расправе с призывающими к миру прогрессивно настроенными гражданами. Среди организаторов и руководителей этого «движения» оказываются известные своими экстремистскими взглядами поэт Ури-Цви Гринберг и публицист И. Эльдад (Шайб), ныне покойный поэт Н. Альтерман, прозаик М. Шамир и другие. Иные литераторы, относящиеся к так называемому «умеренному большинству», чаще всего просто игнорируют проблему жителей оккупированных территорий, а если и заговаривают об арабах, то изображают их как «низшие существа», а оккупацию именуют не только «гуманной», но и якобы «несущей прогресс» «отсталому и жалкому населению». Против этого расистского, колонизаторского подхода и предупреждал в конце 1967 года С. Изхар.

«Логика оккупации жестока,— заключал он свою статью.— Готовы ли мы осознать это? Приемлем ли мы для себя это? Нет и никогда не было сладких оккупантов. Навязывать свою волю будут не голуби и не с помощью голубиного воркования. Готовы ли мы принять на себя и на долю наших детей принципы народа-оккупанта? Я лично не хочу быть оккупантом в той же мере, в какой не хочу быть оккупированным».

Израильский журналист-коммунист Й. Альгази в книге репортажей с оккупированных территорий, отрывки из которой публикуются ниже, пишет по поводу позиции С. Изхара:

«На оккупированных территориях высоко оценивают каждое выступление в самом Израиле против оккупации. Например, весть о статье писателя Изхара распространилась по этим территориям с быстротой молнии. Многие интересовались, кто этот человек и что именно он написал. Люди в городе Газа, знакомые с содержанием его статьи, выражали желание встретиться и побеседовать с Изхаром. Один из них сказал мне: «С тем, кто говорит: «Я не хочу быть оккупантом в той же мере, в какой не хочу быть оккупированным»,— мы договоримся быстрее, чем с Моше Даяном или с генералом Гуром, который провозглашает: «Мы обрушим всю свою мощь»...»

Среди писателей и поэтов Израиля Изхар не одинок в своей честной и мужественной борьбе. Писатель Ицхак Орпаз, например, тоже выступил еще в начале сентября 1967 года, в разгар военной истерии, со статьей в «Гаареце», вызвавшей ярость официальных израильских пропагандистов. Он обращается к своему поколению, поддавшемуся угару тупого шовинизма. Он бросает в лицо воспитателей молодого поколения обвинение в том, что они научили детей с раннего возраста считать араба «низшим существом», что они приучили молодежь преклоняться перед насилием — именно оно объявлено «здоровым подходом», ведь «нет мира кроме как через войну».

Орпаз восклицает с горькой иронией: «Да здравствует производство победы! Да здравствует захват! Да здравствует оружие!» Недаром, «лишь только замолчали пушки, улица сразу разлеглась в сытом довольстве, ее ноги плещутся в водах канала (Суэцкого), ее голова на вершине Хермона».

Стрелы своего гнева Орпаз обращает против интеллигенции, которая «плетется за бушующей улицей». Он взывает: «Я не знаю более возвышенной задачи интеллигента, оставшегося трезвым, чем подойти к человеку на улице и к писателю — участнику движения за «великий Израиль» и одернуть его: «Ты пьян!»

Подобно Изхару Орпаз тоже ставит неизбежный вопрос: «А что, если жители оккупированных территорий скажут нам свое лаконичное и жесткое «не хочу!»?»

В романе «Поход Даниэля», вышедшем в 1969 году, именно этот вопрос терзает его героя. Как и у Изхара, герой Орпаза — солдат, но солдат июньской войны 1967 года, вернувшийся «оттуда», с войны, весь его мир лежит перед ним, разбитый на отвратительные осколки. Все, что раньше имело значение, исчезло, не оставив ни следа, ни памяти. Картины войны преследуют его и не дают покоя, а с ними вопросы, вопросы. Он убегает от всех, он идет к берегу моря: песок, море вечны. Они — целый мир. После недель одиночества он возвращается в город. Но он уже другой, и общество, в которое он возвращается, уже не прежнее. Даниэль, новый Даниэль, еще не знает, что он будет делать, но читатель чувствует, он будет действовать, чтобы быть полезным людям, среди которых он раньше ощущал себя одиноким и отчужденным. Отныне он будет жить с ними и для них.

Орпаз продолжает общественную борьбу. Как и многие другие, он принимает активное участие во встречах израильских еврейских и арабских писателей. Характерно, что таких встреч не было перед июньской войной 1967 года. Сам факт их проведения доказывает, что лучшие представители интеллигенции пробуждаются к борьбе, начинают понимать, что дальше молчать нельзя, что беспечность, общественная пассивность и замкнутость более нетерпимы.

Интересно, что именно после войны удельный вес интеллигенции в общественной жизни страны, в борьбе против политики правительства заметно вырос. Впервые в истории Израиля представители интеллигенции выступили отдельным списком — «списком мира» на выборах в кнессет осенью 1969 года.

Группа профессоров, деятелей науки и

культуры выступила с программой мира без аннексий, в противовес политике находившегося тогда у власти правительства «национального единства».

Именно этих представителей интеллигенции, которые мужественно выступили против политики войны, имел в виду известный поэт Меир Визельтир в полном горечи фельетоне «Как мы проиграли шестидневную войну» («Гаарец», 9/VII 1968). С гневом и болью он подводит итог года, прошедшего после войны: «Год неурожайный, год небывало засушливый, разумеется, для тех из нас, которые проиграли войну...»

Визельтир сравнивает позицию таких, как он, немногих, с массой, следующей «по курсу»: «У подножия воображаемой почетной трибуны, верх которой занят говорунами из союза писателей, певцами «великого Израиля», глашатаями «исторической преемственности», прославляющими «героизм нового поколения, штурмом взявшего Ханаан»... нас приглашают стоять с поднятыми руками, с белой, вяло колышущейся тряпкой».

Те, кто считают себя проигравшими «шестидневную войну», а не победившими в ней, пробуждаются, предостерегают — в прозе, поэзии, драматургии, газетных фельетонах, куплетах. Различны, разумеется, стили, подход, уровень и глубина анализа причин и следствий, далеко не равнозначны художественные достоинства их произведений. Вместе с тем всех этих пробуждающихся представителей израильской интеллигенции объединяет чувство ответственности за моральный и духовный облик народа, по-разному произнесенное, но общее для них страстное «не могу молчать!». Немало литераторов включается в общественную деятельность, в борьбу против самоубийственного, как говорят сегодня уже многие в Израиле, официального курса.

Привлекла своей остротой внимание читателей вышедшая в 1969 году книга Ехошуа Геранота «Хрустальный занавес». В форме детективного романа описывает она Израиль, каким он станет через двадцать лет. Мрачные перспективы обещает писатель. Клика фанатиков-экстремистов находится у власти. Жестокое преследование бастующих рабочих, студентов, особые трибуналы, пытки, разгон демонстраций пулеметами — при этом изображаемые персонажи отчетливо напоминают известных официальных израильских деятелей.

Совсем в другой манере написан рассказ Аделиста, появившийся в 1970 году. Двое солдат на затерянной в песках позиции втягиваются против своего желания в спор, вопреки собственным опасениям, что выяснение проблем приведет к ужасающим ответам. Ужасающим, ибо они в корне противоречат всему тому, что они приучены считать правильным и справедливым. Ран Аделист ограждает этих парней от «опасности» найти правильный ответ. Они приходят к выводу: мол, мы ведем не спор, а упражняемся в логике. И все-таки вопросы существуют, они обжигают. Вопросы войны и мира: «Для меня мир — это когда не стреляют.— Так перестань стрелять.— Откуда ты знаешь, что они тоже перестанут? — А откуда ты знаешь, что нет? Ты пробовал?» Рассказ этот — свидетельство растущих сомнений молодежи: тех, кто уже воевал, и тех, кого готовят к войне.

Такие дискуссии сегодня распространены в израильской литературе. В этой связи необходимо упомянуть две книги, которые не относятся к беллетристике и в свое время привлекли особое внимание общественности Израиля.

Это «Разговор бойцов» и «Год после войны». Обе они представляют собой протоколы, чуть ли не стенограммы высказываний молодых солдат сразу же после войны и год спустя. Круг вопросов, которых касаются в своих беседах солдаты, весьма широк, начиная с «чести оружия» и кончая сущностью сионизма. Правда, можно встретить на этих страницах и наглые шовинистические мотивы, но тон задают другие голоса, о которых — речь ниже.

Если принять во внимание, что эти беседы все же были опубликованы (хотя в них заметны следы цензуры); если учесть, что книги вначале были изданы в считанном количестве экземпляров и предназначены исключительно для «внутреннего пользования» (из-за «еретических» высказываний, разумеется), то становится очевидным, что вес этих «еретических» высказываний гораздо больше, чем это может показаться по тому месту, какое им досталось в изданиях, вышедших в свет.

Многие касаются личного отношения к противнику. «Я сейчас иду в бой,— говорит летчик,— я буду стрелять, убивать людей, и мои товарищи будут убиты. Может быть, я тоже буду убит... У меня совсем нет ненависти к тем, в кого я собираюсь стрелять. Но я получил разрешение их убивать. И вот я думаю: если у меня нет ненависти к ним, к арабам, зачем я иду воевать против них?» К этому ощущению примешивается другое: «Ведь нам жить с арабами». В то же время отношение к арабам на оккупированных территориях, которое они видели еще в первые дни войны (отношение, все ухудшающееся со временем), вызывает у некоторых тревогу за собственный моральный облик: «Вопрос в том, не выбивает ли такое отношение к арабам моральную почву из-под всех красивых слов, которые мы говорим у себя?» «В конце концов,— говорит один солдат,— суть в том, что мы стали интервентами, и не важно почему. Важен итог: мы — оккупанты». Еще сильнее выражается другой: «Ощущать себя оккупационной армией необыкновенно гнусно». Третий вспоминает, как израильские войска входили в Газу: «Это была поистине отвратительная картина. Я вспомнил все фильмы об оккупационных войсках, и у меня появилось на редкость гадостное ощущение». Многие приходят к выводу: «Здесь могло бы хватить места для всех». «С того момента, как мы вступили на эту землю, каждый из нас изгнал араба»,— говорит Авишай. «Проблема Ближнего Востока — это действительно трагедия»,— счита-

ет Яэль, размышляя, изменилось ли положение с того времени, когда евреи начали поселяться в Палестине в конце XIX века. Солдаты приходят к выводу, что конфликт с годами обостряется, становится все более жестоким. Они не видят выхода, но не могут избавиться от мысли, «что мы топчем права других», как говорит Авишай. Многие участники бесед не хотят жить с сознанием, что их жизнь будет построена на несправедливости для другого народа. Один из собеседников спрашивает: «Разве это может быть основой нашего существования — сознание того, что мы, а может быть и наши дети, идем воевать, а то и умирать за дело, основанное на несправедливости?»

Не раз из уст героев вырываются и совсем уж крайние высказывания: «А может быть, встать всем народом и двинуться в какое-нибудь другое место на земном шаре, которое не занято...» Велико должно быть отчаяние молодых людей, родившихся и выросших на этой земле, чтобы договориться до такого, чтобы восстать против, как им казалось, «незыблемой» основы самого сионизма: «Единственный вопрос, интересующий меня,— сионизм в том виде, в каком он предстает сегодня,— не губит ли он жизнь?» Велик будет их гнев, когда они прозреют и увидят, что были обмануты. Пока же они мучаются и терзаются вопросами и сомнениями: «Враг всегда неправ, но разве у нас есть монополия на справедливость? Мы уже слышали, как втягивали народы в войну. Не обязывает ли это нас к трезвому анализу? К отказу от слепой уверенности, будто правыми можем быть только мы?»

Сам факт постановки вопросов в таком виде доказывает, что люди эти не столь уж далеки от прозрения. Они уже понимают, что так не должно быть: «Я хочу знать, куда я иду и за что я воюю».

Документальные книги, о которых идет речь, произвели огромное впечатление на израильскую общественность. Долгое время шли дискуссии вокруг проблем, затронутых в них и до сегодняшнего дня остающихся в центре внимания лучших представителей молодого поколения Израиля.

Еще в конце 1967 года вышла книга Игала Лева «Ей-богу, мама, я так ненавижу войну», написанная от первого лица, от имени рассказчика, молодого офицера, командовавшего во время войны 1967 года подразделением резервистов. Всего 10—12 лет отделяют по возрасту ее героя — молодого Рами, «единственного среди нас, кто желал войны», — от других действующих лиц, для которых эта война была не первой. Однако этого факта оказалось достаточно, чтобы сделать их более зрелыми,— война их вовсе не радует. Само название книги, появившейся в дни, когда опьянение и военный психоз достигли кульминации, когда войну и ее цели восхваляли вокруг на все лады, уже звучало вызовом. Автору удалось показать, как Рами, этот симпатичный, легкомысленный парень, меняется за время войны. В своем последнем письме, пришедшем к матери после известия о гибели Рами, он писал ей: «Ей-богу, мама, я так ненавижу войну».

В романе Амоса Колека «Не спрашивай, люблю ли я», вышедшем в 1971 году, как и в книге Лева, повествование ведется от первого лица. Эта война для героя книги — тоже первая. Он очень молод, сам в «шестидневной войне» не участвовал. Но война ведь не кончилась... Она вцепилась клещами в молодых людей. После действительной службы им приходится участвовать в ней уже в качестве резервистов. И они идут на войну просто потому, что, как им внушают, «другого выбора нет», без тени энтузиазма. Уже в восемнадцать лет они превращаются в циников. Местом частых встреч для выпускников средних школ становится кладбище, и живых, провожающих павших в последний путь, остается все меньше и меньше... Вот как Колек описывает такие встречи: «А все-таки не следовало уходить, я слышал, что после всего этого мы останемся, чтобы разыгрывать участки». «Что, серьезно? — ответил он лениво.— Тогда останусь. Я как раз собирался выбрать себе участок с видом на город». Прощаются они со словами: «До свидания в следующий раз». Не остается и следа от высокопарных слов, никакого признака веры в какую-то возвышенную цель.

Автор, как и его герой, выступает от имени тех молодых людей, которые скрывают под маской цинизма свое отчаяние, безысходность, уже не принимают существующую действительность, но еще не знают, что нужно делать.

Многие годы известен как смелый борец против агрессивной внешней политики правительства, против его внутренней антидемократической политики видный прозаик и фельетонист Дан Бен-Амоц. Это один из тех немногих литераторов, чьи оппозиционные общественно-политические взгляды ярко проявляются во всем, чем он занимается: в книгах, многочисленных фельетонах, на эстраде, где он выступает как конферансье, на получивших широкое распространение в Израиле вечерах вопросов и ответов, где он выступает как ведущий, на упомянутых встречах еврейских и арабских деятелей культуры, в демонстрациях против политики правительства.

Дан Бен-Амоц публиковал свои острые фельетоны в разных израильских газетах, а в 1974 году издал их отдельной книгой «Отражения во времени». Кроме того, он опубликовал в последние годы два романа, которые стали заметным событием в литературной и общественно-политической жизни Израиля.

Одну из этих книг с дерзким заголовком «Не война, а прелесть!» автор посвящает — к гневу и ярости официальной критики — «тем, кто еще не погиб». Роман «Мне наплевать» — отчаянный протест, крик души молодого израильтянина, который воевал, был ранен и стал инвалидом. Парализованный Рафи, прикованный к инвалидной коляске, обращается к занятию, которому автор придает особый смысл и значение. Это фотографирование инвалидов, их культей и

протезов. Рафи хочет опубликовать свой альбом как вызов официозной серии «альбомов победы», о которых шла речь в начале статьи.

Дан Бен-Амоц яснее и резче, чем другие израильские писатели, осуждающие войну в своих произведениях, выражает решительное неприятие всей официальной демагогии, имеющей целью обмануть израильский народ. Правда, его герой и сам автор (особенно заметно это по его последним выступлениям) настолько во власти отчаяния, что не оставляют читателю и тени надежды на возможность что-либо изменить.

Особое место в антивоенной литературе Израиля занимает творчество писательницы-коммунистки Рут Левин. Ее недавние книги — «Осень самоотчета», лирико-публицистическое повествование о личных и общественных потрясениях, связанных с войной и оккупацией арабских земель, и повесть «Надежда черной весной», вышедшая в конце 1973 года. Она переносит читателя в атмосферу «войны на истощение». Июньская война 1967 года вроде бы кончилась, но военные действия продолжаются. Солдаты убивают. Солдаты погибают.

В повести Рут Левин каждый из трех главных действующих лиц по-своему выражает протест против войны. Против войны мать Нора, чей сын кончает школу и должен идти в армию. Протестует против войны юная Зива, «двойная вдова», потерявшая на войне одного за другим двух женихов. Против войны и сын Норы — симпатичный, талантливый Гиора.

Герой Рут Левин — юноша, восставший против общепринятых догм. Но отличительной чертой повести по сравнению с другими упомянутыми выше произведениями является образ матери. Она не только боится войны и как мать беспокоится о сыне. Она — человек, понимающий сущность происходящего и хорошо знающий причины существующего положения. Мать, Нора,— в прошлом активная коммунистка, а сейчас — усталая женщина, которую личная судьба и семейные обстоятельства лишь отдалили от деятельности, но не изменили ее мировоззрения. Ее положение сегодня хуже положения большинства израильских матерей. С одной стороны, она понимает, что несправедливая и даже преступная политика, преследующая цели, которые она решительно осуждает, угрожает самому дорогому, что у нее есть,— ее единственному сыну. С другой стороны — и это, может быть, страшнее всего,— она осознает свою пассивность, переживает свою непричастность к борьбе прогрессивного лагеря — хотя пока и небольшого, но активного, который не удовлетворяется тем, что делает правильные выводы, но предпринимает все, что в его силах, для изменения положения.

Юный герой — сын Норы (отец его — типичный представитель истэблишмента) — до сих пор колеблется: ему уже вполне ясно, что он не с отцом, но он еще не уверен, что целиком разделяет взгляды матери (ему мешает ее пассивность, все его существо жаждет деятельности) Он не хочет получать все уже в готовом виде даже от обожаемой матери, он хочет до всего дойти сам.

В интервью прогрессивному молодежному журналу «Инъян» (февраль 1974 года) писательница говорила: «Мне хотелось, чтобы повесть читалась как глава из прошлого, но тема ее вновь актуальна». Ведь пока вышла книга, разразилась октябрьская война 1973 года. Пережиты «шок», «землетрясение», как говорят сами израильтяне о воздействии, какое оказала на них эта война. Автор сумел убедить читателя в том, что Гиора примкнет к рядам последовательных борцов за справедливый мир, против политики правящих кругов Израиля. Придут к этому и многие другие.

Одним из жанров, к которому обращаются в литературной среде Израиля для выражения антивоенных взглядов, является фельетон.

Большой популярностью пользуются произведения талантливой фельетонистки Сильви Кешет. С едким сарказмом обрушивается она на «общепринятое» в израильской политической жизни. В фельетоне о «деле Гольдмана» в апреле 1970 года она пишет: «...такое несчастье! Договоренность! Где это слыхано? А что скажет просвещенный мир?.. Нам еще не хватало выступать подстрекателями мира...» Сильви Кешет приходит к весьма грустным, но трезвым выводам: «Я начинаю все больше убеждаться: то, что плохо для евреев, хорошо для израильского правительства». Следует упомянуть, что это выражение было затем воспроизведено на транспарантах во время антиправительственных демонстраций [1].

Обращается к этому жанру и писатель Амос Кенан. В фельетоне «Новый подход к линии», опубликованном в газете «Едиот ахронот», он высмеивает израильскую официальную демагогию, лицемерие политики правителей: «Израиль считает, что необходимо найти новый подход (ход) к Красному морю, необходимо найти новый подход и новую линию к линии подхода арабов, которые исключили бы правильный подход к линии мира и разума». В фельетоне «Признаю обвинение» он выступает против атмосферы, которая создается правящими кругами с целью подавления растущего оппозиционного, антивоенного движения в стране. Амос Кенан выступает перед неким «центром» с признанием в том, что он осмелился подумать: «Может быть, правительство все-таки ошибается?» «Я сказал себе, что аннексия — это факт, в то время как утверждение о возможности переговоров — всего лишь пустая болтовня».

Фельетон как оружие в общественно-политической борьбе используется и другими

[1] Год назад у дома, где живет Сильви Кешет, взорвалась подложенная реакционерами пластиковая бомба.

журналистами и писателями. На протяжении нескольких лет публикуются злободневные фельетоны Зивы Ярив на страницах газеты «Едиот ахронот». После октябрьской войны 1973 года типичная израильтянка, напичканная официальной демагогией, признается в ее фельетоне:

«Шесть лет все эти военные обозреватели, все эти комментаторы и специалисты, все лидеры и генералы запаса твердили мне... что у нас есть стратегическая глубина и военное превосходство. Шесть лет они писали, что египтяне не осмелятся форсировать канал, ибо он представляет собой естественную границу, и что арабский солдат ничего не стоит, и что время работает на нас, и что все ракеты противника заржавели и он не умеет управлять ими, и что, уж если случится война, она будет молниеносной и продолжится часа полтора, и тогда арабы окончательно покорятся... И вдруг сейчас те же специалисты, обозреватели, журналисты, которым я так верила и каждое слово которых я глотала, говорят мне нечто совершенно противоположное...»

Заметную роль сыграл в жизни общественности спектакль «Королева ванной» в известном тель-авивском Камерном театре. Спектакль шел в апреле — мае 1970 года.

По своему жанру это ревю, построенное на скетчах и куплетах. По содержанию — весьма острая общественно-политическая сатира на истэблишмент.

Автор ревю — молодой литератор Ханох Левин, получивший известность после двух предыдущих постановок 1968 и 1969 годов. Очень популярны были его куплеты в первой из упомянутых постановок:

Когда мы гуляем, нас трое —
Ты, и я, и будущая война,
Когда мы спим, нас трое —
Ты, и я, и будущая война.
Ты, и я, и будущая война.
И будущая война, как бы не сглазить.
Ты, и я, и будущая война,
Которая даст нам желанный покой.
Когда мы смеемся в минуту любви,
Смеется с нами будущая война.
Когда мы ждем в родильном доме,
Ждет вместе с нами будущая война.
Ты, и я, и будущая война...
Когда стучат в дверь, нас трое —
Ты, и я, и будущая война.
А когда все закончится, нас снова трое —
Ты, мое фото и будущая война.

Два первых спектакля Ханоха Левина ставились на небольших сценах перед ограниченным числом зрителей и не вызвали в свое время гнева властей в основном потому, что эти постановки не имели тогда большого отклика. Публика 1970 года уже была более зрелой, уставшей от войны и яда шовинистической атмосферы. «Королева ванной» была более значительным спектаклем. Спектакль явился вызовом культу супермена, внедряемому в сознание израильтянина с малых лет. Так, например, в куплетах «Мы хорошие» поется:

...И что самое замечательное — что мы правы.
Правы всегда, правы до слез.
Как замечательно надевать
справедливость, словно трусики
Когда никто не знает, как она выглядит изнутри.
...Мы хорошие, мы красивые, чистые,
Мы гордые, возвышенные, избранные,
Мы — господа.

Спектакль осуждает антиарабский шовинизм, издевается над идеями «великого Израиля». Сколько горечи и боли в куплетах «Красивые минуты», говорящих о солдатах на фронте, которые в перерывах между боями с радостью узнают из газет, что в тылу люди все еще умирают просто от инфаркта или попав в автомобильную катастрофу, то есть где-то далеко продолжается «нормальная жизнь»:

Бывают еще красивые минуты,
Есть еще надежда, есть вера,
Что добрый бог, окруженный летчиками,
Утешит нас несколькими будничными смертями.

Левин выступает против насаждаемой властями милитаристской атмосферы, культа «всемогущей» армии. Он осмеливается посягнуть на святая святых — армию и ее любимое детище, авиацию. В куплетах, исполненных всего лишь один раз и запрещенных после этого, поется:

Когда я думаю о ВВС,
У меня почти захватывает дух,
Почти захватывает дух.
На мощных конструкциях в высоте
гарцуют молодцеватые летчики,
И мое слабое сердце говорит мне:
динь-динь,
Динь-динь, динь-динь, сомнительный гражданин,
Ты-то умрешь, а ВВС будут жить.
В длинные и тягостные часы одиночества
Помечтаю-ка я о ВВС, о ВВС.

Сатирический скетч показывает заседание правительства Голды Меир, которая «всегда права», которая подавляет слабосильного министра иностранных дел, которая закрывает каждую лазейку к миру. Скетч высмеивает фашистские повадки Эзера Вейцмана, бывшего тогда министром от ультраправых, а до этого командующим ВВС. В метких куплетах «Обещание» показан Даян, обещающий своему народу:

«Я обещаю вам кровь и слезы,
А мое слово — это слово.
И если уж я обещаю вам кровь и слезы,
То все вы знаете, что это кровь и слезы,
Не говоря уже о поте.
...Без всякой надежды будете продолжать жить.
А мое слово — это слово.
И если я говорю, что будете продолжать жить,
То некоторые действительно будут продолжать жить,
Но не спрашивайте, ради чего.

Другая тема, вызвавшая ярость властей, нашла свое выражение в куплетах-монологах убитого сына, обращенных к отцу:

...И не говори, что ты принес жертву.
Потому что принес ее я.
И не произноси больше высоких слов,
Потому что я уже очень низко, отец мой.
Дорогой мой отец когда встанешь над моей могилой,
Старый, и усталый и очень одинокий
И увидишь, как предают мое тело земле,
Проси тогда прощенья у меня, отец
отец мой.

Власти не могли допустить столь крамольного, взрывчатого спектакля на большой

спеше каждый вечер в переполненном зале. Еще до премьеры велась борьба за разрешение на спектакль. Но буря, вызванная постановкой, была сильнее ожидавшейся. Надежда властей на то, что зрители отвернутся от нее и спектакль умрет сам по себе, не оправдалась. Случилось обратное. Ревю шло при аншлаге, и билеты были распроданы на много спектаклей вперед, чего израильский театр не знал уже многие годы.

После спектаклей происходили продолжительные и горячие споры. Попытка реакции с помощью хулиганов сорвать спектакль тоже не удалась — публика выдворила их из зала. Тогда были мобилизованы пресса, радио и телевидение, пытавшиеся оклеветать спектакль. Организовывали письма верноподданных читателей. Были призваны и эстетствующие критики, которые до этого не обнаруживали ничего худого в явно порнографических и бульварных постановках, фильмах, книгах. А зрители продолжали рваться на спектакль. Исчерпав все средства, власти прибегли к хитроумному маневру: совет старейших актеров Камерного театра был принужден потребовать изъятия постановки из репертуара. Это вызвало многочисленные взволнованные протесты. Даже писатели и критики, не примыкавшие к прогрессивному лагерю, требовали отмены запрета, предоставления общественности права задуматься над проблемами, поднятыми в спектакле, права на дискуссию. И несмотря на то, что спектакль шел всего лишь несколько недель, он остался в памяти публики. Была выпущена граммпластинка с куплетами из «Королевы ванной», которую тут же раскупили.

■

В рамках данной статьи предпринята первая, далеко не исчерпывающая попытка показать отдельные, но важные явления в духовной жизни Израиля в последние годы. Значение названных произведений тем более велико, что в атмосфере, царящей в этой стране, нелегко идти против течения.

Власть имущие, держащие в своих руках все средства массовой пропаганды, располагают хорошо и давно отлаженными способами, позволяющими им, укрываясь демагогическими декларациями о демократии, лишать инакомыслящих трибуны, возможности прямого обращения к широким массам. Методы эти хорошо известны, они характерны для «свободного мира», к которому относится и капиталистический Израиль.

Если принять во внимание, что «средний человек» на Западе вообще, и в Израиле в том числе, прикован к телевизору, мало читает — в основном периодику и низкопробную литературу,— станет ясно, сколь сильно влияние мощного аппарата радио — телевидения — прессы на общественное мнение, насколько трудно в этих условиях трезвым и реалистически мыслящим деятелям культуры, не говоря уже о явно прогрессивных, дойти до широкой публики. Правда, отдельные издания позволяют литераторам, профессорам, фельетонистам, журналистам публиковать критические материалы, как, например, цитировавшаяся выше газета «Гаарец», претендующая на роль «респектабельной и независимой». Реакционная газета «Едиот ахронот» раз в неделю предоставляет в своем еженедельном приложении место оппозиционным литераторам и фельетонистам — при обязательном условии, однако, что автор выступает как частное лицо и не принадлежит к какой-либо прогрессивной организации. Издатели исходят при этом из расчета, что им удастся обмануть читателя вывеской пресловутой «демократии», а реальный ущерб или риск невелики: что может значить одна страница раз в неделю по сравнению с десятками, сотнями остальных страниц, обрабатывающих сознание масс в «нужном» направлении изо дня в день?

На пути прогрессивных деятелей литературы и искусства воздвигаются бесчисленные преграды, начиная с трудностей в издании произведений и — что не менее важно — в их распространении и кончая отношением критики. Что касается последней, она тоже располагает немалыми возможностями. Одна из них — замалчивание. Яркий пример этому — долголетнее игнорирование творчества крупного пролетарского поэта Александра Пэна, видного прогрессивного писателя Мордехая Ави-Шаула. Другая — откровенная травля таких деятелей, как, например, адвокат Фелиция Лангер (отрывки из ее книги публикуются ниже) или профессор Исраэль Шахак, председатель Лиги защиты прав человека и гражданина, разоблачающий произвол израильских оккупационных властей. С одной стороны, проправительственная печать отказывает им в месте на своих страницах, с другой — охотно публикует клеветнические измышления о них и прямые призывы к физической расправе с ними.

Несмотря на все это, как мы видим, литераторы и художники, ученые и общественные деятели осмеливаются возвысить голос протеста.

Все яснее обозначается за последнее время в Израиле процесс отрезвления, освобождения от пут официальной пропаганды. Помимо отчаяния и безысходности мы видим и попытки не только отрицать существующее, но и указать путь к новому укладу жизни. Тот факт, что голоса эти, в том числе среди молодежи, слышны сегодня, дает основание надеяться, что завтра резонанс их в израильской литературе и искусстве будет ощутимее, что в будущем они окажут реальное воздействие на общественное мнение страны.

## ФЕЛИЦИЯ ЛАНГЕР

# СВОИМИ ГЛАЗАМИ

### Фрагменты из книги

Некоторые называли эту войну «шестидневной» — по числу дней боевых действий на фронтах. Она началась в первые дни знойного июня [1], после того как прозвучал условный пароль: «Красная простыня» [2].

В генеральном штабе многие облегченно вздохнули. Они жадно дожидались момента, когда смогут наконец двинуть вперед войска. Самая долгая война в истории Израиля началась.

По раскаленной Синайской пустыне медленно брели египетские солдаты. Был отдан приказ — не брать их в плен. Главный раввин вооруженных сил Горен протрубил в шофар[3] у Стены плача. Солдаты пели «Золотой Иерусалим». Трупы умерших от жажды были похоронены в песках, которые в будущем должны были стать местом развитого туризма.

Израильских граждан призывали полюбить то, чего они не знали, о чем даже не имели представления. «Мы снова вернулись к тебе, Шарм-аш-Шейх» [4],— распевалось в песне, а проворные туристические агентства уже начали планировать превращение Шарм-аш-Шейха в «туристический объект»; возможно, что уже тогда они лелеяли мечту об изменении этого длинного названия на более приятный французский лад: просто Шарм. Без раздражающего арабского звучания.

Восторженные описания хода войны, альбомы в честь победы... Жажда разрушения выпирала отовсюду, кричала со страниц газет, изливалась из репродукторов. Командование ВВС лопалось от гордости за свой «Пирл Харбор». В военных репортажах много места уделялось «эстетической» стороне бомбардировок. Генерал Эзер Вейцман (тогда полковник) обратился к цветистым метафорам: «Синай был похож на именинный пирог — перевернутый и дымящийся». Один из воспитанников Вейцмана — пилотов израильских «миражей» — сказал во время войны: «Весь Египет превращен в костер, как на празднике Лаг-баомэр».

На этот раз не обошли и окраины Каира. Вейцман был доволен своими учениками: по их собственным признаниям, они уподобились разъяренным диким бизонам из американского кинофильма «Как был завоеван Запад».

«Лучшие — в летчики!»

В праздничной шумихе по поводу победы были почти забыты принесенные ей жертвы. Те сотни израильских солдат, которым внушали, что они воюют «за само наше существование», что «нашей целью никогда не был захват чужих территорий». Какое счастье, что мертвые молчат, а калеки скромно несут свое бремя и не мешают представлению. Режиссер этого представления полагал, что оно завершится «хэппи-эндом» в момент, когда прозвучит телефонный звонок из одной из арабских столиц и побежденные сообщат, что готовы капитулировать. Хотя режиссер ставил спектакль своими руками, до него не дошло, что завершилось лишь первое действие.

Прошло всего шесть дней, и маленький Израиль превратился в империю. Западный берег реки Иордан, восточный Иерусалим, высоты Голана и Синайский полуостров! «Какое изумительное приданое!» — радовались правители. Лишь одно несколько омрачало их радость — сама... невеста, которой это приданое принадлежало: арабское население оккупированных территорий. Но чего же желали израильские правители? Об этом сказала тогда Голда Меир: максимум территории и минимум жителей. Недурное желание, не правда ли?

Некоторые с душевной тоской вспоминали 1948 год, когда палестинцев превратили в народ беженцев. Грезя наяву, наши правители рисовали в своем воображении обширные безлюдные пространства. Какие бы открылись возможности! Эта мечта сбылась на захваченных Голанских высотах. Около 150 тысяч жителей этого района бежали в страхе перед ужасами войны. Западный берег реки Иордан тоже покинули десятки тысяч людей. Часть из них была насильственно изгнана. И тем не менее все это не смогло существенно изменить демографическую карту оккупированных территорий. Драма 1948 года, об опасности которой предупреждали коммунисты, повтори-

---

[1] Израильская агрессия 1967 года против Египта и других арабских стран началась 5 июня. *(Здесь и далее — примечания переводчика.)*

[2] Как было сообщено после окончания войны таков был сигнал о начале военных действий.

[3] Ритуальный рог.

[4] Египетский пункт на южной оконечности Синайского полуострова, оккупированный Израилем в 1967 г.

лась вновь. Правда, во время войны 1967 года не было Дейр-Ясина[1]. И все же оккупанты сделали все для «очищения» захваченных территорий. В районе Латруна по дороге в Иерусалим были расположены три арабские деревни: Ялу, Бейт-Нуба и Амуас. Солдаты Цахала[2] полностью разрушили их. В этих деревнях не было никаких военных баз. Их жителей изгнали, не разрешив забрать с собой имущество. Подобная участь ожидала и поселение Калькилия: уже начали разрушать дома, но прекратили под давлением общественного мнения.

От деревень в районе Латруна не осталось камня на камне. Что означает последнее выражение, я поняла по-настоящему лишь тогда, когда увидела своими глазами гладкое место там, где некогда стояли дома. Пожалуй, римляне в подобных случаях действовали с меньшей основательностью: они оставили по крайней мере одну стену...[3]

Среди новых арабских беженцев были такие, кто после окончания боевых действий хотел возвратиться в родные дома. Они заплатили своей жизнью: воды Иордана окрасились их кровью. Общественное мнение страны было потрясено вестью об этом. Но дело было сделано, «дабы убоялись и трепетали» жители и не пытались возвращаться. Потому что их дома и земли предназначались отныне для иных целей.

Горе побежденным!

В состав империи оказались включенными и лагеря палестинских беженцев — живое напоминание о продолжающейся трагедии арабского народа Палестины. В районах Вифлеема, Рамаллаха, Газы, Эль-Ариша, Рафиях и Хан-Юниса сегодняшний израильтянин смог собственными глазами увидеть тех, кто с 1948 года живет в нищете и нужде: бывших жителей Рамле, Лидды, Яффы, Мигдала и Масмийе. Некоторые из этих беженцев осмелились посетить свои прежние дома. Возвращаясь к себе в хижины — в лагеря для беженцев,— люди рассказывали, какие изменения произошли там, где они раньше жили, как теперь выглядит их улица и ближайшая лавка. Иногда по дороге к месту работы им удавалось взглянуть на свои бывшие земельные участки. Случалось, что они брали с собой детей, которые знали о прошлом своих родителей лишь по рассказам: пусть и дети увидят, пусть узнают, что жизнь начиналась не здесь, в зловонных лагерях. Отцы тяжело вздыхали, сыновья задумывались.

Между тем поток экскурсантов на захваченные территории постепенно нарастал. Что ж, пусть увидят плоды победы! И израильские туристы на улицах Газы, Иерусалима и Наблуса увидели эти плоды: взгляды ненависти, оскорбленную гордость. «Мы не желаем вас!» — кричали глаза. Правда, руки еще не хватались за гранаты. Захватчик понял, что, хотя приданое велико, невеста отнюдь не благоволит к нему.

Начались репрессии. Их старались вырядить в тогу законности. На всех оккупированных территориях обильно публиковались декларации, приказы, распоряжения. В первом из них говорилось:

«1. Армия обороны Израиля, вступив с сегодняшнего дня в данный район, взяла в свои руки всю полноту власти, обеспечение безопасности и общественного порядка.

2. На всей территории района жителям запрещается выходить из своих домов».

С течением времени, по мере надобности оккупантов, количество часов, в пределах которых жителям запрещалось оставлять свои дома, изменялось, но приказы военного командования продолжали оставаться высшим законом на захваченных территориях. Они запрещали какую-либо политическую деятельность, какое-либо сопротивление оккупации, даже самое пассивное. Участие в мирных демонстрациях в память жертв войны, распространение воззваний, забастовки, чтение коммунистических газет, оказание помощи сыну или брату, подозреваемому в деятельности, враждебной властям, предоставление ночлега, стакана воды, куска хлеба подозреваемому другу дома,— за все это полагались суровые наказания. Уничтожение домов жителей оккупированных территорий стало одним из главных видов наказаний, начиная от Кунейтры на севере и кончая Кантарой на юге.

Началась эпоха военных трибуналов оккупантов против нарушителей их законов. А нарушителей было много. Арабы отказывались подчиняться ничем не прикрытой, хорошо организованной силе. Нередко они предпочитали умирать с оружием в руках во время израильских облав в лагерях беженцев и на улицах Газы, в урочищах Вади-Арава, на западном берегу реки Иордан. Эти арабы предпочитали тюрьмы подачкам оккупантов, пытавшихся подкупить их. Захватчики уничтожали дома, чтобы лишить их крова, но они продолжали жить среди развалин. Захватчики изгоняли сыновей, но отцы оставались, отказываясь покидать родные места: «Здесь мы родились и здесь мы умрем...»

За многие годы оккупации победитель разжирел, отрастил брюшко, разбогател. Разумеется, мы имеем здесь в виду не простых людей из народа: они всегда вынуждены подчиняться под страхом расправы...

Империя превратилась в источник дешевой рабочей силы и рынок сбыта. Ее территории стали использоваться как площади для создания новых израильских поселений, ее недра снабжали «черным золотом».

---

[1] Арабская деревня вблизи Иерусалима, уничтожена в апреле 1948 года террористическими сионистскими отрядами.

[2] Сокращенное наименование на иврите израильской армии.

[3] Имеется в виду Стена плеча в Иерусалиме.

Сопротивление оккупантам не прекращалось ни на мгновение. К рокоту вулкана, таившегося под поверхностью, победители не прислушивались. Они были уверены в вечности своего могущества.

Горе победителям!

## В военном суде Газы

Поездка в Газу всегда полна интересных впечатлений...

Когда поезд отходил из Яффы, в последний момент в вагон вошли несколько арабских рабочих из Газы. Они возвращались домой. Был ранний утренний час, но они уже отчаялись найти работу: подрядчики приходят на «рынок труда» в Яффе задолго до восхода солнца.

Удача явно не улыбалась им в эти первые месяцы 1973 года. Работы не было. И они вынуждены были уехать ни с чем...

Наконец я у цели — перед зданием военного суда в Газе. Суд работает почти непрерывно, его двери не закрываются даже в дни праздника Рамадана. Рядом с залом, где заседает суд,— камера, в которой арестованные дожидаются своей очереди. Она переполнена. В этой маленькой комнате без окна прямо на бетонном полу сидят заключенные. Их охраняют солдаты военной полиции. Фариду Зимамо — адвокату из Газы — и мне с трудом удается обменяться несколькими словами с нашим клиентом Джихадом Нимейром Ганьей. Примерно через час он должен предстать перед судом.

В зал вводят одного из арестованных — мальчика лет 13. Его сопровождает вооруженный охранник. Выясняется, что его сегодня привели в суд по ошибке — спутали со старшим братом, который тоже арестован. С тоской в голосе спрашиваю у одного из охранников чего хотят от этого ребенка? В ответ слышу: «У нас тут и десятилетние бывают, нечего удивляться».

Начинается суд над Джихадом Нимейром Ганьей из лагеря палестинских беженцев «Аш-Шаты». Он обвиняется в принадлежности к незаконной организации и в участии в беспорядках в Газе. В начале суд допрашивает свидетелей обвинения — сотрудников полиции. Выясняется, что Джихад действительно признался в полиции, что он совершил приписываемое ему преступление. Однако позднее он полностью отказался от своих признаний и заявил, что в те дни, когда происходили беспорядки, он находился на работах в Израиле. Его отец при даче показаний в суде в качестве свидетеля подтвердил, что в тот период Джихада не было в Газе. Выступая в прениях сторон, я сослалась на ряд примеров из судебной практики в Израиле и Англии и сделала вывод, что для обвинения Джихада нет никаких оснований, а потому его следует оправдать по всем пунктам обвинения: прокуратура, возбудив десять месяцев тому назад дело против Джихада, хорошо знала, что нет никаких доказательств его вины.

Приговор был объявлен 18 февраля 1973 года. На этот раз суду пришлось согласиться с доводами защиты, обвиняемый был оправдан.

Прокурор сказал мне:

— Я знал, что так будет...

— Если так, то почему вы предали его суду?

Вместо ответа я увидела равнодушную улыбку.

И вот через десять месяцев тюрьмы и родительского горя Джихад возвратился к себе домой в лагерь палестинских беженцев. Я была в этом лагере. Он находится на берегу моря вблизи Газы. Один из палестинцев показал мне на широкую полосу шоссе, проложенного прямо через лагерь:

— На том месте, где сейчас проходит шоссе, раньше стояли сотни домов. В них жили сотни семей. Сейчас часть из них переехала на западный берег, а часть поселилась у родственников...

■

...Обычный день в военном суде Газы. Трое молодых людей из этого города предстали перед судом. Трое жителей лагеря палестинских беженцев «Джабалия»: Фуад Мухаммед Махмуд Салама 22 лет, Салах Абу-Джадин 18 лет, Рашид Сидеви 19 лет. Первый из них обвиняется в принадлежности к организации «Народный фронт» и в хранении оружия. Салах обвиняется, кроме того, в подготовке нападения на военную автомашину. Рашид обвиняется в том, что бросил гранату в военную автомашину, в результате чего был убит ребенок, находившийся вблизи.

Отец ребенка выступает в качестве свидетеля защиты. Я заявляю суду, что обстоятельства дела об убийстве ребенка противоречат тому, что доказывает обвинение по этому пункту, а поэтому следует оправдать Рашида. Не доказано также участие Салаха в засаде, в связи с чем и его следует оправдать.

Дают показания Рашид и Салах. Салах был ранен израильскими солдатами. Он показывает суду рану на ноге и говорит, что его допрашивали сразу после ранения. Рашид рассказывает, как его избивали сотрудники «Шин-бета».

В зале суда сидят члены семей обвиняемых. Не все. Им было сказано, что для всех не хватит места, хотя в зале имеется несколько пустых скамеек. Но они предназначены для публики иного рода: для представителей «Шин-бета» или солдат.

Для обвиняемых это большой день.

— Мы любим, когда нас судят, потому что в этот день мы можем увидеть своих родных. Конечно, издалека. Контакты запрещены, нам не разрешают даже поговорить, но все же здесь нет толстой двойной решетки. Сейчас у нас в тюрьме в комнате для свиданий две толстые решетки на расстоянии десяти сантиметров одна от другой. Почти невозможно ничего разглядеть, трудно услышать друг друга при свиданиях...

Мать Салаха, несмотря на запрещение, сумела протянуть руку сыну через деревянный барьер, установленный в зале заседаний. Сколько времени она уже не держала его руку в своих руках!..

По обе стороны сидят солдаты военной полиции, кидая презрительные взгляды. Неожиданно один из них обнаруживает у Рашида сигарету.

— Отдай ее,— кричит он.— Из-за этого меня посадят в тюрьму, скажут, что я небрежно выполнял свои обязанности!

Одна из матерей тихо молится. Она ласкает глазами своего сына. После перерыва зал суда снова заполняется. Судья суров. Заслышав движение в зале, он говорит:

— Если не будет тишины, я посажу кого-нибудь из присутствующих в тюрьму на десять дней или даже на месяц...

Я заявляю по этому поводу:

— Лучше, если здесь не произойдет ничего подобного. Если же произойдет, то я не смогу остаться в суде и уйду вместе с теми, кто будет арестован. Подобная угроза в суде беспрецедентна!

— Вы полагаете,— говорит судья,— что вам позволено угрожать мне?

— Я не угрожаю и понимаю значение подобного шага, но у меня не будет иного выбора.

— Мы сделаем то, что считаем нужным, а вы можете поступать, как вам угодно.

Однако в итоге судья прекращает угрожать присутствующим...

Перерыв. Обвиняемых уводят в грязную камеру, где они должны находиться между судебными заседаниями. Они и сейчас жалуются мне на избиения в тюрьме. Солдат, понявший, о чем идет речь, прикрикивает:

— Кому положено, тот и получает, что ему причитается!

Находящиеся здесь сержант и девушка-солдат упрекают его:

— Глупец, в тюрьме вообще никого не бьют. Они просто выдумывают, а она им верит.

Один из заключенных показывает мне следы избиений на своем теле:

— В тюрьме Газы это обычное дело. Бьют за что угодно.

Охранник раздражается.

— Что ты так волнуешься? — кричит он мне.— Они сами виноваты в своем нынешнем положении. Пусть терпят!

— Кто научил вас такой жестокости и такой ненависти? — спрашиваю я.

Арестованных снова вводят в зал заседаний. Рашид говорит матери:

— Если я увижу, что ты плачешь после приговора, откажусь видеться с тобой, когда ты придешь на свидание в тюрьму. Помни об этом! У них на глазах нечего плакать, лучше умереть!

Прокурор требует пожизненного заключения для двух обвиняемых и «всего лишь» 35 лет тюрьмы для Салаха. Я заявляю:

— Прокурор хочет отомстить обвиняемым... Они являются беженцами и детьми беженцев. Но ведь и мы тоже народ беженцев. Неужели нам так трудно понять другой народ?

Фуад Салама, выступая с последним словом, задумал что-то сказать:

— Я горжусь тем, что...

Судья, однако, обрывает его. Фуад пытается говорить без разрешения, и тогда его уводят из зала.

Читают приговор: Фуад и Рашид приговариваются к пожизненному тюремному заключению и каторжным работам. Салах осужден на 20 лет. Мать кричит:

— Такова ваша справедливость? Вы не боитесь бога!

Но она не плачет. Ее глаза сухие. Несколько старушек шепчутся о чем-то между собой. Полицейские выводят их.

...Обычный день в Газе в июне 1973 года.

## Похищение и суд

Их было десять...

Шестнадцатого сентября 1972 года израильские подразделения проникли на территорию южного Ливана и ворвались в лагерь палестинского движения сопротивления. Этих десятерых пригнали в Израиль оттуда.

Их отдали под суд на основе чрезвычайного закона об обороне, изданного британскими мандатными властями еще в 1945 году. Обвинили в принадлежности к незаконным организациям, хранении оружия и в подготовке к его использованию. При этом ссылались на израильскую поправку к британскому закону, сделанную в марте 1972 года: «Суды Израиля полномочны судить по израильским законам каждого, кто совершил за границей действия, считающиеся преступлением в Израиле, которые наносят или имеют целью нанести ущерб государству Израиль, его безопасности, имуществу, экономике, его связям и контактам с другими странами».

Суд над десятью похищенными был назначен на 17 июля 1973 года в Лидде.

В маленьком зале военного суда в то утро все было как обычно, если не считать присутствия представителя международного Красного Креста и операторов телевидения, готовившихся к съемкам. Все как обычно... И тем не менее в этот день в Израиле на-

чался совершенно беспрецедентный процесс.

В зал суда ввели в наручниках десять молодых людей, младшему из которых было 19, а старшему — 27 лет. С ними был переводчик — они не знали иврита. В суде председательствовал подполковник А. Альперин, обвинителями выступали капитан И. Кимхи и Д. Бен-Нур.

Как только начался суд, обстановка сразу же резко накалилась. От имени обвиняемых адвокат Баркаи заявил:

— Обвиняемые, как мне стало известно, не признают правомочность этого суда, поэтому они отказываются участвовать в нем и решили не выступать и не отвечать на вопросы.

Председатель суда А. Альперин раздраженно ответил, что может распорядиться вывести обвиняемых из зала суда и продолжать суд в их отсутствие. Между тем началось чтение обвинительного заключения. После каждого пункта обвинения того или иного обвиняемого спрашивали, понял ли он, в чем его обвиняют. Но никто не отвечал: первый, второй, третий... только десятый отрицательно качнул головой. То была молчаливая демонстрация протеста десяти молодых арабов, которых похитили, привезли в израильскую тюрьму и предали этому суду на основе законов Израиля.

На первом заседании суда представители защиты выступили с предварительными заявлениями, отрицающими право судить здесь этих обвиняемых. Председатель суда А. Альперин многократно прерывал наши выступления Адвокат Баркаи в двухчасовом выступлении доказал несостоятельность процесса с точки зрения норм международного права. Он выдвинул основное положение: обвиняемых доставили в Израиль вопреки их воле, сам факт их переправки на территорию Израиля противоречит международному праву.

— Те, кто привез обвиняемых в Израиль, сделали это по указанию израильского правительства; но суд не имеет права одобрить это незаконное деяние, он не может оказать поддержку нарушению суверенитета другого государства.

Сравнивая этот процесс с процессом Эйхмана, адвокат отметил, что в последнем случае было опубликовано совместное заявление правительств Израиля и Аргентины. В этом заявлении говорилось о решении двух правительств считать этот инцидент ликвидированным, и Аргентина простила Израилю нарушение своего суверенитета. Ливан же не простил и не мог простить... К тому же процесс Эйхмана был связан с геноцидом, осуждаемым международным правом.

Британское же чрезвычайное законодательство 1945 года никогда международным правом не признавалось — как не могут быть признаны и преступления инкриминируемые обвиняемым. Их схватили в Ливане и обвиняют в действиях, совершенных на ливанской и других территориях, даже в Китае. В обвинительном заключении нет ни одного слова о том, что обвиняемые переходили на территорию Израиля, стреляли здесь или нанесли ущерб хотя бы одному израильскому гражданину...

Адвокат Баркаи призвал суд руководствоваться в подобном случае нормами международного права. Он заявил, что их может судить лишь ливанский суд, в случае если они нарушили законы Ливана.

Третье положение, выдвинутое адвокатом Баркаи, состояло в том, что обвиняемые не знали израильских законов, которые не публикуются за границей, тем более во враждебной стране...

Адвокат Али Рафа (также выступавший от имени защиты) заявил, что само решение о вторжении на ливанскую территорию, принятое израильским правительством, и насильственное похищение людей являются, по существу, незаконными действиями, последствия которых не могут быть законными, а поэтому суд не должен поощрять их.

В своем выступлении я поддержала позицию коллег и заявила:

— Правительство Израиля намерено создать на этом суде опасный юридический прецедент, позволяющий незаконно похищать людей и предавать их затем суду.

Я вспомнила случай похищения самолета, который затем приземлился в Алжире,— в нем находились резервисты израильской армии, они все были возвращены в Израиль:

— Что бы мы сказали, если бы их отдали под суд по алжирским законам?..

Я процитировала выдержку из Декларации независимости государства Израиль, где говорилось, что государство «будет зиждиться на основах свободы, справедливости и мира... и будет лояльно поддерживать принципы Устава ООН». Подполковник А. Альперин прервал меня, заявив, что это не относится к делу. Я ответила:

— Хочу лишь сказать, что государство Израиль, созданное по решению ООН, должно прислушиваться к этой организации...

От имени обвиняемых я потребовала, чтобы их считали военнопленными в соответствии с Женевской конвенцией. Я заявила, что три года назад комиссия по социальным вопросам ООН постановила, что члены движения сопротивления оккупации имеют право на статут военнопленных. Судья заметил, что военнопленными могут считаться лишь лица, соблюдающие законы войны, а обвиняемые нарушают эти законы, нападая на граждан. Я ответила:

— Нет никаких доказательств, что они вели себя так. Но зато те, кто их похитил, нарушили законы войны. А обвиняемые не совершили никакого уголовного преступления. Их надо освободить или относиться как к военнопленным.

Прокурор Д. Бен-Нур возразил, что способ доставки человека в суд не имеет отношения к вопросу о том полномочен ли суд судить его; кто может нанести ущерб государству, подлежит его суду, даже если его привезли в это государство из-за границы...

Следующее заседание суда состоялось

23 июля. На нем было объявлено, что доводы защиты отклоняются и что суд имеет право судить обвиняемых, несмотря на особенности их доставки на территорию Израиля.

После этого заседания мы направили жалобу в Верховный суд, где, в частности, говорилось, что суд над нашими подзащитными представляет собой нарушение норм международного права, поскольку они являются гражданами Ирака, Сирии, Иордании и Ливана, схваченными израильскими подразделениями на юге Ливана и привезенными в Израиль насильно.

Но жалоба не дала результатов, и суд продолжался. 20 августа показания давал один из главных свидетелей — молодой офицер по имени Якуб. Свою фамилию он отказался называть. Он представил суду захваченные им документы, свидетельствующие, что обвиняемые — члены палестинских организаций. Выступая, он все время называл обвиняемых «террористами». Он рассказал, что несколько раз ходил на ливанскую территорию. При этом тон его был такой, будто он рассказывал о прогулке по улицам Тель-Авива. Я спросила, какую роль он играл в организации рейда на ливанскую территорию. Но тут вмешался прокурор:

— Вы хотите разгласить военную тайну!

Суд, однако, разрешил свидетелю ответить, и тот объяснил, что отвечал за доставку захваченных израильскими подразделениями людей в израильскую тюрьму. Всего их было 21. Он не знает, что случилось с теми, кто не предстал сейчас перед этим судом.

— Знаете ли вы, что этот рейд является незаконной акцией?

Свидетель и прокурор громко рассмеялись.

— Я требую записать в протокол, что вызывает здесь смех.

— Не задавайте подобных вопросов.

И судья объявляет решение, запрещающее задавать вопросы, имеющие общественно-политический характер.

Следующий свидетель — офицер разведки, «специалист по подрывным организациям». Адвокат Али Рафа спрашивает его:

— Знаете ли вы, какая газета является органом «Аль-Фатха».

— Не знаю.

— Читали ли вы статьи Хаватма о сотрудничестве между арабами и евреями?

— Не знаю, не слышал. Я специалист не по политическим проблемам, только по военным вопросам.

— И вы не слышали, что такие лидеры палестинцев, как Хаватма и Арафат, осуждают похищение самолетов?

— Я не специалист по авиации

— Значит, вас интересует только район, где происходил израильский рейд. А что делали израильские солдаты — это вас не интересует.

— Я не знаю...

На заседании суда, как и в прошлый раз, присутствовал в качестве наблюдателя представитель международного Красного Креста.

Этот суд вызвал отклики во всем мире, особенно в кругах юристов, которые увидели в нем нарушение принципов международного права Из многих стран были присланы письма в адрес израильской Лиги защиты прав человека и в коллегию адвокатов в связи с этим процессом...

Суд продолжен 17 сентября От имени защиты было заявлено, что обвиняемые продолжают бойкот суда, полномочия которого не признают.

Я заявила, что обвинение не доказано и следует немедленно оправдать моих подзащитных.

После короткого совещания суд отверг мое требование. Адвокат Баркаи сказал, что недоказанным осталось главное обвинение, по которому обвиняемые предстали перед судом, а следовательно, не выполнено требование закона, в соответствии с которым обвиняемым может считаться тот, кто «совершил действия, наносящие ущерб или имеющие целью нанести ущерб Израилю» или его интересам. Он отметил, что действия обвиняемых являлись законными на территории Ливана, и подверг критике показания свидетеля обвинения, представленного как «специалист по подрывным организациям», но не имеющего о них никакого представления.

Адвокат Али Рафа, говоря о своем подзащитном, заметил, в частности:

— Его обвиняют в хранении оружия без разрешения военного командования. Нельзя выдумать ничего более абсурдного: житель Ливана должен просить разрешения у военного командования в Израиле...

После заключительной речи прокурора, потребовавшего наказать всех обвиняемых, суд был вновь отложен до 9 октября 1973 года, когда должен был быть вынесен приговор. Но в тот день он не состоялся — шла война.

В момент, когда я пишу эти строки, мне стало известно, что объявление приговора вновь перенесено — на 6 февраля 1974 года. (Но и тогда суд опять был отложен, на этот раз — на 7 мая...)

Оккупация продолжается...

## Изгнание восьмерых

После октябрьской войны 1973 года сопротивление оккупации усилилось Особенно активизировалась политическая борьба. Последние решения Совета Безопасности придали законную силу любому требованию о прекращении оккупации. А именно на этом настаивают жители оккупированных территорий. Совещание в верхах в Алжире приняло решение о том, что Организация освобождения Палестины является единственным представителем арабского

народа Палестины. Это решение нашло поддержку у жителей западного берега реки Иордан. Всякий, кто тогда беседовал с нами, мог убедиться в этом. Их поддержка находит свое выражение и на страницах арабских газет, выходящих в восточном Иерусалиме.

Уже давно начались аресты коммунистов. Их арестовывали в «административном порядке», руководствуясь правилом: будет лучше, если тот, кто активно призывает к миру, посидит в тюрьме. Это правило соблюдается все годы оккупации вплоть до сегодняшнего дня.

Фарук Сальфити и Якуб Фарах арестованы уже второй раз. В первый раз их арестовали в дни войны и месяц держали в тюрьме. Затем короткая передышка, и вот они снова в тюрьме. Но власти стали применять более тяжелые репрессии, чем аресты: изгнание. 10 декабря 1973 года изгнаны в Иорданию восемь жителей оккупированных территорий. Среди них мэр города Эль-Бира, учитель из того же города, врач-гинеколог из Наблуса (его уже изгоняли один раз три года назад но затем разрешили вернуться), адвокат из Иерусалима и другие.

Произвол по отношению к этим людям вызвал волну протеста. Шесть мэров округа Рамаллах направили телеграммы главе правительства, председателю кнессета, министру обороны, командующему войсками на западном берегу и в ООН. В телеграммах содержались протест против изгнания арабских граждан с их родины и требования возвратить их обратно. В телеграмме, направленной членами муниципалитета Эль-Бира (председатель муниципалитета — один из изгнанных), говорится, что высылка граждан — серьезное нарушение свободы личности, Женевской и других международных конвенций.

Изгнанные арабы требуют отменить приказ об их высылке Они пришли на мост Алленби и там просили израильских солдат позволить вернуться к своим семьям. Они стояли на мосту с транспарантами, на которых было написано: «Нашим детям нужны их отцы».

Это было заснято на пленку, демонстрировалось по телевидению и вызвало отклики во всем мире. Именно тогда, когда правительство Израиля требует от другой стороны строго придерживаться Женевской конвенции, само оно демонстративно нарушает ее.

Суббота, 15 декабря. В Наблусе, в зале заседаний местного муниципалитета, жители города организовали сидячую забастовку. Среди забастовщиков много старых женщин. В глазах застыла вечная печаль: их сыновья в тюрьмах Несколько молодых женщин собирают подписи под петицией в организацию Красного Креста, в ООН и на Женевскую конференцию. Петиция требует: прекратить изгнание людей, возвратить всех выдворенных, прекратить аресты. В зале находятся представители рабочих профсоюзов, журналистов, врачи, родственники изгнанных, члены городского совета.

Ни у кого из этих людей нет оружия. Однако рядом со зданием против всех этих безоружных людей оборудованы две военные позиции с траншеями. мешками с песком. Там находятся солдаты, вооруженные автоматами, дула которых направлены в сторону здания муниципалитета...

Одна женщина сидит молча. Пожимая руку знакомым, она иногда улыбается. Это жена одного из восьми изгнанных — известного учителя в Наблусе. Он возлагал надежды на мир и сеял их в сердцах своих земляков. Но мир невозможен без освобождения, из-под иностранной оккупации, и его изгнали из родного города, из скалистого края, в котором он родился, жил и работал. Он отрезан от своей жены. дома, детей, книг, сотен учеников. Что случилось? В чем его обвиняют хотя бы формально?

— Они пришли вечером, в четверть одиннадцатого,— рассказывает она.— Сказали только одно слово: «Обыск!» Больше ничего не говорили...

— Как реагировали ваши дети?

— На следующий день утром младшая дочка была так напугана.. Я уж думала, что она заболела. Ни за что не хотела идти в детский садик. Самой старшей сейчас 17 лет. Она ходит в среднюю школу. Когда она явилась в свой класс, все ученики объявили забастовку до конца занятий этого дня. Позднее, вечером, мы смотрели передачу иорданского телевидения. Показывали изгнанных. Моя младшая ужасно испугалась, когда увидела на экране отца, начала плакать и убежала из комнаты.

Она совершенно спокойна, эта женщина. Она улыбается:

— Я хочу, чтобы мой муж возвратился домой. Я хочу, чтобы все изгнанные возвратились домой. Я от всего сердца желаю, чтобы мы избавились от оккупации. Я хочу, чтобы мои дети больше не страдали и чтобы ваши дети тоже не страдали!

## До каких пор!

Тюрьма в Кфар-Йона. 1973 год, 28 декабря. Последние дни уходящего года. Прибыв в эту тюрьму, я спрашиваю себя:

— До каких пор?

Начинаю беседовать с заключенными: Абу Джабалем, Фуадом Шааром, едва говорящим на иврите, Джамалем Батхишем. Они обеспокоены судьбой Мухаммеда Мареи, которого увезли в тюрьму Ягур. Его уже однажды увозили туда, а когда он возвратился, то рассказал, что его жестоко избивали, обливали холодной водой.

Вдруг я замечаю во дворе тюрьмы старика в традиционной одежде друзов. Подхожу к нему и спрашиваю, кто он. Узнаю, что это шейх Салим Румийя из Мигдал-Шамса, ему 72 года. «Вина» шейха велика. Шесть лет назад, в 1967 году, из Сирии пришел

его сын. Он явился в дом своего отца «незаконным образом», а отец не выдал его... Сейчас вместе с престарелым шейхом арестованы его зять, второй сын проживающий с отцом, племянник Джамиль Али Саббаг.

В тот далекий день сын приходил к шейху на очень короткое время, и никто в деревне даже не мог предполагать что через много лет власти вспомнят об этом, чтобы схватить старика и членов его семьи.

Беседа продолжается. Шейх говорит:

— Нам сказали, что из-за нас сирийцам во время последней войны было известно все о районе Голанских высот... Но ведь здесь жили больше ста тысяч человек, которые убежали во время войны. Они знали каждый памятник.

Следующий мой собеседник — Юсуф Шабли Шаар. Скоро над ним должен состояться суд. Обвинительное заключение против него составлено несколько месяцев тому назад.

Юсуф плохо выглядит. На лице вымученная улыбка.

— Фелиция,— говорит он,— я должен рассказать, что произошло со мной. И они еще говорят, что хотят мира с арабами!

Он начинает рассказывать, а я записываю.

В декабре его посадили в тюрьму Ягур. На допросах, которые вели сотрудники службы безопасности, он отвечал то, что ему было известно. Следователи же повалили его на пол и стали избивать. После избиения его поставили голым под холодный душ, а потом привели в комнату, где горела электрическая печка. Дрожа от холода, он попросил разрешения погреться около печки, на что получил ответ:

— Прежде ты должен поцеловать ноги полицейскому.

Затем его вновь стали избивать палкой. Он потерял сознание и пришел в себя, когда почувствовал, что опять находится под холодным душем.

Юсуф говорил следователям:

— Я ведь во всем вам признался и теперь должен предстать перед судом. Что вы еще от меня хотите?

В ответ следователи смеялись. Они говорили ему:

— Мы отомстим вам за каждую каплю нашей крови, пролитой на Голанских высотах. Мы будет приводить вас сюда одного за другим.

Он пытался разжалобить следователей, сказав им, что имеет отца и детей. Но те стали проклинать его отца и заявили, что им — людям из «Шин-бета» — нет никакого дела до его детей.

Юсуф был в тюрьме Ягур три дня. Когда он возвратился в тюрьму Кфар-Йона, товарищи видели на его теле следы побоев. В течение десяти дней он лежал больной. До сих пор ему трудно дышать.

— Мы беспокоимся, что то же самое произойдет и с Мухаммедом Марек,— говорит Юсуф...

## Хадиджа

Она выглядит удивительно благородно. Это замечают все, хотя на ней деревенское платье, а голова повязана платком. Даже на судью она производит впечатление — эта Хадиджа из деревни Дауда, представшая перед ним в сопровождении двух полицейских. Она могла бы произвести еще большее впечатление, если бы показала судье следы на своей красивой шее, если бы он услышал, как она шепчет:

— Они избивали меня. Хотели задушить. Угрожали, что приведут солдат, чтобы те изнасиловали меня. Говорили, что я коммунистка и многое знаю. Но я ничего не знаю. «Джонни» и «Джеймс», мои мучители, не верят мне.

Судья утверждает, что у него нет законных полномочий для рассмотрения ее просьбы об освобождении под залог. Я прошу, чтобы он выслушал ее жалобу. Со свойственной ему логикой он определяет:

— Я ничего не буду слушать.

В Иерусалиме январская стужа. Начался 1974 год. Хадиджу уводят в тюрьму.

Военный суд в Рамаллахе, 28 января. Завершился первый этап разъединения войск на египетском фронте. Старуха мать пытается подойти к Хадидже, ее отстраняют силой.

Чиновник докладывает председателю военного трибунала, что Хадиджу нельзя освобождать под залог, потому что следствие продолжается и она пока ни в чем не призналась. Это опасная и целеустремленная женщина, хотя прямые улики против нее отсутствуют; деревенская жительница, молодая вдова, готовится дома к сдаче экзаменов на аттестат зрелости.

Она стесняется своей грязной одежды. Вот уже больше месяца, как она не меняла ее (соседка по камере хотела дать ей свою кофточку, но ей этого не разрешили). Зато здесь в суде можно рассказать об избиениях. Они должны выслушать и записать в протокол. Ведь ее снова избивали в иерусалимской тюрьме. На это у них находятся полномочия — там, в тюрьме.

Неожиданно она протягивает мне нейловый мешочек. В нем клок черных волос.

— У меня вырвали их из головы — в Хеброне и Иерусалиме.

Я показываю эти волосы судье. Тот никак не реагирует. Секретарь приобщает мешочек с волосами к протоколу...

Ее просьба об освобождении вновь отклоняется. Жалобу не рассматривают. Она пытается что-то сказать:

— Почему со мной так поступают, и именно сейчас? Ведь у нас появилась надежда на мир, какой не было раньше. На-

дежда на то, что сможем жить вместе, оба народа, в мире...

— Дай бог, кто же не хочет мира? — говорит чиновник.

Мать снова пытается приблизиться к Хадидже, но ее отталкивают назад. Да, все хотят мира — и «Джонни», и «Джеймс», и те, кто угрожал ей выселением в Иорданию, если она не признается Мы прощаемся с ней, обнимаемся. Она верит в будущее, в человека.

28 января 1974 года по радио передают: «Завершен первый этап выполнения соглашения о разъединении войск на южном фронте».

Хадиджа вновь в тюремной камере. Как вчера, позавчера.

Хадиджа Абу-Аркуб из деревни Даура, что в районе Хеброна, была арестована 23 декабря 1973 года. Ее допрашивали в тюрьмах Хеврона и Иерусалима. Она не признавалась ни в каких действиях, противоречащих закону. Со дня ареста ее содержали в одиночной камере. Мне удалось повидаться с ней лишь в связи с подачей прошения об освобождении под залог. На свидании она пожаловалась на избиения и пытки... Судья в Рамаллахе 28 января 1974 года отказался рассмотреть ее жалобу на избиения в тюрьме. Правда, он разрешил ей получить чистую одежду. Но на следующий день, когда мы пытались передать ей одежду и обувь (у нее были только летние туфли), нам отказали в этом в иерусалимской полиции: сказали, что им ничего не известно о разрешении судьи. Свертюк с одеждой был возвращен ее семье. Лишь через пять дней мне удалось настоять на том, чтобы одежда была ей передана.

7 февраля 1974 года Хадиджа была доставлена в военный суд в Хевроне... Староста деревни Даура просил освободить ее под залог. Она тоже просила об этом, давала обязательства, что ежедневно будет являться в полицию:

— Я же ни в чем не виновата не совершила никакого преступления... Если я в чем-нибудь виновата, почему меня не судят?

Судья приказал держать ее в тюрьме еще неделю Через неделю эта «опасная женщина» была освобождена, ей не было предъявлено никакого обвинения.

В апреле — мае 1974 года началась новая волна арестов подозреваемых в коммунизме на западном берегу Иордана и в восточном Иерусалиме, и 6 мая 1974 года Хадиджа Абу-Аркуб вновь была арестована.

■

Проходят годы, а конца этому не видно. В комнате рядом с моим кабинетом дожидаются приема матери арестованных из Наблуса, Хеврона, Мигдал Шамса, Иерусалима. В Наблусе и Дженнине раздаются гулкие взрывы: подрывают дома. «Самая либеральная оккупация», которую я наблюдаю своими глазами все эти долгие годы, продолжается. Завтра наступит новый день. На рассвете в тюрьмах произойдет смена караулов, а заключенные отсчитают еще один день — новый день седьмого года оккупации. Упрямый народ: не понимает язык силы.

Тот, кто не слышал шагов приближавшейся войны, которая разразилась 6 октября, тот, кто остался слепым и глухим и после нее, может быть, откроет глаза в этот день — новый день оккупации.

Я рассказываю о том, что видела своими глазами за годы израильского господства на арабских территориях, захваченных в июньской войне 1967 года.

Имеются люди, которые все еще заявляют, что эта оккупация носит гуманный, либеральный характер. Но вот некоторые официальные данные об оккупации, которые говорят сами за себя.

До израильской оккупации на захваченных территориях проживало около полутора миллиона человек. Только за период боевых действий и сразу же после их окончания с оккупированных территорий бежало или было изгнано около полумиллиона человек. Эти данные включают и жителей Голанских высот.

Более 50 новых израильских поселений было основано на западном берегу реки Иордан, в полосе Газы, на севере Синайского полуострова и на Голанских высотах, что запрещается Женевской конвенцией. Например, на конфискованных территориях вблизи Рафы было создано 8 еврейских поселений, образующих нечто вроде разделительной полосы между районом Газы и Синайским полуостровом. При этом 1200 арабских семей были выселены из своих домов. Общее число разрушенных оккупантами домов достигло 18 000. Тысячи арестованных заживо гниют в тюрьмах, последнее время вновь производятся аресты без предъявления обвинений или суда.

Прогрессивные силы Израиля убеждены в том, что достижение справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке возможно лишь в результате израильского отступления с территорий, которые были оккупированы во время войны 1967 года, на основе уважения национальных прав арабского народа Палестины. Они убеждены, что на этой основе будут также гарантированы независимость и безопасность государства Израиль в соответствии с истинными национальными интересами народа этой страны. Ключ к тому, чтобы начать новую страницу в израильско-арабских отношениях,— это коренное изменение официальной израильской политики.

Прогрессивные силы Израиля борются против оккупации, за мир. Они борются против угнетения на оккупированных арабских территориях, против нарушения прав человека, устава ООН и Женевской конвенции.

В этой книге я изложила факты, почерпнутые из жизни, с которыми мне пришлось столкнуться в ходе выполнения своих функций адвоката. Я надеюсь, что моя книга явится вкладом в борьбу за установление новых отношений между Израилем и арабскими странами на основе справедливости для обоих народов.

*Перевод с иврита И. РЯБИНОВА*

ЙОСЭФ АЛЬГАЗИ (ГАЛИЛИ)

# ЧТО ТЫ ДЕЛАЛ, ОТЕЦ, КОГДА РАЗРУШАЛИ ДОМ НАДЕРА?

## Фрагменты из книги

Долгие месяцы я отвергал предложения посетить западный берег Иордана, Газу и Голанские высоты, захваченные Израилем в июньской войне шестьдесят седьмого года: слишком подавила меня война и все, что последовало за ней. Останавливал и осуждающий взгляд живущих под игом оккупации. Я не хотел, чтобы мое присутствие было истолковано как согласие с оккупацией, как признание ее. Но по мере того как поступало все больше сведений об актах несправедливости, совершаемых «либеральными» оккупантами, все сильнее терзали меня угрызения совести, все чаще я спрашивал себя: разве не лежит и на тебе обязанность рассказать правду об оккупации?

В конце концов я решился. Для того чтобы протестовать и призывать протестовать других, *ты обязан знать и обязан рассказать*. А сделать это я мог, лишь побывав там. Там я мог видеть и слышать. Я не держал в секрете свои поездки на оккупированные территории в качестве журналиста. Наоборот, после каждой из них писал об увиденном и услышанном.

Семь лет публикуют «Зо гадерех» и «Аль-Иттихад» [1] репортажи об оккупации, которые я пишу. Часть из них — в моей рубрике «Не могу молчать».

[1] Органы ЦК Коммунистической партии Израиля на иврите и арабском. *(Здесь и далее — примечания переводчика.)*

В настоящее время при поддержке друзей и товарищей я составил сборник репортажей и бесед, которые расположил в хронологическом порядке. Читатель прочтет, поразмыслит и, я надеюсь, не останется равнодушным. Что касается белых пятен, имеющихся во многих репортажах, то это следы цензуры в первичных публикациях. Эти белые пятна не приглушают правду, они лишь подчеркивают ее.

Я выразил свои чувства в книге словами. Художник Абед Абди сделал то же самое с помощью рисунков и литографий.

Мы оба, сыновья двух народов этой страны [1], выражаем различными средствами наш общий протест против несправедливости и общую надежду на мирную жизнь в условиях равноправия и взаимоуважения.

## «Что ты делал, отец, когда разрушали дом Надера!»

«Мой старый отец трудился всю жизнь и, когда скончался шесть лет тому назад, оставил моей матери и семерым детям добротный дом в два этажа, который был гордостью квартала Абу-Тур в арабском Иерусалиме. Покойный отец ни за что не мог бы представить себе, какой будет судьба нашего дома.

На верхнем этаже жили мать и дети, а также мой младший брат Самир 22 лет, о воспитании которого заботились я и мои братья. На нижнем этаже — брат Фахри с женой и семью детьми.

27. 7. 68 года израильские полицейские арестовали брата Самира. Сначала его посадили на 15 дней административного ареста, который был потом продлен еще на 15 дней, а потом — еще на три месяца.

23. 1. 69 года состоялся суд. Брата обвиняли в принадлежности к студенческой организации, распространении листовок, в подрывной деятельности, направленной против аннексии Иерусалима, и участии в выступлениях протеста в день годовщины «Декларации Бальфура». Самир был осужден на 18 месяцев, из них 6 месяцев тюремного заключения и 12 — условно. Кроме того, на него был наложен штраф в размере 200 израильских лир.

27. 1. 69 года Самир был освобожден из тюрьмы по отбытии срока наказания. Мы по наивности думали, что оккупационные власти оставят его, наконец, в покое.

Через месяц, 28. 2. 69 года, в день мусульманского праздника Аид аль-Адха в 6 вечера у нашего дома появилась полицейская машина. Сыщики обратились ко мне и спросили, дома ли Самир. Я ответил им утвердительно. Они попросили Самира поехать с ними в полицию и заверили, что «дело займет пять минут» и он сразу вернется домой... Пять минут превратились в дни и месяцы.

2. 3. 69 года я пошел в южное отделение израильской полиции на Масличной горе, чтобы выяснить, что произошло с моим братом. В условиях оккупации никто не может уверенно сказать, что с тобой произойдет завтра, через час и через минуту. Я спрашивал, к кому мне обратиться по поводу моего брата, и меня направили к «уполномоченному». Этот «уполномоченный», его звали Давид Хен, сидел в комнате, на двери которой висела табличка с надписью «Уполномоченный по вопросам религии».

Я рассказал этому Давиду Хену об обстоятельствах ареста Самира и спросил его: «Мой брат Самир был лишь месяц назад освобожден из тюрьмы. Зачем вы снова вяжетесь к нему? Дайте ему жить спокойно!»

Давид Хен при мне переговорил с другим офицером, по фамилии Голан. Последний сказал ему, что Самир арестован из соображений общественной безопасности (?!) и, как он надеется, будет отпущен домой через два-три дня. Я не удовлетворился этим обещанием и тут же оставил Давиду Хену письменное заявление с просьбой об освобождении брата.

Через два дня после этой встречи с Давидом Хеном Самир не был освобожден. Вместо этого к нам домой пришли люди из полиции и стали делать замеры верхнего этажа дома. Мы поняли, что нас ожидает.

6. 3. 69 года около полуночи мы в испуге проснулись от громких стуков в дверь. Когда мы ее открыли, перед нами оказалась ни больше ни меньше дюжина офицеров армии и полиции. Весь район был оцеплен войсками и полицией. Среди офицеров один был в высоком звании. Потом нам стало известно, что это был командующий Центральным военным округом Зееви. Офицер, говоривший по-арабски, объявил нам: «Даем тебе и твоей семье один час, не больше, чтобы вы освободили этот дом; поторопитесь, у нас нет времени! Выносите вещи!»

Я возмутился: «Почему? В чем мы провинились?»

Офицер прикрикнул на меня: «Не умничай! Выносите мебель! Если вы не покинете дом в течение часа, мы обрушим его стены вам на головы!»

Я спросил: «Вам не жаль дома? В чем повинны моя мать, жена, дети и я сам? Куда мы денемся? Это ведь наш дом... Мать больна, у меня маленькие дети...»

Я ни за что не хотел покидать дом, но старший брат все же в конце концов убедил меня сделать это. Они бы исполнили свою угрозу и обрушили стены на наши головы. Соседи помогли брату вынести мебель. Большая часть ее была повреждена.

Я не уступал. Нашел какой-то телефон

[1] Альгази — еврей, Абди — араб.

поблизости и в полночь позвонил мэру западного Иерусалима Тедди Колеку. Когда я рассказал ему, что происходит, он ответил: «Я не могу вмешиваться, это не входит в круг моих полномочий, этим занимается армия, я не в силах предотвратить разрушение дома».

После полуночи дом начали ломать. Никто из присутствовавших не верил своим глазам. Правда, это был не первый дом, разрушенный оккупационными властями, но привыкнуть к этому невозможно. Какая жестокость — разрушить дом!

Четыре часа они не могли справиться со зданием. В конце концов удалось сломать лишь внутренние стены верхнего этажа. Солдаты и полицейские колотили по стенам кирками. Но дом словно отказывался сдаваться разрушителям. В 6 утра они ушли и вместо них появились фотографы. Чем власти хотели похвастать?

На этом наши беды не закончились. Это было только начало.

7. 3. 69 года к нашему дому пришли армейский офицер и офицер полиции. Они в угрожающем тоне приказали: «Если вы не заберете свои пожитки с улицы, мы их конфискуем!»

Я объяснил, что нам некуда девать их. В конце концов соседи перенесли наши вещи к себе.

В тот же день полиция вновь удостоила нас своим посещением. Она провела обыск, и смотрите, какое чудо, «обнаружила» оружие под полом...

Я удивился, но не постеснялся сказать им, что дело это кажется мне весьма подозрительным. Я сказал им, что не исключаю возможности, что кто-то специально подложил оружие во время разрушения дома.

Меня арестовали и привели в полицейский участок в западном Иерусалиме. Меня ввели в комнату в тот момент, когда там избивали Самира. Его били палкой по голове. Они сразу схватили меня и вывели из этой комнаты. Брат страшно кричал. Каждый удар, обрушивавшийся на него, отдавался в моем сердце. Он кричал: «Брат мой Абед,— то есть я,— ничего не знает!»

Я не мог больше выносить этого и пытался ворваться в комнату, где его били. Офицер Голан разрешил мне увидеть брата, запретив говорить ему о разрушении дома. Я вошел к Самиру и никогда не забуду того, что увидел.

Меня тоже допрашивали. Я сказал следователям: «Мне ничего не известно об оружии, которое вы нашли в нашем доме. Я еще раз говорю вам, что не мой брат принес его туда. Если бы я знал о существовании этого оружия, я выбросил бы его подальше. Дело это очень нечисто».

То был черный день. В семь вечера меня выпустили. Своего брата Самира я смог увидеть лишь 28. 3. 69 года. Его адвокату не разрешили встретиться с ним. Впервые их встреча состоялась через месяц после ареста.

10. 3. 69 года наш дом вновь обмерили, на этот раз и нижний этаж.

13. 3. 69 года в семь вечера прибыл Давид Хен в сопровождении офицера, которого звали Леви. Они сообщили нам, что намерены разрушить дом до основания. Брату приказали вывести семью (они оставались внизу) и вынести вещи. Полицейские потребовали от Абеда аль-Салима Джани и Фавзи Шауки — живших по соседству с нами — оставить свои жилища, ибо при разрушении нашего дома могли пострадать и соседние дома. Они действительно пострадали и до сегодняшнего дня стоят без воды и электричества.

Весь район был окружен войсками. Целых двое суток, 48 часов, разрушали здание, под крышей которого жило двадцать душ. А сейчас мы остались без крова. Но и на этом не закончились наши страдания.

В субботу 15. 3. 69 года, когда я шел со своим младшим сыном Надером по улице, нас остановил дорожный патруль. Полицейские не постеснялись приказать даже Надеру поднять руки вверх и обыскали его. Какой позор! Жестокость или глупость движут ими? Я спросил полицейских: «Что вы делаете? Ведь это маленький ребенок, ведь даже стеклянный шарик в его кармане был бы виден издалека... Почему вы обыскиваете его как преступника? Зачем вы своими действиями отравляете душу ребенка?» Как горох об стенку.

Потом, когда мы уже удалились от патруля, мой сын Надер спросил: «Чего они искали у меня?» Я ответил: «Бомбу». Надер спросил: «Что такое бомба?»

Полицейские вынудили меня рассказать ребенку, что такое бомба. Разве это обязательно, чтобы четырехлетние малыши знали, что такое бомба?

Надер, который был свидетелем разрушения нашего дома, допытывался во время этого разговора: «Мы тоже будем разрушать дома евреев?»

Я сказал своему сыну: «Нет! Нет, сын мой, мы не будем разрушать дома евреев. Я надеюсь, что наступит мир и не будет больше войн, бомб, разрушенных домов, убитых. Будем надеяться, что черные дни забудутся. Будем надеяться, что этот кошмар, именуемый оккупацией, закончится и ты будешь жить в мире!»

Что творит с нами оккупация? К черту оккупацию! Она отравляет наших детей. К кому взывать?»

Это был рассказ Абеда Абу-Диаба, жителя квартала Абу-Тур в оккупированном арабском Иерусалиме, записанный с его слов.

**Дорогой читатель, соотечественник!**

**Через 10, 12, 15, не знаю точно, сколько лет, в свободный день, когда ты будешь в своем доме читать газету или сидеть за обеденным столом, сын твой вдруг посмотрит на тебя обвиняющим взглядом и спросит: «Что ты делал, отец, когда разрушали дом Надера?»**

# «Я отказался служить на оккупированных территориях»

Но глаза этих людей открылись.
Солдаты начинают постигать
бесконечную простоту бытия.

*(Анри Барбюс. «Огонь», декабрь 1916 г.)*

В течение последнего месяца стало известно, что несколько молодых израильтян-резервистов отказались нести воинскую службу на оккупированных территориях. Некоторые из них были преданы суду военного трибунала, осуждены на разные сроки и заключены в тюрьму.

Широкой общественности не известны подлинные масштабы этого явления, ибо озабоченные им власти пытаются скрыть факты отказа молодых людей служить на оккупированных территориях.

Недавно я встретил одного из этих парней, Ицхака Лаора (Ицика), в столовой Тель-авивского университета. Его слова я привожу так, как он их произносил: в виде монолога, воскрешающего историю принятого им решения отказаться выполнить приказ, отказаться служить солдатом на оккупированных территориях — даже ценой неминуемого лишения свободы. История эта поможет читателю яснее осмыслить процесс протрезвления тех молодых израильтян, кто, не желая идти на сделку с совестью, мечется в поисках верных путей в жизни.

«Я родился в Пардес-Хане в 1948 году, в дни войны за независимость,— начал Ицхак Лаор.— Когда мне было 14 лет, мои родители переехали в Рамат-Ган. И в Пардес-Хане и в Рамат-Гане я был одним из активистов «Ноар гаоведа»[1]. Был там даже инструктором. Вместе со своей группой входил в «Нáхал»[2].

Именно тогда я впервые «повернул влево»— стал сомневаться в правильности официального курса. После войны наша рота создала укрепление вблизи Эль-Ариша. На этом месте раньше располагалась египетская деревня Мизраа. Когда мы пришли туда в декабре 1967 года, там не было ни души, правда, поблизости проживало 16 семей, которые занимались сельским хозяйством. Вначале «Сохнут»[3] и «Нахал» отняли у них один колодец.

После посещения этих мест министром

---

[1] «Трудовая молодежь» — организация, близкая к правящей Партии труда.

[2] «Ноар халуци лохем» — «Борющаяся халуцистская молодежь» — военизированная молодежная организация (солдаты сочетают пограничную службу с сельскохозяйственными работами).

[3] Еврейское агентство — сионистская организация, занимающаяся эмиграцией.

обороны Моше Даяном у феллахов отняли все земли, а их самих насильно согнали с этих земель. Я хорошо помню, как израильские тракторы прошлись по обработанным участкам феллахов. Я помню и товарища своего, который вошел в столовую — он погиб потом в бою в долине Иордана — и сказал: «Для меня это соломинка, переломившая хребет верблюда. Перемешать землю с плодами урожая?!» Назавтра, когда арабы со своим скотом пришли на эти земли, израильтяне из «Нахал», в отличие от добровольцев из Англии, отказались прогонять арабов. Пребывание в «Нахал-Синай» было для меня поворотным моментом.

Я начал переосмысливать все, что знал об истории еврейского заселения. Это не означает, что я уже тогда дошел до того, что понимаю сейчас. Но это было хорошее начало. Я начал видеть вещи в другом свете. Хочу отметить, что и другие парни — во всяком случае двое — прошли тот же путь, что и я. Кое-кто, правда не все, после всего виденного нами на израильско-арабские отношения стали смотреть примерно так, как я.

Там мы впервые встретились с палестинской проблемой. Когда мы ходили на ночные обыски в Эль-Ариш, я, помню, говорил себе, что, пока оккупация является временной и ведутся поиски путей к миру, все это кое-как можно объяснить себе — я имею в виду саму процедуру обысков, преследования участников палестинского сопротивления. Вспоминаю один из эпизодов: вернувшись из засады, мы зашли в здание военного суда в Эль-Арише. То, что мы там увидели, было ужасно,— вся эта видимость правосудия: молодых людей отправляли в тюрьму, цинично нарушая самые элементарные нормы — переводчик не всегда считал нужным переводить слова свидетелей; судья, явно не усматривавший состава преступления, с легкостью подписывал обвинительные приговоры, матери стояли на улице и рыдали — все это повлияло не только на меня, но и на других моих товарищей.

Во время выборов 1969 года я голосовал за «Маки» [1], я сожалею об этом, и мне стыдно об этом рассказывать. И другие, голосовавшие подобно мне, сожалеют об этом. Сегодня я являюсь членом СИАХ[2].

В городе я работал инструктором в «Ноар гаовед». Меня уволили за мои взгляды, и с тех пор я кочую с одного места работы на другое. Я был грузчиком, писал кое-что, работал корректором но главным образом был занят поисками работы. Сейчас я учусь на третьем курсе отделения литературы и театра в Тель-авивском университете. Политическая линия СИАХ, в последние два года возлагающая ответственность за агрессию на правительство Израиля, обязывает, как мне кажется, не соглашаться с оккупацией. По этому вопросу в СИАХ высказываются различные мнения. Мой отказ служить на оккупированных территориях вызвал разногласия среди «новых левых». Однако СИАХ един во мнении, что, если в нынешней политической ситуации вспыхнет новая война, вина ляжет на правительство Израиля. Все это и побудило меня отказаться служить на оккупированных территориях.

Если мои слова дойдут до арабских читателей, я хочу добавить, что не только согласен с резолюцией Совета Безопасности № 242 и выступаю за мир с Египтом и урегулирование — даже с королем Хуссейном. Меня тревожит сознание нашей ответственности за судьбу палестинского арабского народа.

Я вижу, что палестинский народ истерзан, и в ответе за это —правительство Израиля. Если будет продолжаться оккупация и не наступит мирное урегулирование, через какое-то время мы окажемся перед неразрешимыми проблемами.

Правительство Израиля все больше выполняет роль сторожевого пса (это, правда, не вполне академичное выражение, но заменить его я мог бы лишь несколькими другими, еще менее цензурными словами) американского империализма. С одной стороны, я с тревогой думаю о судьбе палестинского народа, являющегося главным страдальцем в нынешней ситуации, а с другой стороны, как израильтянин я должен сказать, что и наша судьба может стать горькой из-за правительства, чья политика служит американским интересам. Оно может удостоиться лишь судьбы правительства Тхиеу».

## Акции «перемещения» в стиле Рафиях

«Документ Галили»[3], принятый Партией труда, открыл «зеленую улицу» министру обороны, «главному оккупанту» арабских территорий М. Даяну, форсировавшему организацию так называемых «свершившихся фактов» на этих территориях.

Речь идет о «перемещении» арабов, а говоря попросту, об изгнании их; о создании укрепленных пунктов, то бишь об израильском колониальном заселении и создании «еврейских разделительных районов», по выражению М. Даяна. Мы остановимся

[1] Просионистская «группа Микуниса—Снэ» отколовшаяся от компартии в 1965 году.

[2] «Новые израильские левые».

[3] «Документ Галили», или «план Галили», предусматривает ускоренное заселение и аннексию оккупированных арабских территорий. Назван по имени предложившего этот план Исраэля Галили, одного из лидеров Партии труда, министра без портфеля в правительстве Г. Меир и нынешнем кабинете И. Рабина.

здесь на продолжающемся «перемещении» арабов, живущих в Питхат Рафиях.

Изгнание бедуинов из района Рафиях и экспроприация их земель, начавшиеся более двух лет назад, сопровождались варварскими акциями, массовым сгоном с участков, разрушением жилищ, уничтожением урожая и колодцев.

В последнее время, стремясь ускорить выполнение программы по «очистке» всего района Рафиях с целью создания разделительного района и условий для строительства города и порта Ямит, оккупационные власти перешли к новому этапу в изгнании жителей района Рафиях.

Речь идет о новом районе площадью около 36 000 дунамов, находящемся южнее Рафиях и называемом бедуинами Аль-Джура. Там живут сотни семей племени хасуарка. Плодотворная земля кормит не только их, но и других бедуинов, не живущих в Аль-Джура.

Жителям киббуца Керем Шалом, расположенного на израильской стороне «зеленого пояса»[1], наблюдавшим изгнание жителей района Рафиях, военные власти объяснили, что они собираются построить на «очищаемом» участке государственный объект.

На жителей района Аль-Джура оказывается растущее давление с целью заставить их покинуть свои земли. Давление сопровождается угрозами. Кампанию «широкой очистки» власти начали с «выпрямления» участков, которое коснулось части обработанных земель и части старого кладбища, созданного еще до первой мировой войны, единственного на весь район.

Бедуины, очевидцы происходящих событий, рассказывают:

«Несколько недель назад нам велели освободить участок, на котором находится кладбище, а также некоторые обработанные участки. Мы обратились к израильским властям и попросили пощадить кладбище.

Военный губернатор Рафиях заверил нас, что кладбище не будет разрушено, но назавтра прибыли десять рабочих из Хан-Юниса во главе с тремя офицерами. Они начали копать и извлекали останки из десяти могил, которые были затем перенесены на кладбище в Шейх-Зуйяд. На месте осталось много трупов.

После этого пришли бульдозеры, разровняли участок, вдавив в землю оставшиеся трупы.

Назавтра снова пришли бульдозеры, уничтожили много деревьев и кустов. Похоже, что это еще не все, ибо на месте остались бочки и много маркировочных столбов».

Жители поселения рассказывают, что «власти распространяют лживые слухи, будто кладбище случайно оказалось на пути проектируемого шоссе. Кладбище находится там, где намечено построить Ямит.

[1] Принятое в Израиле название линии, ограничивающей территорию страны по состоянию на 4 июня 1967 г., то есть до израильской агрессии 5 июня 1967 г.

Бедуины заранее сообщили о нем военному губернатору.

Мы были здесь, когда извлекались останки. Но они не прекратили работы. Они даже не удосужились убрать трупы, просто разровняли участок — вместе с трупами».

«К нам пришли офицеры и потребовали от некоторых жителей покинуть район в течение 48 часов. Они записали в наших удостоверениях личности размеры принадлежащих нам участков и сказали, что мы получим компенсацию или другие участки. Я не хочу оставлять свою землю,— говорит Салман Джабер,— и все другие жители тоже не хотят. Это земля наших предков, и даже если мне предложат миллион лир за каждый дунам, я не соглашусь уйти отсюда. У всех нас есть документы на эти земли со времен турок, англичан и египтян».

Салман Джабер рассказал, что представители его племени направили письма протеста главе правительства, министру обороны и в Красный Крест, в которых они ясно заявили, что не хотят уходить со своих земель.

И другие племена, живущие в треугольнике Шейх-Зуйяд — Уджа эдь-Хафир — пригороды Эль-Ариша, получили уведомление от военных властей, что этот район намечено в будущем «очистить».

На состоявшемся в Нир-Озе слете, в котором приняли участие пятьсот человек из киббуцев, расположенных вдоль «зеленого пояса» вблизи сектора Газы, говорилось о том, что конечной целью военных властей и министра Моше Даяна является «освобождение» территории, занимающей 4 миллиона дунамов по линии Эль-Ариш — Ницана-Кадеш — Барнеа. На ней проживает сегодня около 35 тысяч бедуинов.

На этом слете в Нир-Озе Йохай из киббуца Харэль предложил перейти от слов к делу, «пойти в Иерусалим к резиденции Голды Меир — этому оплоту лицемерия и бездушия — и показать широкой общественности, не знающей о происходящем, что ее вводят в заблуждение с помощью обма на и джи...»

# На западном берегу Иордана после октября 1973 года

*12. 12. 73 г.*

Несколько дней назад я впервые после октябрьской войны 1973 года посетил оккупированный западный берег Иордана.

Здесь многое изменилось. Другими стали настроения. Высок моральный дух населения. У людей больше уверенности. Эта уверенность приводит в смятение оккупационные власти. Слушаешь людей и видишь, что они уравновешенны, рассуждают логично и реалистично. Они уже не волнуются, как прежде, по поводу каждого события. Они научились видеть общее направление происходящих процессов, не позволяют деталям заслонить главное. Они смотрят на все весьма широким взглядом, подобно опытному шахматисту, угадывающему ходы противника и предвидящему конечный результат. Больше чем когда-либо раньше люди уверены: конец израильской оккупации неизбежен. У меня создалось впечатление, что люди незлопамятны. Они снисходительны до рыцарства.

Они знакомы с событиями, происходящими на ближневосточной арене, и еще больше — с «землетрясением», которое переживает израильская общественность. Многие становятся специалистами по израильским делам. Они разбираются во всем: знают имена израильских лидеров, их позиции, их декларации, программы партии, перипетии внутри Партии труда, подробности дискуссий в кнессете и руководстве партий, знают о нехватке тех или иных продуктов и даже знакомы с анекдотами о Голде Меир и Даяне, циркулирующими среди израильтян. И даже жалеют своих знакомых израильтян, у которых еще не истек срок службы резервистами.

אימה

Поверьте мне, западный берег Иордана уже не тот, каким он был вчера и позавчера, он очень изменился после октября 1973 г. И все почему? «Очень просто,— объяснил мне мой собеседник в одном из городов на западном берегу,— песочные часы указывают на конец оккупации».

Я спросил: «А что потом?» «Всему свое время,— ответил он,— главное, чтобы мы были уравновешенны, действовали разумно и эффективно для достижения желанной цели, никому не позволив испортить нам радость. Горький опыт поможет нам избежать многих ошибок. Мы перестали быть наивными».

Мой собеседник, согласившийся рассказать о происходящем на западном берегу Иордана, несколько раз отметил, что такие же процессы характерны и для сектора Газы. Он говорил:

«Новые веяния на западном берегу наполняют людей уверенностью. Они убеждены в том, что израильской оккупации придет конец, поэтому они чаще, чем прежде, заявляют, что готовы принять участие в борьбе за прекращение оккупации. Люди не предаются иллюзиям и мечтам. Господствует дух реализма. Я могу добавить, что большинство при этом отнюдь не занимает экстремистских позиций. В той же мере, в какой они хотят покончить с оккупацией, они искренне стремятся к израильско-арабскому миру. В то время как израильская официальная пресса была занята выискиванием каких-то проявлений экстремизма в решениях всеарабского совещания в Алжире — и если не находила их, то выдумывала,— здесь люди как раз ищут проявления и выражения политического реализма, готовности к миру.

Общественность здесь в большинстве своем поддерживает решения совещания в Алжире. Мы приветствовали резолюцию, признающую Организацию освобождения Палестины единственным представителем палестинского арабского народа. Нет сомнения и в том, что ход событий будет оказывать влияние на политику ООП. Все обратили внимание на то, что авторитет этой организации как в арабских странах, так и на международной арене вырос. Ее позиции укрепились. Я убежден в том, что это результат развития событий, с одной стороны, и более реалистических позиций ООП — с другой. Ясно, что Организация освобождения Палестины примет участие в Женевской мирной конференции. Это сам по себе весьма позитивный факт, свидетельствующий об изменениях, уже происшедших в этой организации. Он подтолкнет и к новым изменениям, и самое главное — хорошо, что палестинцев будут представлять сами палестинцы и их организации.

Эти новые тенденции стали заметны еще несколько месяцев назад перед октябрьской войной 1973 года, когда был создан политический фронт, объединяющий все патриотические организации, выступающие против оккупации. Он включает в себя организации западного берега Иордана и сектора Газы. Его название: Палестинский национальный фронт на оккупированных территориях. Он считает себя частью Организации освобождения Палестины.

В заключение скажу тебе: в последнее время израильские военные губернаторы приглашают к себе для бесед видных деятелей западного берега, чтобы выслушать их мнение о будущем, понять настроения и тенденции. Я убежден: их отчеты вышестоящим лицам не оставляют сомнения в том, что у оккупации нет перспектив».

Слова моего собеседника с оккупированного западного берега Иордана говорят о многом.

*Перевод с иврита Я. ШРАЙБЕРА*

◆

# ПОЭТ И ДРАМАТУРГ

## Георгий Джагаров — в «Иностранной литературе»

В 1946 году в стенах Московского литературного института имени М. Горького появился новый студент, высокий смуглый болгарин Георгий Джагаров. Он рано начал писать стихи — это были стихи о заключенных в фашистских застенках. Сын крестьянина, член подпольной комсомольской группы, Георгий Джагаров в четырнадцать лет прямо из класса сливенской гимназии попал в тюремную камеру. Там и началась его творческая биография.

Мой товарищ
молчанье на дне твоих глаз.
ты лежишь на цементном полу тюремном.
Вниз лицом предпочел ты молча упасть,
чем упасть на колени смиренно.

*(Перевод Е. Евтушенко)*

«На колени не падать!» — таков лейтмотив его первого сборника «Мои песни». Ему свойственно зрелое чувство родины, судьбы которой для Джагарова — кровное, личное дело в самом прямом и высоком смысле этих слов. Не много найдется в современной болгарской поэзии стихов, которые бы с такой силой, проникновенностью и болью говорили о родной земле. Трудно встретить в Болгарии человека, который бы не знал джагаровских строк о товарище, сражавшемся за родину на тесном — в два шага — пространстве тюремной камеры, или этих, ставших хрестоматийными стихов:

Земля моя с ладонь... Но мне она
могла бы заменить все мирозданье —
я меряю ее не расстояньем,
а той любовью, что пьяней вина.

*(Перевод М. Павловой)*

Пафос и непримиримость характеризуют поэтическое творчество Джагарова. Он стал одним из тех, кто сумел выразить в поэзии сложные переживания современника. Его глубоко волнуют, тревожат, мучают большие нравственно-этические проблемы революции. Каждой своей строчкой поэт воюет против всего несозвучного с высокими нравственными идеалами социализма, их чистотой.

Эти черты характерны и для джагаровской драматургии. По-видимому, возможность наиболее полно воплотить свое стремление к гражданской острой постановке проблемы и в то же время любовь к яркой поэтической форме и заставили Джагарова-поэта обратиться к драматургии. Недаром на вопрос о том, какое место занимает в драматургии поэзия, он ответил однажды: «То же, что и две тысячи лет назад. Драматическое искусство по самой своей сути — самый совершенный вид поэзии». Его пьесы «Прокурор», «Двери закрываются» и последняя — «Маленькая эта земля...» (см. «Иностранную литературу» № 2, 1975), отмеченная на V Национальном смотре болгарской драмы и театра в 1974 году высшей наградой,— отличаются страстной заинтересованностью в судьбах революции, горячо ратуют за идейно-нравственную чистоту коммуниста, выступают против всяких попыток отстраниться от ответственности за все, что происходит в стране и в мире. Ни подчиненное положение, ни «время», ни безучастность окружающих не могут освободить человека от его долга перед народом и историей.

И естественно, когда Георгий Джагаров

посетил редакцию «Иностранной литературы», речь прежде всего зашла об этом. Как и большинство присутствующих, писатель полон впечатлений от гастролей софийского Национального театра имени И. Вазова, показавшего москвичам постановку пьесы «Маленькая эта земля...».

— Я очень волновался во время спектакля,— говорит Джагаров, — волновался за актеров и главное, конечно, за то, как воспримет пьесу взыскательный московский зритель. Но все кончилось хорошо. Я видел, что зрители увлечены происходящим на сцене, ловят каждое слово. Замечательная у вас в Москве публика!

Кто-то из присутствующих замечает, что такой прием не должен вызывать удивления, ведь пьеса поднимает очень важную и острую для всех нас проблему охраны окружающей среды.

— Нет, нет,— отвечает Джагаров,— охрана окружающей среды — бесспорно, одна из важнейших проблем современности, и она глубоко волнует меня как гражданина. Но если бы я хотел сказать только об этом, я написал бы не пьесу, а статью. Однако как писателя меня волнуют не только и не столько экономическая и социальная стороны вопроса. Вся моя пьеса — это расширенная метафора, и речь в ней идет прежде всего о чистоте окружающей нас человеческой среды. Человеческой,— с нажимом повторяет он.— Речь идет о том, чтобы именно ее уберечь от загрязнения пошлостью, карьеризмом, глупостью и приспособленчеством. Помните столкновение Снежи с Драгиевым? На провокационный намек Драгиева о сомнительности ее политической позиции Снежа отвечает: «Что касается моей политической позиции, то начало ей положила братская могила, где покоятся мои родные, продолжение — те обиды и неприятности, которые мне причиняли такие, как вы, а сейчас она полностью совпадает с моими исследованиями по охране окружающей среды от загрязнения». Мне кажется, что в этих словах — ключ к пониманию всей пьесы. Сохранить чистоту идеала, чистоту человеческих отношений, те нравственные ценности, которые составляют суть нашей жизни, — вот к чему я стремлюсь. Ведь зло часто неуловимо. Но когда человек видит его, он испытывает естественное возмущение. Нравственные ценности, которые передаются из поколения в поколение, отмечают ступени прогресса. Если приходящий на смену старому новый общественный строй, отказавшись от ценностей, в которых он не нуждается, сумеет сохранить и развить то, что ему нужно, сумеет создать на этой основе нечто свое, значит, этот строй — более высокая ступень в развитии человечества. В этом смысле я и понимаю культурное наследие — широко, как органическую часть всей системы современных культурных ценностей.

Я против абстрактного гуманизма. Гуманизм должен быть конкретным. Как говорит Радев о Лазарове: «Вообще-то он со мной согласен... Вообще-то все мы за охрану природы. За заботу о человеке. Вообще, вообще... Но земля болгарская из-за таких хозяев, как он, убавлялась не вообще, а пядь за пядью. Из-за одной такой пяди мы и спорим. И разрешится наш спор не в смерти, а в жизни!» Большой мерой надо мерить людей, каждого человека в отдельности!

Беседа течет взволнованно, оживленно. Все с той же позиции высокой требовательности к человеку Джагаров говорит о том, что нужно воспитывать в людях нетерпимость к любым проявлениям антигуманизма. Реакция на зло должна быть естественной, немедленной.

— Нравственно — действовать сразу. Пока думаешь, зло совершается. Нам нужны Матросовы в области нравственности, люди, которые не задумываются пожертвовать собой ради добра.

Естественно, речь заходит и о творческих планах нашего гостя. Чем объяснить, что он так редко публикуется? Ведь с момента появления его пьес «Прокурор» и «Двери закрываются» прошло более десяти лет. Пишет ли он стихи? Думает ли и дальше заниматься драматургией?

Джагаров смеется:

— Если печатать все, что пишешь, получится своего рода девальвация культурных ценностей, загрязнение литературной среды. Но вообще,— тут он становится серьезным,— я очень долго вынашиваю замысел, настолько долго, что создается впечатление, будто я годами не работаю. К тому же моя общественная и государственная работа не только отнимает у меня много времени. (Как известно, Джагаров долгие годы был председателем Союза болгарских писателей, а сейчас занимает пост заместителя председателя Государственного совета НРБ.) Я все держу в голове. И вот чувствую — не могу не писать. Тогда я оставляю все дела, уезжаю куда-нибудь и работаю как одержимый, до изнеможения. Ни стихи, ни драму я не бросил и бросать не собираюсь, и сейчас моя главная задача — непременно закончить драму о Георгии Димитрове, которую я вынашиваю уже много лет.

Беседа подходит к концу. Мы благодарим нашего гостя за интересный, содержательный разговор.

— Гостя? — Джагаров улыбается открытой, доброй улыбкой.— В «Иностранной литературе» я не чувствую себя в гостях. Всякий раз, приезжая в Москву, я бываю здесь. Хочется повидаться с сотрудниками — моими добрыми друзьями,— через них передать сердечный привет внимательному, умному и требовательному советскому читателю, чье мнение мы в Болгарии так высоко ценим.

**Л. ЛИХАЧЕВА**

◆

# ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАННО ВИДЫ КЕЙНЕМАН

Среди художников, возрождающих и популяризирующих искусство батика, имеющее в Шри Ланке многовековые традиции, заметное место занимает Вида Кейнеман. Она по праву считается одним из самых выдающихся художников, работающих в этой области. Мотивы и темы для своих картин и панно В. Кейнеман черпает из окружающей природы. На многих ее батиках мы часто можем видеть стилизованные деревья, цветы, животных, птиц, насекомых, сложные орнаменты. В то же время Вида Кейнеман смело раздвигает традиционные рамки жанра, обращаясь в своих работах к сценкам из сельской жизни, к образам людей труда. Помимо обобщений и стилизации, столь характерных для батика вообще, ее работы отмечает смелость рисунка, оригинальность замысла, заметно выделяющие их и делающие столь популярными. Ее картины и панно, напоенные яркими и живыми красками прекрасной Ланки, привлекают внимание неожиданными сочетаниями цветов, тонкой композицией.

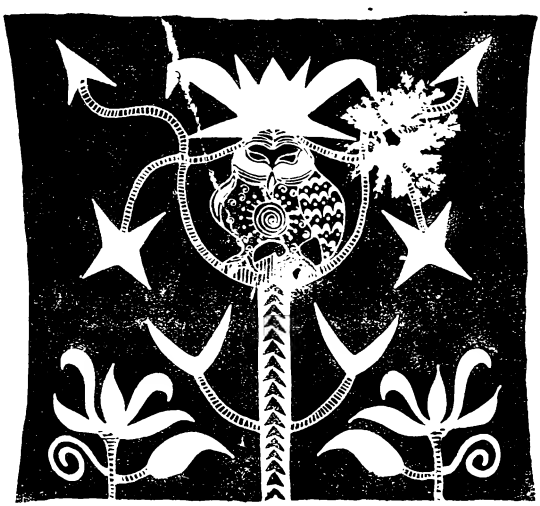
Искусствоведы и художественные критики Шри Ланки высоко оценивают картины-батики Виды Кейнеман. Персональные выставки ее работ — заметные события в культурной жизни страны. Известна она и как создатель батиков для мужской и женской одежды, декоративных тканей.

Студия Виды Кейнеман в Коломбо привлекает многих людей, которые хотели бы не только посмотреть, как она работает, но и поучиться у нее. Кстати, художница все делает сама, своими руками, пользуясь услугами помощника-ученика лишь для некоторых технических операций. Вида Кейнеман занимается и живописью, графикой, известна как скульптор-керамист. Часто помогает она деревенским мастерам в поиске новых форм для гончарных изделий. Прошедшая недавно в Коломбо выставка ее гончарных работ привлекла большое внимание любителей искусства, прессы и производственников.

Возможно, советским зрителям доводилось встречаться с Видой Кейнеман и в другом амплуа — артистки одного из самых популярных в Шри Ланке танцевальных ансамблей. Вместе с этим коллективом она выезжала на гастроли в Советский Союз и некоторые социалистические страны.

Вида Кейнеман — член Коммунистической партии Шри Ланки, своим искусством она стремится участвовать в тех больших социальных преобразованиях, которые происходят в нашей стране, воспевает красоту ее природы и талантливого, трудолюбивого народа.

**НИХАЛ РАТНАЯКЕ**



# Среди книг

## Издано в СССР

### «Я ВСЕГДА СВОБОДНЕЕ ДЫШАЛ В ДИАЛОГАХ...»

**Леон Кручковский. Пьесы. Статьи. Перевод с польского. Вступительная статья В. Хорева. Москва, «Искусство», 1974. 399 стр.**

Более тридцати лет тому назад вышел в Москве исторический роман польского писателя Леона Кручковского «Кордиан и хам». Книга, ставшая событием в культурной жизни Польши, вызвала большой интерес и у нас. В дальнейшем «Кордиан и хам», а затем роман «Павлиньи перья» — эти значительные произведения польской социалистической литературы — не раз переиздавались по-русски, переводились на украинский, белорусский, литовский, киргизский и другие языки. В послевоенные годы мы познакомились с Кручковским-драматургом: читали его пьесы, смотрели их на сценах многих советских театров. И наконец, в изданном к 75-летию со дня рождения писателя однотомнике, объединившем пьесы и статьи, прозвучал голос Кручковского-публициста.

Страстные, острополемические статьи, эстетико-литературные эссе, наброски и выступления, посвященные Мицкевичу, Жеромскому, Толстому, Чехову, Горькому, Янке Купале, рассуждения об искусстве, в которых поднимались проблемы идейно-политической ангажированности художника, а также вопросы специфики различных жанров творчества — вот далеко не полный перечень работ, представляющих в сборнике публицистику Кручковского. Особенно интересны страницы авторских комментариев к пьесам.

Если порой объединение под одной обложкой художественных произведений и публицистики бывает чисто формальным и публицистический раздел остается всегонавсего «обязательным довеском» к книге, в настоящем сборнике такое соседство оправданно и закономерно. Более того, оно помогает лучше понять характер творчества писателя. Ведь именно пристрастие к публицистике, всегда свойственное произведениям Кручковского, определило в конечном счете его поворот от прозы к драматургии. И не случайно драматургия заняла ведущее место в послевоенном творчестве писателя. Поэтому мы остановимся здесь на его пьесах.

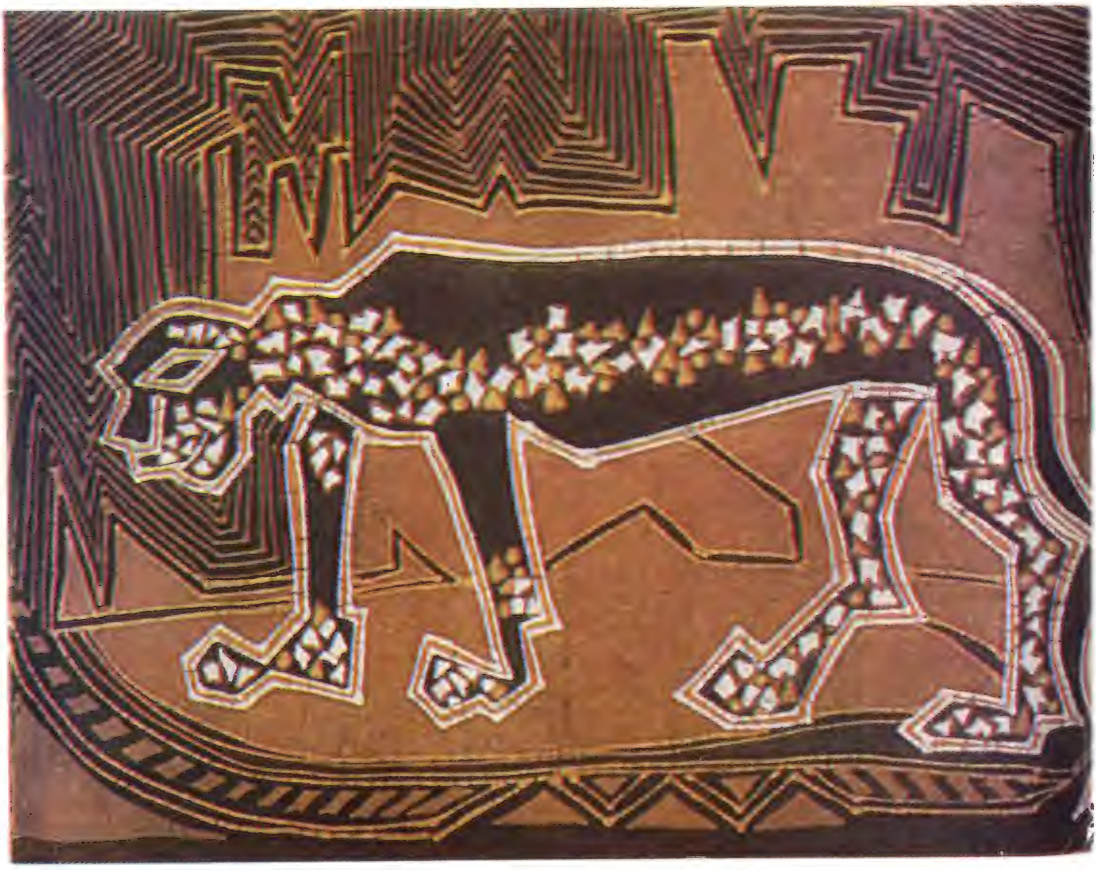
Начнем с того, что в прозе Кручковского всегда ощущалось тяготение к драматургической форме. Показ — вместо описания, диалог, заменяющий рассуждение — так явно драматургические приемы вытесняли традиционные компоненты прозы. «Я всегда свободнее дышал в диалогах»,— признавал и сам писатель. Ему нужна была связь со зрителями, их реакция на острое, злободневное авторское слово. Однако, перейдя в смежную область литературы, Кручковский отнюдь не обольщался легкостью нового пути. «Драматургия,— читаем в одной из его статей,— трудный вид «литературных концентратов», «объем» которых куда меньше, чем в прозе, может послужить показателем проделанной писателем работы — мыслительной, конструктивной и всякой иной, необходимой в литературном произведении».

Пожалуй, не найти более удачного определения для пьес Кручковского. Их лаконизм, предельная насыщенность мысли выдают, конечно, прозаика, в то время как драматург держит читателей в неослабевающем напряжении стремительностью действия (не обязательно в его сюжетном развитии). Хотя это может прозвучать

# *Из работ Виды Кейнеман*

**Женщина за работой**

**Птицы**



**Тигр**

**Девушка, провеивающая зерно**

**Летающие рыбки**

**Конь**

парадоксально, но пьесы Кручковского настолько сценичны, что даже при чтении «слышишь» героев и «видишь» их жесты и мимику.

И все же, разумеется, не только в художественных достоинствах заложена сила воздействия драматургии Кручковского. Истоки ее следует искать прежде всего в том, что сам автор называл «способностью личного переживания неличных проблем: общественных, национальных, моральных, философских». Эту способность он считал «самым существенным во «внутренней биографии» писателя», подчеркивая, что «степень этой способности, наравне со степенью таланта, определяет подлинное величие писателя».

Не будет преувеличением сказать, что мало кто из современных драматургов обладал этой способностью в такой мере, как Кручковский. Публицистический накал — источник силы и значительности всей его драматургии. В каждой из своих пьес драматург ставит вопрос, всегда острый и злободневный. Проблемы эти, не утратившие актуальности и сегодня, волнуют, задевают за живое — ведь они созрели не в тихой заводи отвлеченных умозаключений, а рождены войной, революцией, конфликтами, потрясающими основы человеческой жизни. Поиски же ответа на возникшие вопросы превращают пьесы Кручковского в жаркую, захватывающую интеллектуальную дискуссию.

Такой дискуссией являются прежде всего «Немцы», пьеса, обошедшая многие сцены мира, по общему мнению критики — лучшее драматическое произведение Кручковского. «Немцы» появились спустя четыре года после окончания войны, когда возникшая уже, хоть и малая, дистанция времени позволила глубже и более объективно осмыслить страшное явление, именуемое германским фашизмом. Драматургу особенно трудно было оставаться беспристрастным — он на себе испытал жестокость фашизма, проведя пять лет в гитлеровском лагере для военнопленных. Кручковский задался целью не просто разоблачить, выражаясь его словами, плакатного «лающего» немца, а раскрыть, насколько был причастен ко всему происходившему так называемый «нормальный» немец.

Таким «нормальным» немцем и предстает перед нами почтенный, высокообразованный профессор Зонненбрух. Профессор не приемлет теорию и практику фашизма, глубоко презирает всех и вся, имеющих хоть малейшее отношение к «третьему рейху», но при этом он умывает руки. Профессор Зонненбрух полагает, что, уйдя в себя, отгородившись от фашистского мракобесия, от страшной действительности, он остается честен перед собой и другими.

Автор полемизирует с профессором Зонненбрухом, всем ходом событий доказывая, что его внутренняя изоляция на деле оборачивается соучастием в фашистских преступлениях.

Если в «Немцах» дискуссия сводилась к своего рода диалогу между защитником позиции непротивления злу Зонненбрухом и поборником действия коммунистом Петерсом — в пьесе «Первый день свободы» она как бы расписана на многие голоса. Здесь сталкиваются различные трактовки понятия свободы. Той самой свободы, мечтой о которой жили долгие годы польские офицеры за колючей проволокой фашистского лагеря. Все нарастающий драматизм ситуации завершается трагическим финалом: Ян, главный герой драмы, убивает опекаемую им немецкую девушку Ингу, когда та, воспользовавшись временным возвращением эсэсовцев в город, стреляет из пулемета в его товарищей. Выстрел Яна становится самым веским аргументом в споре, утверждая историческую обусловленность границ свободы и справедливости.

В пьесах Кручковского напрасно было бы искать благополучных, безмятежных героев. Ситуации, в которых оказываются его персонажи, всегда крайне драматичны, требуют от них величайшего напряжения умственных и душевных сил; автор часто ставит их перед необходимостью сделать выбор, от которого зависит их дальнейшая судьба, а нередко и жизнь. Проблеме выбора посвящена и пьеса «Возмездие», непосредственный отклик на социальные преобразования в новой Польше. Драматург противопоставляет две полярные силы, приверженцев двух идеологий — коммуниста Ягмина и полковника Окулича, действующего в реакционном подполье. Чей путь выберет Юлек, юноша, запутавшийся в сложнейшей обстановке тех времен, сумеет ли он разобраться, кто прав, за кем будущее? Как важно было для многих найти правильный ответ на эти вопросы, свидетельствует польская критика: «Это была пьеса настолько актуальная, что в то время не нашлось бы, пожалуй, в зрительном зале ни одного человека, который не переживал бы ее лично, не видел бы в ее героях себя или своих близких, по эту или по ту сторону баррикады».

Сюжеты для пьес поставляла Кручковскому сама жизнь — порой драматургическим материалом становилось испытанное им, порой увиденное, а случалось, что основой для многоактной драмы служила газетная информация...

На замысел пьесы «Смерть Губернатора» Кручковского натолкнул рассказ Леонида Андреева «Губернатор». Но даже заимствуя сюжетную канву, драматург остается самим собой и в трактовке темы, и в ее полемической заостренности. Вопреки Андрееву, который воспринимал власть как некую внеисторическую силу, Кручковский обнажает ее классовую сущность. Губернатор, пребывая в твердом убеждении, что всякий власть предержащий — лишь фатальное орудие этой власти, решается спасти из заключения Узника-революционера. Он не сомневается — надев губернаторскую шинель и научившись подражать «губернаторской поступи», Узник должен неминуемо войти в роль и переродиться. Однако Узник опровергает теорию Губернатора — губернаторская шинель не заставила его отказаться от

своих убеждений. Суть не в самой власти, а в том, в чьих она руках. Так завершает автор дискуссию о существе власти.

«Смерть Губернатора» — наиболее интеллектуально насыщенное из всех произведений писателя. По существу это облеченное в драматическую форму философское эссе. Многое в пьесе указывало на то, что в творческой лаборатории писателя идет перестройка, что его драматургический дар повернется еще новыми гранями. К сожалению, «Смерть Губернатора» так и осталась последним произведением Леона Кручковского.

Заканчивая разговор о пьесах писателя, вошедших в новый сборник, хотелось бы упомянуть еще об одном свойстве его драматургии — оптимизме. Оптимизм Кручковского не лежит на поверхности, его зачастую не сразу удается разглядеть за трагическими концовками драм. И все же оптимистическое начало неотделимо от жизненной концепции писателя. Будь это не так, разве мог бы его Узник произнести слова, прозвучавшие как эпиграф ко всему творчеству Кручковского: «Люди прекрасны, у них все впереди, все!»?

**Э. ВАСИЛЕВСКАЯ**

## ОДЕРЖИМОСТЬ ХУДОЖНИКА

**Акутагава Рюноскэ. Новеллы. Перевод с японского. Вступительная статья А. Стругацкого. Примечания Н. Фельдман. «Библиотека всемирной литературы». Москва, «Художественная литература», 1974. 704 стр.**

Об Акутагава — хотя не знаешь японского языка, хотя впервые услыхал это имя непростительно поздно, узидев необыкновенный фильм «Расёмон», хотя по-настоящему проникся интересом и любовью к японской литературе лишь после появления русского перевода «Женщины в песках» Кобо Абэ? Об Акутагава, о котором написано уже столько умных и точных слов сведущими людьми? Но книга вышла более чем трехсоттысячным тиражом, вышла под грифом «Библиотека всемирной литературы», и сама эта огромная цифра, и этот гриф волей-неволей увеличивают число читательских точек зрения, расширяют круг тем для высказываний — и круг высказывающихся. Это уже как-то защищает от улыбок авгуров.

И это, третье известное мне русское издание Акутагава я начал читать не с предисловия, а с первой страницы авторского текста. Потом оказалось, что вступительная статья начинается разбором новеллы «Носовой платок»,—а я собирался начать свои заметки с нее же. Мне представлялось, что, изложив ее, можно, во-первых, передать главное свое ощущение от чтения Акутагава — ощущение единства человечества, сходства человеческих духовных метаний, душевных реакций, сходства, которое гораздо шире, содержательнее, интереснее расхожего противопоставления «Восток — Запад» и потому обесценивает, делает второсортной всякую сосредоточенность на экзотике, будь то сосредоточенность художника или критика, пишущего о нем на другом конце земли. Во-вторых, мне казалось, эта новелла дает возможность отвергнуть «экзотизм» устами самого Акутагава и сразу подвести читателя к моей теме.

«Профессор юридического факультета Токийского императорского университета Хасэгава Киндзо сидел на веранде в плетеном кресле и читал «Драматургию» Стриндберга» — таковы первые строки этого рассказа 1916 года. Дальше мы узнаем, что профессор был женат на американке и постоянно размышлял об упадке японской духовной культуры. «Что же делать, чтобы найти... пути спасения от этого упадка? Профессор пришел к заключению, что, кроме бусидо (феодальная, самурайская система морали и поведения.— **С. А.**) — этого специфического достояния Японии, иного пути нет. Бусидо ни в коем случае нельзя рассматривать как узкую мораль островного народа. Напротив, в этом учении содержатся даже черты, сближающие его с христианским духом стран Америки и Европы. Если бы удалось сделать так, чтобы духовные течения современной Японии основывались на бусидо... это облегчило бы взаимопонимание между народами Европы и Америки и японским народом...»

Приход неожиданной посетительницы прерывает чтение Стриндберга. Это мать студента, умершего — профессор об этом не знал — неделю назад в больнице. Мать пришла «сообщить о смерти сына и вместе с тем выразить свою благодарность»... «В глазах у нее не было слез. И голос звучал обыденно. Мало того, в углах губ даже мелькала улыбка... Профессору это показалось странным». Но нагнувшись, чтобы поднять упавший веер, профессор видит скрытые дотоле столом руки дамы: они дрожат и комкают, чуть ли не рвут носовой платок. Посетительница уходит. Самообладание этой японской матери представляется профессору воплощением его этического идеала, «бусидо японских женщин». Он готов уже «использовать сегодняшний случай» и рассказать о нем в печати под рубрикой «Письма современному юношеству». Но взгляд его случайно падает на страницу Стриндберга, и он читает: «В пору моей молодости много говорили о носовом платке госпожи Хайберг, кажется, парижанки.

Это был прием двойной игры, заключавшейся в том, что, улыбаясь лицом, руками она рвала платок. Теперь мы называем это дурным вкусом...»

Дойдя до этого места — оно почти в конце рассказа,— я только наскоро пробежал глазами оставшиеся строки. По-моему, больше ничего не требовалось добавлять и можно было поставить точку. По-моему, ее можно было поставить даже чуть выше: включение в цитату из Стриндберга замечания о «дурном вкусе» показалось мне тоже необязательным. Японец, парижанка, швед — а всем одинаково понятно, что означает скомканный или разорванный платок в сочетании с улыбающимся лицом, и сдерживаемый аффект находит у всех **одинаковый** выход. Это показано просто и убедительно, и этого мне было достаточно. Меня поразило не осмеяние того, что названо в предисловии «идеологическим дилетантизмом» — с тех пор как рассказ был написан, прошло почти шестьдесят лет, и вся романтическая наивность профессорского почвенничества ясна теперь с полуслова,— а та высота, с какой смотрит на нее Акутагава, та абсолютность меры, какой он ее меряет, его гуманистическая устремленность к идее всечеловеческого братства, выразившая себя так по-художнически скромно, точно и скупо.

Однако имена шведского писателя и парижской актрисы вошли в рассказ не только как имена европейцев, бесконечно далеких от бусидо и, наверно, понятия о нем не имеющих. Цитата из Стриндберга приведена не всуе. И заключительные строки новеллы, где, в частности, сказано: «Сценический прием, мимоходом высмеянный Стриндбергом, и вопросы повседневной морали, разумеется, вещи разные. Однако в намеке, скрытом в прочитанной фразе, было что-то такое, что расстраивало благодушие... профессора» — строки эти вовсе не избыточны. Что устарелость, безвкусие, пошлость театрального приема не могли не занимать Акутагава, всю жизнь размышлявшего об ином, чем в жизни, восприятии человеческого поведения на сцене или в книге, было мне ясно. Но что у Акутагава хватило смелости заговорить об искусстве и в данной связи, то есть когда поставлена, и, казалось бы, уже разрешена, и притом по самому большому счету, животрепещущая проблема национальной ограниченности, более того, смелости поставить эстетическую проблему вровень с житейской — это я ощутил благодаря автору предисловия А. Стругацкому, который справедливо заметил, что «концовка рассказа производит странное впечатление», и постарался разобраться в своем впечатлении.

«Скрытый намек», испортивший настроение профессору,— что это такое, как не намек самого Акутагава на преследующую художника тайну совпадения эстетического идеала с идеалом этическим? Этот сын японской культуры состоял в тесном родстве с европейским fin de siècle, он не только мерил искусство жизнью, но и несовершенную жизнь совершенным искусством. И в рассказе «Носовой платок», как в молекуле весь состав вещества, видны корни той трагедии, которой обернулась жизнь этого человечнейшего художника-реалиста, приводящая на память некоторые подлинные (Верлен, Ван Гог, Ницше) и вымышленные (Леверкюн Томаса Манна, Кнехт Германа Гессе) европейские биографии.

Человечный художник... По-толстовски видя, как зло родит зло, он изображает этот процесс без толстовского проповедничества. У него нет опоры ни в религии, ни в теории непротивления, ни в какой-либо революционной теории. В новелле «Ворота Расёмон», действие которой относится к средневековому периоду японской истории, он показывает цепную реакцию зла так же лаконично, внешне бесстрастно, строя повествование только на факте, событии, происшествии, как и в новелле об отвалившейся голове, где речь идет о японо-китайской войне 1894—1895 годов, то есть о близком, недавнем. «К старине **как таковой**,— сказал Акутагава,— у меня пристрастия нет». Верно, пристрастие у него — к человеку. Некий слуга застает некую старуху за страшным занятием: она вырывает у трупов волосы... на парики. Только что слуга предпочитал умереть голодной смертью, чем стать вором. Но при виде копошащейся среди мертвецов старухи слуга, чувствуя, как в нем разгорается ненависть «ко всякому злу вообще», совершает зло сам: срывает с нее кимоно, чтобы продать его, и грубо пинает старуху ногой. Всё. Это «Ворота Расёмон». В «Рассказе о том, как отвалилась голова», человек, «чрезвычайно искренний, хороший, очень тихий» по натуре, предстает в отталкивающих обличьях, навязанных ему царящим в мире злом: то с оскаленными зубами в рукопашном бою, то распутником и гулякой.

Так что же, на человека вообще нельзя положиться, от него вообще нельзя ждать добра? Нет, Акутагава так не считает, напротив, он зорко фиксирует всякие проявления отзывчивости, любви, жертвенности, верности, желания быть полезным другому, принести ему радость. Девочка с «мужицким лицом» садится в вагон. Сначала она кажется рассказчику «живым воплощением серой действительности». Но вот поезд проходит через переезд в бедном предместье, у переезда стоят три мальчугана, «и вдруг на детей, провожавших взглядом поезд, посыпалось сверху несколько золотых мандаринов, окрашенных так тепло и солнечно, что у меня затрепетало сердце... она, эта девочка, уезжавшая, вероятно, на заработки, бросила из окна припрятанные за пазухой мандарины, чтобы отблагодарить братьев, которые вышли на переезд проводить ее... И... мне удалось хоть на время забыть о своей невыразимой усталости и тоске и о непонятной, низменной, скучной человеческой жизни» («Мандарины»). Старый, одряхлевший учитель, которого уже

нигде не берут на работу, приходит каждый вечер в кафе, чтобы бесплатно учить официантов английскому языку, он делает это только потому, что «перестать учить английскому языку», то есть чувствовать свою нужность людям, «было для него так же невозможно, как перестать дышать» («Учитель Мори»). И точно так же, обращаясь к старине, повествуя о японских христианах — мучениках веры, «святых глупцах» — это словосочетание передает весь скепсис писателя по отношению к объективной стороне религии,— Акутагава взволнованно и восхищенно отмечает способность человека к подвигу веры, к подвижничеству чести.

Но он не обольщается, не переоценивает этих прекрасных человеческих задатков, не спешит с «осанной», не поднимает указующего перста. Он не ментор, не моралист, он художник, и художник-реалист, глаза его видят мир не в одном и не в двух, а в трех измерениях. Он знает, что добродетель, чувство долга, непоколебимость в служении идее, даже самой почтенной, легко оборачиваются фанатической одержимостью, узостью души, деспотизмом, бесчеловечностью. В новелле «Ком земли» он рассказывает историю молодой крестьянки о-Тами, которая, овдовев, «возложила на свои женские плечи всю тяжесть забот о семье» — мальчике-сыне и старой свекрови. Женщина не щадила себя, «она полола... ночью при свете ручного фонаря», семья не знала нужды, и в школе, на уроке морали — важная подробность! — учитель сказал детям, что о-Тами — «самый замечательный человек во всей округе». Но гребуя такой же хозяйственной неугомонности от желавшей пожить, наконец, в покое свекрови, этот «самый замечательный человек» измучил ее до того, что внезапная смерть о-Тами «безусловно принесла большое счастье» старухе. «Теперь она могла не работать... Такого чувства облегчения о-Суми не помнила за всю свою жизнь». Казалось бы, ситуация исчерпана. Но и эта картина еще не удовлетворяет Акутагава, она для него слишком плоска, слишком контрастна, художнику не хватает в ней глубины. Глядя на детское лицо спящего рядом с ней внука, старуха постепенно приходит к мысли, что ее умершие сын и невестка, а прежде всего она сама, вытерпевшая столько обид,— бессердечные люди. «О-Тами, зачем ты умерла? — не помня себя, твердила она, обращаясь к покойнице. И из глаз ее неудержимо лились слезы...»

Слезы безвестной крестьянки о-Суми вызваны совсем иными эмоциями, чем слезы известного деятеля генерала Ноги, блеснувшие под кистью Акутагава — да, тут и в буквальном смысле «под кистью»! — в третьей части его маленького тетраптиха «Генерал». Этот Ноги, прославившийся взятием Порт-Артура и увенчавший свою славу живого воплощения бусидо самоубийством после кончины императора Мэйдзи, выступает поначалу безумным маньяком, с театральным пафосом посылающим солдат на верную смерть («Налететь стремглав, как будто ваши тела — снаряды!») и наслаждающимся зрелищем казни китайцев-шпионов («Так! Великолепно!»). Собственно, и в дальнейшем это впечатление не снимается, но оно дополняется новыми оттенками, выводящими вещь из жанра сатиры в какой-то другой, трудно определимый, только явно более высокий разряд. Во время спектакля в военном лагере, когда на сцене героически умирает убитый разбойником стражник, у генерала срывается «глубоко взволнованное восклицание: «Молодчина! Настоящий японский молодец!», и «на его загорелых щеках блестят следы слез» (третья часть). В четвертой части — здесь действие происходит уже спустя несколько лет после самоубийства генерала — о нем рассуждает человек другого поколения, юноша, который годится ему во внуки: «Разумеется, он не обыватель. Я могу представить себе и то, что он искренен. Но только такая искренность нам не вполне понятна. И я не могу поверить, чтобы она была понятна тем, кто будет жить после нас».

Тем, кто будет жить после нас, и вообще, может быть, не понять нашей сиюминутной, всегда создаваемой множеством слагаемых ситуации, далеко не всегда понятна она и нам самим. И состав наших слез сложен. Здесь и наш восторг, и наша боль, и наша вина, и наши заблуждения, здесь и та сторона нашего «я», которая делает нас жестокими по отношению к другим. Схватить эту сиюминутность, запечатлеть эту сложность жизни в данный ее миг, не притязая на разрешение загадки бытия, а только пытаясь облегчить, уравновесить его тяжесть, просветлить его мрак искомым совершенством выразительных средств — вот над чем бился Акутагава, вот чего он хотел, и хотел — не побоимся этого слова — маниакально. «Человеческая жизнь не стоит и одной строчки Бодлера»,— это сказано им. Как распорядился он, тридцатишестилетний самоубийца, собственной жизнью, мы знаем.

Но уж отпущенное ему время он не транжирил. Когда смотришь на даты под рассказами, на все эти «август 1916», «сентябрь 1916», «21 октября 1916», в начале творческого пути и на следующие восемь раз подряд «1927» — от начала года до последнего лета Акутагава,— ощущаешь бешеный темп работы, поражаешься чуду ее продуктивности. «Ты пес,— говорит он, обращаясь к «Голосу», а голос этот принадлежит, по-видимому, самой идее искусства,— ты дьявол, который некогда забрался к Фаусту в облике пса». Художник мучается, изнуряются его нервы, разрушается его быт, разбивается его жизнь, он сам платит за свою одержимость той ценой, какую заставляли платить и других неистовая крестьянка и неистовый генерал, а боль художника переплавляется в картины, из которых встает его мир. Старая история, но история каждый раз новая, потому что мир этот всегда нов своими пространственными и временными приметами.

«Разумеется, я потерпел неудачу»,— ска-

зал о себе Акутагава. Что значит «потерпел неудачу», если его читают и любят через пятьдесят лет после его смерти, причем читают и на незнакомых ему языках, если написанные им страницы дышат не только его личной судьбой, но и наполнены воздухом Японии, его Японии?

**С. АПТ**

## ПОЭЗИИ ВОЛШЕБНЫЙ ЛЕС

**Волшебный лес. Стихи зарубежных поэтов в переводе Вильгельма Левика. Серия «Мастера поэтического перевода». Предисловие Б. Слуцкого. Москва, «Прогресс», 1974. 272 стр.**

Перевод, настоящий поэтический перевод представляется мне не копией, сделанной с оригинала, а портретом, писанным с натуры. Следовательно, достойный внимания оригинал видится мне натурой, живым организмом, находящимся в действии. Схватить главные черты этой движущейся натуры, сделать все для того, чтобы впечатление от перевода было таким же, как и впечатление от натуры,— едва ли не самая главная и вместе с тем самая трудная задача переводчика. Ради решения этой задачи есть смысл работать!

Я назвал оригинал натурой и притом назвал эту натуру движущейся. Что это значит?

Поэтический шедевр, созданный Гёте или Байроном, Ронсаром или Мицкевичем, не застывает в своем величии и в своей красоте. И величие и красота их заодно с глубиной меняются со временем, с десятилетиями, со сменой читательских поколений. Переводчик знает все предыдущие попытки перевода того или иного шедевра. И все же что-то подталкивает его к листу белой бумаги и говорит: переводи заново. И он переводит. Почему? Да потому, что выросло новое поколение людей, требующих, чтобы новый переводчик зафиксировал своей художнической скорописью новое восприятие этого шедевра. Можно написать монографию о том, как 66-й сонет Шекспира под пером разных — расставим их в хронологическом порядке — переводчиков звучит по-разному, каждый раз решая новые задачи времени.

Мое сравнение поэтического перевода с портретом имеет основанием не только второе дарование Вильгельма Левика — он еще и живописец. Нет, основание это — в его переводческих принципах. Своей полувековой деятельностью Вильгельм Левик стремился показать, что перевод — это не копия, а портрет, второй оригинал, воспроизведенный в стихии другого языка. Перевод, таким образом, становится двойным портретом: автора оригинала и автора переложения.

Шестнадцатилетним юношей Вильгельм Левик создал перевод из Генриха Гейне — «Зазвучали все деревья», положивший начало не только серии переводов Левика из стихов и поэм автора «Германии». Гейне открыл молодому человеку его призвание.

Как переводчик, он показал нам поэзию многих народов: от таджика Рудаки до литовской поэтессы Саломеи Нерис. Но главное его деяние — переводы стихов и поэм европейских поэтов. Европейская поэзия во всем ее многообразии и на протяжении многих веков: от Дю Белле (XVI в.) до Луи Арагона — нашего современника, от Вальтера фон дер Фогельвайде (XIII в.) до Иоганнеса Р. Бехера — поэта нашего века.

Ступив на путь перевода европейских поэтов, Вильгельм Левик неизбежно должен был встретиться и немедленно встретился с теми, кто дал русской поэзии и русскому читателю поэтов Европы — с Жуковским и Лермонтовым, Тютчевым и Алексеем Толстым, Михайловым и Курочкиным. До соперничества было длительное и почтительное ученичество. Эта школа длится, собственно, всю жизнь.

Русская переводная классика сформировала манеру переводчика, его повышенное стремление к верности в воспроизведении оригинала, его симпатию к гармоническому строю русского стиха, естественности речи, внимание к эпитету, точной рифме, подчас намеренно архаическому словарю. Этот словарь иногда подводит В. Левика, толкая его к архаическому стилю, а следственно, к реставраторству.

Переводя великих поэтов Европы, переводчик должен быть готов к дуэли. Он состязается. Он идет на единоборство с сильными, с сильнейшими предшественниками. Берясь за перевод «Крымских сонетов» Мицкевича, Левик неизбежно вступает в спор с Михайловым и Буниным. Обращаясь к Байрону и Бодлеру, Верлену и Гюго, переводчик вызывает на себя двойной огонь критики и читателя. Подчас он победитель, подчас — побежденный. Это — неизбежно. Но всегда он боец, всегда готов к соперничеству и рыцарскому негласному турниру с разными переводчиками одного и того же произведения.

Гейневская «Лорелея» ведет свое начало в русской поэзии, пожалуй, от Каролины Павловой. Сравнить все попытки воплощения «Лорелеи» по-русски — это воссоздать ее подвижной портрет. Сперва это робкие и неуклюжие стиховые мазки. Потом все уверенней и уверенней схватываются то одна, то другая черты в ее облике, схватываются в надежде, что все они будут схвачены одновременно и окончательно. Вильгельм Левик взялся за перевод «Лорелеи» после того, как у нас было уже множество переводов — и среди них самый лучший, самый поэтичный, на мой взгляд, блоковский. И Вильгельм Левик создал перевод, который имеет право на существование, потому что это мастерски сделанный и отлично звучащий портрет. Конечно, ни один из переводов, включая блоковский, не равен образцу. Но лучшие из них (и среди лучших — перевод Левика) дают живой

портрет, сделанный непосредственно с натуры и живо передающий натуру.

Для воспроизведения столь разных и разнохарактерных европейских поэтов, встретившихся в книге Левика, нужно располагать изрядной переводческой палитрой. Галантный и тонкий Ронсар — это одна манера, одна краска. Витийственный и мощный Гюго — другая краска. Сосредоточенный и глядящий исподлобья Бодлер — третья. В одном случае достаточен пастуший рожок или волынка, в другом же случае не обойтись без органа или оркестра. Умение найти соответствующее общее звучание для того или иного поэта или его произведения, найти одновременно с этим нужную и уместную краску — большое умение.

В книге избранных переводов Вильгельма Левика, изданной в серии «Мастера поэтического перевода»[1], немецкие поэты соседствуют с французскими, английскими, польскими. Такое соседство, такая перекличка обогащают книгу и делают ее из отчетного сборника или субъективной антологии живой книгой для чтения.

Книге предпослано лаконичное и дельное предисловие Бориса Слуцкого. Примечания, к сожалению, отсутствуют. Если б они были, читатель смог бы узнать, например, об интересе тех или иных европейских поэтов к России и русской культуре. Так, представленный в книге Адельберт Шамиссо, научившись русскому языку, перевел один из эпизодов поэмы Рылеева «Войнаровский». К этому переводу Шамиссо присоединил свои стихи «Бестужев». Так возникла перекличка: Рылеев—Шамиссо. А сколько таких перекличек внутри каждой из европейских литератур! Эти переклички продолжаются на территории книги Левика, книги антологического типа. Да и сам этот сборник воспринимается мной как место встречи поэтов разных эпох и творческих индивидуальностей.

У книги «Волшебный лес» несколько планов. Первый: поэты общаются внутри своего народа и своей страны. Второй: поэты Европы общаются друг с другом, преодолевая границы государств и пределы языков. Третий: европейская муза обретает свою родину в России, тепло принятая в нашем веке и в предыдущих веках.

Вчитываясь в Гёте и Шиллера, Бодлера и Рембо, Шелли и Китса, мы ясно и четко определяем для себя характерные черты этих поэтов. Но наступает момент в нашем чтении, когда ясно и четко выраженные черты лица поэтов позволяют нам увидеть и черты лица переводчика. Специально не наделяя переводимых поэтов своими чертами, он тем не менее запечатлелся в своих переводах. Таково чудесное свойство этого искусства: сквозь образ переводимого поэта, как косточка сквозь виноградину, проступает образ переводчика.

«Левик переводит не только ямбы — ямбами, хореи — хореями, но и вдохновение — вдохновением, красоту — красотой»,— писал Корней Чуковский. Зная те европейские языки, с которых он переводит, Вильгельм Левик знает и то, что поэзию надо переводить не только с французского на русский и с английского на русский, но и на язык поэзии. Это самое трудное, но и самое существенное. Сделать так, чтобы «Жница» Уланда, «Моему ручью» Ронсара, «Желание» Эредиа, «Облако» Шелли, «Холостяк» Ленау, «Картофель» Тувима звучали как русские стихи, свободно и естественно, без тени «переводизма», без налета переводческих штампов — серьезное дело, не частая удача.

В самом начале этой рецензии я уже сказал, что настоящий поэтический перевод представляется мне не копией, сделанной с оригинала, а портретом, писанным с натуры. Различные поэты Европы оказались на одном полотне. Получился своего рода групповой портрет. Фигуры первого и второго плана естественно расположились на холсте. Автор портрета — в данном случае переводчик Вильгельм Левик — удачно расположил эти фигуры. Мы чувствуем композиционное своеобразие этого группового портрета.

Были случаи, когда художники прошлого скромно, где-то сбоку, вписывали в групповой портрет и свою фигуру. А подчас эта фигура вписывалась и на первом плане. Так или иначе, сам художник входил в творимый им групповой портрет. В групповой же портрет, созданный книгой Вильгельма Левика «Волшебный лес», он, разумеется, себя не вписал. Ему — отдельно взятому — не посвящен ни единый миллиметр портретного полотна. И вместе с тем переводчик вписан в сотворенный им групповой портрет. Вписан своим тщанием, своей пристальностью, своим, наконец, темпераментом, слившимся с темпераментами переведенных им поэтов.

**ЛЕВ ОЗЕРОВ**

[1] Книги из этой серии рецензировались в «Иностранной литературе» № 5, 1968; № 9, 1970; № 11, 1970.

## *Издано за рубежом*

### НАЧАЛО НОВОГО ПУТИ

**Radu Ciobanu. Dreptul de a începe. Bucureşti, Editura Eminescu, 1974.**

История военных лет и в особенности события, непосредственно связанные с днем 23 августа 1944 года, с освобождением Румынии от фашизма, в последнее время привлекают все большее внимание румынских писателей. Воссозданию сложной картины тех лет, политической и социальной, размышлениям о смысле событий, становлению человеческих судеб на перепутьях истории посвящены новые

книги Александру Ивасюка «Вода», Ал. И. Штефэнеску «Человек, приходящий в воскресенье» и Раду Чобану «Право начинать».

Опубликовав свой первый сборник рассказов в 1970 году, Раду Чобану выступает с тех пор почти ежегодно с новыми произведениями. Так, в 1971 году вышел его роман «Закат», удостоенный премии Союза румынских писателей, а в 1973 — роман «Ступени Диотемии».

В первых же книгах Раду Чобану заявил о себе как писатель пытливый, мыслящий, стремящийся к социальному анализу и, в одинаковой мере, к осмыслению движений человеческой души.

«Право начинать» — роман об одном дне, о «самом длинном дне» в современной истории Румынии, а именно: дне Освобождения — 23 августа 1944 года. Интересен ракурс, в котором представлена хроника этого дня,— через восприятие коммуниста-подпольщика, молодого врача Теофила Кристи.

По указанию партийного комитета, чтобы избежать ареста, уже несколько месяцев он скрывается в подвале старого дома, населенного трудовым людом. Его общение с внешним миром осуществляется благодаря молодой девушке Дине и хозяину газетного ларька Саве Тому — оба они связаны с коммунистической партией. Длинная и узкая щель, через которую проникает свет в подвал, дает возможность Теофилу Кристе наблюдать за жизнью обитателей дома. Так он узнает, что среди них у него есть единомышленники — однажды нагрянув, румынская полиция арестовывает рабочего-коммуниста Андрея Бадю.

Воспоминания о своей прежней жизни, о работе в больнице, о родителях, размышления о собственной судьбе, которым предается оказавшийся в заточении подпольщик, прерываются известием о выходе Румынии из гитлеровской коалиции и ее переходе на сторону союзных армий.

Раду Чобану живо и достоверно передает ту особую атмосферу томительного ожидания, неясных перспектив, которая поздним вечером 23 августа 1944 года сменилась ликованием и энтузиазмом, охватившими весь город.

В стремительном, подчеркнуто динамичном темпе развертываются дальнейшие события. Первые стихийные митинги, выступления — люди жаждут действовать, принять участие в борьбе против гитлеровской армии, которая все еще остается в Бухаресте и в его окрестностях. Поступают сведения о прорыве Советской Армией фашистского фронта в направлении Кишинев — Яссы, о ее продвижении к Бухаресту. Формируется народное ополчение, рабочие батальоны. Нацисты пытаются бомбить Бухарест. Рабочие батальоны и части регулярной румынской армии, повернувшие оружие против гитлеровцев, громят их в столице и ее пригородах.

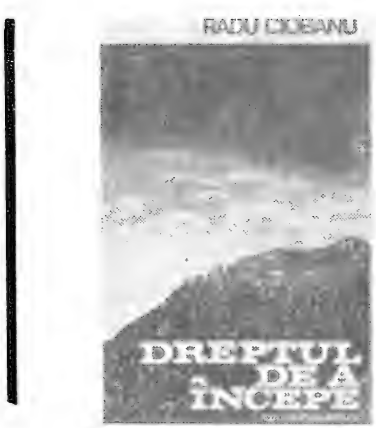
Однако не только хроника бурных событий этого дня привлекает писателя, хотя ему нельзя отказать в умении создать яркую, запоминающуюся картину. Этот день предстает в романе как символический рубеж для всего народа и для каждого человека в отдельности. «В те первые 24 часа,— говорит Теофил Кристя,— каждый из нас и все вместе мы жили только мыслью о борьбе, которая должна была принести право обрести самих себя. Люди, которые не поняли этого, скрылись, исчезли. Тот, кто понял, только с этого дня и начал жить по-настоящему...»

Именно мысль о рубеже, о необходимости найти свое место в борьбе, которая открывала дорогу к новой жизни, глубоко прочувствована и выражена в емком, сжатом повествовании Раду Чобану. В тот знаменательный день все только начиналось, но именно тогда определялся дальнейший путь и для героев романа, и для всей страны.

В решающей схватке с врагом героически погибает старый подпольщик Андрей Бадя, но его дело продолжают молодые — дочь Нора, Теофил Кристя, Дина. Оптимистическим финалом, подтвержденным дальнейшим ходом истории, заканчивается рассказ главного героя Теофила Кристи о памятном дне 23 августа 1944 года. «Теперь вперед! — крикнул я, и мы все трое поднялись и вместе с сотнями других как и мы, ожидавшими в темноте сигнала к наступлению, ринулись в бой».

**ТАТЬЯНА НИКОЛЕСКУ**

г. Бухарест




## ЛИРИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ ИСТОРИИ

**Tisíc let české poezie. Praha Československý spisovatel, 1974.**
**I. Stará česká poezie. Vybral a uspořádal Josef Hrabák.**
**II. Česká poezie XIX. století. Vybral a uspořádal Vladimír Forst.**
**III. Česká poezie XX. století. Vybral a uspořádal Milan Blahynka.**

Многовековой путь чешского поэтического искусства — от его слабо различимых истоков, теряющихся в глу-

бокой древности, до высокоразвитого современного этапа — вместила в себя антология «Тысяча лет чешской поэзии», выпущенная издательством «Чехословацкий писатель» к своему 25-летнему юбилею.

Издававшиеся до сих пор антологии строились, как правило, на материале литературы XIX—XX веков, так как именно ее произведения находятся в постоянном обращении у современного читателя. Составители юбилейной антологии нарушили сложившуюся традицию, напомнив, что чешской поэзии — не двести, а тысяча лет. Включение древнейшего периода позволяет охватить чешскую поэзию во всем ее хронологическом объеме, помогает проследить зарождение и нарастание присущих ей качеств, делает ее восприятие более осмысленным. В контексте тысячелетия явственно проступает закон преемственности эпох и резче оттеняется их своеобразие.

Старочешская культура принадлежит не только антикварам и кабинетным ученым. Она, как подчеркивается в предисловии к первому тому,— неотъемлемая часть культуры современной. Целый ряд произведений, относящихся к древнейшей эпохе, до сих пор не утратил своей эстетической ценности. Многие из них входят в живой фонд национальной культуры — и это так же естественно, как органически вписываются в современный облик городов бережно охраняемые дома и улицы средневековья, и шум сегодняшней Праги не заглушает начертанные на пьедестале одного из ее памятников строки старинной духовной песни:

Святой Вацлав, воевода земли чешской,
Не дай погибнуть ни нам, ни потомкам нашим.

Читатель найдет ее и в антологии. Вместе со старославянской молитвой она открывает первый том, посвященный периоду X—XVIII веков. Эти песни — как два родника, забившие из самых недр жизни, из глубины человеческих сердец. В них — мольба о хлебе насущном, о мире, просьба защитить от силы вражьей. Прозвучав на заре развития чешской поэзии, они как бы определили тему для вариаций, которые в разной инструментовке зазвучат и в более поздние века.

Скованная религией и средневековыми догмами, чешская поэзия уже в свой ранний период тяготеет к реальности. Отступая от канонических библейских сюжетов, ее авторы живописуют быт и нравы своего времени. Так возникло, например, ответвление от литургической пасхальной драмы — сатирическая комедия «Продавец мазей» (XIV век), фрагмент которой представлен в антологии. Вниманием публики в ней полностью завладел простолюдин — грубоватый, насмешливый, остроумный рыночный торговец. А в отрывках из «Далимиловой хроники» (начало XIV века) отчетливо проявляется общественный темперамент чешской поэзии, та страстная заинтересованность, с какой относится она к жизни. Превышая свои функции летописца, регистратора событий, ее автор негодует, бранится и взывает к патриотическим чувствам сограждан, когда рассказывает о колонизации чешских земель, об иноземцах, попирающих права исконного славянского населения.

В антологию включены отрывки из житийной литературы и светской лирики, из рыцарского эпоса и средневековой дидактики, боевые гуситские хоралы, обращавшие в бегство войска Сигизмунда, который возглавлял крестовые походы против гуситов, и стихи Яна Амоса Коменского, прославленного гуманиста и педагога, заложившего основы современной педагогики.

Четвертая часть первого тома — поэзия побелогорского периода, вошедшего в историю как период «тьмы». Она окутала чешские земли после разгрома антигабсбургского восстания и поражения чехов в битве на Белой горе в 1620 году. Чешские земли становятся бесправной провинцией Австрии, а национальная культура, давшая миру Гуса и Коменского, подвергается гонению иезуитов, ревностно искоренявших «ересь» гусизма. Чешский язык вытесняется из городов и замков в крестьянскую среду, и народное творчество становится чуть ли не единственной формой бытования чешской словесной культуры. Песни, баллады, молитвы отражают страдания крестьян и нарастание бунтарских настроений, которые приводят к антифеодальным восстаниям.

Только подъем общественного движения в конце XVIII века, ослабление режима Габсбургов делает возможным возрождение литературы на чешском языке. Если поэзия древности была социально неоднородной — она возникала в монастырях и поместьях, в сельских избах и домах горожан и выражала интересы разных общественных слоев,— отныне она возрождается как искусство подневольного народа. Ее творцы — сыновья бедных ремесленников, лавочников, крестьян. Выплеснувшись из народной среды, чешская поэзия и впредь сохранит с ней самые непосредственные контакты, чутко реагируя на чаяния масс, неизменно отражая их стремление к преобразованию жизни.

Путь чешской поэзии XIX века отмечен праздниками рождения блестящих талантов, художников слова, творчество которых щедро представлено во втором томе антологии. В него вошли произведения Франтише-

ка Ладислава Челаковского, отрывки из поэмы «Дочь славы» Яна Коллара (20—30-е годы XIX века). Создавая стихи в духе русских былин и чешских песен, Челаковский подчеркивал глубокое родство славянских племен и указывал на животворные источники народного искусства, способного питать и творчество профессионалов. Поэт чешского классицизма, Ян Коллар проповедовал с поэтического амвона идею братства славян, в котором видел залог грядущего освобождения родины.

Поэма Карела Гинека Махи «Май» (1836) вобрала в себя беспокойную предреволюционную атмосферу тридцатых годов. Маха острее других чувствовал трагедию бесправного народа. Он первым среди своих соотечественников выразил смятение и мужество человеческой души, бросившей вызов богу и людям, восставшей против привычного бытия. Поэма Махи, рассказавшая о бунте и гибели человека, свободна от аллегорий, патетики, архаизмов. Она до сих пор покоряет читателя силой сокрытого в ней лиризма, музыкой слова, естественностью и чистотой языка, способного передать сложнейшие ощущения:

Ушла его мечта, как легкой тени взлет,
как образ городов, погибших в лоне вод,
как мысль умершего, как мертвых имена,
как сполох севера, мечей булатных стук,
как арфа смолкшая, утихшая струна,
как дальней музыки неповторимый звук...

*(Перевод В. Луговского и А. Голембы)*

Сдержанность красок, четкость мысли, большая гражданская целеустремленность отличают творчество Яна Неруды, утверждавшего реалистические принципы в искусстве. Среди своих соотечественников Неруда одним из первых заметил и приветствовал чешский пролетариат, предчувствуя в нем зреющую революционную силу. «Это наш величайший поэт, который заглядывал далеко в будущее и видел дальше нас»,— писал Юлиус Фучик, завещая потомкам свою любовь к нему. В антологию вошли баллады и романсы Неруды, стихи из «Космических песен» (1878) и «Простых мотивов» (1883), чеканные строки стихотворения «Только вперед», выразившие боевой дух нерудовского искусства:

И если гром сраженья снова грянет,
Гуситский гимн иной размах возьмет.
И все железо вдруг оружьем станет.
В крови железо зазвучит — вперед!

*(Перевод Н. Асеева)*

По произведениям, вошедшим в третий том, по стихам А. Совы, П. Безруча, С. К. Неймана, И. Волькера и других можно проследить стремление поэзии — сначала безотчетно стихийное, а затем все более сознательное, поддержанное эстетической концепцией,— отразить и осмыслить ту революционную новизну, которую принес с собой XX век.

В начале 20-х годов уверенно заявляет о себе пролетарское направление в искусстве, которое ложится в основу чешской литературы социалистического реализма. Его сторонники, вдохновленные Октябрьской революцией в России, осознают, что образование Чехословацкого государства (1918), обретение национальной свободы не решило всего комплекса острых жизненных проблем. Трудящееся большинство по-прежнему оставалось бесправным и нуждалось в более глубоких общественных преобразованиях. Прогрессивная поэзия выступает в его поддержку. В «Красных песнях» (1923) С. К. Неймана, одного из основателей Коммунистической партии Чехословакии, звучит присяга верности пролетариату, Советской России. Он четко обозначает линию противоборствующих фронтов, клеймит буржуазию, поддерживает словом поэзии атакующий класс. Молодой поэт Иржи Волькер с большим драматизмом и искренностью раскрывает процесс духовного созревания человека, осознавшего себя революционером (сборники «Гость на порог», «Час рождения», 1921—1922). В создании пролетарского искусства участвуют Й. Гора, И. Горжейший, Й. Гауссман, К. Библ, своеобразно сформулировавший закон «земного притяжения», которому была подвластна и поэзия:

Коня крылатого, поэт, седлать не станем.
Нам не витать в заоблачном просторе.
К земле притягивает нас любовь, и гнев
и горе.
Мы эту землю не оставим.

*(«Пролог». Перевод Л. Мартынова)*

К социалистическому реализму приходит «удивительный кудесник» чешского стиха Витезслав Незвал, чье творчество отмечено интенсивностью эстетического поиска и непоколебимостью коммунистических убеждений. Осознав историческую миссию революции, он видит в ней путь к обновлению мира:

Мы были свидетелями эпох,
Когда вымирали династии,
Когда гибель царей влекла гибель царств.
Как землетрясение — гибель города.

Достаточно вспомнить об этих днях,
И постигнешь, что такое война,
И великая революция,
И поэты фантасмагорические,—

*(Перевод Л. Тоома)*

писал он в 1924 году в стихотворении «Памяти Владимира Ильича Ленина».

---

СРЕДИ КНИГ

Особенно мощный приток сил чешская социалистическая поэзия испытывает начиная с 1945 г., доминируя в послевоенном искусстве Чехословакии. Оно не выделено в особый раздел книги, но характер его отчетливо проступает в подборке стихотворений В. Незвала, Ф. Галаса, М. Пуймановой, Ф. Грубина, В. Завады, Ф. Нехвата, Ф. Бранислава, И. Тауфера, Й. Кайнара. Для многих из них именно послевоенные годы стали периодом зрелости и творческих побед.

Открытая проблемам, волнующим человечество, современная чешская поэзия по-прежнему крепко связана с родной землей и уходит в нее своими корнями. Приветствуя социалистические преобразования, изменившие облик страны, осознавая драматизм борьбы за мир, социализм, за победу человечности, она не тяготеет к поверхностному оптимизму, а стремится честно и глубоко разобраться в непреходящих сложностях бытия.

В ней сосуществуют разные темы, стилевые тенденции, жанры. поэма и лирическая миниатюра, раскованный, свободный стих и классический сонет, пришедший из колларовских времен. Обновленная, интенсивно ищущая соответствия между развивающейся действительностью и выразительными средствами стиха, она не теряет контактов с вековой национальной культурой. И в обращении к традициям видит не проявление консерватизма, а показатель весомости творчества, его зрелости и полноты.

В своем постоянном движении вперед поэзия ничего не должна терять из достигнутого. И сегодня, в век освоения космоса, нельзя растрачивать богатства души, терять завещанную предками способность сильно чувствовать, любить, восхищаться вечной красотой земли. Эта мысль прекрасно передана в стихотворении Ф. Грубина «Деревья листву надевают» (том III). Он варьирует в нем строки старинного чешского стиха того же названия (том I), которые помогают автору XX века создать гимн во славу своего современника:

Я человек, мне ничего не страшно, ибо я
человек
одолеваю кручу за кручей,
а соловьи все поют
и пьют свое отражение в сонной воде
запруд,
но теперь-то я знаю, что звезд миллионы;
я выше теперь и сильней,
я старую жизнь разломать сумею,
май, ты меня не жалей!

. . . . . .

Все умнее создания рук моих
для того, чтоб во имя нового века
мозг и сердце развили во мне
все, что мне не хватает до человека.

*(Перевод Е. Храмова)*

В заключительный том введены отрывки из «Песни мира» В. Незвала. Тысяча лет отделяет ее от древней молитвы о мире, открывающей антологию. Их трудно сравнивать между собой. Но все же какое-то сопоставление возможно. Эти две песни, как две далеко отнесенные друг от друга опоры, скрепляют одну из сквозных тем чешского искусства. Извечно стремление простого человека к жизни под мирным небом. Но поэт средневековья обращался в своих надеждах к богу. Поэт XX столетия — к человечеству. Именно в его руках судьбы мира. В активности добра — гарантия победы над злом:

Пою песнь мира! Я зову
Всех вас, живущие на свете.—
Мужчины женщины и дети,
Что жаждут счастья наяву.—
Пою песнь мира.

. . . . . .

Как день, что радостью богат,
Как счастье, что зовет к рассвету,—
Я вас зову на площадь эту,
Зову ударами в набат,
Пою песнь мира.

*(Перевод С. Кирсанова)*

Создание антологии — трудное искусство. Составителя можно сравнить с дирижером, от опыта и мастерства которого зависит звучание оркестра и правильность трактовки сыгранного произведения. Неумелый отбор текстов может нарушить естественные пропорции в соотношении эпох, тем, методов, свойственных каждой литературе, исказив облик отдельных поэтов и поэзии в целом. В данной антологии этого не происходит. Составителям — профессору Й. Грабаку, литературоведам В. Форсту, М. Благинке — удалось главное: воссоздать дух и характер чешской поэзии, показать этапы ее пути, глубины, и взлеты, и роль, которую играла она в судьбе народа. Составители подчеркнули самые сильные ее стороны — демократизм, гражданственность и высокий эстетический уровень.

**Л. БУДАГОВА**

## ЧЕЛОВЕК, МЕЧУЩИЙСЯ В ВАКУУМЕ

**Joseph Heller. Something Happened. New York, Alfred A. Knopf, 1974.**

Уже сама по себе публикация второго романа Джозефа Хеллера «Что-то случилось» является крупным литературным событием, но она может быть расценена и как проявление исключительной смелости. Тринадцать лет прошло пос-

ле выхода «Уловки-22» [1]. За эти годы творческое молчание Хеллера нарушила лишь публикация пьесы, носившей зловещее название «Мы бомбили Нью-Хейвен»,— и приходилось строить догадки о том, вынашивает ли писатель следующую книгу и можно ли надеяться, что он напишет еще что-либо значительное.

Прежде всего возникали широко распространенные, но справедливые соображения о том, какие опасности подстерегают у нас в Америке автора первого блестящего романа — как часто прежде наши обещающие молодые романисты, оказавшись в этой сложной психологической ситуации, бывали настолько выбиты из колеи большим успехом в самом начале творческого пути, что переставали писать. Возможно, их новые книги не увидели свет потому, что они не рискнули поставить под удар свою репутацию знаменитостей, а может быть, столь широкое признание заглушило в них тот творческий импульс, который был вызван к жизни главным образом жаждой известности.

Итак, сложности, с которыми столкнулся Хеллер, решившись написать второй роман, были заложены как в огромной популярности «Уловки-22», так и в художественном своеобразии его первого романа. Ему нужно было не только набраться смелости рискнуть потерпеть поражение, которое могло бы стать для него катастрофой,— ему предстояло творчески и психологически перестроиться, избавиться от губительного для дальнейшей работы представления о себе как об авторе «Уловки-22». И это несравненно труднее сделать тогда, когда книге, которая принесла ему известность, присущи своеобразие интонации и языка, особый авторский стиль, и искушение пойти по этому надежному пути непреодолимо — так было, например, с Хемингуэем, который не мог уже писать вне рамок той стилистической манеры, которую он открыл в молодости и которая получила широкое признание. Короче говоря, было бы совершенно естественно для Хеллера устремиться вслед за «Уловкой-22». Он мог бы избрать путь самоподражания и написать еще один или несколько вариантов «Уловки-22». с каждой новой книгой поднимая свою комедию на еще один порядок — «Уловка-32», «Уловка-42», «Уловка-52» — и каждый раз по-новому обыгрывая этот удачный каламбур.

Однако его новый роман со всей очевидностью свидетельствует о том, что природа оригинальности его писательской манеры — совсем иная, ее определяет непрестанный поиск новых творческих путей и стремление углубиться во все более и более сложные области сознания. Движущим импульсом романа является самообновление, а не самоподражание, и использованные писателем средства, не будучи чем-то производным от его прежней работы полностью отвечают этой задаче. Бесспорно, «Уловка-22» и «Что-то случилось» написаны одним автором. Интонационная и стилистическая общность этих романов совершенно очевидна. Но в последней книге Хеллер раскрыл свое заметно омрачившееся мировосприятие на совсем ином, гораздо более сложном материале. Он обнаружил новые области своего творческого воображения и создал выдающееся литературное произведение, столь же яркое, как «Уловка-22», но еще более талантливое и глубокое — блестящее, отточенное размышление об американской жизни, произведение, которое, без сомнения, можно назвать самым значительным романом, вышедшим в нашей стране по крайней мере за последнее десятилетие.

Определяя размеры творческого успеха Хеллера, прежде всего необходимо отметить мастерство, с каким решена им бесспорно самая сложная из проблем, стоящих сегодня перед американским романистом: как передать драматизм жизни, а главное — показать значительность конкретного опыта личности в тот момент нашей культурной истории, когда доминирует сознание его **незначительности** и когда эта убежденность выливается в широко распространенную депрессию, болезненные состояния психики и страх, порождаемый всепроникающим чувством иссякающей, бесполезно растрачиваемой жизненной энергии сознанием действия энтропийных процессов в обществе и во внутреннем мире человека.

Центральной проблемой социального романа, на котором остановил свой выбор Хеллер, всегда была дилемма человека, живущего в мире, который осуществляет связь с ним, каким-либо образом вмешиваясь в его поиски эмоциональной свободы. В таком романе драматическим стержнем становилось, как правило, решение этой проблемы — открытие или неумение открыть для себя какие-то возможности привести в равновесие свои желания и требования общества. Сегодня эта личность страдает не от столкновения с подавляющими ее общественными силами, а от видимого отсутствия в нашем обществе каких-либо социальных сил, которые могли бы принять участие в подобном конфликте. Это наполняет человека гнетущим сознанием, что общество в целом не имеет лично к нему никакого отношения. Психическое состояние такой личности определяется постоянным сознанием утраты и непониманием того, что же именно было утрачено. И поэтому ее мировосприятие — это не героическая воинственность, так как врага найти не удается, а агрессивная паранойя, потому что в обществе, не обнаруживающем какого-либо здравого основополагающего принципа, может произойти все что угодно, а возможно, и произойдет, и буквально каждый может вдруг, без видимых на то причин превратиться в твоего врага. Единственной реальностью становится постоянная вероятность катастрофы, поскольку ничего нельзя знать наверняка и ни на что нельзя положиться, а поведение людей, не разделяющих общих моральных

[1] Джозеф Хеллер. Уловка-22. М., Воениздат. 1967.

убеждений и не имеющих оснований быть добрыми друг к другу, нельзя предсказать. «Сегодня в парке застрелили человека,— говорит Хеллер,— никто не знает почему. Никто не несет ответственности». Отделение действия от его мотива, события — от причины создает анархию в общественном сознании.

Общественные науки снабдили нас всеми необходимыми и теперь уже превратившимися в клише описаниями этой дилеммы — отчуждение, распад, деперсонализация, кризис самосознания, футурошок,— и нас приучили думать этими категориями, которые стали для нас теми абстрактными и всеобъемлющими проблемами, которые сегодня, кажется, уже не имеют отношения к нашей частной жизни просто потому, что они представляются слишком абстрактными и общими. На деле же все это имеет к нам самое непосредственное отношение: мы живем с сознанием абстрактности нашего опыта, в эпоху, когда научная его классификация служит лишь усугублению абстракции, заставляет нас чувствовать себя вдвойне отстраненными от конкретной реальности нашей жизни. Таким образом, задача, которую поставил себе Хеллер — попытаться непосредственно отразить эту дилемму в романе,— была поистине чрезвычайно сложной. Явление, которое мы привыкли воспринимать сквозь призму стереотипных формулировок, требовало художественного воплощения, писателю нужно было претворить его в конкретные обстоятельства личной жизни своего героя, перевести с языка макрокосма общей социальной теории на язык микрокосма конкретной социальной истины. Можно было бы говорить о большом творческом успехе Хеллера даже если бы ему удалось лишь вдохнуть подлинное чувство в современный роман, но передать трагизм жизни в которой отсутствие человечности является не только ее существом, но и главным объектом размышлений,— едва ли не творческий подвиг.

Хеллер достигает этого благодаря блестящему владению психологическим реализмом. Его тема — общественная и психологическая энтропия, материал — поток впечатлений и воспоминаний в сознании главного героя романа — служащего средних лет по имени Боб Слокум, который одержим выявлением доказательств действия энтропийных процессов внутри себя и в обществе. Сознание Слокума является центром драмы и по существу исчерпывает ее содержание. Объективная реальность, по сравнению с его субъективным восприятием, еще не имеет в жизни Слокума существенного значения. Поэтому совершенно закономерно социальный контекст, в котором и на материале которого работает его сознание, воспроизведен лишь на полях: его семья, сотрудники, друзья и любовницы показаны главным образом через его восприятие. Подобно герою «Записок из подполья» Достоевского, Слокум — человек, мечущийся в вакууме, и характер его метаний заставляет нас без колебаний причислить его к галерее антигероев.

Воссоздавая работу сознания Слокума, Хеллер столкнулся с еще одной технической трудностью: перед ним встала задача передать драматизм состояния острого психического неблагополучия, которое сегодня можно справедливо назвать наиболее распространенным у нас — **нормальным** — состоянием человеческой психики, и читатель не должен воспринимать его как действительно психическое расстройство. Хеллеру предстояло разрешить еще одну проблему — необходимо было показать, что болезненность мировосприятия Слокума как раз и состоит в отсутствии объективных причин подобного состояния. И действительно — реальные факты жизни Слокума должны способствовать обретению душевного равновесия: материальное благополучие и комфорт, обилие свободного времени, профессиональный успех, прочные супружеские отношения и довольно значительное количество сексуальных развлечений с привлекательными женщинами — вне расписания. Однако эти обстоятельства и являются источником его страданий, потому что он постоянно ищет и не находит в них смысла. Слокум мучительно пытается обнаружить в своем прошлом что-то, что непонятным образом убило в нем человека, с надеждой смотревшего в будущее, увлеченного своей работой, доверявшего людям и способного любить,— теперь он ничего не ждет, никому и ни во что не верит, меньше всего в себя самого, и не может с уверенностью сказать, любит ли он и любим ли,— его преследует мысль о неминуемом несчастье. Ведь однажды уже случилось нечто ужасное, породившее его постоянный страх,— а если что-то страшное не произойдет, тогда, может быть, уже вообще ничего не случится?

В психологическом состоянии Слокума вполне можно увидеть социологическое клише, сплав статистических данных, извлеченных на свет прямо из досье социолога. Его образ, безусловно, можно назвать и литературным клише, но мастерство большого художника дало ему жизнь и неповторимую индивидуальность. Слокум — белый англосаксонского происхождения, средних лет, женат, имеет троих детей. Он много зарабатывает и владеет комфортабельным домом, построенным на дорогостоящем участке земли в штате Коннектикут. Он играет в гольф и будет играть еще чаще и с более важными партнерами, когда займет новый пост, который ему предложили. Условия его жизни очень типичны для его класса, и тем не менее он сознает, что живет в аду, населенном демонами, которые до некоторой степени реальны, а отчасти созданы его больным воображением. Корпорация, в которой он служит, обеспечивает ему благосостояние и престиж, но не дает возможности проявиться его способностям.

Слокум живет в постоянном страхе, что жизнь, которая представляется ему бессмысленной, зайдет в абсурдный бюрократический тупик. И его рабочие часы наполнены страхом и недоверием к сослуживцам.

Дома он боится и подозревает своих близких, хотя по-своему любит их, в особенности старшего сына, с которым, он уверен, случится что-то ужасное. Младший сын Слокума — умственно отсталый ребенок, и Слокум ненавидит его за это. Жена Слокума — интересная, образованная женщина, но ей скучно. Она уже начала пропускать рюмочку-другую в середине дня и флиртовать на приемах. Совершенно очевидно, ей хотелось бы завести роман, но Слокум надеется, что этого не произойдет. С женой его связывают только радости секса, и чтобы не утратить их, Слокуму хочется сохранять иллюзию, что жена принадлежит ему одному.

Дочь Слокума, угрюмая и упрямая девочка, изводит родителей постоянными упреками, что они ее не любят. Часто эти истерические сцены заставляют Слокума ненавидеть дочь. Его размышления о ее будущем — злой, но блестящий социологический прогноз. Слокум предвидит осложнения и несчастья со всеми детьми, и в отношении старшего сына его пророчества сбываются. Мальчика, склонного (по крайней мере, в той же степени, что и сам Слокум) к болезненным страхам перед возможными опасностями, убивает машина, въехавшая на тротуар. Наконец, произошло нечто ужасное, и теперь, кажется, со Слокумом наверняка уже больше ничего не произойдет.

В какой-то момент этого поразительного и напряженного повествования личная и общественная история сливаются, и образ Слокума поднимается до обобщения. Ему присуще сознание невозможности отделить то, что происходит с ним, от событий, происходящих в мире. «Это шизофрения,— спрашивает он себя,— или просто нормальная, естественная, целостная, логическая, универсальная шизоидная система?» Постоянно занимающие его проявления активного всеобъемлющего процесса распада, все его поведение настолько вызывающи, что кажется — он опасно близок к безумию. И вместе с тем его бурная реакция на происходящее настолько естественна, что по ней можно судить, насколько не способно живо реагировать на жизнь большинство из нас.

На редкость убедительно Хеллеру удалось сказать правду о некоторых из наиболее неприятных сторон нашей жизни, он сумел раскрыть драматизм кризиса, который проявляется в гораздо более зловещих формах, чем нехватка горючего и истощение природных ресурсов, разваливающаяся экономика и отравление окружающей среды. Созданный им художественный образ современной Америки может показаться слишком мрачным, демоническим, навеянным галлюцинациями, но подлинность этого образа ранит душу. Все говорят, что мы утратили какое-то широкое понятие о себе, представление, которое придавало значение прошлому, давало надежду на будущее и помогало перенести настоящее. Что-то случилось. Хеллер не пытается сказать нам — что именно. Как большинство настоящих художников, Хеллер олицетворяет враждебную нашему душевному покою творческую силу, которая призвана будить наше сознание, и служит лишь мучительным поискам истины.

**ДЖОН У. ОЛДРИДЖ**

г. Нью-Йорк

## ПИСАТЕЛЬ ИЗ МАЛЬГУДИ

**R. K. Narayan. My Days. «Illustrated Weekly of India». June 16 — September 15, 1974.**

Книга писателя о себе всегда вызывает особый интерес — она не только заставляет по-новому взглянуть на его творчество, подвергая более глубокой оценке (а порой и переоценке) известные ранее факты его творческой биографии, не только раскрывает спрятанные до того в подтексте настроения и детали и шире знакомит с литературной и общественной жизнью страны, но и дает возможность по-новому взглянуть на писателя как на человека. И чем крупнее писатель, тем интереснее его биография и для специалистов-литературоведов, и для обширной читающей публики.

Именно такой широкий спектр — человеческий, литературный, историко-культурный, социальный и политический — отличает автобиографическую книгу известного индийского писателя Р. К. Нарайана. «Мои дни» — назвал ее писатель. Книга и представляет собой, как может показаться на первый взгляд, рассказ о «днях жизни» писателя в их обыденном, привычном течении. Детство и отрочество, школа, друзья и многочисленная родня, поиски работы, учительство в деревне, робкие литературные начинания, издатели, собратья по перу, первые успехи... В подчеркнуто «личном» повествовании мы не найдем ни портретов видных писателей или общественных деятелей (хотя порой они и появляются в некоторых эпизодах), ни характеристики политических движений и событий (хотя они и составляют широкий фон всего, о чем повествует писатель), ни прямых обобщений и выводов. Однако за каждым из небольших эпизодов, из которых складывается книга, ощущаются целые пласты национальной истории, сложнейшие конфликты середины века, видятся события, определившие ход мировой истории. Воспоминания детства (писатель родился в 1906 году) — травля мальчика-индуса в лютеранской миссионерской школе (школа эта фигурирует во многих произведениях Нарайана как школа миссии Альберта), проповеди христианских священников на улицах индийских городов, стычки и бои, пусть еще мало осознанные юными горячими головами,— и на страницах книги возникает тема национально-освободительного движения в предвоен-

ной Индии. Рассказ о годах учения в колледже и учительстве в далеких заброшенных городках и деревнях нагляднее характеризует политику Британской империи в области образования и культуры колониальных стран, чем многие страницы ученых исследований. В памяти всплывает один из героев ранних романов Нарайана. («Учитель английской словесности»), молодой учитель Кришну, с болью и гневом говорящий о том, что вся система образования в колониальной Индии подчинена одной цели: подготовке «послушных клерков для Британской империи».

Не менее выразительны и те главы книги, в которых описываются судьбы друзей, однокашников, родственников писателя. Короткие, часто на полстранички новеллы, с присущей Нарайану лаконичностью воссоздают истории целых жизней. Запоминается рассказ о старшем брате отца Нарайана, посвятившем себя просвещению детей бедняков и публикации памятников тамильской литературы. Он умер после восьми лет подвижнической жизни в трущобах от истощения... Таких страниц в книге немало.

Конечно, в центре автобиографии — фигура самого писателя. Глаза его широко открыты, но взгляд обращен не на себя, не в глубь собственной души, хотя он и фиксирует четко собственные реакции, а на окружающий мир. Национальная культура и образование в годы колониального владычества, движение за национальное освобождение, судьба женщины в семье и обществе, положение крестьянской и городской бедноты — эти и многие другие важные аспекты жизни в колониальной Индии нашли отражение в автобиографии Нарайана.

«Мои дни» охватывают более пятидесятилетия в жизни Нарайана и его современников — от первых детских впечатлений до публикации «Гида» в 1958 году. Говоры, запахи, народные поверья, обычаи, тончайшие оттенки национальной психики и быта находят свое отражение на этих страницах. Нарайан легко переходит от одной тональности к другой — тут и лирические воспоминания, и сатирические портреты, и трагическое повествование о смерти жены и близких, и сдержанный, чуть иронический рассказ о собственных злоключениях в борьбе с бедностью и равнодушием издателей. Повествование Нарайана, как всегда, согрето тонким юмором, которому как нельзя лучше соответствуют рисунки, выполненные его братом Р. К. Лаксманом, по праву считающимся одним из лучших рисовальщиков Индии.

Особое внимание в автобиографии уделено книгам, которые повлияли на становление молодого писателя. Глубокое изучение индийской классики, эпоса и драмы древности, Шекспира, английских романтиков, Диккенса, современных прозаиков — таковы этапы ученичества талантливого писателя. Беспощадная требовательность к самому себе, умение взглянуть «со стороны» на собственное творчество, убийственный сарказм, направленный против любых уступок «массовой литературе», отличают эту книгу Нарайана. Читая его автобиографию, видишь, как он вырабатывал свой собственный стиль — лаконичный, сдержанный, тщательно избегая банальных тем и приемов, сентиментальности и ложного пафоса. На наших глазах Нарайан вырастает в крупного национального писателя, который, как мы знаем, завоевал себе широкую читательскую аудиторию не только в Индии, но и за рубежом.

Последнее десятилетие своей жизни Нарайан излагает более кратко, отсылая читателя к уже опубликованным книгам. «Дневник без дат», рассказывающий о поездке писателя в США и о его работе над «Гидом» (в русском издании — «Святой Раджу» [1]), книга «Боги, демоны и другие», в которой мы находим своеобразное прочтение памятников индийского эпоса, многое объясняющее в философии и творческом методе самого Нарайана, рассказы последних лет — таковы вехи не только творческой, но и личной биографии писателя. Наши читатели знают эти произведения, вышедшие на русском языке, как и романы более ранних лет: «Людоед в Мальгуди», «Продавец сладостей» [2].

Несмотря на строгую документальность, обязательную для жанра биографии, Нарайан выходит за узкие рамки избранной формы. Читая «Мои дни», постепенно погружаешься в особый «нарайановский» мир, так хорошо знакомый по его художественным произведениям. Разумеется, дело не только в том, что искушенный читатель узнает прототипы многих героев и понимает, что Мальгуди, город, созданный воображением Нарайана, во многом напоминает Майсор или Мадрас, где подолгу жил писатель. Р. К. Нарайан обладает даром показывать людей в их сложных взаимоотношениях друг с другом, в хитросплетениях обстоятельств и судеб, из которых, как бы сама собой, возникает картина времени, картина страны. Нигде, пожалуй, этот дар не проявился столь ярко, как в скромной автобиографии писателя.

В небольшой юмористической сценке с внуком, заключающей книгу, Нарайан обращается к молодежи, вручая ей ключи от будущего — знак искреннего уважения и веры в творческие возможности юности.

[1] «Иностранная литература» № 6—7, 1960 г.

[2] «Иностранная литература» № 2. 1964 г.; № 1—2 1969 г.

**Н. ДЕМУРОВА**

# Из месяца в месяц

АЛЖИР

## ГЛАЗАМИ КИНОДОКУМЕНТАЛИСТА

В 1969 году алжирский кинорежиссер Али Ганом снял свой первый полнометражный документальный фильм «Мектуб», посвященный бедственному положению иммигрантов-алжирцев во Франции. Недавно на экраны вышла его вторая работа — «Другая Франция». Новый фильм продолжает тему «Мектуб».

В беседе с корреспондентом алжирского журнала «Революсьон африкэн» Али Ганом сказал:

— Меня всегда привлекало кино. Я решил с помощью кинокамеры разоблачить расизм, выступить в защиту моих соотечественников, подвергающихся во Франции жестокой эксплуатации.

В центре фильма «Другая Франция» — рабочий из Магриба, постепенно осознающий свое бесправное положение в чужой стране... Я имел очень много контактов с рабочими-иностранцами во Франции, и это позволяло мне более широко представить панораму их жизни.

В своем последнем фильме, в отличие от «Мектуб», я старался показать не просто тяжелую жизнь иммигрантов, но и рост их политического сознания, стрем-

Сцена из спектакля Городского театра Алжира «Эль-Агра», премьера которого состоялась во время Недели алжирской культуры в Тунисе. Автор пьесы «Эль-Агра» — драматург Бузрар Захир. В ней рассказана трагическая история молодоженов, которые вместо того чтобы строить свое счастье самим, подпали под влияние отживающих в сегодняшнем Алжире реакционных обычаев мусульманской семьи.

*(Газета «Аль-Муджахид»)*

ление участвовать в борьбе французских рабочих за свои права.

Важным элементом своих фильмов я считаю народную песню, пробуждающую в людях любовь к родине и чувство протеста против эксплуатации.

Сейчас я работаю над новой для меня темой: будни алжирского народа, отношения между поколениями, положение женщин. Другой замысел опять связан с проблемами иммиграции. Но на сей раз я не хочу ограничиваться одной Францией, а предполагаю снимать фильмы и в Бельгии, и в ФРГ.

## АНГЛИЯ

### ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ТЕРНЕРА

В этом году Англия отмечает двухсотлетний юбилей своего крупнейшего художника конца XVIII — середины XIX века Тернера. Юбилей Тернера — важное событие в культурной жизни страны.

Дирекция Тейтовской галереи организовала специальную выставку его работ. Многие его полотна будут показаны за рубежом. Британское телевидение отмечает юбилей Тернера фильмом «Божественное солнце». По мнению рецензента журнала «Лиснер», фильм удался: интересному и увлекательному сценарию сопутствует высокая кинематографическая изобразительность, столь необходимая в рассказе о жизни и творчестве художника. Отрадно, замечает рецензент, что создатели фильма избежали весьма распространенного недостатка в рассказах о великих людях — слащавости. В фильме «Божественное солнце» рассказывается правдивая история борьбы Тернера за признание, его трудный путь поисков новых художественных средств изображения пейзажа на полотне.

Двухсотлетний юбилей Тернера широко комментируется в английской печати.

### ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ 1974 ГОДА

Премия «Букер прайз» 1974 года была присуждена Стэнли Миддлтону, автору романа «Каникулы», опубликованного издательством «Хатчинсон».

«Каникулы» — четырнадцатый по счету роман писателя, которого рецензент «Таймс литерари сапплмент» считает «признанным английским прозаиком».

Рональд Блит, рецензент «Санди таймс», пишет: «Когда читаешь книги Стэнли Миддлтона, то чувствуешь, что роман жив. Его проза сопоставима с прозой XIX века, в его книгах ощущается обстоятельность, желание создать надолго запоминающиеся образы».

## БЕЛЬГИЯ

### ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЫХ

На прошедшем в стране X Национальном кинофестивале было показано более двадцати полнометражных художественных фильмов, созданных молодыми режиссерами за последние годы. Среди лучших «Home, Sweet Home» Бенуа Лами (отмечен на Московском кинофестивале 1973 года), «Анжела» Николая Ван Дер Хейдена, «Малпертейс» Харри Кюмеля, «Красавица» Андре Дельво, «Свадебная ваза» Тьерри Зено. Несмотря на большие материальные трудности и недостаточную помощь государства, бельгийские кинематографисты, как подчеркивает пресса, прилагают все усилия для создания самобытной отечественной кинематографии.

## БОЛГАРИЯ

### «БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ» ДАНТЕ— НА БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКЕ

Софийское издательство «Народна култура» выпустило «Божественную комедию» Данте в переводе на болгарский язык. Вышедший в серии «Мировая классика», перевод осуществлен Иваном Ивановым и Любеном Любеновым под редакцией Драгомира Петрова.

«Чистилище» и «Рай» переведены на болгарский язык впервые, однако тот факт, что «Ад» уже был ранее известен болгарскому читателю в стихотворном переводе К. Величкова и К. Христова и прозаическом — Н. Врачева, нисколько не умаляет значе-

Лео Маккерн в роли Тернера в телевизионной постановке о жизни художника «Божественное солнце».

*(Журнал «Лиснер»)*

ния работы И. Иванова и Л. Любенова. Предшествующие переводы в значительной степени устарели с лингвистической и художественной точек зрения. Главное достоинство нового перевода — счастливое сочетание высокой поэтичности и подлинной научной глубины. И. Иванов и Л. Любенов тщательнейшим образом изучили все три предшествовавших последнему болгарских перевода, русский перевод М. Лозинского и французский А. Лоньёна, обширнейшую критическую литературу и о самом произведении, и об эпохе, в которую оно было создано.

Тексту Данте в издании предпослано предисловие известного болгарского критика Симеона Хаджикосева «Данте и его поэтическая вселенная».

## ВЫСТАВКА НЕНКО БАЛКАНСКОГО

«Первое чувство — чувство нового,— пишет в газете «Отечествен фронт» писатель Серафим Северняк о своих впечатлениях от выставки народного художника Ненко Балканского, в которой нашел отражение весь его творческий путь.— Наше общение с ним до сих пор ограничивалось несколькими большими картинами — «Рабочие семьи тридцатых годов», «Связная», «Домашняя хозяйка», «Пионеры», серией портретов и натюрмортов, несколькими великолепными пейзажами и альбомом графики, посвященным Созополю. Сегодня Ненко Балканский вводит нас в незнакомый мир своего большого искусства. Идешь, всматриваешься в картины и не можешь перевести дух от удивления — неужели все это лежало во мраке запасников, неужели оно только сейчас открылось нам—композиции, портреты, пейзажи, цветы, десятки великолепных, изящных произведений, создававшихся десятилетиями,— чтобы показать своего автора как масштабного, плодовитого живописца, зрелого, мудрого? Нельзя сказать, что мы не знали его до сих пор, присутствие Ненко Балканского всегда явственно ощущалось в художественной жизни страны. Он появился, нет, он властно вошел в мир болгарского искусства в незабываемые тридцатые годы нашего века наряду с другими большими мастерами.

Картина народного художника Ненко Балканского «Домашняя хозяйка».

*(Журнал «Славяни»)*

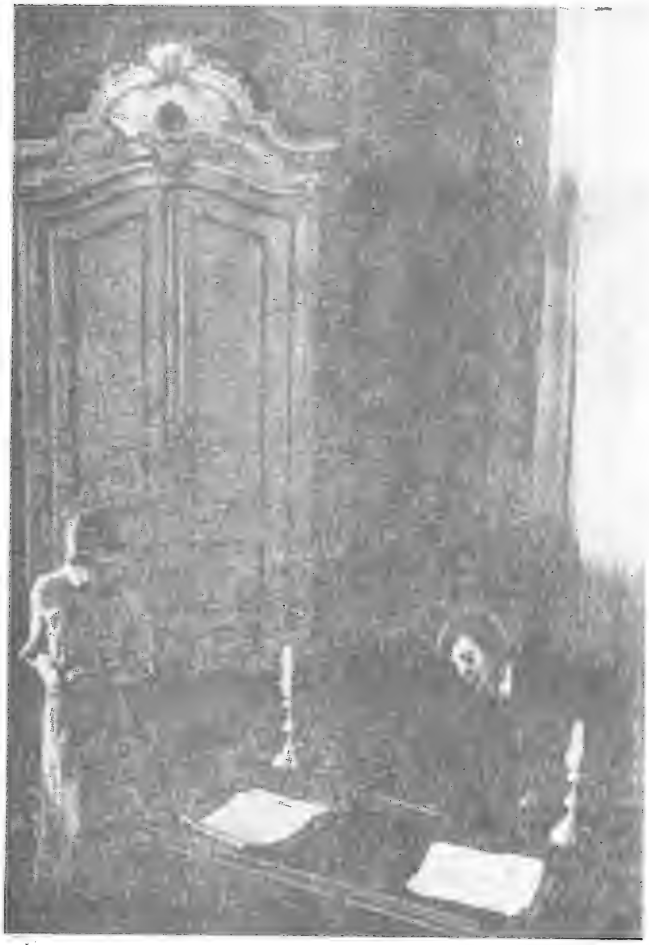
Все это известно. Это знают специалисты, хотя еще не издана обширная монография, которая представит его нашей стране и миру. Знал это и Энтони Бертрам, который еще в 1938 году в своей «Истории современного искусства в Европе» причислял «Рабочие семьи» к лучшим произведениям изобразительного искусства континента, знали и составители каталогов в СССР и ГДР, помещавшие репродукции «Связной» и «Домашней хозяйки»... Теперь, благодаря этой запоздалой, но очень своевременной выставке, его искусство становится достоянием людей, которых художник всегда любил и для которых он всегда творил».

# БРАЗИЛИЯ

## ПИСАТЕЛИ НА ЭКРАНЕ

Бразильская кинокомпания «Бем-те-ви филмиз» выпускает серию фильмов о жизни и творчестве крупнейших представителей бразильской литературы.

Десять таких фильмов уже готовы (некоторые даже демонстрировались на специальных просмотрах). Среди них — картины, посвященные Жоржи Амаду («Дом в Рио Вермельо»), Эрико Бериссимо («Рассказчик историй»), Гимараэнсу



В роли Розы Дерине — Мария Тёречек, в роли молодого композитора — Андраш Жифф.

*(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)*

Розе («Дороги Минас-Жераис»), а также виднейшим современным поэтам Бразилии, известным советскому читателю по публикациям «Иностранной литературы»,— Карлосу Друммонду ди Андради, Винисиусу ди Мораису, Мануэлу Бандейре.

## ВЕНГРИЯ

### ФИЛЬМ О ВЫДАЮЩЕЙСЯ АКТРИСЕ

В Международный год женщины кинематографисты Венгрии обратились к образу замечательной актрисы музыкального и драматического театра XIX века Венгрии Розы Дерине.

Зарождение в стране национального театра было связано с творчеством бродячих трупп, которые пользовались необыкновенной популярностью и горячей любовью у народа.

В одной из таких трупп, разъезжавшей в основном по селам и степным городкам, выступала и Роза Дерине — актриса разностороннего дарования: будучи превосходной певицей, она выступала и в операх классического репертуара, и в легких музыкальных спектаклях.

Кроме того, Роза Дерине переводила на венгерский язык произведения зарубежных авторов, перерабатывала прозаические произведения для сцены.

Последние годы жизни Роза Дерине писала воспоминания, которые послужили сюжетной основой для ее знаменитой книги «Дневник Дерине», воссоздавшей эпоху становления венгерского национального театра.

Сценарист и режиссер фильма «Где ты, Дерине?» Д. Маар пишет на страницах журнала «Фильм, синхаз, мюжика»: «Я обратился к этой книге прежде всего потому, что стремлюсь раскрыть в фильме природу таланта, и произведение великой актрисы дает в этом плане богатейший материал. Я думаю, что Мари Тёречек в роли Дерине поможет мне в этом...»

В фильме заняты также старейшие венгерские актеры Мария Шуйок и Тамаш Майор.

## ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА

### БОРЬБА ЗА НАЦИОНАЛЬНОЕ КИНО

Верхняя Вольта была второй после Алжира африканской страной, правительство которой решило установить контроль за деятельностью на своей территории западных кинопрокатных компаний. Столица Верхней Вольты Уагадугу известна также как город, в котором раз в два года проводится Всеафриканский кинофестиваль. Вот что рассказал генеральный секретарь этого фестиваля Луи Чьомбиано о проблемах развития национальной кинематографии корреспонденту алжирского журнала «Революсьон африкэн»:

— Накануне объявления независимости положение в Верхней Вольте было точно таким же, как и в других французских колониях. В стране насчитывалось всего шесть открытых кинозалов: два в Уагадугу и четыре в Бобо-Дьюласо, в общей сложности — шесть-семь тысяч мест. Число мест, цена билетов, репертуар были рассчитаны на европейское население. Залы принадле-

жали французским компаниям СЕГМА и КОМАСИКО. Естественно, я не могу назвать ни одного фильма, снятого в те времена в Верхней Вольте.

После достижения независимости наша страна попыталась уменьшить число картин, идеи которых были далеки от африканской действительности. Но в целом положение не менялось до конца 60-х годов. Первым шагом на пути развития национальной кинематографии в Верхней Вольте была национализация кинотеатров. Надо признать, что у нас тогда не было достаточного опыта. Мы считали, что, национализировав собственно кинотеатры, мы тем самым возьмем в свои руки контроль за репертуарной политикой. Однако французские компании немедленно начали бойкот, и имеющихся в тот момент в нашем прокате фильмов хватило лишь на две недели. Наши надежды на обмен фильмами с другими государствами континента не оправдались. В результате в выборе репертуара нам пришлось покориться компаниям, кинотеатры которых мы национализировали.

Затем, в 1970 году, было создано Национальное кинематографическое общество. Государству принадлежит 63% его акций. Теперь мы более или менее контролируем репертуар и стараемся не пропускать на экран откровенно коммерческие поделки. Число кинотеатров в Верхней Вольте увеличилось до десяти. В этом году открывается еще пять. Их строительство финансируется Национальным кинематографическим обществом.

Одним из главных результатов происшедших перемен является то, что мы получили право контроля за доходами от проката. Создан фонд помощи киноработникам нашей страны. Он финансирует семинары, коллоквиумы, а сейчас мы уже рассматриваем вопрос о создании национального общества по производству фильмов. Пока в Верхней Вольте сделано два фильма: «Кровь парий» режиссером Джине Мамеду Кола и «По пути единения»—Йонли Рене-Бернаром.

Для объединения африканских кинематографистов, для борьбы с политикой западных кинокомпаний и развития африканского киноискусства мы учредили фестиваль. В Уагадугу действует киноклуб, и мы рассчитываем на помощь Алжирской федерации киноклубов, уже имеющей богатый опыт в расширении сети клубов в нашей стране, поскольку число коммерческих залов у нас еще очень невелико и не позволяет удовлетворять потребности населения. Общественность Верхней Вольты с радостью узнала о проекте организации в Уагадугу под эгидой ЮНЕСКО кинематографической школы.

## ГДР

### ПЬЕСА ГЕЛЬМУТА БАЙЕРЛЯ

«Хохотун» — так назвал свою новую, десятую по счету, пьесу известный драматург Гельмут Байерль (о нем см. «ИЛ» № 7, 1964). Совсем небольшой отрезок времени — меньше суток — охватывает действие пьесы, но зрители успевают многое узнать о людях, которым посвящено это драматическое произведение. Байерлю удалось показать жизнь рабочих сталелитейного завода, рассказать об их проблемах и конфликтах, о радостях и горестях. Главный герой, молодой рабочий по прозвищу Хохотун — темпераментный, резковатый, очень честный, хотя, может быть, и излишне прямолинейный человек. Остряк, фантазер и зубоскал, он тем не менее всегда готов броситься на помощь товарищу и неутомим в борьбе с несправедливостью. Пролетарским рыцарем «Железное сердце» называет его рецензент газеты «Берлинер цайтунг».

«Байерль пишет о том, что хорошо знает. Драматург изучил жизнь рабочих, он не идеализирует их и не делает их примитивными. Он

Сцена из спектакля «Хохотун». В главной роли — Ганс-Йорн Вебер.

*(Журнал «Театер дер цайт»)*

показывает их не в героическом плане, а в повседневной, обычной жизни, без ложной патетики»,— пишет Райнер Кернднль в газете «Нойес Дойчланд».

Пьеса Байерля, поставленная режиссером Ганнесом Фишером в дрезденском театре «Штаатсшаушпиль», имеет большой успех у зрителей. Недавно спектакль был показан и телевидением Германской Демократической Республики. В связи с этим еженедельник «Зонттаг» опубликовал интервью с Гельмутом Байерлем.

«Когда мы работали над спектаклем,— сказал драматург,— мы старались сделать его таким, чтобы он понравился именно рабочей публике. Думаю, что мы этого достигли. Сейчас наши коллеги сумели передать все специфические особенности пьесы и прежде всего ее юмор на телеэкране. Я надеюсь, что телезрители в ближайшем будущем расскажут нам о своих впечатлениях».

### ВПЕРВЫЕ В КАННЕ

На проходившем недавно Международном кинофестивале во французском городе Канн большим успехом пользовался у зрителей фильм «Лотта в Веймаре», снятый на киностудии ДЕФА по одноименному роману Т. Манна. Режиссер фильма — Эгон Гюнтер, ведущие актеры —Ютта Гофман и Мартин Хельберг. В картине снималась также известная американская актриса Лили Палмер. Этим фильмом ГДР впервые официально приняла участие в Каннском фестивале.

## ФРГ

### НОВЫЙ РОМАН ФРАНЦА-ЙОЗЕФА ДЕГЕНХАРДТА

Франц-Йозеф Дегенхардт, автор и исполнитель широкопопулярных среди молодежи песен-баллад, в 1973 году получил известность и как романист. Его первый роман «Бикфордов шнур», рассказывавший о жизни и антифашистской борьбе подростков, детей рурских горняков, в годы второй мировой войны, пользовался большим успехом и был экранизирован.

Некоторых героев «Бикфордова шнура» читатель встречает и в новом романе Дегенхардта «Пожарища». Один из них, 34-летний гамбургский адвокат Бруно Каппель, в 1968 году вместе со своей подругой Карин Кунце участвовал в майских событиях в Париже. За шесть минувших с тех пор лет пути их разошлись. Карин примкнула к «ультралевым» (анархистам), Бруно Каппель сближается с коммунистами. Теперь он разыскивает ушедшую в подполье подругу, чтобы помочь ей покинуть страну и попытаться убедить ее отказаться от ложного пути, от действий, которые играют на руку лишь реакционным силам.

В поисках Карин герой попадает к себе на родину, в места, где прошло его детство. Он приезжает в гости к родителям, которые справляют золотую свадьбу, встречает многих давних друзей. Судьбы героев «Бикфордова шнура» сложились по-разному. У них разные профессии, разные политические убеждения. Но они едины в своей решимости выступать против планов властей отдать обширную территорию под военный полигон НАТО.

Правда, достижению единства мешают действия «ультралевых» единомышленников Карин. Однако Бруно Каппель полон решимости продолжать повседневную терпеливую борьбу. Он намерен переселиться из Гамбурга в родные места, чтобы работать здесь. Здесь он находит и новую любовь.

Западногерманский еженедельник «Ди цайт» и журнал «Шпигель» отмечают, что Дегенхардту удалось увлекательно построить повествование, эмоционально и достоверно изобразить жизнь маленького рурского городка, заставить читателя задуматься над сложными проблемами, которые встают перед героем романа.

### ГЛАВНЫЙ ПРИЗ— ФИЛЬМУ ИЗ ГДР

На XXI Международном кинофестивале короткометражных фильмов, состоявшемся в Оберхаузене (ФРГ), главный приз был присужден кинематографистам из ГДР Хейновскому и Шойману за документальную ленту «Псалом 18». Большим призом жюри отмечен также швейцарский фильм «Стачка — это отнюдь не воскресная школа». В числе лучших работ названы произведения советских кинематографистов «Письмо в газету», польский фильм «Разговор» и датская документальная лента «Работницы в Гренландии».

## ДАНИЯ

### ЮБИЛЕЙ ХАНСА ШЕРФИГА

В датской печати широко отмечался 70-летний юбилей известного писателя-коммуниста Ханса Шерфига.

Произведения Шерфига хорошо знают не только в Дании, но и далеко за ее пределами. Его книги переведены на английский, французский, немецкий, русский и другие языки. Сатирические романы «Скорпион», «Пропавший чиновник», «Загубленная весна», осмеивающие косность и мещанскую мораль современного буржуазного общества, продолжают лучшие традиции передовой датской литературы.

В «Замке Фрюденхольм» Шерфиг обратился к непривычному для себя жанру — исторической хронике. Материалом к книге послужили подлинные события трудного периода жизни Дании — «пяти проклятых лет» гитлеровской оккупации Дании.

«Творчество Шерфига, писателя самобытного и многогранного, составляет одну из самых ярких страниц современной датской прозы»,— пишет газета «Ланд ог фольк».

Шерфиг известен также как публицист и журналист. Он постоянно выступает на

политические и литературные темы в органе датской компартии — газете «Ланд ог фольк».

## ЕГИПЕТ

### ЕГИПЕТСКИЙ ТЕАТР СЕГОДНЯ

В последнее время в египетской печати много места уделяется проблемам театра и драматургии.

В связи с этим представляет интерес подготовленный журналом «Ат-Талиа» специальный большой раздел, посвященный сегодняшнему состоянию египетского театра. На страницах этого раздела выступают видные египетские драматурги, режиссеры и критики Саад Ардаш, Карам Мутавиа, Лютфи аль-Холи, Нуаман Ашур, Заки Тулеймат, Галяль аш-Шаркави и другие.

### «ОТРЯД № 778»

В Каире опубликована документальная повесть палестинского писателя Тауфика Файяда «Отряд № 778», в которой рассказывается о партизанском отряде, созданном палестинскими арабами на территории, оккупированной Израилем.

До этого Т. Файядом были опубликованы романы «Калеки», сборник рассказов «Желтая улица» и пьеса «Меж веками».

### «МЕНЯЮЩИЙСЯ РИТМ»

Нидерландским издательством «Брилль» (г. Лейден) выпущена на английском языке книга литературоведа С. Сомеха «Меняющийся ритм», посвященная творчеству одного из крупнейших современных египетских писателей Нагиба Махфуза.

Как сообщает тунисский журнал «ИБЛА», в своей книге автор рассматривает главным образом романы Махфуза, опубликованные до начала войны 1967 года (всего 18 романов), а также его сборники рассказов.

Книга начинается с краткого обзора этапов формирования египетского романа до 1945 года. Далее следует биография писателя, при составлении которой автор использовал редкие материалы. Основная часть книги посвящена анализу романов Нагиба Махфуза в хронологическом порядке. В специальном дополнении рассматриваются произведения писателя, опубликованные в последнее время. В заключение дается краткое содержание романов, общая библиография и список статей, посвященных этим романам в арабской прессе.

Обозреватель журнала «ИБЛА» называет книгу С. Сомеха «превосходной работой».

---

В последние месяцы на экранах Египта появились фильмы, авторы которых стремятся отразить события, связанные с победами, одержанными египтянами над израильской армией в октябре 1973 года, показать героизм и энтузиазм народных масс во время октябрьских боев. К числу таких фильмов египетская пресса относит «Будур», «Пуля все еще в моем кармане», «Великая верность».
На снимке: кадр из фильма «Будур».

*(Журнал «Ат-Талиа»)*

## ИНДИЯ

### СОВРЕМЕННОСТЬ ИСТОРИИ

Один из памятников индомусульманского зодчества в Дели Пурана кила (Старая крепость), выстроенный еще в XVI в. и остававшийся до недавнего времени лишь предметом интереса искусствоведов и археологов, превращен ныне в театр. В нем ставятся драмы на исторические темы. Инициатором такого преобразо-

Молодая актриса Рохини Ока — исполнительница роли Разии, это ее дебют в театре.

*(Газета «Пэтриот»)*

вания Старой крепости был замечательный деятель современного индийского театра директор Национальной школы драмы Аль-Кази.

Одной из первых постановок на сцене Пурана кила стала пьеса пенджабского драматурга Балванта Гарги «Султан Разия», посвященная трагической судьбе единственной женщины на престоле делийских султанов, правившей страной с 1236 по 1240 год. Высокоталантливая женщина, поэтесса и художница, Разия вступила в борьбу за единство государства против мятежных мусульманских и индусских феодалов. Она стремилась создать атмосферу веротерпимости. Но именно это привело ее к столкновению с силами феодально-клерикальной реакции, жертвой которой она и стала.

Вышедшая отдельным изданием в издательстве «Нав юг» пьеса Балванта Гарги — остросюжетное произведение, стержнем которого является борьба Разии против политических интриг и предательств, борьба за свою любовь к рабу-абиссинцу. Газета «Пэтриот» отмечает перекличку событий, положенных в основу пьесы, с современной ситуацией в стране, когда силы внутренней и внешней реакции пытаются консолидироваться для борьбы с прогрессивным курсом правительства Республики Индии.

Балванту Гарги принадлежит ряд пьес на современные темы, остро ставящих актуальные проблемы. В их числе — пьеса «Кесро», шедшая на советской сцене. Балвант Гарги является также автором ряда исследований по истории и теории театра.

## ИТАЛИЯ

### О НОВОМ ФИЛЬМЕ ФЕЛЛИНИ

Федерико Феллини вот уже более года готовится к съемкам фильма «Казанова». Пока трудно сказать, когда начнутся съемки, но передачу о будущем фильме итальянское телевидение подготовило уже сейчас (авторы передачи — Лилиана Бетти и Джанфранко Анджелуччи).

Передача, прошедшая на голубых экранах Италии в мае нынешнего года, по свидетельству ее создателей, родилась «отдельно от фильма», как своеобразное исследование концепции Феллини, его восприятия Казановы и «казановизма». «Документальный фильм-расследование» — так определяет жанр телевыпуска газета «Паэзе сера». На голубых экранах появляются Марчелло Мастройянни, Витторио

Ф. Феллини и Альберто Сорди — один из исполнителей роли Казановы.

*(Газета. «Паэзе сера»)*

Гассман, Альберто Сорди, Уго Тоньяцци, интервьюируемые самим Феллини, хотя голос режиссера можно услышать лишь дважды в течение всей передачи. Эти четыре крупных актера помогают Феллини проследить различные аспекты «мифа о Казанове», дать его в различных ипостасях.

## КОЛУМБИЯ

### В ЗАЩИТУ ТРАДИЦИЙ?

«Корралехас» — так называется народный праздник-гулянье, который вот уже более века ежегодно проводится в небольшом селении Синселехос в Колумбии. В течение недели в огромном деревенском загоне для скота, называемом «корраль», проходят бои быков. Скотовладельцы конкурируют между собой: ведь разведение быков специальных «бойцовых» пород — выгодный бизнес.

В эти дни юноши Синселехоса превращаются в тореро, мечтающих о том дне, когда они выйдут в блестящих костюмах, с мулетами и шпагами на настоящую арену. Однако ныне этот народный праздник превратился в кровавое зрелище, на котором наживаются наследники все тех же скотовладельцев.

О том, что это за «праздник», кто извлекает из него миллионные доходы, а кто теряет свою жизнь, рассказывает документальный фильм, снятый недавно молодыми колумбийскими кинематографистами Сиро Дураном и Марио Митротти.

После показа фильма «Корралехас» в колумбийской прессе разгорелась бурная дискуссия: вправе ли авторы «порочить традиции»? Скотовладельцы, как сообщали газеты, даже подали на Сиро Дурана и Марио Митротти в суд «за клевету». Но колумбийцы горячо поддержали фильм молодых авторов.

## ОМАН

Прогрессивная общественность арабских стран провела неделю солидарности с борющимся народом Омана и стран Персидского залива. Центральный орган Организации освобождения Палестины журнал «Филистын ас-Саура» поместил серию снимков, сделанных палестинскими кинодокументалистами и рассказывающих о суровой жизни и героической борьбе, которую ведет оманский народ против феодального режима султана Кабуса и поддерживающих его иностранных интервентов.

*(Журнал «Филистын ас-Саура»)*

## ПОЛЬША

### «БАБЬЕ ЛЕТО» ХАЛИНЫ АУДЕРСКОЙ

Большое внимание польской прессы привлек последний роман писательницы Халины Аудерской «Бабье лето». Он получил первую премию издательства «Ксёнжка и ведза» на конкурсе, объявленном по случаю Тридцатилетия Народной Польши.

С рецензией на него выступил в газете «Трибуна люду» Януш Термер. Он говорит, что последний роман является продолжением предыдущей книги писательницы «Путем птиц». И в той и другой книге один главный герой Шимон Дрозд — крестьянин из Полесья. Писательница исторически достоверно и психологически тонко рисует образ своего героя, солдата бригады имени Костюшко, который с Пер-

вой армией Войска Польского дошел до Берлина, а затем поселился на Западных землях, ставших для него второй родиной.

Судьба Шимона Дрозда является поводом для размышления писательницы над судьбами жителей нищих восточных окраин бывшей Речи Посполитой. Януш Термер говорит о том, что на примере Шимона Дрозда писательница прослеживает судьбу простого человека в новейшей истории Польши.

Оба романа написаны в форме монолога, обращенного к воображаемому собеседнику, в нем Шимон Дрозд рассказывает, что ему пришлось пережить в годы войны, как трудно было врастать в новую жизнь на Западных землях.

Януш Термер заключает свою рецензию словами: «Бабье лето» относится к числу самых значительных произведений современной прозы, посвященных проблеме освоения наших Западных земель».

### ХУЛИО КОРТАСАР — В ВАРШАВЕ

Варшавский дискуссионный клуб «Квант» организовал симпозиум на тему «Кино и латиноамериканская литература», в котором принял участие известный аргентинский писатель Хулио Кортасар.

В беседе с корреспондентом газеты «Жице Варшавы» Кортасар сказал:

«Я приехал для того, чтобы выступить на симпозиуме, потому что один из главных вопросов на нем — проблема Чили. Я вижу, насколько волнуют Польшу события в такой далекой от нее стране, и меня это очень трогает. После 11 сентября 1973 года трагедия чилийского народа у меня, как и у многих людей во всем мире, вызывает большую тревогу».

Писатель подчеркнул: «Хунта еще не свергнута, но в печати чаще и чаще встречаются сообщения о фиаско ее государственной политики, о ее моральной изоляции. Я твердо уверен: все, что мы сделаем сообща, приведет к падению этой банды убийц».

## ПОРТУГАЛИЯ

### БУДУЩЕЕ ПОРТУГАЛЬСКОГО КИНО

Режиссер Эдуардо Жада в журнале «Экран-75» рассказывает о тяжелом наследии прошлого в кино Португалии и высказывает свои соображения о путях обновления кинематографии.

Португалия занимает последнее место в Европе по посещаемости кино. В стране насчитывается всего триста пятьдесят кинотеатров. Регулярные сеансы проходят лишь в крупных населенных пунктах, и почти 40 процентов кассовых сборов приходится на Лиссабон.

Кинопрокат в стране полностью контролируется двумя монополистическими группами, заинтересованными в показе американских фильмов.

Такое положение было на руку фашистским правительствам Салазара и Каэтану, хотя оно и мешало развитию португальской кинопромышленности.

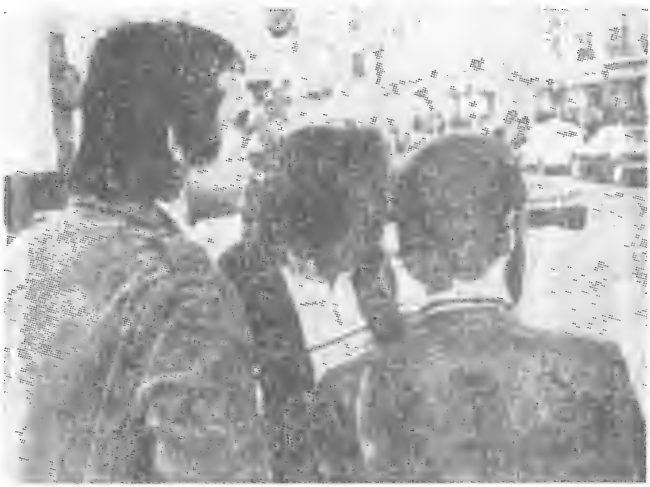
Государственные субсидии предоставлялись лишь тем режиссерам, которые соглашались выпускать фильмы, пропагандирующие фашизм и колониализм, и тем, кто снимал развлекательные музыкальные ленты.

Теперь перед португальским кино открылись новые перспективы. Фашистская цензура упразднена, и правительство обещает издать закон о кино, который оградит кинематографию от диктата прокатных фирм. Назрела задача изменить положение не только в области владения средствами кинопроизводства, но и его идейной направленности. Предстоит почти все сделать заново. Перед португальской интеллигенцией открывают-

---

Польское телевидение готовит к постановке многосерийный фильм «Директора», в основу которого лег рассказ Ежи Ясионовского. Действие происходит на одном заводе в течение нескольких лет. Этот фильм является попыткой рассказать о переменах, происходящих в жизни рабочего класса, о разных методах руководства предприятием. В картине представлены разные типы директоров, их методы работы, их взаимоотношения с рабочим коллективом. Фильм ставит Збигнев Хмелевский.
Актеры Станислав Нивинский и Ян Новицкий в фильме «Директора».

*(Журнал «Экран»)*



Эдуардо Жада (слева), снимающий свой фильм на улицах Лиссабона.

*(«Экран-75»)*

ся широкие перспективы во всех сферах идеологической жизни — телевидении, печати, радио, кино, театре.

### ПРЕМЬЕРА БРЕХТА В ЛИССАБОНЕ

Пьеса Бертольта Брехта «Винтовки Тересы Каррар», рассказывающая о событиях Гражданской войны в Испании, впервые поставлена в португальской столице режиссером Жоао Лоуренсо. Для этой постановки им были использованы различные фотографии и другие материалы постановок пьес Брехта театром «Берлинер ансамбль», которые переданы режиссеру посольством ГДР в Португалии.

По сообщениям португальской прессы, спектакль звучит актуально и пользуется большим успехом у зрителей.

## РУМЫНИЯ

### «ДАНТОН»

Бухарестский Национальный театр впервые осуществил постановку драмы Камила Петреску «Дантон», написанной им 50 лет тому назад. Рецензенты единодушно оценивают премьеру как выдающееся событие в истории румынского театра. Вместе с тем они подчеркивают, что пьеса К. Петреску, созданная в период, когда автор еще не пришел к марксистскому пониманию истории, позволившему ему затем в годы народной власти стать одним из ярких представителей социалистической литературы, не всегда верно отражает сущность драматического столкновения Дантона с Робеспьером, проблему слияния личной нравственности и революционного долга.

«Для восстановления исторической истины,— пишет в «Театрул» Фл. Потра,— постановщик Х. Попеску снабдил спектакль обширным комментарием, состоящим из высказываний Маркса и Энгельса о французской революции, из заметок и авторских указаний».

«С помощью подобного сопоставления,— замечает В. Рыпяну на страницах «Скынтейи»,— спектакль обретает смысл, полностью соответствующий исторической правде».

«Это спектакль поистине политический, — подчеркивает Фл. Потра,— от первой до последней реплики, подлинно народный в марксистском понимании слова... Зрелый спектакль зрелого постановщика и зрелого театрального коллектива и молодого автора, страстно любившего жизнь, автора, которому было 34 года в период работы над пьесой, столько же, сколько и его герою...»

### ДИСКУССИЯ О ПОЛИТИЧЕСКОМ РОМАНЕ

Недавно редакция еженедельника «Контемпоранул» провела «круглый стол», посвященный проблемам румынского политического романа. Участники обсуждения — критики Д. Мику, В. Бугарию, Э. Симион, Л. Улич — с удовлетворением отметили появление таких книг, как «Королевская охота», «Двое у горы Цебы», «Пива для моего коня» Д. Р. Попеску, «Птицы» и «Вода» Ал. Ивасюка, «Утренние часы», «Наш близкий ближний» и «Странные перебои сердца в апреле» Пл. Пардэу.

Особо была подчеркнута плодотворность попыток писателей-реалистов отразить важнейшие стороны развития социалистического общества, богатство духовного облика коммуниста.

Подводя итоги обсуждению, редакция «Контемпоранул» вновь напомнила, что задача литературы — содействовать утверждению подлинно научных, марксистско-ленинских взглядов на жизнь и общество. Политический роман может сыграть в этом деле весьма важную роль.

## САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

### ПЕРВЫЙ СЪЕЗД САУДОВСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В священном городе мусульман, считающемся колыбелью ислама, Мекке состоялся Первый съезд саудовских писателей. В съезде, в качестве инициатора и организатора которого выступил Университет имени короля Абд аль-Азиза Ибн-Сауда, приняли участие свыше 140 писателей, поэ-

тов и ученых со всех концов страны. Съезд открылся вступительной речью министра просвещения Саудовской Аравии Хасана Ибн Абдаллаха аш-Шейха.

С приветственной касыдой, обращенной к участникам съезда, выступил видный саудовский поэт принц Абдаллах аль-Фейсал.

Большинство выступлений и докладов было посвящено историко-литературным и религиозно-литературным вопросам. Однако значительное место заняли также доклады, посвященные актуальным проблемам литературы Саудовской Аравии и всего Арабского Востока. Таковы доклады: «Факторы подъема саудовской литературы», «Наша литература должна быть «ангажированной», «Полвека пути литературы в Саудовской Аравии», «Модернизм в современной арабской поэзии», «Палестинская проблема в саудовской литературе».

Съезд рекомендовал создать саудовскую Академию наук для изучения «языка, литературы, культуры и древнего наследия и перевода всего, что написано об Аравийском полуострове и исламском наследии, на арабский язык», а также изучить возможность издания литературного журнала и подготовить издание исламской энциклопедии, в составлении которой приняли бы участие ученые и писатели Саудовской Аравии вместе со своими коллегами из других арабских и мусульманских стран.

Издаваемый в г. Джидда журнал «Аль-Манхаль» посвятил Первому съезду саудовских писателей специальный номер, в котором подробно рассказывается об этом форуме литераторов Саудовской Аравии.

## СИРИЯ

### «КНИГА СТРАН»

В Дамаске вышла в переводе на французский язык «Книга стран» известного средневекового арабского ученого-географа и писателя Ибн аль-Факыха аль-Хамадани (конец IX — начало X в.). В основу перевода, выполненного недавно умершим востоковедом Анри Массе, положена рукопись «Книги стран», найденная в Мешхеде (Иран).

«Книга стран» содержит яркие описания современных автору Сирии, Ирака, стран Аравийского полуострова и восточных пределов Арабского халифата от Фарса до Хорасана.

## СОМАЛИЙСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

### «ПРОШЕЛ ДОЖДЬ»

Так называется небольшой сборник стихов сомалийца Мухаммеда Саида Самантара. Самантар, пишущий на итальянском языке, по профессии дипломат — в настоящее время он является послом СДР в Париже. Выпущен сборник римским издательством «Типографиа эдитриче Италиа». Параллельно с оригиналом в нем дается перевод стихов на французский язык, сделанный женой поэта Николь Лекюйе.

Рецензент журнала «Жён Африк» Клод Вотье отмечает многоплановость поэзии Мухаммеда Саида Самантара. Открывается сборник стихами о колониальном прошлом Сомали, когда поэт среди других борцов за независимость страны сидел в тюрьме. Есть в нем произведения, посвященные родине, герою континента Патрису Лумумбе, стихи, в которых Самантар от имени народов Африки обращается к «вождям» и требует «истинного богатства: хлеба, мира и работы». Интересно давшее название всей книге стихотворение «Прошел дождь», где омытая дождем земля символизирует Африку, добившуюся независимости. Для всех стихотворений, и глубоко гражданственных, и лирических, пишет в заключение К. Вотье, характерно ощущение общности людей, живущих на одной земле.

## США

### АРТУР ХЕЙЛИ — «МЕНЯЛЫ»

В соответствии с объявленным еще в 1972 году, при выходе предыдущего романа «Колеса», планом появился очередной, как обещал автор, предпоследний роман Артура Хейли «Менялы». Рецензент американского журнала «Тайм» отмечает, что и этой книге Хейли нельзя отказать в актуальности — деятельность американских банков весьма тесно связана с повседневной жизнью миллионов людей в США, в которую банковский капитал проникает через разветвленную и многообразную сеть банковских ссуд. Недавно банкротство трех крупных американских банков поставило эту тему особенно остро. Предыдущие книги Хейли создали ему репутацию тонкого знатока «производственной» тематики, а потому читатели его романа и ждали, что его новая книга прольет свет на весьма туманное для рядового американца банковское дело.

Однако сложности проблематики финансового мира, одной из самых могущественных областей сегодняшней американской экономики, непосредственно связанной с современной общественной и политической жизнью страны, оказались, как утверждает рецензент, сведенными в романе Хейли к сравнительно камерной проблематике личной добродетели, специфике рабочего почерка того или иного банкира.

Хейли воссоздает историю одного из самых крупных американских банков — Первого торгового банка. В этом романе особенно остро проявилась охранительная тенденция, присущая творчеству Хейли.

### «ГОВОРИТ ВУДИ»

Вышел из печати сборник статей, заметок и рисунков известного амери-

канского поэта Вуди Гатри под названием «Говорит Вуди», умершего в 1967 году. Рецензируя эту книгу на страницах американской газеты «Дейли уорлд», Арт Шилдз пишет: «Вуди Гатри, как Джо Хилл,— никогда не умрет. Он останется с нами в тех песнях, которые он пел для своих товарищей — сезонников, рабочих фабрик и матросов. Песнях, которые так часто звучали на митингах и во время забастовок. Вуди — неотъемлемая часть американской культуры».

Не только автор песен, ставших народными, но и талантливый журналист, Гатри начал сотрудничать в выходившей тогда в Сан-Франциско газете американских коммунистов «Пиплз уорлд». Его первая статья была опубликована на ее страницах в марте 1940 года. Арт Шилдз, знакомя читателей с новым корреспондентом газеты, писал тогда, что Гатри создал профсоюз сборщиков апельсинов и хлопка в родной Оклахоме, он сделал для них в свое время так же много, как Джо Хилл — для сборщиков зерна в Северной Дакоте. Первые песни о знаменитых «оки», увековеченных потом в романе Дж. Стейнбека «Гроздья гнева», Вуди Гатри сочинял задолго до появления романа. Он посвятил им цикл песен «Баллады пыльной вазы».

Публицистика и поэзия Вуди Гатри, пишет Шилдз, проникнуты мыслью о том, что вся земля с ее красотой принадлежит народу. Эта идея запечатлена в его знаменитой песне «Земля эта создана для тебя и для меня», которую исполнители американских народных песен неизменно исполняют во время своих зарубежных гастролей. В частности, ее многократно исполнял Пит Сигер во время его концертов в СССР.

В предисловии к вышедшему в 1961 году сборнику песен Гатри П. Сигер писал: «Сегодня, когда Вуди прикован к больничной койке неизлечимой болезнью, наша молодежь, вооружившись гитарами и банджо, разносит его песни по всему миру. Одни называют Гатри самым талантливым композитором баллад, другие зовут его — наш хриплоголосый Гомер, третьи — величайшим поэтом Америки... Вуди обладает редким гением — гением простоты. ...Многие песни Гатри так обманчиво просты, что вы поете их с уверенностью, что автор создал их мимоходом, но проходят годы, и вы обнаруживаете, что они стали частью вашей жизни, что вы доросли до них».

## ПИСЬМА ГЕНРИ ДЖЕЙМСА

«Я живу с пером в руках», — говорил Генри Джеймс, эпистолярное наследие которого составляет более тысячи писем, наряду с многочисленными дневниками и записными книжками.

Недавно вышел в свет первый том четырехтомного собрания писем этого писателя, большую часть жизни прожившего в Англии. Редактор и составитель издания — Леон Эдел, автор биографии Джеймса и редактор собрания его сочинений. Более сорока лет Эдел занимается изучением творчества Генри Джеймса и, естественно, при отборе писем для публикации руководствовался глубоким знанием фактического материала о жизни писателя и его эстетических и философских взглядах.

По мнению рецензента «Нью-Йорк ревью оф букс», уже первый том раскрывает перед читателем новые стороны таланта Джеймса, помогает постичь его мир. «Порт, который был моим отправным пунктом,— бесконечное одиночество, я испытываю его всю жизнь... Это одиночество глубже, чем мой талант, чем моя дисциплинированность, чем моя гордость, более того, глубже, чем всепобеждающая сила искусства»,— писал Джеймс в 1900 году. Однако, читая письма Джеймса, относящиеся к периоду его молодости, проникаешься всепобеждающей любовью к миру, которой жил писатель, его жаждой узнать еще непознанное, продолжает рецензент журнала. «Его одиночество — не ущербность, а обостренное сознание глубокой интимности тех чувств, которые пробуждались в нем при соприкосновении с миром...»

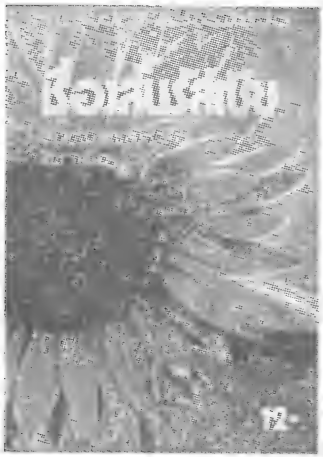
# ТАИЛАНД

## «РУССКИЕ РАССКАЗЫ» В ТАИЛАНДЕ

В декабре прошлого года издательство «Лалана» в Бангкоке выпустило сборник «Русские рассказы». В нем представлено пять рассказов известных советских писателей: «Снег» и «Старый повар» К. Паустовского, «Комаров» Ю. Нагибина, «Голубое и зеленое» Ю. Казакова. Они переведены Удоном Тапаносотом — тайским журналистом, работающим уже девятый год диктором и переводчиком Московского радио. На вопрос: «Почему вы выбрали для перевода именно эти рассказы и этих авторов?» — Удон ответил:

«Эти писатели — настоящие мастера слова. И объединяет их всех в этих рассказах истинная человечность, острая наблюдательность и глубокое понимание жизни во всей ее полноте. Я испытал наслаждение, упиваясь интересным сюжетом, тонким психологизмом каждого из этих рассказов. Кроме того, всем им присуща удивительная музыка слов и их задушевность. Это рассказы о том, что близко и понятно любому человеку, независимо от того, где он живет и какой он национальности. Поэтому-то мне и захотелось познакомить с ним своих соотечественников. Я считаю, что такие вещи помогают людям лучше понять друг друга.

Тайский читатель мало знает о советской стране, ибо наши связи еще только начинают налаживаться,— говорит Удон Тапаносот.— Раньше, при военном режиме, если и появлялась какая-то информация о СССР, то зачастую исходила, к сожалению, от недоброжелателей и далеко не всегда была правдивой».



Обложка книги «Русские рассказы».

«Русские рассказы» помогут тайцам увидеть советских людей в истинном свете и понять их. Показательно в этом отношении появление на страницах журнала «Лалана» большой и доброжелательной рецензии на этот сборник.

## ТУНИС

### ПЕРОМ ПУБЛИЦИСТА

В Тунисе вышел сборник публицистических работ известного общественного деятеля, журналиста и писателя, главного редактора журнала «Аль-Фикр» Мухаммеда Мзали под названием «Позиции». В сборник вошли сорок статей, лекций и текстов интервью Мзали, опубликованных в тунисской прессе с начала пятидесятых годов до нашего времени. Материалы сборника сгруппированы по четырем основным темам: вопросы национального развития, проблемы литературы, образования и культуры.

Как указывается в рецензии на книгу Мзали, опубликованной журналом «ИБЛА», основная идея, которую отстаивает автор,— это идея тунисского патриотизма и самобытного развития тунисской нации.

## ТУРЦИЯ

### ЙЫЛМАЗ ГЮНЕЙ

В последние годы заметно оживилась деятельность турецкого кинематографа. Одной из самых заметных фигур в турецком кино является Йылмаз Гюней — сценарист, актер и режиссер.

Йылмаз Гюней родился в 1937 году. Первый фильм с его участием «Дети этой страны» появился в 1958 году.

Слава пришла к Й. Гюнею как режиссеру после выхода в 1970 году фильма «Надежда». Он был удостоен специальной премии жюри на международном кинофестивале в Гренобле, с успехом демонстрировался в Париже, затем в Алжире, Тунисе, Марокко и Западной Африке. Журнал «Жён Африк» назвал «Надежду» одним из самых значительных фильмов стран третьего мира.

Актер Йылмаз Гюней неоднократно удостаивался национальных премий кино. Фильм с его участием «Оплакивание» получил национальный приз «за лучшую режиссуру» и был показан на международном кинофестивале в Тегеране.

Йылмаз Гюней известен и как литератор. Его роман «Согнувшие голову погибли» был удостоен почетной премии им. Орхана Кемаля в 1971 году.

В фильме «Товарищ» (1974) Йылмаз Гюней выступает как сценарист, режиссер и исполнитель главной роли. Это рассказ о встрече двух университетских товарищей — Азема и Джемиля. В годы учебы они были неразлучны. Но как разошлись их пути в жизни! Джемиль (его роль исполняет известный актер Керим Авшар) опьянен своим успехом в жизни; он предприимчив, силен, выглядит вполне счастливым и делает все, чтобы удержать свое благополучие. Но появляется старый друг Азем (Йылмаз Гюней), и начинается борьба за Джемиля-человека. Азему дорог Джемиль, он старается повлиять на него, внушает, что человек должен жить для народа, что нельзя забывать своих корней. Но усилия Азема не увенчались успехом. Жена Джемиля, обеспокоенная «дурным» влиянием старого приятеля на ее мужа, дает Азему пощечину. В этот момент за кадром раздается выстрел, символизирующий конец дружбы Джемиля и Азема.

Редко какой фильм вызывал такие обильные отклики в прессе, как «Товарищ» Йылмаза Гюнея. Фильм не сходил с экранов четыре недели, что является своеобразным рекордом для Турции.

В январе 1975 года появился фильм «Тревога», в котором Йылмаз Гюней выступает как сценарист и режиссер. По словам самого Гюнея, это фильм «о вечном ожидании, надежде и тревоге бедняков».

Если в «Товарище» дана широкая и разносторонняя картина жизни буржуазных кругов современной Турции, то в фильме «Тревога» рассказывается о жизни сельскохозяйственных рабочих, хлопкоробов. Главный герой Джеббар (актер Эркан Юджель) должен погибнуть по закону кровной мести, если не сумеет откупиться от своих кровных врагов. Он собирает хлопок днем и ночью, работает без отдыха, работает даже тогда, когда его товарищи-рабочие объявляют забастовку. Джеббар все время надеется, что ему удастся выкупить свою жизнь. Но надежды не сбываются. Дочь, за которую он мог получить богатый калым, сбегает из дому, денег на выкуп не хватает, и он погибает. Перед смертью он понимает, что был неправ, предавая товарищей-рабочих, хочет объясниться. Но ни в ком не встречает он сочувствия.

Турецкий критик Эндер Кямиль Бояджи считает, что если бы Йылмаз Гюней снял еще фильм из жизни промышленных рабочих Турции, то такой фильм вместе с «Товарищем» и «Тревогой» мог бы составить трилогию, отражающую жизнь современного турецкого общества.

В 1975 году Йылмаз Гюней предполагает сняться в шести фильмах, кроме того, в трех фильмах он выступит как сценарист.

## ФРАНЦИЯ

### ДНИ МАРКСИСТСКОЙ КНИГИ

В конце апреля в Париже происходила традиционная выставка-продажа марксистской книги, организованная ЦК ФКП и Центром распространения книг и прессы.

В течение трех дней шли дискуссии по актуальным политическим вопросам. На вечере солидарности с демократическими силами Португалии был показан спектакль Рауля Сангла «Слушай! В Португалии народ завоевывает свободу». Организаторы и посетители выставки почтили память Жака Дюкло, внесшего своими трудами вклад в коммунистическую науку. В частности, на выставке экспонировалась его последняя книга «Во что я верю».

Среди новых произведений художественной литературы, показанных на выставке, новый роман Пьера Гамарра «72 солнца» — о Парижской коммуне, повесть Сержа Зейонса «Дом сержанта Павлова», посвященная подвигу советских воинов в Сталинграде, и роман Андре Ремакля «Улица Трех Солнц».

В днях марксистской книги приняли участие 250 писателей, представители компартий других стран. Среди посетителей выставки было много молодежи. Директор Центра распространения книги Кристиан Эшар в интервью корреспонденту «Юманите» заявил, что по количеству распроданных книг этот праздник марксистской книги превзошел все предыдущие годы.

### СПЕКТАКЛЬ, ЗОВУЩИЙ К СОЛИДАРНОСТИ

Заметным событием в жизни прогрессивной французской сцены стал спектакль «Который час может быть теперь в Вальпараисо?», поставленный в театре «Дез Амандье», находящемся в Нантере. Сценарий этого представления написан по мотивам стихов Пабло Неруды, составной его частью стала также пьеса выдающегося поэта Чили «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (см. «ИЛ» № 2, 1968).

Сцена из спектакля «Который час может быть теперь в Вальпараисо?»

*(Еженедельник «Франс нувель»)*

Зрители видят печально знаменитый стадион в Сантьяго, похороны Пабло Неруды, сцену индейского праздника. Но, как отмечает театральный обозреватель еженедельника «Франс нувель» Жак Пуле, его идея — не только выразить солидарность с чилийским народом, но на примере этой страдающей под пятой фашизма страны призвать к боевой солидарности людей труда всей земли. Действие некоторых эпизодов происходит в рабочем Нантере, где живет немало иммигрантов, в том числе и чилийцев, спасшихся от преследований хунты. Роль Хоакина Мурьеты исполняет непрофессионал, чилийский рабочий Умберто Лоредо. Вместе с известными певцами Франческой Соллевиль и Марком Ожере в спектакле участвует чилийская группа «Канто хенераль» («Всеобщая песнь») — так называется одна из лучших поэм Пабло Неруды. Музыка к спектаклю написана чилийским композитором Серхио Ортегой, оформили его также чилийцы — Хосе Бальмес и Гарсиа Баррос. Автор композиции и постановщик — руководитель театра «Дез Амандье», известный режиссер среднего поколения Пьер Дебош. Жак Пуле называет спектакль «Который час может быть теперь в Вальпараисо?» «уникальным явлением творческой солидарности».

## ЧЕХОСЛОВАКИЯ

### О МОЛОДЫХ И ДЛЯ МОЛОДЫХ

В этом году чешские театры включили в свой репертуар спектакли, посвященные героическому прошлому — борьбе чешского народа против гитлеровских захватчиков.

Музыкальная драма «Босая баллада» поставлена Театром Победоносного Февраля в Градце Кралове. Сюжет «Босой баллады» (авторы О. Брума и И. Станек) опирается на подлинные события — вооруженное выступление против оккупантов учащихся высокомытской гимназии (восточная Чехия) весной 1944 года и зверская расправа над ними.

По мнению рецензента газеты «Руде право», спектакль впечатляюще переда-

Словацкий фильм «День, который не умрет» получил на XIX Международном фестивале в Карловых Варах премию журнала «Проблемы мира и социализма». Фильм воспроизводит героическую борьбу народа в ходе Словацкого национального восстания. Автор сценария — известный словацкий драматург Иван Буковчан, режиссер — Мартин Тапак.
На снимке — кадр из фильма «День, который не умрет».

*(Газета «Руде право»)*

---

ет атмосферу того времени и глубоко раскрывает характеры молодых героев.

Захватывающее эмоциональное воздействие спектакля на зрителей во многом определяется музыкой (композитор Й. Брабец).

Постановка «Босой баллады» (режиссер И. Станек), осуществленная молодыми силами театра, обращена к молодому поколению сегодняшнего дня.

## ЧИЛИ

### ТЕРРОР КЛИКИ ПИНОЧЕТА

В ходе пресс-конференции, созванной в столице Венесуэлы Каракасе Ассоциацией венесуэльских кинематографистов и профсоюзом работников радио, объявлено об исчезновении двух видных чилийских мастеров кино — Кармен Буэно и Хорхе Мюллера. По словам участвовавшего в пресс-конференции известного прогрессивного чилийского кинорежиссера Пабло Перельмана, недавно вырвавшегося из Чили, последний раз Кармен Буэно видели в концлагере Трес-Аламос, где она подверглась пыткам. Военные власти Чили отрицают факт ареста этих двух кинематографистов. Перельман заявил, что Буэно и Мюллер были арестованы полицией в Сантьяго после того, как кончили сниматься в фильме, режиссером которого был он. Перельман рассказал также о преследованиях, которым подвергся в Чили аргентинский кинематографист Карлос Пиаджо.

## ШВЕЙЦАРИЯ

### «ШВЕЙЦАРСКИЕ ИСТОРИИ» УРСА ВИДМЕРА

Урс Видмер, получивший известность как автор книг «Алоиз» (1968), «Дрозд в саду под дождем» (1971), пьесы «Долгая ночь детектива» (1973), рассказывает на страницах еженедельника «Вельтвохе» о своем новом сборнике — «Швейцарские истории».

«Я попытался написать истории, в которых, так сказать, чувствовался бы запах Швейцарии, каждого ее кантона. В Швейцарии десять километров — уже большое расстояние. То, что я рассказываю о Солотурне, могло произойти только в Солотурне, а то, что происходило в Нойенбурге, невозможно перенести в Валлю.

Первоначально я хотел написать рассказ о каждом кантоне — 22 различные истории. Потом я понял, что не смогу этого сделать. Даже маленькая Швейцария слишком велика для одного человека. В кантоне Ури я уже чужак...

Я люблю Швейцарию,— продолжает Урс Видмер.— Но именно потому, что эта страна так прекрасна, я страдаю, видя, как быстро она приходит в упадок... Капитализм в Швейцарии замаскирован лучше, чем в других странах. Но Швейцария — это не идиллия».

## ЮГОСЛАВИЯ

### НОВАЯ КНИГА БОРИСА ЗИХЕРЛА

В канун 30-летия победы над фашизмом в Любляне вышла под названием «Вчера и сегодня» книга статей и исследований известного югославского публициста академика Бориса Зихерла. Активный участник классовых боев словенского пролетариата в довоенные годы, один из создателей Коммунистической партии Словении, Борис Зихерл в период народно - освободительной войны и Народной революции 1941—1945 гг. с первых дней борьбы сражался за свободу своей страны. Его выступления широко печатались партизанской прессой и затем, собранные воедино, несколько раз выходили отдельными книгами. (Статья Б. Зихерла о роли мировоззрения в творчестве писателя публиковалась в № 8 журнала «Иностранная литература» за 1957 год.)

В книгу «Вчера и сегодня» вошла часть работ ученого, опубликованных до 1945 года, а также новые его статьи, написанные в семидесятые годы.

# Авторы этого номера

**УРБАНУ ТАВАРИШ РОДРИГИШ — URBANO TAVARES RODRIGUES** (род. в 1931 г.).

Португальский писатель — романист и новеллист, известный и за пределами Португалии; его произведения переведены на ряд европейских языков.

Публикуемые рассказы взяты из сборников «Исправительный дом» («Casa de correcçao», 1972) и «Камнем в болото» («Uma pedrada no charco», Libraria Bertrand, S.A.R.L. Lisboa, 1973), за который автор был удостоен самой крупной литературной премии им. Рикардо Мальейроса.

■

**МАРГАРИТА ПАС ПАРЕДЕС — MARGARITA PAZ PAREDES** (род. в 1922 г.).

Мексиканская поэтесса, автор многих поэтических сборников, в том числе — «Погремушка» («Sonaja», 1942), «Ода Константину Уманскому» («Oda a Constantino Oumanski», 1945), посвященная советскому послу, погибшему в Мексике, «Голос земли» («Voz de la tierra», 1946), «Необычайный лик» («El rostro imposible», 1963) и др.

В «Иностранной литературе» (№ 12, 1972) напечатана ее поэма, написанная во время пребывания в нашей стране.

Публикуемые в этом номере стихотворения взяты из сборников «Дом в тумане» («Casa en la niebla», 1956), «Образ и зеркало» («La imagen y su espejo», 1962), «Адам во тьме» («Adán en sombra», 1964) и «Призывы» («Señales», 1972).

■

**ЧЕЖЕГОВА ИННА МИХАЙЛОВНА.**

Советский поэт и переводчик с испанского и португальского языков, переводила стихи Хуаны Инес де ла Крус (Мексика), Николаса Гильена (Куба), Сесара Вальехо (Перу), Хуаны де Ибарбуру (Уругвай) и др.

■

**АНРИ ТРУАЙЯ — HENRI TROYAT** (род. в 1911 г.).

Французский писатель. Член французской Академии с 1959 г. Сын армянского купца Тарасова; был вывезен родителями из России в 1918 г. Получил юридическое образование. Автор беллетризованных биографий русских писателей XIX века: «Достоевский» (1940), «Пушкин» (1946), «Странная судьба Лермонтова» («L'étrange destin de Lermontoff», 1952), «Толстой» (1965), «Гоголь» (1971). Перу А. Труайя принадлежит также серия исторических романов «Свет праведных» («La Lumière des justes», 1959—1963), посвященная восстанию и судьбе декабристов; трилогия «Наследники будущего» («Les Héritiers de l'avenir», 1968—1970), повествующая об эпохе отмены крепостного права, многочисленные новеллы, пьесы.

На русский язык переведены его романы «Семья Эглетьер», «Снег в трауре» и несколько рассказов

В этом номере мы предлагаем вниманию читателя его роман «Анна Предайль» («Anne Predaille», Paris, Flammarion, 1973), публикуемый с некоторыми сокращениями.

■

**ЕРОФЕЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА.**

Советская переводчица с французского и английского. Работает в ЮНЕСКО. Переводила произведения Т. Драйзера, П. Руане («ИЛ» № 8, 1973), статьи для общественно-политических журналов.

■

**ДРАГАН М. ЕРЕМИЧ** (род. в 1925 г.).

Югославский, сербский критик, литературовед, философ, доктор филологии, профессор Белградского университета, главный редактор газеты «Књижевне новине», один из руководителей Союзов писателей Сербии и Югославии. Автор книг: «Современная философия Запада» («Savremena filozofija Zapada» 1952), «Критика и эстетический идеал» («Kritičar i estetski ideal», 1965), «Пальцы Фомы неверующего» («Прсти неверног Томе», 1965) — эссе о современных югославских писателях, сборника статей о современной литературе, театре и эстетике «Пером как скальпелем» («Пером као скалпелом», 1969).

Публикуемые нами афоризмы и послесловие взяты из книги «С лица и с изнанки. Мысли и максимы» («Lice i naličje. Misli i maksime», Novi Sad, 1972).

■

**РОМАНЕНКО АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ** (род. в 1932 г.).

Советский переводчик и литературовед, специалист по литературам югославских народов. Переводил произведения И. Андрича, М. Селимовича, Ц. Космача, Д. Чосича, М. Божача и др. Выступал со статьями о литературах социалистических стран Европы.

**ХУАН РАМОН ХИМЕНЕС — JUAN RAMÓN JIMÉNEZ** (1881—1958).

Испанский поэт. Лауреат Нобелевской премии. (О нем и его творчестве см. вступительную статью А. Гелескула.)

Предлагаемая вниманию читателя подборка состоит из стихотворений поэта, напечатанных в сборниках, выходивших в разные годы: «Печаль полей» («La tristeza del campo», 1903), «Элегии» («Elegías», 1907—1908), «Звонкое одиночество» («La soledad sonora», 1908), «Грусть» («Melancolía», 1910—1911), «Духовные сонеты» («Sonetos espirituales», 1914—1915), «Вечные мгновения» («Eternidades», 1916—1917), «Камень и небо» («Piedra y cielo», 1917—1918), «На иных берегах» («Por las otras riveras», 1953).

**МУЛЯРЧИК АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ** (род. в 1938 г.).

Советский литературовед, критик, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института США и Канады АН СССР. Автор работ «Творчество Джона Стейнбека» (1963), «Американский роман в 20-е годы XX века» (1968), ряда статей о послевоенной литературе США.

**ФЕЛИЦИЯ ЛАНГЕР.**

Израильский адвокат, член Коммунистической партии Израиля. Получила широкую известность в прогрессивных кругах выступлениями против израильской оккупации арабских земель. Все годы после агрессии 1967 г. защищает в судах жертвы произвола оккупационных властей.

Мы печатаем фрагменты ее книги «Своими глазами» (Тель-Авив, 1974).

**ЙОСЭФ АЛЬГАЗИ (ГАЛИЛИ)** (род. в 1937 г.).

Израильский журналист и общественный деятель. Член Коммунистической партии Израиля. Печатается в органах КПИ «Зо гадерех» (на языке иврит) и «Аль-Иттихад» (на арабском языке).

В этом номере публикуются фрагменты его книги «Что ты делал, отец, когда разрушали дом Надера?» (Тель-Авив, 1974).

**ТАТЬЯНА НИКОЛЕСКУ — TATIANA NICOLESCU** (род. в 1923 г.).

Румынский критик, литературовед, переводчик русской и советской литературы. Статьи Т. Николеску неоднократно печатались в советских журналах, в том числе в «Иностранной литературе». Рецензия «Начало нового пути» получена в рукописи.

**ДЖОН УОТСОН ОЛДРИДЖ — JOHN WATSON ALDRIDGE** (род. в 1922 г.).

Американский литературовед, профессор Мичиганского университета. Автор ряда литературоведческих работ, среди них: «После потерянного поколения» («After the Lost Generation», 1951), «В стране молодых» («In the Country of the Young», 1970), «Дьявол в огне. Очерки об американской литературе и культуре: 1951—1971» («The Devil in the Fire. Retrospective Essays on American Literature and Culture: 1951—1971»).

Публикуемая статья взята из журнала «Сатердей ревью» за октябрь 1974 года.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
**Н. Т. ФЕДОРЕНКО**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ** (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, М. Г. ФЕДОРОВ** (и. о. отв. секретаря), **С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 2/VI 1975 г. А04904. Подписано к печати 9/VII 1975 г.
Бумага 70×108 1/16=9 бум. л.=18 п. л. (25,2) усл. п. л.+1 вкл. Уч. изд. л. 27,65.
Тираж 595.000 экз. (1-й завод 1—350.000 экз.) Зак. 1941.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.